ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[11] 2003

"НОВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ": ПОВЕСТЬ ДЖАМЕЙКИ КИНКЕЙД "ЛЮСИ" / СТИХИ АГА ШАХИДА АЛИ И ЧАРЛЬЗА СИМИКА / "МЫСЛИ ОБ ИЗГНАНИИ" ЭДВАРДА Б. САИДА / РАССКАЗЫ ДЖАМПЫ ЛАХИРИ, ХУНОТА ДИАСА, ХА ЦЗИНЯ, АЛЕКСАНДРА ХЕМОНА / ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА ХУЛИИ АЛЬВАРЕС "ЙО!" / ИНТЕРВЬЮ С ВАСИЛИЕМ АКСЕНОВЫМ

Основан в 1891 году

Наше время по праву называют эпохой миграции. Сложные, полные драматизма общественные процессы последних десятилетий – распад так называемого "социалистического лагеря", крах колониальной системы, социальные потрясения и гражданские войны, которыми изобилует современная история, – заставили миллионы людей покинуть родные края и мощными потоками устремиться в Западную Европу и США с надеждой обустроить свою жизнь наново. Эта ситуация создала трудные демографические, этнические, экономические проблемы, самым непосредственным образом сказавшись и на состоянии культуры. В Америке, которая в силу особенностей своей истории всегда оставалась по преимуществу страной иммигрантов, и сегодня наиболее отчетливо чувствуется присутствие неубывающего потока новых переселенцев. Пытаясь адаптироваться к непривычному для них укладу жизни и менталитету, они обогащают этот менталитет многим, что принесено со "старой родины", одновременно перенимая и типичные особенности американского мышления, а тем самым – американской культуры.

Этот номер "ИЛ" представляет писателей, которые родились далеко от Америки – в странах "третьего мира" или в Восточной Европе, – и, как правило, не считают английский родным языком, однако пишут уже по-английски и принадлежат американской литературе. Некоторые из таких авторов – Ха Цзинь, Джампа Лахири – добились широкого признания и получили самые престижные литературные премии, другие дебютировали сравнительно недавно, сумев обратить на себя внимание критики. Мы сделали попытку познакомить наших читателей со специфическим и важным явлением, без которого уже невозможно представить себе современную художественную жизнь в США, как впрочем и во многих других западных странах.

[1]

2003

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Новые американцы

3 Джамейка Кинкейд. *Люси.* Повесть. Перевод Инны Стам

62 Джампа Лахири. *Рассказы.* Перевод М. Салганик

92 Чарльз Симик. *Стихи из сборника "Ночной пикник".* Перевод Дмитрия Веденяпина

95 Ха Цзинь. *Рассказы.* Перевод А. Смирновой

125 Ага Шахид Али. *Стихи.* Вступление и перевод А. Нестерова и И. Ковалевой

131 Хунот Диас. *Рассказы.* Перевод В. Козлова

154 Александр Хемон. *Слепой Йозеф Пронек.* Рассказ. Перевод А. Ильинского

167 Томас Ривера. *Саламандры.* Рассказ. Перевод С. Силаковой

170 Хулия Альварес. *Йо!* Главы из романа. Перевод и вступление С. Силаковой

190 Питер Хо Дэвис. *Загробная жизнь.* Рассказ. Перевод А. Соколинской

197 Роберто Фернандес. *Рассказы.* Перевод С. Силаковой

Документальная проза

205 Эва Хоффман. *Искусство потерь, или Опыт жизни в новом языке.* Перевод А. Борисенко

Статьи, эссе

238 Мадина Тлостанова. *Эра Агасфера, или Как сделать читателей менее счастливыми*

252 Эдвард Саид. *Мысли об изгнании.* Перевод С. Силаковой

263 Джоан Фон Джин Ли. *Азиатоамериканцы рассказывают о себе.* Фрагменты книги.

Наши интервью

278 *Василий Аксенов: "Американским писателем я не стал"*

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

Джамейка Кинкейд

Люси

Повесть

Перевод Инны Стам

Посвящается Джорджу У. С. Троу

Бедная гостья

ЭТО был мой первый день у них. Я приехала накануне и провела на новом месте ночь, целую серо-черную холодную ночь — типичную для середины января, правда, тогда я этого еще не знала, — а пока мы мчались из аэропорта, я мало что разглядела, хотя кругом горели фонари. По дороге мне указывали то на знаменитое здание, то на заслуживающую особого внимания улицу, то на парк или мост, считающиеся здешними достопримечательностями. В моих детских фантазиях такие места виделись мне воплощением счастья, казались спасательной шлюпкой для моей маленькой тонущей души. Я воображала, как появляюсь там, потом ухожу, и одно только это неотвязное видение — как я появляюсь там и ухожу — помогало не поддаваться тому мрачному чувству, которое я даже не знала как и назвать. Чувство это напоминало грусть, но было более тягостным. И вот передо мной эти места — с виду самые заурядные, грязные, затоптанные бесчисленными людьми, которые действительно появлялись там и уходили. А ведь наверняка не я одна постоянно мечтала о таких местах, думала я. Впрочем, тогда меня постигло отнюдь не первое разочарование при столкновении с действительностью — и уж конечно не последнее. На мне было новое, еще не надеванное белье, купленное специально в дорогу, и пока я вертелась на сиденье, стараясь все рассмотреть, пришлось в очередной раз убедиться, что обновы могут доставлять немалые неудобства.

Я вошла в лифт — впервые в жизни, — и вот я уже в квартире, сижу за столом и ем еду, только что вынутую из холодильника. Там, откуда я при-

© Jamaica Kincaid, 1990
© И. Стам. Перевод, 2003

ехала, мы всегда жили в отдельном доме и без холодильника. А тут сразу масса новых впечатлений: лифт, квартира, сохранившаяся в холодильнике со вчерашнего дня еда — все меня восхищало; мне казалось, я могу к этому привыкнуть и даже полюбить, но все было настолько мне внове, что, когда я улыбалась, уголки губ у меня невольно опускались. Ночью я спала крепко, но не потому, что мне было хорошо и уютно — совсем даже наоборот, — а потому, что не могла больше ничего воспринимать.

То утро, утро первого дня, наступившее после первой ночи на новом месте, было солнечным. Однако солнце не слепило привычным желтым сиянием, от которого все живое панически скукоживается, — оно сочилось слабеньким бледно-желтым светом, будто надорвалось, стараясь светить поярче. Но главное — день был солнечный, это радовало, и я меньше тосковала по дому. Итак, увидев в небе солнце, я встала и надела платье — веселенькое полосатое платьице, точно такое я надела бы дома, собираясь провести день на природе. И сильно промахнулась. Солнце-то светило, но воздух был очень холодным. Стояла как-никак середина января. А я и не догадывалась, что в солнечный день воздух все равно может быть холодным; никто никогда мне об этом не говорил. Вот так сюрприз! Брр-р! Как бы передать это ощущение? То, что я всегда точно знала: как меня зовут, например, или что кожа у меня коричневого оттенка, какой бывает у отполированного мягкой тряпочкой ореха, — короче, то, что всегда разумелось само собой: "раз светит солнце, значит, тепло", вдруг изменилось самым неожиданным образом. Ведь я находилась уже далеко не в тропиках, и от этой мысли моя жизнь словно раскололась надвое — так поток может рассечь иссохшую землю, образовав в ней два берега; на одном осталось мое прошлое, такое знакомое и предсказуемое, что даже при воспоминании о тогдашних горестях меня охватывала радость, а на другом скрывалось мое будущее — унылый морской пейзаж в серой пелене дождя и без единой лодчонки в волнах. Да уж, находилась я далеко не в тропиках, холод пробирал меня изнутри и снаружи — подобное я испытывала впервые в жизни.

В книгах я читала: время от времени, когда того требует развитие сюжета, герой страдает от тоски по родине. Оставив прежнюю, очень непростую жизнь, он отправляется в дальние края, где условия гораздо лучше, а он начинает рваться обратно в прежнюю нелегкую жизнь. До чего же раздражали меня такие персонажи, ведь я, как мне казалось, сама жила очень нелегко и мечтала куда-нибудь уехать. А теперь вдруг и я почувствовала, что не прочь вернуться домой. Там все было понятно, ясно как божий день. Если бы там мне понадобилось изобразить на картине мое будущее, я бы нарисовала большое серое пятно, окруженное темной, черной, чернющей чернотой.

К великому моему удивлению, меня теперь тоже неудержимо тянуло вернуться туда, откуда я приехала, тянуло вновь очутиться в кровати, из которой я уже выросла, тянуло к людям, чье мельчайшее, самое естественное движение прежде вызывало во мне такую ярость, что я желала им немедленно провалиться в тартарары. Ведь когда-то я воображала, что стоит мне только уехать из дому далеко-далеко, на новое место, и я одним махом смогу отбросить — будто старое платье, которое больше никогда не надену, — свою тоску и недовольство жизнью вообще, какой она мне тогда рисовалась. Прежде самая мысль о такой решительной перемене обстановки служила мне утешением, а нынче я и его лишилась, мечтать было не о чем; я легла в постель, и мне приснилось, что я ем тушенную в кокосовом молоке розовую кефаль с зеленым инжиром, при-

готовленную моей бабушкой; это блюдо мне страшно нравилось, ведь бабушку я любила больше всех на свете и такую еду тоже.

Комнатка моя располагалась возле самой кухни — типичная каморка для горничной. Я привыкла жить в маленькой комнате, но эта была совсем другая. Потолок маячил где-то в вышине, стены вздымались к нему, как боковины здоровенного ящика — в таких ящиках перевозят грузы океанские корабли. Но я-то ведь не груз. Я всего лишь несчастная девчонка, которую поселили в комнатке для горничной, а я даже и не горничная. Я — молоденькая нянька при детях, которая по вечерам еще и учится в школе. Впрочем, все обращались со мной ласково, просили считать себя членом их семьи и располагаться как дома. Я верила, что они говорят это искренне, я ведь знала, что настоящему родственнику такого бы не сказали. И потом, признайтесь честно, разве родня — это не жернов на шее вашей жизни? В мой последний день дома двоюродная сестрица — я знала ее сызмалу, очень противная, и всегда была противной, даже до того, как под нажимом родителей вступила в секту адвентистов седьмого дня, — поднесла мне на прощанье свою Библию, сопроводив подарок короткой речью о Боге, добродетели и благословении. Теперь Библия лежала передо мной на комоде, а я, глядя на нее, вспомнила, как детьми, забравшись под наш дом, мы пугали и терзали друг друга, читая вслух целые страницы из Откровения Иоанна Богослова; неужели, думала я, мне дня не прожить без того, чтобы эти люди, мои родственники, от которых я наконец избавилась, не возникали передо мной так явственно по малейшему поводу?

На комоде стоял маленький приемник, я его включила. В ту же секунду, будто подытоживая мое настроение, зазвучала песня с такими словами: "Побудь на моем месте хотя б один денек; смирится ли твоя душа с бездонной пустотой?" Я стала мурлыкать эти строки, словно колыбельную, и опять заснула. Теперь мне приснилось, что в руках у меня моя старенькая фланелевая ночная рубашка с начесом и прелестным рисунком: дети играют елочными украшениями. Эти сценки были изображены на рубашке настолько достоверно, что я даже услышала детский смех. Мне вдруг потребовалось выяснить, где была сшита эта рубашка, я принялась остервенело искать бирку и нашла ее там, где ей и положено быть, на вороте сзади. На бирке было написано: "Сделано в Австралии". Тут меня разбудила настоящая горничная — женщина, которая сразу, при первой же встрече, дала мне понять, что я ей не нравлюсь по причине моего выговора. На самом деле причина наверняка другая, думала я, но не знала, какая именно. Когда я открыла глаза, между нашими лицами все еще висело слово "Австралия", и я вспомнила, что в Австралию ссылали дурных людей, настолько скверных, что их не хотели держать в тюрьме на родине.

Вскоре мои дни потекли заведенным порядком. Я отводила четверых маленьких девочек в школу, в полдень они возвращались, и я кормила их обедом: консервированным супом и сандвичами. Потом читала им книжку или затевала игры. Пока детей не было дома, я сидела за учебниками, а вечером шла в школу. Мне было грустно. Я посматривала на карту. Между мной и родным домом раскинулись водные просторы, но разве что-то изменилось бы, если б это была всего лишь плошка с водой? Возвратиться я не могла.

На улице постоянно стоял холод, и все говорили, что не припомнят такой лютой зимы. Но мне почему-то казалось, что точно теми же словами они встречают приход каждой зимы. И не их вина, думала я, что они из года в год забывают, какое это неприветливое, тоскливое время года.

Деревья, растопырившие голые неподвижные сучья, кажутся мертвыми; такое впечатление, что кто-то наспех воткнул их в землю, рассчитывая позже вернуться и забрать с собой; окна в домах плотно закрыты, как бывает, когда жильцы уезжают надолго. Прохожие шагают по улицам торопливо, словно творят исподтишка недоброе, или не желают привлекать к себе внимание, или опасаются промерзнуть насквозь, а потом растаять и исчезнуть. До чего же мне хотелось увидеть где-нибудь на углу замешкавшегося бездельника, который попытается заговорить со мной, привлечь мое внимание; хотелось невзначай, хоть краем уха, услышать чьи-нибудь сетования на Бога, оделяющего любовью и милостью своей равно праведных и неправедных.

Про свою новую чудесную жизнь я написала домой в таких цветистых словах и выражениях, словно поселилась в мире поздравительных открыток — знаете, тех, что с атласными бантиками, тиснеными, будто стеганными, сердечками и розочками. Полагая, очевидно, что адресат будет страшно дорожить такой открыткой, изготовитель, оберегая ее красу, даже прикрывает ее спереди полиэтиленовым листком. В ответ все писали, что очень рады были получить от меня весточку и узнать, что у меня все хорошо; уверяли, что скучают по мне и с нетерпением ждут моего возвращения.

Однажды горничная, та самая, которая сказала, что я ей не нравлюсь из-за моего выговора, заявила, что танцевать я, конечно, не умею. По ее словам, и разговариваю-то я как монашка, и походка у меня тоже монашкинская, и вообще я вся такая добродетельная, что смотреть тошно, хоть и жалко меня до боли. И возможно, как раз под влиянием жалости она предложила потанцевать с ней, снова повторив, что танцевать я, конечно, не умею. В моей комнате стоял маленький портативный проигрыватель — в закрытом виде он был похож на сумочку-косметичку; горничная поставила купленную тем же днем пластинку — популярную тогда песенку: три девушки не старше меня на редкость неискренно, с напускным чувством пели в лад о любви и тому подобном. Выходило все равно очень красиво, может, именно потому, что неискренно и с напускным чувством. Горничная, в восторге от песенки, подпевала во все горло; танцевала она потрясающе — ее движения меня заворожили. Присоединиться к ней я не могла и объяснила почему: мелодия показалась мне страшно пошлой, а в словах, на мой взгляд, не было никакого смысла. По лицу горничной я поняла, что вызываю у нее одно-единственное чувство — жуткое отвращение. Тогда я сказала, что тоже могу кое-что спеть, и немедленно завела песню в стиле "калипсо" о девушке, сбежавшей в столицу Тринидада Порт-оф-Спейн, где она зажила припеваючи и никогда ни о чем не жалела.

Семья, у которой я поселилась, состояла из мужа, жены и четырех дочек. Муж с женой походили друг на друга, и девочки пошли в них. На семейных фотографиях, стоявших и висевших по всему дому, шесть разного размера золотистых голов, склоненных друг к другу, казались букетами цветов, связанных невидимой бечевкой. Они улыбались на снимках так, будто все окружающее представляется им немыслимо чудесным. И в этой их улыбке не было и намека на насмешку. Отовсюду — а они, похоже, исколесили весь свет — они привозили какой-нибудь крошечный сувенир, и любой член семьи мог рассказать во всех подробностях историю каждой такой безделки. Даже если начинал моросить дождь, они восторгались тем, как его струи разграфляют пространство.

За ужином, когда все мы собирались за столом — без всякой молитвы, заметьте (до чего ж это было приятно; видимо, их бог не требует благодарности по любому поводу), — они говорили друг другу разные хорошие слова, и детишки были всегда довольные и веселые. Они роняли еду на стол, иногда вообще отказывались от ужина, порой сочиняли стишки, заканчивавшиеся словом "воняли". Я смеялась до упаду и все думала: что же у меня-то за родители? Ведь за одну только мысль о подобных словах меня бы сурово выбранили. И я дала себе клятву, что если у меня когда-нибудь будут дети, то уж я позабочусь, чтобы они первым делом научились говорить нехорошие слова.

Однажды за ужином, вскоре после того, как я там поселилась, меня начали называть Гостьей. Им все время кажется, объясняли хозяева, что я существую сама по себе, будто вовсе и не живу в их доме как член семьи, а, словно бы проходя мимо, размеренно говорю: "Здравствуйте!", но следом того и гляди протараторю: "До свиданья! Пока! Мне было у вас очень славно!" "Вы только посмотрите, как она таращится на нас за едой, — говорил Луис. — Она что, никогда не видала, как несут в рот вилку со стручковой фасолью?" Тут Мария принималась смеяться; вообще-то Марию радовало и веселило все, что ни скажет Луис. Я, правда, не смеялась, и Луис смотрел на меня озабоченно. "Бедная Гостья, бедная Гостья", — с сочувствием в голосе повторял он, а потом рассказал историю своего дядюшки, который уехал в Канаду и стал разводить мартышек; спустя некоторое время дядюшка так привык, даже привязался к мартышкам, что люди стали его раздражать. Луис раньше уже рассказывал мне эту байку, и тут, пока он говорил, мне припомнился сон про их семейство: Луис гонится за мной по дому, а я удираю в чем мать родила; пол у меня под ногами желтого цвета, будто его посыпали кукурузной мукой. Луис носится за мной по дому, но, как бы близко ни подбежал, догнать меня все равно не может. А в высоких застекленных, распахнутых настежь дверях стоит Мария и повторяет: "Хватай ее, Луис, хватай!" В конце концов я проваливаюсь в яму, на дне которой вьются серебристые и голубые змеи.

Луис завершил повесть про дядюшку, и я рассказала им свой сон. Они оба помолчали, глядя на меня, и Мария откашлялась, хотя не похоже было, что у нее першило в горле. Их золотистые головы плавно сблизились и согласно закивали — вверх-вниз, вверх-вниз. Луис поцокал языком, потом произнес: "Бедная, бедная Гостья". А Мария сказала: "Гостье требуется доктор Фрейд", но смысл ее слов до меня не дошел, ведь я тогда понятия не имела, кто такой доктор Фрейд. Потом они засмеялись, негромко, по-доброму. А ведь, рассказав им сон, я как бы давала понять, что считаю их своими, потому что снятся мне только те люди, которые играют в моей жизни важную роль. Не знаю, уразумели они это или нет.

Мария

Однажды утром в начале марта Мария спросила:

— Ты ведь никогда еще не видела весны, правда?

Ответа она не ждала, она его и без того прекрасно знала. Слово "весна" она проговорила так, будто назвала имя близкого друга, который посмел надолго уехать, а теперь вскоре вернется, и они с великой радостью встретятся вновь.

— Ты когда-нибудь видела, как пробиваются из-под земли нарциссы? А когда они дружно зацветают и налетает вдруг легкий ветерок, нарциссы словно приседают в реверансе перед зеленой лужайкой. Видела?.. Я всякий раз, как вижу эту картину, испытываю безумную радость жизни!..

А я подумала: значит, Мария испытывает радость жизни оттого, что какие-то цветочки сгибаются под ветром. Откуда такое в человеке берется?

Мне припомнилось старинное стихотворение[1], которое меня заставили учить наизусть, когда мне было десять лет и я ходила в женскую школу имени королевы Виктории. Меня заставили вызубрить его, строфу за строфой, а потом прочитать все целиком перед залом, заполненным родителями, учителями и моими однокашницами. Когда я кончила декламировать, все встали и принялись восторженно хлопать, чем меня немало удивили, а потом хором хвалить: как же четко и внятно я произносила каждое слово, как точно выделяла голосом именно то, что нужно, и так, как нужно; вот бы, мол, порадовался поэт, которого давно уже нет на свете, если бы мог слышать мой звонкий голосок, читавший его строки. В то время моя двуличность достигла высшей точки: внешне я производила одно впечатление, но внутри была совсем другой; внешнее было фальшивым, внутреннее — настоящим. Поэтому я застенчиво бормотала в ответ слова благодарности, а про себя давала клятву выбросить из памяти все стихотворение до последней строчки. После выступления меня всю ночь напролет преследовал один и тот же сон: я бегу по узкой, мощенной булыжником улице, а за мной гонятся охапки тех самых нарциссов, которые я поклялась забыть, и когда наконец я в изнеможении падаю, они грудами валятся на меня, погребая под собой, и мне уже никогда не выбраться на белый свет. Этот сон совсем было вылетел у меня из головы, но тут Мария заговорила про нарциссы, и я, вспомнив давнюю историю, выложила ее с такой злостью, что мы обе удивились. Мы стояли очень близко друг к другу, но как только я замолкла, каждая из нас непроизвольно отступила на шаг. Всего на один шаг, но мне почудилось, что тем самым был положен конец чему-то, о чем я и не подозревала.

Мария протянула руку и, погладив меня по щеке, сказала:

— Да, непростая у тебя биография.

Уловив в ее голосе нотку зависти, я сказала:

— Если хочешь к ней приобщиться — пожалуйста.

И после того случая Мария ежедневно говорила: “Вот настанет весна...”

А дальше сыпалось такое количество замыслов и планов, что я представить себе не могла, как они вместятся в одну маленькую весну. Мы уедем из города на Великие озера[2], говорила Мария, поселимся в том самом доме, где она девочкой обычно проводила лето. Будем ходить в какие-то бескрайние сады. Пойдем в зоопарк — весной это особенно интересно, дети будут в восторге. А как выдастся первый же по-настоящему теплый день, отправимся в парк на пикник. Под вечер будем гулять на свежем воздухе; ей особенно хотелось гулять именно со мной, чтобы показать мне очарование весеннего неба.

В день, когда по календарю наступила весна, поднялась сильнейшая вьюга, снегу выпало больше, чем за всю зиму. Мария взглянула на меня и беспомощно пожала плечами: “Обычная история”.

1. Очевидно, речь идет о стихотворении “Нарциссы” английского поэта Уильяма Вордсворта (1770—1850). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Великие озера — пять пресноводных озер между США и Канадой: Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио.

Впечатление было такое, что она только что пережила предательство со стороны близкого человека. Меня это рассмешило, но про себя я подивилась: как можно всерьез огорчаться из-за того, что погода, вопреки нашим ожиданиям, вздумала перемениться? Откуда такое в человеке берется?

Пока погода, не зная, на чем остановиться, стращала нас разными холодами, я носила на груди обжигавшие тело письма от родных и друзей. Я давно засунула их в лифчик и так всюду с ними и ходила. Но отнюдь не из любви и тоски; совсем наоборот — из ненависти. И ничего в этом не было странного: разве любовь и ненависть не существуют бок о бок? Все письма пришли от людей, которых я когда-то безоглядно любила. Некоторое время назад я из вежливости написала матери очень милое письмецо, рассказав в нем о своем первом путешествии в метро. Она мне ответила, а я, прочитав ее письмо, уже не решалась высунуть нос из дома: в мельчайших подробностях она пересказала те жуткие, отвратительные истории, которые, как она читала и слышала, происходят именно в подземке. Только на днях, говорилось в письме, газеты сообщали о приезжей девушке моего возраста, которую зарезали в поезде метро, возможно в том самом, где ехала и я.

Но к тому времени я, конечно, уже знала, что такое настоящий страх. Среди моих однокашниц была девочка, отец которой имел сношения с дьяволом. Однажды она из любопытства зашла в кабинет отца, заглянула туда, куда соваться не следовало, и в нее вселился бес. Она тяжело заболела, и, возвращаясь из школы, я с одноклассницами частенько стояла под окнами ее дома и слышала, как бес колотит бедняжку, а она криком кричит под побоями. В конце концов ей пришлось уехать далеко, за море, где дьяволу ее уже было не достать, ведь он по воде ходить не умеет. Я все размышляла об этом, чувствуя, как острые уголки конвертов покалывают кожу повыше сердца. В первом случае, думала я, девочку бил кто-то, кого она видеть не могла; во втором девушке в метро перерезал горло человек, которого она прекрасно видела. Зачем же непременно сводить мою жизнь в нашем огромном мире только к этим двум вариантам?

Когда случался снегопад, с неба летели плотные тяжелые хлопья, они повисали на ветвях деревьев как украшения, изготовленные по специальному праздничному заказу; правда, ни о каком торжестве и разговору не было, все дружно принимались ругать погоду. За те месяцы, что я там прожила, вьюги налетали не раз, но я на них не обращала внимания, разве только досадовала на занесенные тротуары: ходить по ним было трудно. Дома каждый год в канун Рождества родители мои отправлялись смотреть кино, в котором Бинг Кросби[1] поет во все горло песню, стоя по пояс в сугробе. Однажды, когда мне было тринадцать лет, мать призналась, что у них с отцом вошло в обычай ходить на эту картину в первые же годы знакомства, но признание ее ничуть меня не тронуло: я уже остро чувствовала, что все в ней меня раздражает, даже манера речи.

— До чего же добродетельно, небось, проводили время, — с трудом скрывая презрение, бросила я и быстро ушла, потому что сердце у меня разрывалось при виде ее огорченного лица, но сдержаться было выше моих сил.

Однако в тот раз, когда снег выпал весной, даже я заметила, что этот снегопад особенный, в нем ощущалась какая-то необычная красота. Не та,

1. Бинг Кросби (1904—1977) — американский киноактер и певец. Его самая знаменитая песня называется "Белое Рождество".

которую хочешь видеть ежедневно, но та, что бросается в глаза, когда красоты уже просто через край. Дни стали длиннее, солнце садилось позже, вечернее небо словно приспускалось ниже обычного, а снег цветом и консистенцией напоминал полусваренный яичный белок, отчего все кругом казалось мягким, прелестным, а мне, к моему собственному удивлению, еще и питательным. Получилось, что мир, в котором я нахожусь, может быть мягким, прелестным и питательным; это открытие мне было трудно вынести. Я стояла, заливаясь слезами, потому что не хотела полюбить хоть что-нибудь еще, не хотела, чтобы в моей жизни появилось нечто, от чего сердце разобьется у моих ног на миллион крошечных осколков. Но красота все равно была повсюду, я тут ничего не могла поделать; и даже я понимала, что еще слишком молода — настоящее разочарование, настоящее раскаяние, настоящая ожесточенность души еще впереди.

Выпавший снег растаял быстрее обычного. Исчез, как будто его слизала невидимая оголодавшая тварь; так оно обыкновенно и происходит в это время года, объяснила Мария. И все то, что зимой выглядело хрупким — тротуары, дома, деревья, даже люди, — словно бы помягчело и чуточку обвисло по швам. Теперь я уже могла предаваться воспоминаниям о зиме. Она стала, так сказать, моим прошлым, моим первым подлинным прошлым — только моим, о котором судить позволено лишь мне одной. Я пережила ту суровую холодную пору — причем я имею в виду совсем не погоду на дворе. Но хотя эта пора прошла и холода сменились теплом, во мне самой такой же перемены не случилось. Что-то новое поселилось в душе, что-то тяжелое и жесткое. Поселилось и не уходило, я не могла придумать, как от него избавиться. Вот она, жизнь, думала я, вот так, наверное, и начинается то время, про которое спустя годы люди говорят: “Много лет назад, в молодости...”

Моя мать дружила с одной женщиной, но дружбу эту она не выставляла напоказ, потому что приятельница ее провела какое-то время в тюрьме. Звали подругу Сильви; на правой щеке у нее был шрам, след от человеческих зубов — как будто это была не щека, а недозревший плод, и кто-то куснул его, намереваясь съесть, но понял, что плод неспелый. Когда-то Сильви не на шутку сцепилась с другой женщиной из-за мужчины: они обе его любили и не могли поделить. Скорее всего, Сильви брякнула что-то страшно обидное, и та женщина, разъярившись, схватила ее в объятия, только в объятия не любви, а ненависти, и оставила на щеке Сильви свою метку. Обеих отправили в тюрьму за неподобающее поведение в общественном месте и всю их последующую жизнь не давали забыть о пребывании в каталажке. Именно поэтому мне не разрешалось разговаривать с Сильви, а ей запрещалось приходить к нам, когда дома был отец. Ее дружба с моей матерью считалась секретом. Украдкой наблюдая за Сильви, я заметила: стоит ей замолкнуть посреди разговора, даже совсем короткого, и рука ее непроизвольно взлетает к лицу, пальцы принимаются поглаживать похожую на розочку отметину (в ту пору, не подозревая, откуда взялся этот шрам, я была уверена, что Сильви нарочно его завела, ведь она обожала розы за их красоту, вот и решила украсить себе щеку таким способом), будто этот рубец связывал ее с чем-то куда более глубоким и важным, чем события, в результате которых он появился, с чем-то таким, чего она не могла выразить словами.

Как-то раз, когда моей матери рядом не было, Сильви принялась восторгаться моими непокорными, упрямо топорщившимися в разные стороны косичками, а потом заговорила о чем-то другом, но я ее слушать не стала, потому что начала она словами: “Много лет назад, в молодости...”

Одновременно она так щипала и крутила изуродованную щеку, что та, казалось, вот-вот отвалится и темно-лиловой сливой упадет в розовую ладонь Сильви; хотя она смеялась не умолкая, голос ее звучал сурово и строго. С той поры я решила, что жизнь, настоящая жизнь, всегда начинается сурово и строго; и даже если на щеке у меня не появится ни царапины, все равно, обреченно думала я, рано или поздно где-нибудь неминуемо останется шрам.

Однажды я стояла у кухонной раковины, погруженная в размышления, конечно же о собственной персоне, и тут вошла Мария — не вошла, а впорхнула, — напевая песенку, популярную во времена молодости ее матери; эта песня наверняка не нравилась Марии в дни собственной юности, и теперь она пела ее с нарочитой дрожью в голосе, словно хотела подчеркнуть, что по-прежнему считает старый шлягер смешным и нелепым. Она бурно закружилась по кухне и вдруг стала как вкопанная, не задев ни единой вещицы, хотя в своем танце много чего могла сбить.

— Я всегда мечтала о четверых ребятишках, четырех дочках. Обожаю моих деток, — сказала она.

Она произнесла это звонко и искренне. Без тени сомнения в голосе, но и без самоуверенности. Мария была выше сомнений и самоуверенности. Испокон веку все складывается так, как ей хочется, думала я, и не только у нее самой, но и у всех ее знакомых; ей нет нужды в чем-то сомневаться, а потому и самоуверенности взяться неоткуда; с ней всегда случается то, что нужно, то, что ей хочется. Как это человеку удается? — мелькнула мысль.

— Я тебя люблю, — обращаясь ко мне, сказала Мария.

Опять сказала звонко и искренне, без самоуверенности или сомнения. Я ей поверила: если есть на земле существо, способное полюбить девчонку, проехавшую полсвета, чтобы помогать приглядывать за детьми, то это существо — Мария. Она стояла посреди кухни, красивая до невозможности. Ярко-желтые лучи солнца, бившие в окна, падали на бледно-желтые квадраты линолеума на полу, на кухонные стены, окрашенные тоже в светло-желтый цвет, только другого оттенка, и Мария, желтоволосая, с чуть желтоватой кожей, залитая этим почти божественным светом, казалась благословенной свыше; ни пятнышка, ни меты на чистых щеках или еще где-нибудь, как будто она никогда в жизни ни с кем не цапалась из-за мужчины или чего другого и ей вообще никогда не придется ссориться, будто она никогда не совершала никаких проступков, не попадала в тюрьму и никогда не была вынуждена откуда-либо уезжать, разве только по собственной прихоти. В то утро Мария вымыла голову, и от ее волос до меня долетал легкий аромат шампуня. К нему примешивался еще и другой запах — запах самой Марии. Пахла Мария приятно. Именно так — приятно. Но в том-то и беда Марии, подумала я, она пахнет *приятно*. А я тогда уже твердо знала, что сама хочу испускать запах сильный, пусть даже и неприятный.

В тот день, когда стало ясно, что погода установилась бесповоротно — зима прошла, и ее возврат был бы из ряда вон выходящим событием, — Мария объявила, что нам надо готовиться к отъезду; несколько месяцев мы будем жить в доме на берегу одного из Великих озер. Луис с нами не поедет. Он останется в городе и, пользуясь нашим отсутствием, займется делами, которые ни Марию, ни детей ничуть не увлекали. Что это за дела, я понятия не имела. Мы поедем на поезде, сказала Мария: ей хо-

чется, чтобы я провела ночь в вагоне и, проснувшись, позавтракала в купе, а поезд тем временем будет мчаться мимо свежевспаханных полей. Она так старательно собиралась — мне и в голову не приходило, что отъезд из дому на недолгий срок может потребовать столько хлопот.

В тот же день, вскоре после полудня (ведь девочки, мои подопечные, возвращались домой не раньше трех), Мария повела меня в городской парк; это одно из ее любимейших мест на свете, сказала она. Завязала мне глаза носовым платком, взяв за руку, подвела к лужайке и сдернула платок:

— Ну, теперь гляди.

Я поглядела. На участке, изрезанном извилистыми тропинками, росло множество высоких деревьев с толстенными стволами. А внизу, по обеим сторонам тропинок, цвело много-много желтых цветов, формой и размером похожих на игрушечные чашки или на юбочки фей. Их хотелось одновременно и съесть, и надеть на себя; зрелище очень красивое, но в то же время незамысловатое, словно созданное для того, чтобы вытеснить из головы какую-то сложную и ненужную мысль. Я знать не знала, что это за цветы, и потому не могла взять в толк, отчего мне захотелось их уничтожить. Но так оно и было. Мне хотелось их уничтожить. Вот бы мне сюда огромную косу, думала я, пошла бы я по дорожкам, волоча ее за собой, и срезала бы эти цветы под самый корень.

— Это нарциссы, — сказала Мария. — Грустно, что у тебя с тем стихотворением так нескладно вышло. Надеюсь, они тебе все равно понравятся, прелесть как хороши.

В ее голосе было столько радости, столько музыки; разве могла я ей объяснить, какие чувства нахлынули на меня при виде нарциссов? Что дело, в общем-то, не в нарциссах, просто для примера вполне сойдут и они, как, впрочем, и что угодно еще. И с чего мне начать? С того, что окружает меня здесь, или с того, что было там? Сгодилось бы и то и другое, но сердце колотилось так сильно, мысли неслись с такой скоростью, что, пытаясь заговорить, я начинала заикаться и даже нечаянно прикусила язык.

Не поняв охвативших меня чувств, Мария решила, что я пришла в восторг при виде нарциссов; она потянулась ко мне с объятиями, но я отстранилась, и тут же ко мне вернулся дар речи:

— Можешь ты понять, Мария, что десятилетней девочкой мне пришлось учить наизусть длиннющее стихотворение про цветы, которые я впервые увидела только в девятнадцать лет?

Едва проговорив это, я тут же пожалела, что перенесла ее обожаемые нарциссы в ситуацию, о которой она и помыслить не могла, в ситуацию, где действуют покорители и покоренные, где зверюги притворяются ангелами, а ангелы изображаются зверюгами. Эта женщина, едва со мной познакомившись, полюбила меня и хотела, чтобы и я полюбила то, что любо ей, — рощу, полную цветущих нарциссов. Глаза у Марии сразу ввалились, словно спасаясь от чего-то, словно пытаясь отдохнуть после непредвиденно тяжелой работы. Она была ни в чем не виновата. И я тоже не виновата. Но ничего не поделаешь, факт остается фактом: там, где она видела только красивые цветочки, я видела боль и обиду. Одна и та же вещь могла вызвать у нас слезы, но вкус у этих слез был разный. Мы возвращались домой в молчании. Я радовалась, что узнала наконец, как выглядит этот несчастный нарцисс.

И вот наступил день, когда надо было отправляться на Великое озеро; ехать мне определенно не хотелось, но еще утром пришло письмо от ма-

тери; она рассказывала о том, что произошло после моего отъезда из дому, в полной уверенности, что все это мне страшно интересно. "С тех пор, как ты уехала, дождей так и не было", — писала она. "Потрясающая новость", — злобно прошипела я себе под нос. И до моего отъезда, помнится, выдался год, когда вообще не выпало ни единого дождя. Меня это уже не занимало. Теперь у меня была цель: насколько возможно увеличить расстояние между мной и перечисленными в письме событиями. Ведь если я сумею отдалиться на достаточно много миль от того края, из которого пришло письмо, если сумею вместить достаточно много новых событий в пространство между собой и фактами, упомянутыми матерью, я наконец смогу воспринимать все так, как оно есть, не усматривая в каждом жесте, в каждом произнесенном слове и в каждом лице сотни прошедших лет, правда же?

В поезде мы устроились в соседних купе — двое детей с Марией и двое со мной. В одном из немногих кинофильмов, которые я к тому времени посмотрела, герои в поезде занимались именно этим — устраивались в купе. Наверное, я должна была испытывать радостное возбуждение оттого, что вот и я занимаюсь тем, чего никогда прежде сама не делала, а только видела в кино. Но ведь почти все мои теперешние занятия были для меня внове, ничего подобного я прежде не делала, и сама по себе новизна меня уже не волновала, разве только если что-то напоминало о прошлом. Мы пошли обедать в вагон-ресторан. Сели за столики, причем дети уселись отдельно. Так они захотели, пообещав Марии, что будут вести себя примерно, хотя мы и без того знали, что они всегда ведут себя образцово. Люди, сидевшие за соседними столиками, все как один казались родственниками Марии, а обслуживавшие их официанты поголовно смахивали на моих родственников: это были пожилые мужчины, державшиеся с большим достоинством, как будто только что вышли из церкви после воскресной службы. При ближайшем рассмотрении они оказались совсем не такими, как моя родня; подобие было лишь внешним. Мои родственники остры на язык, последнее слово всегда за ними. Мария явно не заметила ни своего сходства с другими едоками, ни моего — с официантами. Она держалась как обычно, будто говоря: земля, как известно, круглая, в этом мнении сходятся все; но я-то знала, что земля плоская, и если я подойду к самому краю, то свалюсь вниз.

Та ночь в поезде была ужасной. Я с трудом засыпала и всякий раз, когда мне это почти удавалось, просыпалась в уверенности, что за мной гонятся тысячи всадников и у каждого в руках короткий меч, которым они намерены изрубить меня на мелкие кусочки. Разумеется, я понимала, что причиной кошмара был стук колес под головой, но от этого объяснения ничего не менялось. С утра пораньше из своего купе пришла Мария, специально чтобы обрадовать меня: мы как раз проезжаем свежевспаханные поля, которые ей так нравятся. Она подняла штору; увидев вскопанную землю, простиравшуюся на много миль кругом, я сказала жестким безжалостным голосом:

— Слава богу, не мне пришлось все это пахать.

Не знаю, поняла ли Мария, что́ я имела в виду, ведь я в эти слова вложила очень многое.

Когда мы добрались до нашей станции, нас уже поджидал человек, которого Мария знала всю жизнь, человек, который всегда помогал ее семье. Родом он был из Швеции, звали его Гас, и Мария произносила его имя так, словно он был ее заветной собственностью, частью ее самой — как

воспоминание. Он конечно же и был частью ее прошлого, ее детства: на его глазах она делала первые шаги; сидя с ним в лодке, поймала первую в жизни рыбу; на озере их однажды застал шторм, и они спаслись просто чудом; и так далее в том же духе. Тем не менее это был человек из плоти и крови, и я подумала: Марии давным-давно следовало отделить этого Гаса, стоящего сейчас перед ней, от всего, что связано с ним в ее прошлой жизни.

"Неужто вам не противно слышать, как она произносит ваше имя — будто вы ее собственность?" — подмывало меня спросить у Гаса, но поразмыслив, я поняла, что человек, приехавший из Швеции, сильно отличается от человека вроде меня.

Много миль мы ехали на машине по сельской местности, много миль однообразия и пустоты — глазу не на чем остановиться. Я радовалась, что не живу в таком вот месте. Эта земля не говорила: "Добро пожаловать! Я так рада, что ты приехала". Скорее говорила другое: "Слабó тебе здесь остаться".

Наконец мы добрались до маленького городка. Машина покатила по улицам, и Мария заметно заволновалась; она почти перешла на шепот, словно никому и не нужно было слышать, что она говорит. Глядя по сторонам, она вскрикивала то радостно, то печально. За полгода, что она не была в городке, произошли перемены: появилось что-то новое, а кое-что исчезло навсегда. Проезжая по знакомым местам, Мария, казалось, забыла, что она — жена Луиса и мать четверых дочерей. Мы выехали из городка; в машине воцарилось молчание, а меня охватило чувство, похожее на безысходность. Я жалела Марию, понимая, чтó она испытывает, глядя на проносящееся мимо прошлое. Это ведь очень страшно — как если бы землю, на которой стоишь, медленно вытягивали у тебя из-под ног, а там — пустота, дыра, в которую предстоит падать весь свой век.

Дом, в котором Мария выросла, был красивый, это я увидела сразу. Большой, разлапистый — будто к нему от случая к случаю, по мере надобности, пристраивали помещения, однако все пристройки выдерживались в одном стиле. Он был возведен по образцу фермерского дома, в котором где-то в Скандинавии вырос дед Марии. Спереди уютная веранда; хорошо, наверное, сидеть на ней в дождь и смотреть на льющиеся с неба струи. Окрашенный в приятный для глаза желтый цвет, кое-где оттененный белым, дом издали выглядел теплым и приветливым. Из моей комнаты было видно озеро. Я столько читала в учебниках географии про это озеро, про его происхождение и историю, что теперь была неприятно удивлена: вблизи оно выглядело заурядным, серым, грязным, неласковым — поди пойми, отчего вокруг него столько шуму. Вошла Мария и, увидев, что я гляжу на воду, обняла меня и сказала:

— Потрясающе, правда?

Но я была совсем иного мнения. Спала я в ту ночь спокойно, без неотвязных тревожных снов; наверное, одно сознание, что за окном расстилается водный простор, пусть и не та неоглядная синь, к которой я привыкла, уже умиротворяло.

Марии хотелось, чтобы мы — и дети, и я — смотрели на все ее глазами. Чтобы мы освоили и полюбили дом, его бесчисленные закоулки, милые запахи, его волшебную прелесть, как в свое время полюбила она сама. Дети с восторгом смотрели на все ее глазами. Они ее обожали. Да и как могло быть иначе? Разве только если бы они были четырьмя маленькими копиями не Марии, а меня. Но ведь у меня-то уже имелась мать, которая меня любила, и ее любовь стала мне в тягость, тошно делалось от

самодовольства, с каким мать слушала рассуждения окружающих о ее великой любви ко мне. Постепенно я пришла к мысли, что она использует это свое чувство исключительно для того, чтобы превратить меня в свою копию; не знаю почему, но мне казалось, я скорее умру, чем стану всего-навсего чьей-то копией. Говорю это вовсе не для красного словца. Подобные мысли страшно удивили бы мою мать: за свою жизнь она твердо уверилась, что всегда поступает наилучшим образом; ей ни за что бы не понять, почему существо, вышедшее из ее утробы, желает непременно от нее отличаться. Ответа на эту загадку у меня тоже не было. Однако факт остается фактом: именно такие мысли и привели меня на берег Великого озера, где я сидела рядом с женщиной, стремившейся показать мне свой мир — в надежде, что я его тоже полюблю. Порою попадаешь в совершенно безвыходное положение, но частенько одна только попытка вырваться из него приносит на время немалое удовлетворение.

Как-то, сидя на веранде, я размышляла об этом и вдруг заметила на тропинке Марию; в руках у нее висели шесть серовато-черных рыбин.

— Видала?! Форель! — воскликнула она и, взмахнув руками, подняла рыбины к свету; чешуя засверкала всеми цветами радуги. — "Я сделаю вас ловцами человеков"[1], — пропела Мария и закружилась вокруг меня. — До чего же красивы, правда? — остановившись, сказала она. — Мы с Гасом отправились порыбачить в моей старой лодке — древней-предревней шаланде, — и вот, полюбуйся. Мой улов. Нам на ужин. Пошли кормить прихлебателей.

Скорее всего, она на самом деле сказала: "кормить рыбой и хлебами", а не "кормить прихлебателей". И сказала, конечно же, в шутку. Но пока мы потрошили и готовили рыбу, я все об этом думала. "Прихлебатели". Уж если такое словцо привяжется к человеку вроде меня — ни за что не отвяжется. Ведь край, откуда я родом, был зависим от страны, расположенной от него за тридевять земель. "Прихлебательство" настолько засело в моей голове, что я рассказала Марии следующую историю.

Когда мне было лет пять, я впервые услышала евангельскую притчу о том, как Иисус Христос семью хлебами и несколькими рыбами накормил множество людей. Как только моя мать закончила читать мне эту притчу, я спросила:

— А рыбу Иисус как приготовил? Сварил или пожарил?

Мать лишь изумленно посмотрела на меня и покачала головой.

— Ну и дитятко! — только и сказала она.

Но вопрос-то мой был не таким уж и странным. Там, где я росла, многие зарабатывали себе на жизнь рыбной ловлей. Вернувшись на берег и раздав бóльшую часть улова постоянным покупателям, рыбак мог распоряжаться оставшейся рыбой по-своему: нередко, почистив ее и приправив пряностями, он разводил с женой прямо на берегу костерок и, поджарив, продавал рыбу желающим. А как здорово сидеть на песке под тенистым деревом, спасаясь от палящего солнца, и есть отлично пожаренную рыбу, глядя на прекрасное синее море, бывшее обиталище твари, которую ты поедаешь. И когда я поинтересовалась, в каком виде подавалась рыба с хлебами, то про себя еще подумала: множество людей не только радовались, что получили еду, не только дивились чуду, когда столь малое превратилось в столь большое, они, наверное, рассуждали

1. Евангелие от Матфея. 4. 19.

и о том, какова эта еда на вкус. Точно знаю: мне это было бы далеко не безразлично. У нас дома все предпочитали отварную рыбу. Было очень обидно, что люди, записывавшие события своей жизни, связанные с Христом, ни разу не упомянули эту маленькую подробность, а для меня она имела большое значение.

Когда я рассказала все Марии, она взглянула на меня, и ее синие глаза (которые мне показались бы прекрасными, даже если бы я не прочла миллион книг, в которых синие глаза непременно сопровождаются словом "прекрасные") затуманились, она медленно опустила веки, потом подняла, и глаза ее, раскрываясь все шире, вновь заблестели.

Между нами повисло молчание; глубокое, но не слишком тяжелое или мрачное. Сквозь него прорывалось звяканье утвари, которой мы орудовали, готовя рыбу по излюбленному Марией способу — под верхним огнем духовки; этот способ мне не нравился. А издалека доносился детский визг — от боли или от радости, я не могла определить.

Каждый вечер мы с Марией желали друг другу спокойной ночи, обязательно при этом обнимаясь и целуясь, но в тот раз мы проделали весь ритуал так, словно обе жалели, что вообще завели такой обычай. Уже почти выйдя из комнаты, она вдруг обернулась:

— Я все искала случая сказать тебе, что во мне течет индейская кровь, поэтому я умею и рыбу ловить, и на птиц охотиться, и кукурузу жарить, и много чего еще; все дело в индейской крови. Но теперь, даже не знаю почему, мне кажется, что говорить этого не стоило. Ты меня неправильно поймешь.

Я сильно удивилась.Что значит неправильно поймешь? А как правильно? Что она, собственно, хочет сказать? С виду в ней нет ничего, даже отдаленно напоминающего индианку. Тогда к чему делать такие заявления? У меня у самой индейская кровь. Моя бабушка родом из одного индейского племени Карибского бассейна. Но я же не сообщаю каждому встречному-поперечному, что во мне течет индейская кровь. Карибские индейцы были прекрасными мореплавателями, а я плавать по морю не люблю; я только смотреть на него люблю. Для меня моя бабушка — просто бабушка, а вовсе не индианка. Бабушка моя жива, а вот всех ее индейских предков давным-давно нет на свете. Если бы не боязнь нарушить закон, уверена: мою бабушку поместили бы в музей как образчик уже не существующего в природе вида, одну из горстки выживших особей. Между прочим, в каком-то из музеев, куда меня водила Мария, целый отдел посвящен давно умершим людям, которые приходились моей бабушке пусть и дальней, но родней.

А послушаешь, как Мария произносит "...во мне течет индейская кровь", так, ей-богу, подумаешь, что она удостоилась редкой награды. Виданное ли дело, чтобы покоритель заявлял, что он одновременно и покоренный?

Тут, слышу, Мария говорит: "Ну ладно", сопровождая слова долгим вздохом, полным печали, смирения, даже страха. Я подняла глаза: лицо у нее было несчастное, страдальческое, некрасивое. Она смотрела на меня умоляюще, словно ища утешения, но моя физиономия и взгляд были жесткими; утешения от меня ей в жизни не дождаться.

— А я вот все гадаю: как это ты умудрилась стать такой? — сказала я. — Каким, интересно, способом?

Но она и тут меня не отпустила. Протянула ко мне руки, распахнула объятия, чтобы, как водится, крепко прижать меня к груди. Но я быст-

ренько сделала шаг в сторону, и она осталась стоять с пустыми руками. А я снова повторила:

— Как это ты умудрилась стать такой?

Ее лицо мучительно скривилось; сердце у меня готово было разорваться, но уступать я не собиралась. Фальшивое, пустое оно было, мое торжество. Я сама это чувствовала, но все равно цеплялась за него изо всех сил.

Язык

В четырнадцать лет я обнаружила, что у языка на самом деле нет никакого вкуса. Я сосала язык мальчишки по имени Таннер, сосала потому, что мне нравилось смотреть, как пальцы Таннера бегают по клавишам, когда он играет на пианино. Еще мне нравилось смотреть на него сзади, когда он шел по выгону, нравилось, как пахло у него за ушами: стоя возле Таннера, я с удовольствием вдыхала этот запах. Вот по этим трем причинам я и оказалась в комнате его сестры (моей лучшей подруги) и, прижавшись спиной к закрытой двери, сосала его язык. Хоть бы кто мне тогда сказал, что язык сосут совсем не ради пикантного вкуса, — не стояла бы я там и не обсасывала язык бедняги Таннера, как будто это мороженое, с которого фруктовый наполнитель уже слизан, осталась одна ледышка. Посасывая, я размышляла: нет никакого смысла искать в языке вкус; главное — какие ты при этом испытываешь чувства. Помнится, я раньше любила говяжий язык в лимонном соусе с луком, огурцами и перцем. Но ведь на самом деле говяжий язык тоже совсем безвкусный. Зато под соусом — просто объедение.

Размышляла я о языке Таннера в столовой, где сидела за обеденным столом с Мириам, младшей дочкой Луиса и Марии, и ложку за ложкой совала ей в рот йогурт с пареным черносливом; это блюдо приготовила для нее мать. Мириам оно не нравилось, и, чтобы скормить его девочке, я стала рассказывать, что на самом деле это вовсе не йогурт с черносливом, а совсем особая еда, которую обожают феи, и встречается она только в чашечках диких цветов. Если Мириам проглотит побольше этой редкостной еды, говорила я, ей откроется такое, чего другие люди видеть не могут. В точности то же самое говорила мне моя мать, когда я отказывалась что-нибудь есть; я ей не верила, и теперь Мириам точно так же не верила мне. Есть-то она ела, но страшно долго, как и я в раннем детстве, когда меня кормила мать. Именно во время такого тягучего кормления я впервые по-настоящему внимательно посмотрела на малышку — как будто передо мной был интересный биологический экземпляр. Однако же я Мириам не мать, и развлекая ее за едой этими сказками, я всякий раз понижала голос, чтобы не услышала Мария. Она такого подхода не одобряла; в общении с детьми, считала она, самое главное — искренность и прямота, голая неприкрашенная правда. А от сказок, по ее мнению, ничего хорошего не жди, особенно от тех, в которых принцесс пробуждает от долгого сна поцелуй принца. Она явно полагала, что подобные истории создают у детей, особенно у девочек, совершенно ложные представления о том, что их ждет в реальной жизни, когда они подрастут. Ее разглагольствования о вреде сказок неизменно потешали меня, потому что мысленно я уже давно составила предлинный список вещей, создающих у человека неверные представления о том, что его в жизни ждет, но сказки в него не вошли.

Итак, стоял июнь, мы жили в доме на берегу Великого озера, в том самом доме, где Мария, когда была маленькой, проводила каждое лето и куда теперь, уже взрослой, наезжала с мужем и детьми. Мы приехали в самом начале школьных каникул. От обеденного стола нам с Мириам было видно Марию, стоявшую у кухонной мойки. Столовая и кухня составляли фактически одну огромную комнату, так что мы были от Марии довольно далеко и, если разговаривали негромко, до нее едва долетали наши приглушенные голоса. Она стояла у раковины, внимательно разглядывая травы, которые выращивала в горшочках на подоконнике. Косые солнечные лучи, бившие в окно, падали только на подоконник и краны мойки, и Мария из полумрака рассматривала освещенные солнцем растения. Наверное, Мириам воспринимала эту картину так: ее прекрасная, вся золотистая мамочка щедро одаряет любовью какие-то зеленые кустики — зрелище, очень часто представавшее глазам пятилетней малышки. Я же видела изнуренную старуху, в лице ни кровинки, костлявый нос заострился, рот обвис, будто из него удалили все мышцы, и губы никогда не раздвинутся в улыбке. Марии было сорок лет. Она часто повторяла: "Мне уже сорок", то с удивлением, то печально, словно с дурным предчувствием. Я не могла понять, почему она так относится к своему возрасту — будто она старая, никем не любимая женщина; мне становилось ее жалко до слез — настолько я к ней привязалась.

Но тут в комнату вбежал Луис. Луис был юристом и, наверно, поэтому постоянно что-то сосредоточенно читал. На этот раз в руке у него была большая газета, раскрытая на финансовых новостях; либо Луис только что разговаривал по телефону со своим биржевым маклером, либо собирался ему позвонить. Шутливо хрюкнув дочке и помахав мне газетой, он направился к Марии, обхватил ее сзади руками и лизнул в шею. Мария откинула голову, положила ему на плечо (она была чуть пониже мужа, и выглядело это некрасиво; гораздо лучше, когда женщина немного выше Луиса) и вздохнула; легкая дрожь удовольствия пробежала по ее телу. Что-то во всем этом было фальшивое; они совершенно не собирались делать то, что сделали. Это был спектакль, но не ради кого-то постороннего, а исключительно друг для друга. А как я это поняла? Просто почувствовала: они разыгрывают представление, нельзя его принимать за чистую монету.

У меня совсем не было ощущения, что я хорошо знаю Луиса, да я и не стремилась узнать его получше. Он мне нравился: рассказывал анекдоты, охотно меня смешил. По-моему, он меня жалел, ведь я уехала за тридевять земель от родного дома и была одна-одинешенька. Всякий раз, когда я с обидой отзывалась о родных, он говорил, что на самом деле я по ним тоскую. Своей матери он звонил ежедневно, но я не могла понять, любит он ее или нет. Иногда он обращался со мной как с одной из своих дочерей, рассказывал мне разные небылицы, внимательно наблюдая за моим лицом, сначала выражавшим полное доверие к его словам, а потом резко менявшимся, как только до меня доходило, что он мне морочит голову. Если мне случалось сказать что-то, на его взгляд, интересное, он засыпал меня вопросами, а потом приносил книги, о существовании которых я даже не подозревала. Он был на редкость хорош собой, профиль чеканный — хоть сейчас на медаль или на почтовую марку. Надо отдать Луису справедливость: он никогда не подчеркивал свою красоту, старался вообще не привлекать к себе внимания. Для мужчины это очень хорошая черта, я ее сразу отметила. Но я в него не влюбилась и даже не увлеклась им. Я была целиком на стороне Марии. Это

мне внушила мать: никогда не следует брать сторону мужчины — только женщины; подразумевалось, что ни в коем случае нельзя зариться на чужого мужа. Мать говорила на основании собственного опыта: женщины, которые любили моего отца, не отвечавшего им взаимностью, пытались убить ее, а моего отца и пальцем не тронули.

После того как Луис лизнул Марию в шею, а она прижалась к нему, вздохнула и одновременно вздрогнула, они остались стоять как склеенные. Наступило одно из тех мгновений, когда понимаешь, что перед мысленным взором человека проходит вся его жизнь. Вполне возможно, они думали об одном и том же; вполне возможно, что, размышляя об одном и том же, они пришли к одинаковым выводам. Однако при взгляде на них мне почудилось, что они страшно далеки друг от друга, как если бы очутились на разных планетах. Нельзя сказать, что в комнате воцарилась полная тишина; я все еще кормила Мириам и успела сообщить ей, что смесь чернослива с йогуртом на самом деле называется суп-пюре; слово ей явно понравилось, как и мне, когда я в пять лет впервые увидела его на одной баночке "Мармайт". Но когда задребезжал телефон, все мы дружно вздрогнули, потому что звон заполонил комнату, в нем слышалась тревога, требование очистить помещение, причем незамедлительно. Звонила Дайна, лучшая подруга Марии, — напоминала, что надо ехать за город отстаивать болото, находящееся под угрозой уничтожения. Болото это было, наверно, моим ровесником, но я не понимала, зачем так уж волноваться из-за исчезновения какой-то трясины.

Долгое время я предполагала, что вздох и легкая дрожь — вполне естественная реакция, если по вашей шее провели языком. В свое время, привыкнув сосать язык Таннера и уже не находя в этом занятии ничего необычного, я заметила, что когда он ладонями легонько поглаживает мои груди, а потом крепко их сжимает, меня пронзает удивительное ощущение. Не помню, с чего меня вдруг осенило, но только я притиснула к себе его голову и, пока он лизал мои груди, впиваясь в них губами, думала: "Пусть это длится без конца". В то время груди у меня были размером не больше клецок, вроде тех, что мама бросала в тыквенный суп, но мне-то казалось, что мое тело только из них и состоит. Я была уверена, что могу такое испытывать лишь с Таннером; но нельзя было давать себе воли: стоило мне вспомнить, как его губы касались моих грудей, и от одной мысли этой я теряла голову. Сидела ли я за партой в школе, лежала ли ночью в постели или шла по улице — я все время снова и снова, нарочито медленно, во всех подробностях перебирала то, что испытывала, когда Таннер елозил губами по моей груди. Потом я стала думать о губах и других мальчишек, не только Таннера. Как-то субботним днем я сидела в библиотеке за железным шкафом, просматривая старые журналы по биологии: надо было прочесть кое-какие статьи к уроку ботаники. За ближним столом расположился паренек, которого я едва знала — наши матери принадлежали к одной и той же сестринской общине при церкви; внезапно он встал, подошел ко мне и крепко прижался губами к моим губам, так крепко, что даже больно стало, — как будто он хотел в них впечататься. Я испытала сразу два противоположных чувства: мне это понравилось и одновременно не понравилось. Но когда он отстранился, я сделала ровно то же самое, что и он минуту назад, только еще и язык просунула ему в рот. На такую щедрость парень вовсе не рассчитывал и, выходя из библиотеки, вынужден был заслоняться спереди портфелем, чтобы прикрыть образовавшееся в штанах безобразие. Мы еще несколько раз

встречались по субботам в уголке за шкафом; но мой знакомец, подражая популярному в те дни певцу, носил прическу с высоко взбитым коком, а мне певец ничуть не нравился, да и опротивел запах бриллиантина, которым парнишка мазал волосы, чтобы они держали форму. Все окончилось так же, как началось, — без единого слова. Я перестала ходить по субботам в библиотеку, а он, случайно встречая меня на улице, ни разу не остановился и не спросил почему.

В день нашего приезда на озеро погода стояла очень жаркая — не по сезону жаркая, говорили кругом. Но я, впервые с тех пор как уехала из дому, была счастлива. Прошло уже полгода, и теперь я окончательно поняла, что ни за что не хочу возвращаться в родные края, но, если почему-либо и придется туда вернуться, я не стану покорно слушать суровые приговоры людей, которые считают себя вправе выносить их только лишь потому, что знают меня с рождения. Кроме того, мне полюбилась смена времен года: зима, весна, лето и осень. Какие замечательные названия, очень, казалось мне, для них подходящие. Летняя жара здесь сильно отличалась от той, к которой привыкла я. У нас в жару все живое старается укрыться в тени; солнце неизменно стоит над самой головой; чудится — стоит только протянуть руку, и коснешься его. В несусветном пекле сначала мерещится острастка, а потом — кара за грехи, которым несть числа. А эта новая, незнакомая жара казалась благословенной — приятный повод для разговора, яркий контраст с прошедшим полугодием. И дни делались такими длинными. Для меня было внове, что солнце садится после восьми вечера, а потом еще больше часа длятся сумерки. Земля теперь представлялась мне эксцентричным субъектом с разнообразными обличьями и повадками.

После завтрака, часов около десяти, мы с девочками — Луизой, Мей, Джейн и Мириам — каждый день ходили на озеро. Прихватив приготовленные мной сандвичи и накинув поверх купальников рубашки, мы отправлялись в долгую дорогу через лес. Местность там неровная, тропинка бежала то вверх, то вниз, вдобавок на нас непременно нападали стайки кусачих насекомых. Дети-то к ним привыкли, но я страдала и ныла всю дорогу до озера и обратно. Конечно, можно было бы ездить туда на машине — увы я не умела водить автомобиль. В своем объявлении Мария специально указала, что требуется девушка, умеющая плавать и водить машину; но по переписке, заменившей нам личную беседу при найме на работу, я ей очень понравилась, и она решила, что потом мы сообща что-нибудь придумаем.

Обычно я носила Мириам на спине: она терпеть не могла эту длинную прогулку и, прошагав немного, приобретала такой жалкий вид, что приходилось сажать ее себе на закорки. Я полюбила Мириам, как только увидела. За долгое, долгое время она стала первой, кого я полюбила, а почему привязалась именно к ней, я и сама не знала. Мне очень нравилось, как от нее пахнет; я сажала ее себе на колени, склонялась к ней и вдыхала ее запах. Скорее всего, она напоминала мне, какой я сама была в ее возрасте; и я обращалась с ней точно так же, как, помнится, обращалась со мной в детстве моя мать. Если ночью Мириам вскрикивала во сне, я без малейшей досады вставала, чтобы убаюкать ее, а если ей было страшно оставаться одной, клала к себе в постель; она сразу успокаивалась, обвивала ручонками мою шею и снова засыпала. Всякий раз, бывая в отлучке, я больше всего скучала по Мириам и постоянно о ней думала. А почему, даже не объяснишь. Просто любила я эту девчушку. Поэтому с

готовностью тащила ее на себе через лес целых пятнадцать минут, а весила она, между прочим, сорок фунтов[1].

Я терпеть не могла ходить по лесу; там было темно и сыро, солнечный свет с трудом пробивался сквозь кроны деревьев. Как я себя ни разубеждала, мне все время чудилось, что за стволами прячется кто-то или что-то, хотя там явно ничего не было. Это напоминало мне о родных местах. Ведь в краю, откуда я приехала, никому и в голову не приходило рассуждать о том, что́ есть что "на самом деле": там едва ли не любой предмет мог производить одно впечатление, а на деле обернуться чем-то совсем иным. Маленькой девочкой, в том возрасте, когда я еще запросто прикасалась к матери, я любила, сидя у нее на коленях, гладить большой шрам на левой стороне ее лица, там, где на виске начинаются волосы. Мать росла в деревне и малышкой вынуждена была ходить в школу, расположенную далеко от дома; дорога пролегала через тропический лес и две небольшие речки. Как-то раз, идя домой через джунгли, она увидела на дереве обезьяну. Пристальный взгляд животного не понравился девочке, и, подняв с земли камень, она запустила его в мартышку. Та увернулась, и камень просвистел мимо. Так продолжалось несколько дней: проходя мимо мартышки, смотревшей неприятным пристальным взглядом, девочка бросала в нее камень, а та уклонялась и оставалась невредима. Но однажды, когда девочка швырнула камень, обезьянка его поймала и бросила в обидчицу. Камень попал в голову, кровь хлынула потоком, будто лилась не из человеческого тела, а из бездонного кубка. Все боялись, что кровотечение не удастся остановить и ребенок умрет от потери крови, а потому очень удивлялись, что девочка осталась жива, считая это чудом, хотя на самом деле спасла ее мать, большая искусница по части врачевания.

Это лишь одна из многочисленных известных мне историй о местах, где растут деревья, и все до единой они кончаются несчастливо. Поэтому, как только мы вступали в лес, я заводила разговор — либо с детьми, либо, если они не проявляли интереса к беседе, сама с собой. В конце концов я настолько привыкла к своим страхам, сопровождавшим меня в лесных прогулках, что стала ходить в лес одна и даже начала замечать его красоту; так мой мир еще немножко расширился.

Добравшись до озера, мы с детьми сразу окунались в воду, чтобы остыть с дороги. Потом принимались обследовать берег, обедали взятыми из дома припасами, играли в воде; я читала им книжки. Вскоре после того, как у нас вошло в обычай ежедневно ходить на озеро, уселись мы однажды в теньке под кустом, названия которого я еще не знала, и стали разглядывать проходивших мимо людей. Луиза и Мей тут же сочиняли про них истории — про жизнь, которую вели бы эти прохожие, если бы были собаками разных пород. Истории у них выходили до того затейливые и смешные, что я хохотала до колик. Вот мы заметили приближавшуюся к нам женщину; у нее были длинные черные волосы, которые то и дело падали ей на лицо, и она откидывала их обеими руками. Девочки тут же решили, что она — собака лабрадор, и принялись сочинять историю про Лабби. Женщина подошла ближе, и мы узнали Дайну, лучшую подругу их матери. Поняв, что мы чуть не спутали Дайну с собакой, мы развеселились, а она подумала, что мы хохочем от радости, увидев ее. Дайна была из тех людей, что полагают, будто от одного их появления окружающие приходят в неистовый восторг.

1. Примерно 18 кг.

Я познакомилась с Дайной на следующий вечер после того, как мы приехали к озеру на летние каникулы, и она мне не понравилась. Не понравилась потому, что, когда Мария представила нас друг другу, Дайна сразу бросила:

— А, стало быть, ты приехала с островов?

Сама не знаю почему, но от этих слов во мне вспыхнула ярость. Меня подмывало сказать ей в ответ что-нибудь вроде: "Какие именно острова вы имеете в виду? Гавайские? Или те, из которых состоит Индонезия? Или еще какие-нибудь?" И произнести все это тоном, от которого она почувствует себя полным ничтожеством — как почувствовала я себя после ее вопроса. Но Мария, уже прекрасно меня знавшая, начала громко откашливаться, как будто в горле у нее застряла лягушка величиной с луну. Позже, когда по заведенному обычаю мы с Марией болтали, прежде чем отправиться спать, она выразила надежду, что Дайна все же завоюет мое расположение, ведь она — чудесный человек, щедрая, добрая душа.

— А больше всего мне в ней нравится, что она любит жизнь во всех ее проявлениях.

И тут у меня чуть не вырвалось: "Вот-вот, ты хочешь сказать, любит *твою* жизнь. Твою жизнь она и правда любит во всех ее проявлениях". Но я прикусила язык, потому что если бы Мария попросила меня растолковать мои слова, я бы этого сделать не сумела. Есть особый тип женщин, которых Дайна мне напоминала; я таких не терплю. Она была очень красива и придавала своей внешности огромное значение. А среди убеждений, сложившихся у меня об окружающем мире, было и такое: женщине не стоит чересчур обольщаться своей красой, потому что краса эта, как и многое другое, не вечна — уйдет, и не воротить ее никакою силой. Дайна же, как я заметила, свою внешность обожала: то и дело приглаживала волосы, от макушки до самых кончиков, подносила ладони ко рту, не из застенчивости, а чтобы привлечь внимание к своим прекрасно очерченным губам — такие губы рисуют на рекламе губной помады. Я женщин такого сорта не люблю, и это лишь подчеркивает, каким редким человеком была Мария: она видела в Дайне вовсе не завистницу, а добрую и преданную подругу.

Дайна осыпала детей знаками своего расположения: ерошила им волосы, щипала за щечки, хватала сидящую у меня на коленях Мириам, не обращая при этом на меня ни малейшего внимания. Для особы вроде Дайны любой человек моего положения — всего лишь "нянька"; знаете выражение "нянька при детях"? Ей в голову бы никогда не пришло, что я с первого же взгляда ее раскусила, что считаю ее типичным образчиком определенной породы людей, существом, которому не должно быть места на земле, до которого не стоит опускаться, существом, которое я вижу насквозь: женщина, влюбленная в жизнь другой женщины, но от этого чувства в ней возникает не стремление подражать чужой жизни, а одна лишь голая зависть. Смех, да и только. Ведь у нее имелся собственный муж, собственные дети (два мальчика и две девочки), собственный дом в городе и еще один на озере — то есть все то же самое, что и у Марии, и все-таки Мариино ей нравилось больше. Как это объяснить?

Временами я любила Марию, прежде всего потому, что она напоминала мне мать. Временами я Марию не любила — потому, что она напоминала мне мать. Как-то Мария любовалась пышным букетом розовых и белых цветов, стоявшим на кухонном столе; однажды, поехав с Луисом по делам в Скандинавию, она приметила этот стол в старом сельском доме в

Финляндии, и так он ей приглянулся, что она его тут же купила и отправила в Америку (когда Мария мне это рассказала, я изумилась: надо же, углядеть на другом конце света какой-то древний предмет кухонной обстановки, прельститься им и, невзирая на все хлопоты, переправить домой, чтобы он стал твоей собственностью навеки). В тот момент мне пора уже было идти наверх купать детей, но картина эта показалась мне настолько прекрасной, что я не могла оторвать от нее глаз. Сколько раз я видела свою мать в окружении разных растений: она высаживала их в определенном порядке, заставляла расти так, как нужно ей; помнится, только рядом с растениями мать бывала безмятежной, неподвижной; обычно-то ощущение было такое, будто она находится в беспрестанном движении, даже когда стоит на месте. Многое в Марии все больше напоминало мне то, что я любила в своей матери. Руки у нее были очень похожи на мамины — крупные, с длинными пальцами и квадратными ногтями; у обеих руки казались орудиями для наведения порядка и красоты. Иногда, желая подчеркнуть что-то, обе воздевали руки и замирали; а то вдруг их ладони становились сосудами, предназначенными для чего-то необычного; порой чудилось, что обладательницы таких рук должны превосходно играть на каком-то музыкальном инструменте, хотя на самом деле им обеим медведь на ухо наступил. Приняв мой изучающий взгляд за проявление любопытства к цветам, Мария подняла хрустальную вазу и сказала:

— Это пионы. Красавцы, правда?

— Правда, — согласилась я и добавила: мол, кто бы подумал, что в здешнем климате могут расти такие цветы, да еще и цвести безоглядно, как будто впереди — вечное лето.

Мария поставила вазу передо мной и велела понюхать. Я понюхала и сказала, что от такого запаха хочется раздеться догола, лечь и усыпать все тело лепестками, чтобы пропахнуть ими навсегда. Услышав мои слова, Мария широко раскрыла глаза и охнула, шутливо изображая высоконравственную школьную учительницу, а потом расхохоталась, да так, что поспешно поставила вазу на стол, опасаясь, что выронит ее и разобьет. И тут я горько пожалела, что не было таких же минут в нашей с мамой жизни, но, по непонятной для меня причине, у нас подобное не допускалось.

До отъезда на озеро Мария все волновалась, что мне будет одиноко, общаться не с кем и я буду скучать по своей подружке Пегги. Пегги ей решительно не нравилась: она курила, пересыпала речь жаргонными словечками, носила джинсы в облипку и блестящие, "под змеиную кожу", сапожки, волосы расчесывала редко, кое-как и к тому же напускала на себя такой загадочный вид, что тем, кто ее плохо знал, становилось не по себе. Я познакомилась с Пегги в парке, куда привела погулять малышку Мириам. Пегги прохаживалась там с двоюродной сестрой, которая приехала из Ирландии и тоже работала прислугой. Пегги терпеть не могла кузину и общалась с ней только из чувства родственного долга. Они были полной противоположностью; сестра Пегги полагала, что приличный внешний вид и достойное поведение — залог победы в жизни. Я и раньше несколько раз встречала эту девицу вместе с вверенными ей детьми; мгновенно определив друг в дружке чужестранку, мы попытались сойтись поближе, но безуспешно. Причину я поняла только позже, когда Пегги рассказала мне, что за человек ее кузина. Самое смешное, что мы с Пегги тоже не очень-то схожи по характеру, но как раз это нам обе-

им и нравилось; каждую привлекали качества, отсутствовавшие у нее самой. Пегги ненавидела чтение, даже газет не читала. Не выносила солнечного света и постоянно ходила в темных очках, даже поздним вечером или в доме. Терпеть не могла детей и собственное детство вспоминала с ненавистью и презрением. Ненавидела тишину, совершенно не умела сидеть неподвижно, глядя в пространство. Жила она вместе с родителями и раз и навсегда отказалась знакомить меня с ними, потому что, по ее словам, они глупы как пробка и ненавидят всех, кроме выходцев из Ирландии и ее окрестностей. Пегги носила в бумажнике фотографию трех сестер, певиц из одной музыкальной группы. Мне было ясно, что ей хочется походить на них: она то и дело надувала губки, словно она — девушка с непростым характером, которой угодить ой как трудно. На самом деле Пегги не была певицей, ладить с ней было вовсе не трудно и угодить легко. Она работала в местной администрации, в отделе учета транспортных средств: шлепала на утвержденные и неутвержденные документы соответствующие печати. Жила далеко от того города, где у Марии с Луисом я обосновалась и где работала сама Пегги, поэтому дважды в день ей приходилось ездить на поезде: утром на работу, вечером домой. Когда я впервые увидела Пегги, она стояла в стороне, держась подчеркнуто особняком, и, вздернув сутулые плечи, глубоко затягивалась сигаретой "Лаки страйк". Эти сигареты я узнала мгновенно, их курил мой отец. До этого случая мне не приходилось видеть, чтобы "Лаки страйк" курила особа женского пола. Сама я всегда об этом мечтала, а потому тоже начала было их курить; однако затягиваться так и не научилась и вскоре отказалась от этой затеи. Когда ее двоюродная сестра знакомила нас, Пегги приспустила на кончик носа очки и поверх них взглянула на меня.

— Привет! — бросила она странным голосом — как будто ее горло изнутри оплетено паутиной.

Она начала рассказывать мне про долгую поездку, из которой только что вернулась, но вдруг, оборвав себя, сказала:

— А ты, похоже, не из Ирландии. Говорок у тебя какой-то странный.

Я засмеялась и все не могла остановиться, ничего более потешного я давно не слыхала. Что ни говори, а выходцы из Ирландии не сильно на меня смахивают. Мы обменялись телефонами и потом перезванивались хотя бы раз в день, а то и чаще. Встречались каждые выходные, иногда и среди недели. Рассказывали друг другу все, даже сознавая, что подруга навряд ли поймет подспудный смысл сказанного.

Марию моя новая дружба выводила из себя. Прямо запретить нам с Пегги встречаться она не могла — все-таки не мать, не отец; тем не менее она старалась образумить юную няньку, предостерегая ее от дурного влияния девицы вроде Пегги. Ноги ее не должно быть в нашем доме, говорила Мария, и к детям ее близко нельзя подпускать. Но как-то субботним вечером мы с Пегги вволю погуляли: сходили в кино, обшарили магазины грамзаписей и, купив марихуаны, выкурили ее вдвоем, потому что никому из встретившихся нам парней не могли довериться настолько, чтобы пойти к ним домой; но мы прозевали последний ночной поезд, и пришлось Пегги ночевать со мной в моей комнатенке. Конечно, я могла бы попросить ее уйти спозаранку — тогда Мария и не заподозрила бы, что она побывала в доме, — но почему-то не решилась. Я объяснила Марии, что Пегги опоздала на поезд.

— Я вижу, Пегги тебе очень нравится, — сказала в ответ Мария, — да и вообще — тебе же нужна подружка.

Вот в чем Мария была не в пример выше моей матери: той и в голову никогда бы не пришло, что мои потребности могут быть важнее ее желаний.

И теперь, на озере, я скучала по Пегги, особенно по вечерам, от ранних сумерек до того часа, когда пора было укладываться спать. Мы старались ежедневно разговаривать по телефону — она звонила с работы, за счет конторы, — но это совсем не то, что встречи. Мария заметила, что мне тоскливо, и решила познакомить с новыми людьми — ее друзьями и их детьми, моими ровесниками. Они с Луисом пригласили гостей.

Дома, то есть в моем прежнем доме, я частенько в свободное время рассматривала каталог, по которому отец каждый год заказывал себе новую фетровую шляпу и парадные туфли. В каталоге были фотографии разных видов одежды, надетой на манекены, но у манекенов не было ни голов, ни рук, ни ног, одни туловища. Я развлекалась тем, что пыталась представить себе, какое лицо подошло бы тому или другому торсу, какая у него была бы улыбка, как обладатель лица смотрел бы на меня, если бы нас вдруг познакомили. И тут, на вечеринке, я вдруг поняла *как*: все эти люди, стоявшие вокруг с бокалами в руках, напомнили мне манекены из того каталога; их одежда, черты лица, манера держаться — всё было образцом, которому положено подражать. И фамилии под стать: Питерс, Смит, Джоунс, Ричардс; такие фамилии легко произносить, на них мир держится. Почему-то все они побывали на островах — под "островами" подразумевались мои родные края — и прекрасно провели там время. Одного этого мало, чтобы мне понравиться, решила я и снова пожалела, что не родилась в какой-нибудь дыре, куда никого на аркане не затащишь, например там, где высятся шлаковые терриконы, внезапно начинаются извержения вулканов, а ступивший на берег приезжий немедленно превращается в камень. Отчего-то было стыдно, что, съездив на мою родину, люди только и могли потом сказать: "Там было замечательно". Подошла Дайна с мужем и братом; на самом деле Мария давно хотела познакомить меня с братом подруги. Он на три года старше тебя, рассказывала Мария, очень умный и искушенный в жизни человек, только что вернулся после годичного путешествия по Азии и Африке. Про внешность она ничего не сказала, и поначалу, увидев его, я и сама не могла понять, красив он или нет; зато, когда нас познакомили, он первым делом спросил:

— С какого именно из Вест-Индских островов вы приехали?

И я сразу прониклась к нему настоящей глубокой симпатией.

Звали его Хью. Мне понравился его голос, но не потому, что он мне о чем-то вдруг напомнил, — просто понравился, и все. Понравились глаза — обыкновенные, карие. Понравился рот, и я представила себе, как он целует все мое тело; рот был тоже самый обычный. Понравились руки, и я представила себе, как они ласкают все мое тело; они тоже ничем не отличались от самых обычных рук. Волосы были неровно подстрижены, словно кое-как обрезанная хлопчатобумажная пряжа, для придания шелковистости травленная щелочью; цветом они напоминали теплое коричневое пальто. Он был дюймов на пять ниже меня, и это мне особенно понравилось. Пахло от него сандаловым деревом — очень привычно, потому что по воскресеньям отец пользовался кремом для бритья, который пах точно так же. Познакомившись, мы больше ни с кем не говорили, только друг с другом. Ничего такого, что должно было запомниться надолго, ни один из нас не сказал. В конце концов мы устроились на траве за высокой густой изгородью из кустов шиповника, подальше от прочих гостей. Долго сидели молча.

— Уехать от всего, с чем успел сродниться, уехать так далеко, что становишься словно бы другим человеком и даже не уверен, что когда-нибудь захочешь вернуться в свой привычный мир, — вот высшее блаженство, правда? — сказал Хью.

Я отлично понимала, о чем он говорит, и, благодарно вздохнув, прижалась к нему всем телом, как будто в целом свете никого и ничего больше не осталось. Он целовал мое лицо, уши, шею, рот. И я наслаждалась его ласками, как никогда и ни с кем прежде, — потому, наверно, что давным-давно никто так не касался моего тела; еще, наверно, оттого, что была страшно далеко от родного дома. А влюбиться я не влюбилась.

Мы все еще лежали на траве. Совершенно раздетые. Уже совсем стемнело, но воздух был по-прежнему жарким, в нем стоял густой аромат цветущего шиповника, дурманный, но восхитительный. У меня было такое чувство, будто во мне не осталось места ничему плохому, и тут вдруг я вспомнила, что забыла предохраниться, хотя Мария без устали твердила, что об этом надо помнить всегда. Она уже однажды водила меня к своему врачу, и всякий раз, когда я отправлялась гулять с Пегги, Мария напоминала: нужно воспользоваться тем, что дал мне доктор. До месячных оставалось еще две недели, и при мысли, что менструации может и не быть, я вдруг оцепенела. Я готова была все эти две недели бегать без передышки — либо к концу этого времени начнутся месячные, либо я умру от изнеможения. Меня затрясло так, что Хью это заметил.

— В чем дело? — спросил он, снова притянув меня к себе.

Он зарывался лицом в волосы у меня под мышками; брал ртом поочередно мои груди, будто намеревался проглотить их целиком. Он хотел, чтобы я заново пережила то, что мы с ним испытали минуту назад, но теперь мне вспоминалось лишь мое прошлое, с его волнениями и страхами.

Когда мне было лет двенадцать, я получила в подарок три ярда ткани. Рисунок на ней был препротивный: коричневые коробки с надписью "Пандора" на боку, а из-под каждой приоткрытой крышки вылезал черный волосатый зверь. С маминого разрешения мне сшили из отреза платье — без рукавов, с глубоким вырезом в виде сердечка; в нем вполне можно было пойти на праздник, но, конечно, не в церковь. Как-то, надевая это платье, я высоко подняла руки над головой и вдруг увидела нечто поразительное — по клочку коричневатых курчавых волос в каждой подмышке. Я была потрясена; для меня это был знак того, что, надеялась я, со мной-то уж никогда не случится: знак того, что некоторые стороны моей жизни теперь нельзя будет скрыть от матери и от других людей. Теперь любой, взглянув на меня, сразу кое-что смекнет. Схватив мочалку, я принялась изо всех сил тереть под мышками, но волосы оставались на том же месте, исчезать не собирались. Да я и сама знала, что так будет, но удержаться от попытки извести их не могла. И тут я подумала: если волосы выросли в одном месте, может, они появились и в других местах? Я сунула руки в трусы. Так и есть, мои худшие страхи оправдались: там тоже выросли волосы, коротенькие, курчавые, как на головке младенца. Бывало, попав в переделку, от которой становилось муторно на душе, я твердила себе: постой, я сейчас проснусь — и просыпалась. Но здесь был не сон, здесь была реальная жизнь. Во мне происходили перемены, и остановить их я не могла никакою силой. Недолгое время спустя, собираясь в школу, я пошла помыться. Все утро мне было как-то не по себе, я жаловалась матери на боль в животе и озноб. Я разделась. Сняла трусы. На них были пятна цвета ржавчины, но я не поняла, что это

кровь. Все равно перепугалась и громко позвала на помощь маму. Увидев причину моего испуга, она так и покатилась со смеху. А потом сказала: когда-нибудь на коленях будешь бога молить, чтобы трусы оказались запачканы кровью.

Следующие две недели я не сильно волновалась из-за месячных. Даже если сами не придут, мне незачем было ломать голову над тем, как их вызвать. Я знала как. Не объясняя подробно, отчего у меня могут прерваться менструации, мама показала, какие травки надо собрать, как сделать отвар и в какое время дня пить полученное снадобье, чтобы восстановить застопорившийся почему-то цикл. Все это, по ее словам, нужно делать для укрепления стенок матки, но в глубине души мы обе знали, что вовсе не из-за слабой матки может прерваться цикл. И она понимала, что я тоже это знаю, но мы изображали друг перед другом невинность и воспитанность, причем настолько усердствовали в лицедействе, что в конце даже обе присели в реверансе. Однако теперь возникло одно затруднение: травки эти ведь не растут там, куда я переехала, и если они мне вдруг действительно понадобятся, придется писать матери и просить их прислать. Но для этого надо будет переступить через себя: узнав, какие именно травы мне требуются, мать сразу поймет, чем я тут занималась, а я дала себе зарок, что скорее умру, чем предстану перед ней в таком жалком положении — не замужем и с ребенком.

Впервые за очень долгое время я перестала жить только настоящим и с нетерпением заглядывала в будущее. Не то чтобы я ожидала от каждого нового дня несказанных удовольствий и радостных сюрпризов; просто меня переполняло какое-то удивительное чувство. Если бы меня кто-нибудь тогда спросил, что я думаю о жизни, я не стала бы лукавить: "Да, жизнь, в конце-то концов, не такая плохая штука". Услышав, как я насвистываю песенку, Мария спросила, уж не Хью ли повинен в таких переменах; нет, ответила я, но по выражению ее лица поняла, что она мне не совсем поверила. По ее понятиям, раз девушке очень нравится проводить с кем-то время определенным образом, значит, она в этого человека наверняка влюблена. Но я не была влюблена в Хью. Я чувствовала, что любовь сильно осложнила бы мою жизнь. Прошло всего полгода, как я выпуталась из почти неразрывных уз, а уж новые мне были решительно ни к чему. Все происходящее я воспринимала очень легко и просто. От одной мысли о руках и губах Хью у меня возникало ощущение, будто я сотворена из драгоценного шелка; однако скажи мне кто, что Хью внезапно и надолго уехал, я бы лишь обронила: "Очень жаль", потому что он мне еще не успел надоесть, и пожав плечами, успокоилась бы. Ведь впереди уже маячило пятнадцатое сентября, когда я, чуть подогнув колени, наклонюсь к Хью, чтобы поцеловать его в щеку, потом сяду в машину и буду долго махать из окошка, пока он не скроется из виду. А прикипать душой к этому парню — вернее сказать, мужчине, — которому нравится, как цепко обвиваются вокруг его пальцев крутые завитки моих волос на голове и в других местах, едва ли стоит девушке моего возраста, и уж точно не стоит мне.

Мария, Дайна и их знакомые очень огорчались из-за уничтожения, как они уверяли, окружающих угодий. На землях, где раньше, по их словам, расстилалась пашня, теперь выросли дома. Мария показала мне одно место — прежде там был широкий луг, на который она еще девочкой бегала искать яйца малиновки или собирать полевые цветы. Она так громко сокрушалась по бесследно исчезающей идиллии, что Луиза, как раз всту-

пившая в тот возраст, когда дочь начинает восставать против матери, спросила:

— Ну а что здесь было до того, как построили дом, в котором мы сейчас живем?

Этот вопрос вертелся и у меня на языке, но я помалкивала, понимая, как больно он ранит Марию.

Мария решила написать и проиллюстрировать книгу об особенностях исчезающего мира, а все деньги, которые удастся за нее выручить, отдать организации, призванной этот мир спасать. Как и Мария, члены той организации были сплошь люди состоятельные, однако они не усматривали никакой связи между собственным жизненным комфортом и поразившим всю округу упадком. Я могла бы их на сей счет вразумить. Вот бы вам хлебнуть хоть ложечку той каши, которую вы сами заварили, сказала бы я.

Бывало, Мария спозаранку уходила в окрестные поля и леса зарисовывать различных представителей флоры и фауны в среде их обитания; возвращалась она лишь к вечеру и с таким видом, что сомнений не оставалось: всё вокруг доживает последние дни и вот-вот исчезнет с лица земли.

Мария была добрейшим существом, более доброго человека я не встречала. Забота о погибающей природе была для нее вполне естественна. Иной человек сказал бы, что источник Мариной доброты — обеспеченная жизнь, но ведь многие столь же благополучные люди отнюдь не проявляют подобной доброты и участливости. Именно поэтому у меня язык не поворачивался сказать ей, что если бы и впрямь удалось спасти от гибели все, что ей хочется сберечь, то сама Мария, скорее всего, оказалась бы в стесненных обстоятельствах. У меня язык не поворачивался предложить ей вникнуть в ежедневные телефонные переговоры Луиса с его биржевым маклером: нет ли какой связи между этими беседами и гибелью на ее глазах того, что ей так дорого? Вообще-то я большая охотница говорить людям подобные вещи, но Марию я полюбила глубоко и сильно.

Между Марией и Луисом давно шел спор: что за животное поедает побеги овощей на клочке земли, который Луис собственноручно вскопал и удобрил? Дело в том, что там, на озере, ему совершенно нечем было заняться; он читал бумаги, которые по его просьбе присылали с работы, и всевозможные книжки, но житье в доме с видом на озеро было ему не по нутру. В отличие от Марии, Луис явно не принадлежал к тем людям, кто считает такой вот дом лучшим местом для летнего отдыха и готов сидеть там с середины июня по середину сентября. И потому, скорее всего просто от нечего делать, Луис развел маленький огородик, на котором выращивал фасоль, шпинат, салат и несколько помидорных кустиков, приносивших томаты размером с виноградины. Огородничал Луис уже давно и неизменно наслаждался всеми, так сказать, плодами своих трудов. Но в этот раз стоило какому-либо росточку показаться из земли, как ночью появлялось загадочное животное и поедало зеленые стебельки. Луис огородил грядку забором, но зверь пролезал под оградой и сгрызал побеги дочиста. Луис был уверен, что потравой занимается кроличье семейство, любимцы Марии и детей, заманивавших зверьков даже в дом.

Мы все сидели за обеденным столом, приканчивая испеченный Марией вкуснейший пирог с красными ягодами, и вдруг Луис опять завел

речь о гибели своих овощей. Желая отвлечь мужа от кроличьей темы, Мария сказала, что в округе водятся жуки, срезающие молодые ростки как ножом; только, конечно, в борьбе с вредителем не надо прибегать к пестицидам, добавила она. Луису стоит поискать природное средство, например какого-нибудь естественного врага этих жуков. А через минуту-другую, дав всем возможность позабыть об уничтоженных овощах, Мария ликующим голосом сообщила, что приметила еще одно семейство кроликов, поселившихся у въезда в усадьбу. Поразительно, даже не верится, говорила она, но зверьки подходили к ней очень близко, на расстояние нескольких дюймов, и глядели ей прямо в глаза, будто пытаясь что-то сказать, поведать тайны своей жизни.

— О господи! — воскликнул Луис. — Опять эти проклятые кролики!

Вскинув вверх кулаки, он с такой силой бахнул ими по столешнице, что стоявшая на ней посуда — тарелки, чашки с блюдцами, блюдо из-под пирога, вилки-ложки — запрыгала и зазвенела, как при землетрясении, а один стакан даже опрокинулся и, скатившись со стола, разбился вдребезги. Мы дружно уставились на Луиса; в повисшей надолго тишине оцепенело смотрели на него, и всё. В этой тишине, вероятно, народился совсем новый, незнакомый нам мир; но дети были слишком малы и не могли понять его природу, я же впервые столкнулась с подобной ситуацией. Зато Мария непроизвольно прижала обе руки к губам, словно изо всех сил пыталась удержать нечто, рвавшееся наружу. В истории человеческой культуры все уже описано, думала я, даже разбившийся об пол стакан — где-то и о нем говорится, — но ни единым словом не упомянуто ощущение беды, которое может воцариться за обеденным столом. Мы замерли, не в силах вырваться из-под власти той минуты, которая для каждого из нас означала, несомненно, что-то свое, но никому не сулила добра. Чары рассеяла Мириам: она заплакала, громко и безутешно — так плачут дети, когда чуют неладное, хотя и не понимают, в чем дело. Я взяла малышку на руки, стала успокаивать, целовать ее головенку, но мне впору было точно так же утешать и себя — я почувствовала, что вот-вот утрачу нечто важное, только что обретенное. Я повела детей наверх в мою комнату, и мы стали играть в карты.

Однажды Мария уговорила Луиса поехать с ней на болота. В тот самый день я получила от матери десятое письмо, на которое не собиралась отвечать; не собиралась даже вскрывать конверт, как поступила и с девятью предыдущими. Мне кажется, я слышала, как отъехали на машине Мария с Луисом: вроде бы помнится шуршание колес по грунтовой дороге; такое, во всяком случае, у меня осталось впечатление, но наверняка поручиться не могу; скорее всего, я по-настоящему и не вникала в смысл этих звуков. Зато потом часто думала: не был ли стук захлопывающейся дверцы машины или шорох колес на грунтовой дороге предупреждением о неких событиях? Я собиралась с детьми на озеро, и вдруг послышался пронзительный крик; мы бросились к окну, со стороны которого донесся этот вопль. И увидели Марию. Вся в слезах, она бежала к дому, размахивая руками так, будто дирижировала хором. Она исчезла в дверях, и когда мы уже готовы были кинуться вниз, чтобы узнать, в чем дело, за окном появился Луис. Он шел не спеша, держа в руках обмякшее тельце зверька — кролика. На лице у Луиса было забавное выражение — как у мальчишки на смешном рисунке: проказник подсунул матери под блюдце живую мышь и, получив желаемый результат, прикидывается, что не понимает, из-за чего шум-гам. Шагал себе Луис по дорожке, почему-то вдруг поднял глаза и в раме большого окна увидел за стеклом пять

наших физиономий. На мгновение он остановился; что́ уж он прочел на лицах дочерей, не знаю, но неожиданно для себя самой я его пожалела. Он вдруг показался мне одиноким, несчастным; этот день запомнится ему как один из самых горьких в жизни, подумала я.

Кролику устроили торжественные похороны, но я не могла заставить себя в них участвовать. Церемония эта была очередной неправдой; у некоторых детей, как я все больше убеждалась, подобной фальшью прямотаки изобилует семейная жизнь с родителями. А ведь раньше я думала, что фальшь свойственна исключительно мне и моей семье, и невскрытые конверты с письмами от матери были главным тому свидетельством. Мария и Луис объяснили детям, что кролик попал под машину случайно, причем сказано это было так, что у меня не оставалось сомнений: они хотели, чтобы у детей сложилось впечатление, будто машина наехала на животное сама, своим ходом. Но как только девочки вышли из комнаты, Мария принялась обвинять Луиса в том, что он нарочно задавил кролика, а Луис утверждал, что это был несчастный случай, что он вильнул, пытаясь объехать зверька, но бедняга сделал ровно тот же маневр.

— Однако же ты не сожалеешь о том, что сделал, правда? — спросила Мария.

— Да, ничуть не сожалею, что все так произошло, — отвечал Луис.

Разница существенная, но в подобных обстоятельствах разве можно было ожидать, что Мария ее заметит?

Все остается неизменным, и, однако, ничто не остается неизменным. Много лет назад, впервые открыв для себя эту истину, я поделилась ею с матерью; увидев, что мысль эта ей более чем знакома, я ошеломленно онемела.

Однажды старшая девочка, Луиза, прочитав письмо от одного из своих школьных приятелей, сказала мне:

— Мои родители очень любят друг друга.

Она произнесла это, подчеркивая каждое слово, и я пристально посмотрела на нее, предполагая, что сейчас она откроет мне нечто важное. И потом, с чего она вообще об этом заговорила? Может, в связи с письмом?.. Или что-то такое носится в воздухе? За несколько часов до той сцены я вошла в комнату, и до меня долетели слова Марии, обращенные к Луису:

— Что же с нами происходит?

Тут в комнату вплыла Дайна; она совершала свой ежедневный моцион и заглянула на минутку — просто поздороваться. До ее прихода Мария и Луис стояли, словно прилетевшие с разных планет существа, которые пытаются отыскать в истории свидетельства общего прошлого, но ничего не находят. Жуть. При появлении Дайны настроение Луиса переменилось. Он был все в той же комнате, но уже не с Марией — он был в одной комнате с Дайной. Луис и Дайна принялись обмениваться шутками, взрывы их смеха сплетались в воздухе, подобно разноцветной многослойной тянучке. Ничего не замечая, Мария попыталась было присоединиться к их веселью, но стоило ей завести о чем-нибудь речь, они тут же заговаривали о другом, совершенно постороннем предмете. Все это произошло очень быстро; и если бы не моя острая неприязнь к Дайне, возможно, я бы ничего не заметила. Я, однако же, обратила на эту подробность внимание, и она показалась мне очень важной — так крошечный, снятый с большим увеличением фрагмент карты может дать надежду, что там отыщется ключ к разгадке. Мы с Марией вместе

вышли из комнаты, но я забыла взять то, за чем, собственно говоря, туда зашла, и вернулась. Луис стоял за спиной у Дайны и, обхватив за плечи, водил языком по ее шее; я сразу увидела, что Дайна упивается лаской. Делалось это совсем не напоказ, тут все было всерьез. А я сразу подумала о Марии, о ее многочисленных и заполненных фотографиями альбомах, которые неизменно открывались снимками той поры, когда она с Луисом только-только познакомилась, — в Париже под сенью Эйфелевой башни, в Лондоне под сенью Биг-Бена или в другом столь же дурацком месте. В те времена Мария распускала свои желтые непослушные волосы по плечам, в знак какого-то там протеста не брила ни ног, ни подмышек и уже давно рассталась со своей девственностью. Потом шли снимки их свадьбы — а женились они тайком от родителей, против их воли, — новорожденных дочек, сфотографированных прямо в клинике, вечеринок по случаю дней рождения, путешествий по каньонам, пустыням и горам и много чего другого. Но тут я застала картину, которую никто никогда не запечатлеет, и в альбом ей не попасть, но все равно это было очень знаменательное зрелище.

Нельзя сказать, что я не имела представления о женщинах вроде Дайны или мужчинах вроде Луиса. В моих краях все прекрасно знали, что некоторым женщинам и всем поголовно мужчинам в определенных вопросах доверять нельзя. У моего отца в общей сложности набралось что-то около тридцати детей; точного их числа он и сам не знал. Иной раз принимался считать, но вскоре бросал это занятие. Одна женщина, родившая от него несколько детей, пыталась меня извести еще в материнской утробе. А до этого безуспешно пыталась погубить мою мать. Еще раньше мой отец много лет жил с другой женщиной, она родила от него троих детей и не раз пробовала убить нас с мамой. Каждую пятницу мать отправлялась к ворожее, чтобы та отвела беду. Когда мама выходила за моего отца, он был почти стариком, а она — совсем молодой женщиной. Это устраивало обоих. Она получила мужа, который уже не склонен был постоянно докучать ей своими ласками и при этом едва ли мог поставить ее перед товарками в унизительное положение; а у него появилась женщина, которая позаботится о нем, когда он впадет в детство. Я не считала для себя их пример достойным подражания, но мне было ясно, что мать, выходя замуж, думала не столько о счастье, сколько о своем душевном покое.

Мария не догадывалась, что Луис ее больше не любит. Такого она и вообразить не могла. Она могла вообразить безвременную кончину перелетных птиц, морских рыб и даже всего человечества, но что единственный в ее жизни любимый ее разлюбит — никогда. Она жаловалась на погоду, на всевозможные мелочи, которых прежде и не заметила бы; бранила меня за мое поведение, а потом бранила себя за выговоры мне.

За месяц до отъезда я уже попрощалась с тамошним житьем. Я знала, что по озеру тосковать не буду; тем более что оно протухло, и обитавшая в нем рыба погибала в гнилой воде. Не буду скучать по долгим жарким дням и по прохладе тенистых лесов, по невиданным птицам, по животным, в поисках пищи вылезавшим из укрытий с наступлением сумерек, — ни по чему этому я скучать не буду, потому что давным-давно зареклась по чему бы то ни было скучать. Я пела песни; в них говорилось о том, что мечты никогда не сбываются, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, и о безответной любви. Я громко выпевала мелодии, но слова держала при себе.

Попрощалась я и с Хью, только он об этом не подозревал. Это случилось глубокой ночью, мы лежали нагишом на берегу озера. Над головой висела огромная луна в мглистом ореоле; значит, завтра пойдет дождь. Я целовала Хью, язык мой тянулся к его нёбу, а в уме тем временем проносились воспоминания о всех прочих языках, побывавших у меня во рту. Но мне было всего девятнадцать лет, так что список был еще не слишком длинным. Взять, к примеру, Таннера; он был первым, с кем мы проделали все, что только могут проделать мальчик и девочка. В тот день, когда мы решились наконец на то, что нам не терпелось совершить, Таннер расстелил на полу своей комнаты полотенце и уложил меня на него, потому что пружины его старушки кровати страшно скрипели; полотенце было белое, а когда я поднялась, на нем алели кровавые пятна. При виде крови Таннер сначала застыл от ужаса, а потом улыбнулся и произнес "Ого!" с таким торжеством в голосе, что я с неизвестно откуда взявшимся самообладанием бросила:

— Да у меня месячные начинаются.

Девственность моя ничуть меня не заботила, я давно уже мечтала от нее избавиться, но, увидев, как важно Таннеру убедиться, что он у меня первый, поняла, что нельзя давать ему такую власть над собой. До него была у меня одна девочка, мы с ней вместе учились в школе, я ее частенько целовала, но мы были не разлей вода и просто друг на дружке практиковались. Еще был тот мальчишка, с которым я целовалась в библиотеке, причем продолжала целоваться, даже когда он мне стал совершенно безразличен, — только для того, чтобы посмотреть, как он теряет голову от моих поцелуев.

Как-то вечером, в очередной раз выбравшись в город развлечься, мы с Пегги познакомились в музыкальном магазине с парнем и обе подумали, что он очень даже ничего — похож на певца, который нам нравился. Мы пригласили его выпить кофейку, он согласился, но в кафе говорил исключительно о футболе. Пегги спорт вообще ненавидела, потому что ей сразу же вспоминался отец, а мне нравился только крикет: в него играл мой папа. Страшно разочарованные, мы с Пегги поехали ко мне и, засев в моей комнатушке, курили марихуану и целовались, пока не заснули в изнеможении. Язык у Пегги был узкий и мягкий, с острым кончиком. Вот так я и попрощалась с Хью: крепко обхватив его руками и ногами, просунув язык ему в рот и размышляя о людях, с которыми лежала точно в такой же позе.

Холодное сердце

В квартире Марии и Луиса на всех окнах снаружи стояли затейливо изогнутые и украшенные завитушками металлические решетки: если вдруг дети взберутся на подоконник, решетки не дадут им упасть с десятого этажа на тротуар. Очень разумно, детей надо оберегать от опасностей, и все равно я была поражена. Неужто даже люди их положения — красивые, богатые, сытые, все у них есть что только душе угодно, — неужто они тоже не чувствуют себя в полной безопасности, так, чтобы жить себе припеваючи, чтобы самой большой неприятностью был сломанный ноготь?

Стоя в гостиной у одного из таких окон, я смотрела вниз на улицу. День был холодный, октябрьский ветер нес по тротуару мелкий мусор. В школе я учила, что наклон земли по отношению к солнцу меняется, оттого и происходит смена времен года; хотя узнала я это в раннем детст-

ве, но тогда же отметила про себя, что все на свете состоятельные (и уже потому безусловно счастливые) люди упорно селятся в тех краях земли, где год, со всеми его тремястами шестьюдесятью пятью днями, четко делится на четыре сезона. Я же родилась и выросла в таком месте, на которое наклон земной оси явно никак не влияет; там существует одно-единственное время года — жаркое и засушливое. И как же сказался на мне мой родной солнечный климат? Человек я по характеру сумрачный, а что до личной жизни, то в ней царила жестокая засуха.

С того места, где я стояла у окна, мне было видно, что происходит в квартире напротив. Там обитали мужчина, женщина и несколько ребятишек. Я и раньше иногда наблюдала за ними. Видела их и в купальных халатах, и в вечерних платьях, и в повседневной одежде. На моих глазах эти люди не совершили ни единого заслуживающего внимания поступка: они не целовались и, похоже, никогда даже не ссорились. Лишь проходили по комнате, словно проезжали случайный полустанок. Сейчас там никого не было. Глядя на диван, два кресла и книжный стеллаж во всю стену, я думала: шикарно, поди, иметь в доме лишнюю комнату, которая, в сущности, никому не нужна. Может, как раз этого и не хватает каждому человеку на свете — чего-то сверх его жизненных потребностей, например лишней свободной комнаты? Такой вопрос я не стала бы задавать Марии, ведь она смотрела на вещи совершенно иначе. У нее всего было в избытке, она стремилась иметь поменьше; и не сомневалась, что, будь у нее всего поменьше, она была бы счастлива. Мне же было смешно и по-своему приятно убеждаться в том, что слишком большое богатство тоже приносит мало счастья; прежде-то я видела лишь, к чему приводит нехватка даже самого насущного. Тут я вспомнила навязчивый сон, преследовавший меня в последние ночи: я явственно вижу предназначенный мне подарок, завернутый в один из красивых шелковых головных платков моей матери. Что это за подарок, я понятия не имею, знаю только, что он принесет мне безмерную радость. Одна беда: лежит он на дне глубокого темного омута, и сколько я ни вычерпываю воду, неизменно просыпаюсь, не добравшись до дна.

Как-то осталась я в воскресный день одна в пустой квартире. Мария и Луис поехали с детьми куда-то за город собирать яблоки. Если бы я ничего не знала, то, глядя на их приготовления к отъезду, сказала бы: "Какое счастливое семейство!" Детишки красиво одеты, они только что плотно позавтракали вкуснейшими булочками — Мария напекла их, заранее купив первосортной муки, масла и прочего, — и яичницей с беконом; яйца и бекон были явно от кур и свиней, содержавшихся в особой холе. Дожидаясь лифта, все дружно смеялись. Луис в тот день выступал в роли веселого и обожаемого забавника-отца; надев маску льва, он говорил и проделывал вещи, которых от льва никак не ждешь. Визжа от восторга, девочки со смехом валились друг на дружку. Когда подошел лифт, они так расшалились, что были не в состоянии спокойно и чинно в него войти, и Мария, прихватив их пальтишки, перчатки и шляпки, стала с криками "Кыш! Кыш!" загонять их туда, будто крестьянка, загоняющая в курятник стайку цыплят. Все они — мать, отец и четверо детей — выглядели здоровыми, цветущими; во всем чувствовалась основательность и подлинность, без червоточины и фальши; но на самом деле перед моими глазами были развалины семьи, и я это уловила сразу. Я надеялась, что мне не придется быть свидетелем падения этого Рима, но заранее решила, что если быстренько улизнуть не удастся, то в критическую минуту отведу взгляд.

Я ждала звонка от Пегги. Поскольку было воскресенье, она, конечно, пошла с матерью в церковь, а потом навещать старика родственника, который предпочитал жить в одиночестве. Пегги обещала позвонить, чтобы договориться о встрече в парке. У нас с ней вошло в обычай гулять там по воскресньям, высматривая мужчин, с которыми, предположительно, мы бы охотно переспали. Мы внимательно разглядывали их зады, ноги, плечи и лица, а особенно рты. Даже если объект по всем параметрам признавался подходящим, Пегги пресекала любые попытки сближения с ним. Внимательно поглядев, скажем, на его руки, она заявляла, что, хотя в остальном парень вроде бы ничего себе, руки у него слишком маленькие. Она еще раньше сообщила – причем до того проникновенно, что я задумалась: уж не на уроках ли Закона Божьего ее этому научили? – что у мужчины с маленькими руками и пенис соответствующего размера. Когда она впервые про это сказала, я страшно удивилась: вот уж не думала, что такая штука, как пенис, бывает не одного, а разных размеров. Я тогда же спросила Пегги, чем мне-то грозит маленький пенис. Подняв брови, она проронила в ответ одно-единственное слово: "Разочарованием". Вскоре стало совершенно ясно, что в определении размера мужских рук я ничего не смыслю, и Пегги взяла эту обязанность на себя; из парка мы всякий раз возвращались вдвоем, без провожатых.

Воскресений я не любила, и то воскресенье не было исключением. Я не могла поверить, что пронесла свое отношение к воскресеньям через полсвета. Я и сама не сумела бы его, это отношение, объяснить. Каким именно должно быть воскресенье? В этот день я всегда впадала в глубокое отчаяние и с удовольствием превратилась бы в какую-нибудь полезную штуковину вроде губки для мытья посуды. Живя в родительском доме, я нередко составляла мысленно списки вещей, которым, по моему убеждению, заказано следовать за мной, если, конечно, мне удастся перебраться через лежавшие передо мной водные просторы. По моим тогдашним представлениям, достаточно лишь переменить место жительства, и можно навсегда избавиться от бесконечно многого, вызывающего у меня глубокое презрение. Но вышло-то совсем по-другому. Каждый божий день я убеждалась в удручающем однообразии жизни: на моих глазах настоящее приобретало форму моего прошлого.

А прошлым была моя мать. Я постоянно слышала ее голос, причем говорила она со мной не на английском и не на местном диалекте французского, на который порой переходила, – вообще ни на каком наречии, требующем помощи языка и губ; она пользовалась средствами выражения, понятными каждой женщине. А я, несомненно, уже стала именно *женщиной*. Смех, да и только! Ведь я годами твердила, что не хочу быть похожей на собственную мать, и в результате пропустила самое главное: да, я не была *похожа* на свою мать – я в нее превратилась. Теперь-то я понимала, почему, глядя на мои жалкие попытки отмежеваться от нее, она неизменно говорила: "Беги хоть на край света, все равно никуда тебе от этого не деться: я – твоя мать, в твоих жилах течет моя кровь, я девять месяцев носила тебя в своем чреве". Что это, как не приговор к пожизненному заключению в темнице, засовы в которой покрепче любого железа? К тому времени у меня в комнате скопилась целая коллекция ее писем, девятнадцать штук, по письму на каждый год моей жизни, и все они лежали нераспечатанными. Я даже подумывала вскрыть конверты, поджечь послания с четырех углов и отправить назад, не читая. Я слыхала, так поступают любовники, когда, охладев, хотят расстаться с бывшим предметом страсти, однако опасалась даже

приближаться к письмам. Я точно знала: стоит мне прочесть хотя бы одно, и я умру от тоски по маме.

Пегги звонить не стала, она просто приехала к нам домой.

— Страсть как хочется сбежать от родни куда подальше, — заявила она. — Это же сборище совершенно никчемных людей.

Как я завидовала ее исполненному презрения голосу! Было ясно, что семья не имеет над ней волшебной силы. Мы отправились в парк. Как всегда, нам не попалось ни единого мужчины с большими руками. Договорившись созвониться на следующий день, мы разъехались по домам. Я вернулась в квартиру Марии и Луиса, поднялась в свою комнату, села на кровать. И стала думать о только что прошедшем лете. Я уже научилась улавливать сходство в вещах, которые прежде казались мне совсем разными. Да, были у меня минуты огромного счастья, я пыталась заглянуть в свое будущее, однако тогда же пережила и глубокое разочарование. Но ведь жизнь — это не упорное подводное течение, грозящее утянуть тебя в пучину навсегда; в жизни — как на волнах: то взлетаешь вверх, то падаешь вниз, верно?

Сразу после того, как, пожив у озера, мы вернулись домой, я решила, что брошу вечернюю школу и не стану учиться на медсестру. Что бы там ни сулило мне будущее, уход за больными в него никак не вписывался. Я диву давалась, как вообще могла возникнуть мысль, что из меня получится медсестра? Я не способна выполнять чужие распоряжения, не способна ухаживать за немощными людьми. Отчего никому не пришло в голову, что из меня выйдет хороший врач, судья или еще какой-то толковый руководитель? Сызмалу мне твердили, что у меня прекрасная голова, и хотя сама я в это не верила, на ус все-таки мотала и в результате завоевала среди сверстников большой авторитет. Медсестра же, как я поняла, получает низкую зарплату и вынуждена постоянно трепетать перед начальством (врачом); у нее холодные загрубевшие руки; живет она одиноко, питается скверно, потому что не может позволить себе нанять кухарку, и, даже пытаясь облегчить больному страдания, причиняет новые (например, плохо делает укол). Я знавала такую медсестру. Она была подругой моей матери и принимала у нее роды, когда на свет появилась я. Мать обращалась с этой женщиной очень уважительно, однако за глаза говорила о ней много дурного: никогда-де не найти ей мужика, ни один мужчина на нее не польстится; держится точно железный сейф, а на лице выражение такое, что у любого пропадает желание этот сейф взломать; да и прожила она бобылкой так долго, что уже поздно начинать жизнь с мужчиной. Тем не менее, напутствуя меня перед отъездом, мама вдруг сказала: "Ой, так и вижу тебя в сестринской форме. Я буду тобой очень гордиться". Оставалось только гадать, о какой именно форме она говорила — о той, что шьется из ткани, или о той, что складывается из жизненных обстоятельств.

Сидела я на кровати, предаваясь сокрушительному воскресному отчаянию, и думала: на свете я одна-одинешенька, и так оно будет всегда — одна в целом свете.

В ту пору меня уже начали мучить головные боли, точно такие же, что донимали мою мать. Боль накатывала внезапно, словно от удара молнии, терзала какое-то время и потом проходила. Эти приступы меня пугали, ведь я не знала, когда наступит следующий; пугали еще и тем, что напоминали о матери. Однажды в юности, в разгар очередной перебранки я попыталась настоять на своем, но снова потерпела поражение и, повернувшись к маме, бросила:

— Хоть бы ты умерла!

Сказано это было с таким напором и страстью, что, будь на ее месте кто-то другой, мое желание наверняка бы исполнилось. Разумеется, никому другому я бы этого не сказала, ведь никто на свете не значил для меня так много. Стремление матери ни в чем не давать мне спуску было сильнее моей потребности стереть ее с лица земли, однако моя вспышка застигла ее врасплох — мать никак не ожидала услышать подобное; у нее внезапно разболелась голова, да так, что она слегла. Приступ продолжался несколько дней, по ночам до меня доносились какие-то звуки, слушая их, я решала, что моя мать умерла и за ее телом уже явился гробовщик. А наутро при виде ее у меня внутри все дрожало от радости. Поэтому теперь, когда я сама стала испытывать точно такие же приступы головной боли, от которых не помогало никакое лекарство, я видела перед собой ее лицо, богоподобное лицо, — казалось, ему известно его чудесное происхождение, все то, из чего оно сотворено.

Как можно было предположить, наша с Пегги дружба дошла до критической точки; незначительные разногласия разрастались, принимая угрожающие размеры и порою застя все остальное — как песчинка в глазу. Пегги не любила читать книги. Не любила ходить в музей. А я страстно увлеклась музеем. Хотя там, где я росла, ничего похожего не было, почему-то после первого же посещения, я поняла, что готова постоянно ходить только туда. Впервые меня сводила в музей Мария; ей хотелось показать мне картины одного художника, француза, который уехал за тридевять земель, осел там и начал писать портреты туземцев. А ведь на родине был банкиром, жил с женой и детьми в свое удовольствие, да только счастья не знал; в конце концов он бросил семью, проехал полсвета и там, на краю земли, обрел счастье. Рассчитывала на это Мария или нет, не знаю, но я сразу же прониклась терзаниями этого человека. Я по себе знала, каково бывает, когда родная сторона становится ненавистной тюрьмой и от того, с чем знаком с детства, человек стремится к чему-то совершенно иному, где видится ему желанная гавань. Почему и как тосковал художник? — думала я, чувствуя, что ответы на эти вопросы успокоили бы меня. Конечно, можно было найти книгу о его жизни; я уже стала замечать, что в книгах всегда описывается жизнь мужчин. Тот француз изображался в книге бунтарем, восставшим против порядка вещей, который считал безнравственным; и пусть его бунт был заведомо обречен на поражение — художник умер до срока, — все равно в этом человеке чувствовалось что-то геройское. Но я-то ведь не мужчина, а всего лишь родившаяся в глухомани женщина, и потому, покидая родной дом, я надела личину прислуги.

Примерно так я размышляла, и тут ко мне в комнатку неожиданно поднялась Мария. Видимо, ее поразило выражение моего лица.

— Ты сердита на весь мир, да? — спросила она с тревогой и жалостью.

Наверное, мне надо было ее как-то успокоить; может быть, что-то возразить. Вместо этого я сказала:

— Конечно сердита, еще бы. А вы чего ожидали?

Пегги повела меня на вечеринку; в этом районе я никогда прежде не бывала. На улицах горели считаные фонари, дома выглядели обшарпанными, кругом валялся мусор, прохожие почти не встречались. Все это меня ничуть не испугало, а, наоборот, приятно возбудило. Мы вошли в

подъезд, поднялись по бетонной лестнице и оказались в просторной, освещенной свечами комнате, уставленной растениями, которые я сразу узнала — они водятся в тропиках, я сама их там видела. В комнате пахло миррой и марихуаной. Вечеринку устроил сотрудник Пегги, у которого она частенько добывала марихуану для наших с ней "косячков". Работу в конторе этот человек совершенно не рассматривал как дело своей жизни. Он был художником, на стенах комнаты висело несколько его картин с изображением людей; на некоторых — женщины без одежды, на других — только лица. Ни одна натурщица не была написана правдиво, портреты походили на отражения во взбаламученном пруду. Цвета тоже были странные, не как у реальных людей; казалось, художник собрал все имевшиеся у него темные краски и тщательно перемешал, однако же так, чтобы каждый оттенок был виден отчетливо. Пегги и раньше говорила мне об этом мужчине. Называла его извращенцем. Я не могла до конца понять, что она под этим подразумевает, а она не рассказывала, какие именно слова или поступки приятеля навели ее на эту мысль. Может быть, он пытался ее поцеловать, а она терпеть не могла целоваться с мужчинами, если от них не пахло табаком. Когда нас с ним знакомили, он взял меня за руку и поцеловал в щеку. Это была его манера здороваться с женщинами.

Звали его Пол.

— Как поживаете? — сказала я негромко и вежливо, голоском девушки, какою мечтала видеть меня моя мать: чистой, непорочной, безупречной. Но чувствовала я при этом прямо противоположное.

Когда он взял меня за руку и поцеловал в щеку, я испытала незнакомое восхитительное ощущение: мне захотелось раздеться догола и оказаться с ним в постели. А еще захотелось увидеть, какой он на самом деле, а не отражение во взбаламученном пруду.

На вечеринку пришло десять человек, считая нас с Пегги. Подружка моя так или иначе была знакома со всеми, я же встретилась с ними впервые. Об этой стороне жизни Пегги я ничего не знала и теперь понимала почему. Народ собрался очень разговорчивый, и разговорчивость эта была ей не по вкусу: они разглагольствовали обо всем на свете и о себе, ни минуты не сомневаясь, что каждое их слово дорогого стоит. Это были люди искусства. Я кое-что слышала об этой публике, но в родных краях ни одного такого человека не видала. Собрались здесь, как я заметила, по преимуществу мужчины. Сам род их занятий, видимо, допускает некоторую безответственность и потому больше подходит мужчинам вроде того художника, чьи картины висят в музее, куда мне так нравилось ходить. О таких типах я наслушалась всякого; одни умерли, впав в безумие, другие погибли в нищете, их мало кто любит, кроме таких же чудаков. И тут я вспомнила всех известных мне людей, которые умерли, сойдя с ума, или от чрезмерного пристрастия к рому, или от бесправной нужды; кто знает, может, и среди них были люди искусства, мелькнула мысль. Хоть я и не художник, размышляла я, но всегда предпочту общество тех, кто не похож на остальных. Я уже стала замечать, что люди с безупречными манерами — умеющие, например, правильно держать чашку или аккуратно, не роняя ни кусочка, пользоваться вилкой, — именно эти люди, которые едва ли кончат свои дни в сумасшедшем доме или под забором, как раз и повинны в бесчисленных человеческих страданиях.

Изрядно накурившись марихуаны, я чувствовала себя совершенно счастливой, прямо-таки на седьмом небе, и не могла отвести глаз от нескольких растений в горшках, которыми был уставлен подоконник. Два

из них были известны мне под названиями "коричка" и "кинжальник". "Коричку" я дома частенько ела с грибами и соленой рыбой; считалось, что это растение хорошо очищает внутренности. А по "кинжальнику" мы молотили камнем и потом сплетали похожие на нити волокна в косицы; на Рождество ряженые непременно нашивали их на свои костюмы, и косицы со свистом рассекали воздух, пугая малышей. В моих краях эти растения росли в таком изобилии, что их считали никчемными сорняками, выдирали из земли и бросали в мусор. А здесь — вот те на! — их лелеют, держат в красивой комнате на видном месте, под синим светом специальной лампы. Я ведь тоже своего рода сорняк, но с другого конца комнаты устремлены на меня глаза Пола, ярко-синий свет; его глаза напомнили мне стеклянный шарик моего детства, счастливый шарик, в игре он всегда приносил удачу.

В такую минуту обыкновенно говорят: "Тут я и влюбилась", однако я не влюбилась. И не собиралась влюбляться. Впрочем, я еще так мало прожила на свете, что даже в собственных мыслях разбиралась с трудом. Во всяком случае, глядя на человека, чьи глаза напомнили мне мой счастливый шарик, я себя не спрашивала, влюблена я или нет. Мне хотелось совсем другого: остаться с ним наедине и без одежды. Он подошел и сел рядом; спросил, откуда я приехала; коснулся моих волос, и я поняла, что до сих пор он ни разу не дотрагивался до таких жестких, крутых завитков. Я рассмеялась и не поверила собственным ушам: неужто эти звуки вырвались из моей груди? Смех был воркующий, в нем слышались блаженство и отчаянная фальшь — смех женщины, которую еще недавно я облила бы презрением. Нам обоим стало ясно, что, когда все уйдут, я останусь у него.

В этот миг я подняла голову и увидела устремленные на меня голубые глаза Пегги; они тоже блестели, но от гнева. Она сделала мне знак следовать за ней и направилась в ванную. Там она сказала:

— Я же тебя предупреждала, что он подонок, говорила, что он извращенец.

— А мне он нравится, — сказала я, и между нами повисло гнетущее молчание.

Такое молчание для друзей опасно, потому что в его тиши они оценивают свое общее прошлое и пытаются представить себе общее будущее; настоящее же вызывает у них ненависть. От этого молчания добра не жди. Пегги закурила сигарету. Пряди волос упали ей на лицо, она отбросила их назад, но они опять свесились на глаза. Стиснув зубы, она направила в меня струю дыма. Такого прежде не бывало. Мы ни разу не ссорились. Любому мужчине я всегда предпочитала ее общество. Никогда и никому не отдавала предпочтения перед нею.

— Ты что, по его рукам не видишь, что херок у него наверняка с гулькин нос? — возмущенно воскликнула она.

Меня так и подмывало сказать в ответ: "Значит, он прекрасно поместится у меня во рту", но не могла же я допустить, чтобы на этой фразе и оборвалось наше с Пегги знакомство, а скажи я это, отношениям нашим тут же пришел бы конец. Я сразу представила себе, как мы, каждая по отдельности, перебираем дни нашей дружбы, все чудесные минуты любви и привязанности, на которых разом будет поставлен крест, и ничего не ответила.

Из ванной мы вышли, полагаю, с облегчением, ведь нам удалось избежать полного разрыва, однако обе сознавали, что в будущем, рано или поздно, каждая из нас о существовании другой будет отзываться неопределенным "А-а, да-да, помню..."

В комнате звенел смех; все внимание было приковано к Полу, который обеими руками пытался вытащить из большого аквариума сережку из горного хрусталя в форме морской звезды. Сережка, как ни странно, была там вполне к месту, прежде всего потому, что все содержимое аквариума — кораллы, водоросли, песок и даже рыбы — казалось ненастоящим. Руки Пола, шарившие по дну, тоже выглядели необычно: плоть, с виду совершенно безжизненная, походила на кость — будто руку долго держали в едком щелочном растворе. И тут мне вспомнилось вот что.

Когда-то я знала девочку по имени Мирна, мать у нее была такая жестокая, словно и не мать ей вовсе, а злая мачеха. Вероятно, в ответ на такое отношение все части Мирниного тела — и торс, и глаза, и нос, и рот — наотрез отказывались расти до нормального размера; даже волосы были не длиннее ногтя, и ее частенько называли "та девочка с волосами ежиком". Хотя жила она в доме напротив, мы с ней не дружили, но наши семьи брали рыбу у одних и тех же рыбаков, у мистера Томаса и мистера Мэтью, поэтому мы с Мирной часто вместе поджидали лодки с уловом, спасаясь от палящего солнца в теньке под деревом. Однажды мистер Мэтью вернулся на шаланде один, без мистера Томаса и без рыбы. В море внезапно налетел шквал, и мистера Томаса смыло за борт, когда он вытаскивал из верши рыбу. Было заметно, что, рассказывая эту историю, мистер Мэтью и сам не мог поверить собственным словам, будто надеялся услышать, что это ошибка, что ему просто помстилось. Вид у него был такой жалкий, что у меня разрывалось сердце. В детстве он рано осиротел, его родители погибли на охваченном огнем поле сахарного тростника; а теперь он осиротел снова, потому что они с мистером Томасом заменяли друг другу родителей, что вполне естественно, когда люди до такой степени друг от друга зависят. Мистер Мэтью заплакал, горестно всхлипывая. Я и не знала, что мужчина способен издавать такие душераздирающие звуки. Мне захотелось сказать ему что-нибудь, что утешило бы его и одновременно хоть на минутку отвлекло от случившейся беды, но я лишь пробормотала:

— Бедный, бедный мистер Томас, знаете, он ведь был бы просто счастлив состариться вместе с вами; сидели бы вы здесь с ним рядышком и чинили сети.

Еще произнося эти слова, я уже понимала, что их действие будет противоположно желаемому, но поделать ничего не могла. Отвернувшись, я взяла Мирну под руку, и мы двинулись домой.

Какое-то время мы молча шагали рядом, и вдруг до меня дошло, что она заливается слезами. Мне сразу стало стыдно, что я всегда неверно сужу о людях: ведь спроси меня кто-нибудь про Мирну, я бы ответила, что она не способна горевать о смерти мистера Томаса, да если на то пошло, вообще о чем бы то ни было. Я обняла ее за плечи и прижала к себе, бормоча всякую чушь, в которую и сама не верила, вроде того, что мистер Томас отправился в райские кущи или что его не случайно смыло за борт — так свершилось высокое, исполненное смысла предназначение. В ответ на эту белиберду Мирна с неожиданной силой отпихнула меня, глаза ее сверкнули гневом и презрением. И тут она мне кое-что рассказала. Вовсе не по мистеру Томасу она плачет, заявила Мирна, а саму себя оплакивает. Она, оказывается, частенько встречалась с Томасом (теперь она уже не называла его "мистер") под хлебным деревом, росшим на задах ее дома возле семейного сортира, у калитки, что вела в проулок. Когда смеркалось, Мирна выходила туда, одетая как положено, но без трусов, и Томас совал ей между ног средний палец. Длилось это всегда

считаные минуты, потому что, если дочь надолго отлучалась из дому, у ее матери немедленно возникали всякие подозрения. Мирна никогда не обсуждала с мистером Томасом эти их свидания; нередко она приходила на условленное место, а он так и не являлся, ничем потом не объясняя своего отсутствия. Вытащив из ее влагалища палец, он иногда давал Мирне шиллинг, а в другой раз, бывало, — всего шесть пенсов. И никогда не говорил, почему платит то больше, то меньше.

Монеты Мирна хранила в старой жестяной банке из-под "Овалтина"[1], которую прятала в груде камней, собранных ее матерью[2]. Она еще не решила, как именно потратит деньги, объяснила она, но в любом случае их пока маловато. Потому она и расплакалась: как ни крути, а накоплено пока маловато.

Разумеется, от ее удивительного рассказа на меня нахлынуло множество разных чувств, вполне понятно каких, но постепенно одно возобладало над прочими: меня обуяла зависть. Почему такая необыкновенная вещь происходила с Мирной, а не со мной? Почему из всех девочек мистер Томас выбрал Мирну, чтобы тайком встречаться с ней и совать средний палец между ног ей, а не мне? Мирна повествовала об этом ровным, безразличным тоном, как будто они всего-навсего распивали с ним чашку свежей дождевой воды. А для меня это было бы главным событием в жизни, по сравнению с ним все остальное померкло бы. Он же попусту тратил время! Для Мирны их встречи не имели никакого значения; она твердила только о деньгах и при этом даже не придумала еще, как их потратить. По мне, так деньги тут дело десятое. Я их наверняка разбазарила бы. Более того, наверняка изловчилась бы, стянула у родителей шиллинг-другой и отдала мистеру Томасу — лишь бы оказаться на месте Мирны. Господи, до чего же все несправедливо! Какими словами улещивал мистер Томас Мирну и почему, опять же, я оказалась недостойна этих слов?

Мне припомнился его большой рот с толстыми губами, крупный широкий розовый язык, который хорошо был виден, когда мистер Томас смеялся — громко и раскатисто. Его налитые кровью глаза выдавали пристрастие их хозяина к рому. Он много курил, и, когда изредка приносил рыбу нам прямо домой, от него пахло не морем, а куревом. Меня он называл "малышка мисс". Однажды мать отправила меня к нему — в дом, где он жил вместе с мистером Мэтью, — с деньгами за рыбу, которую он поставлял нам целую неделю. Мистер Томас открыл дверь; увидев меня, он охнул и скрылся в глубине дома, потому что вышел как был — без рубашки, в одних невероятного размера трусах, сшитых из точно такой же синей ткани, что и трусы моего отца. Вернулся он в старой залатанной полосатой рубахе, держа за спиной дымящуюся сигарету: он ведь мне не был отцом или близким родственником, а потому курить передо мной сигарету означало бы проявлять неуважение. Он поблагодарил меня за то, что я принесла деньги, я повернулась было уходить, и вдруг он сказал:

— Ну, малышка мисс, как жизнь? Как дела в школе?

— Ничего, грех жаловаться, сэр, — ответила я, — и на том спасибо.

Я знала, что таким ответом я в точности копирую свою мать; мистер Томас тоже это понял и только расхохотался. Тут-то и стали видны его десны, зубы и большой язык. Я ужасно смутилась оттого, что он так ис-

1. "Овалтин" — фирменное название порошка для приготовления шоколадно-молочного напитка.
2. На островах Карибского бассейна жители часто собирают камни, чтобы затем продать их строительным компаниям.

кренне, безудержно смеется надо мной, и двинулась прочь, даже не попрощавшись, а он крикнул мне вслед:

— Да благословит тебя Бог, малышка мисс! — давая тем самым понять, что нам не за что обижаться друг на друга.

Таким я знала мистера Томаса: славный человек, который ходит в море и регулярно доставляет мне мою любимую рыбу, а потом мать готовит ее под соусом из лаймового сока, сливочного масла, лука и зеленого перца. А он, со своей стороны, наверное, сказал бы, что хорошо ему известная "малышка мисс" — девочка, настолько безупречная во всех отношениях, что на любой вопрос отвечает голосом своей сорокалетней матери; нечего и говорить, кандидатура для тайных свиданий малоподходящая.

Мирна завершила свой рассказ, и мы молча брели домой. Мне многое хотелось сказать, о многом ее расспросить, но я не знала, с чего начать. Меня пугало, что, задав вопрос, я выдам свои истинные чувства, и ей станет ясно, что мне отнюдь не в новинку все то, что она описывала. Не могла же я брякнуть, к примеру: "Здорово тебе было?", хотя именно об этом мне больше всего хотелось узнать. Сразу обнаружилось бы, что все мое нутро кричит: *"Это должно было случиться со мной! На твоем месте должна была быть я!"* Можно было, конечно, прикрыться фальшивым, но очень тут уместным осуждением, но я понимала, что никакое осуждение до Мирны не дойдет. Впереди показались наши дома, и с напускным сочувствием в голосе и соответствующей миной на лице я спросила:

— Больно было?

Как она на меня взглянула! Прямо-таки с грязью смешала.

Той ночью я лежала в постели, не в силах, естественно, заснуть, и мысленно перебирала события дня. Меня не столько занимало падение мистера Томаса в море, сколько их с Мирной свидания в проулке возле сортира, в тени хлебного дерева. Я воображала, как в конце долгого дня, настряпав еды на всех домочадцев, выстирав их одежду, натаскав воды из расположенной далеко от дома колонки, вообще всячески обиходив родню, она наконец ужинала и, вероятно, под предлогом, что ей нужно в уборную, шла поджидать в темноте мистера Томаса. Мирна и словом не обмолвилась о том, целовал ли он ее волосы или шею, не упомянула ни о языке, неистовствующем в ухе или во рту, ни о ладонях, тискающих груди. Только одно — его руки у нее между ног и входящий внутрь палец. Над этим требовалось поразмыслить не спеша. Какие же руки были у мистера Томаса? Неизвестно... В то время я была уверена, что вопрос этот будет преследовать меня до смертного часа. Я ведь никогда не обращала внимания на его руки. Многое в нем запомнилось: рот, зубы, десны, даже ступни. Ступни были большие и широкие, с трещинами на пятках. В жизни не видала их обутыми. Однажды на моих глазах он шлепал по грязи. Грязь была жидкая и взбухала между пальцами, оставляя сзади по четыре маленьких коричневых шарика. А вот руки, какие же у него были руки? Я не знала и уже не узнаю никогда. Вот почему я сразу обратила внимание на шарившие по аквариуму руки Пола — с ними мне предстояло познакомиться очень близко, — ведь они напомнили мне о другой паре рук, навеки пропавших в теплом море.

Поскольку теперь между мной и Пегги пробежала кошка, мы, естественно, заговорили о том, чтобы снять на пару квартиру. Старая как мир история: двое любят друг друга, но как только любви приходит конец, они решают пожениться. Ход мысли у нас был такой: вот было бы славно, если бы у Пегги отпала необходимость ежедневно ездить на поезде домой, к

родителям, чьи взгляды на все на свете казались ей отвратительными; вот было бы славно, если бы у меня отпала необходимость квартировать у Марии с Луисом и смотреть за их детьми и я смогла бы жить своей жизнью, приходить и уходить, когда мне вздумается. Ничего плохого в моей жизни у Марии с Луисом не было, но я вовсе не собиралась коротать свои дни, присматривая за их дочерьми в самых разных ситуациях: дети-то ведь не всегда будут детьми. Я стала ощущать себя собачонкой, которую держат на поводке, пускай и длинном — все равно поводок есть поводок. Мария была мне как мать, и мать прекрасная. Отправляясь в магазин за обновами, она непременно покупала что-нибудь и для меня. Иногда приплачивала сверх того, что должна была платить по договору. Узнав, что я пристрастилась к походам в музей, тут же купила абонемент. Всегда принимала мои трудности близко к сердцу. Я вновь и вновь убеждалась, как мне необычайно повезло, что я встретила Марию и работаю у нее, а не, к примеру, у некоторых ее подруг. Но притворяться бесполезно: я не из тех, кто благодарен судьбе за счастливый случай; я из тех, кому везенья вечно не хватает. Впрочем, тут примешивалось еще и другое обстоятельство.

Как-то мне, тогда тринадцатилетней девчонке, мать поставила в пример одну особу — собственно, та была ее крестной дочерью, — которой только-только стукнуло девятнадцать. Какой же это замечательный человек, говорила мать, у ее родителей есть немало причин гордиться ею, словом, она может служить образцом для всех юных девушек. Я же, близко зная эту девицу, была о ней совершенно иного мнения. Дело в том, что время от времени мать доверяла ей присматривать за мной, видимо надеясь, что она благотворно повлияет на дочь. Если я совершала серьезный, на ее взгляд, проступок, эта поганка грозила напоить меня настоем сенны, от которой, как известно, в животе начинаются сильные колики; или обещала посадить меня в бочку, заколотить крышку и позабыть обо мне. Если же я делала что-то, что было ей по вкусу, она купала меня, расчесывала волосы, наряжала в свои старые платья, а потом укладывала спать в бельевой корзине, устланной чистыми тряпками. Я была рослой, в корзине не помещалась, но она заставляла меня лежать там скрючившись — столько, сколько считала нужным. Трудно было усмотреть разницу между наказаниями за одни поступки и наградой за другие. Звали девушку Мод, Мод Квик. Ее отец был начальником всех каталажек — тюрем Ее Величества, — и я мысленно считала ее моей личной тюремщицей. Она уже давно вызывала у меня презрение, и как только мать закончила петь Хвалебный Псалом в честь Мод, я выпалила:

— Когда мне стукнет девятнадцать, черта с два я останусь жить дома, скорее умру.

При этих словах мать онемела — в сущности, от огорчения, потому что не знала, как на них ответить. Тогда-то я и начала словами и поступками демонстрировать ненависть, враждебность и гнев по отношению к родителям. Интересно, что все вышло по-моему, хотя и не совсем так, как мне хотелось: в девятнадцать лет я не умерла, но уже и не жила в доме, где выросла. Правда, в доме я все-таки жила, хотя и не в своем собственном.

Странное спокойствие воцарилось в квартире Марии и Луиса. Они ссорились беспрестанно, но только не в моем присутствии. Стоило мне выйти вместе с девочками из дома по какому-либо поручению, и, вернувшись, я сразу чуяла дух разлада: мне было ясно, что речи там звучали нешуточные. Что-нибудь вроде “я тебя больше не люблю”. Это мог сказать Луис, и это было правдой: он разлюбил Марию. Скорее всего, он произносил это до-

бродушно, ведь в его положении, когда все козыри на руках, быть добрым легко. А у Марии глаза были на мокром месте. Что и говорить, Мария на мою мать не походила; всякий, кто вздумал бы доводить мою мать до слез, быстро закончил бы свой земной путь — уж она бы о том позаботилась.

Как-то сидели мы с Марией на кухне. Мы там встречались неизменно, когда надо было о чем-нибудь потолковать. Она сварила крепкого кофе и, щедро плеснув в него горячего, дымящегося молока, подала мне в большой кружке, размером с добрую миску. Готовить кофе таким способом она научилась во Франции, где примерно в моем возрасте прожила несколько лет. Я принялась рассказывать ей про свои отношения с Полом: мы с ним проводили много времени вместе и почти исключительно в его постели. Я описывала все, что мы проделывали, в мельчайших подробностях, которых более опытный в таких делах человек и не заметил бы. А замечать было что: за исключением перерывов на еду, мы все время посвящали сексу. Я рассказывала Марии о своих ощущениях, о том, как возбуждает меня, к моему собственному удивлению, буйный секс (а порой он бывал именно таким, буйным), о том, что моя личная жизнь превратилась в настоящее приключение и теперь я жду не дождусь каждой следующей встречи, а ведь прежде даже не подозревала о подобном наслаждении и тем более не думала, что оно будет доступно мне.

Какое-то время я все это расписывала, и вдруг Мария прервала меня:

— А у нас с мужем никудышная постельная жизнь.

Ее слова меня поразили: вот уж чего я себе не представляла. Никудышная постельная жизнь. Интересно, что именно она имеет в виду? От матери я слыхала, что половые сношения могут оставлять женщину совершенно равнодушной; она может в это время прикидывать, какие продукты предстоит купить, мысленно выбирать фасон гардин или заготавливать тонкую, но убийственную фразу, которой намерена сразить заносчивых спесивцев. Однако мне и в голову не приходило, что такие сношения можно назвать "никудышными"; правда, как только Мария произнесла это слово, я поняла, что́ за ним кроется: к примеру, захотелось тебе сладкого яблочка, а тебе подсунули гнилое; и пока ты его жуешь, в памяти оживает вкус другого, хорошего. А потом Мария рассказала мне свою историю — про то, как она приблизительно в моем возрасте проводила лето далеко от дома, у друзей ее родителей, и там завела интрижку с мужем хозяйки. Но вышла у них не связь, а горе одно.

— Вот уже, кажется, он совсем готов, а до дела доходит — и эрекции как не бывало, — жаловалась она.

Мария, как водится, винила только себя, — значит, в ней самой что-то не так или делает она что-то не то. Лишь много позже она поняла, что хахаль ее был просто старым импотентом: не желая признавать, что в постели он уже ни на что не годен, предпочитал валить свои неудачи на юную девушку. Этот случай не прошел для Марии даром, и потом она подолгу привыкала к каждому новому любовнику, прежде чем самозабвенно отдаться страсти. Вот что было бы для тебя сейчас лучшим лекарством, подумала я, — самозабвенно отдаться страсти, но вслух, конечно, этого не сказала.

Однажды мне пришло письмо; через весь конверт красивым маминым почерком было выведено слово "СРОЧНО". С тем же успехом на нем могли написать: "Не вскрывать до Судного дня", поскольку я сразу сунула его в пачку непрочитанных писем из дому. В тот день я решила купить себе фотоаппарат. Какое-то время назад Мария подарила мне альбом с

открытками — в музее продавались открытки, которые мне очень нравились. На них были сняты самые обычные люди, занятые обычным сельским трудом, но по какой-то непостижимой для меня причине эти люди и их занятия казались мне совершенно необыкновенными — как будто прежде никого и ничего подобного не бывало. Когда я сказала, что мне страшно нравится ходить в музей и разглядывать эти фото, Мария купила мне целый альбом. Теперь, улучив свободную минуту, я усаживалась в своей комнатке и принималась его рассматривать. Люди на снимках напоминали мне многих знакомых из моей прежней жизни, особенно фотография одного мальчика. Он весело шагал по дороге в коротких штанах, зажав в каждой руке по объемистой бутыли. Чем-то он был похож на давнего моего приятеля, парнишку по имени Катберт, приходившегося мне дальним родственником. Катберт жил на другом острове, подолгу у нас не гостил и поэтому не успевал мне надоесть. Изо рта у него всегда пахло так, как пахнет по утрам от человека, только что вставшего с постели, — несвежим, затхлым. Но мне этот запах настолько нравился, что, когда мы с Катбертом разговаривали, я всегда старалась встать так, чтобы он дышал прямо на меня. Наглядевшись на снимки в альбоме, я и решила купить себе фотоаппарат.

И тут случилось непредвиденное. В магазине, куда я пришла, продавец стал показывать мне камеры — и мы с ним вдруг, ни с того ни с сего ушли вместе и остаток дня и еще полночи провели в его постели. А поняли мы оба, что именно этим все кончится, когда он протянул мне аппарат с выскакивавшим, как черт из табакерки, объективом; я взглянула парню в лицо и сказала:

— Ты напоминаешь моего отца.

— В таком случае ты обязана меня поцеловать, — отозвался он.

Это он сказал в шутку, но только подтвердил мою догадливость. Я два часа простояла возле магазина, поджидая, пока он кончит работу, и мы поехали к нему. По дороге, как положено, сообщили друг другу свои имена, рассказали, откуда каждый родом, что любим и чего не любим. Его звали Роланд; он родился в Панаме, но семья приехала туда с Мартиники; он любил слушать шорох дождя в кронах деревьев, этот звук его успокаивал; снега он не любил. Мы обменивались этими сведениями, чтобы скоротать время и избежать неловкого молчания, на самом деле они для нас никакого значения не имели, и мы это прекрасно понимали. А вот номерами телефонов мы не обменялись.

Из постели Роланда я вылезла только потому, что обещала Полу приехать к нему ночевать. Пол к моим ночным визитам привык. Пегги терпеть не могла находиться в обществе нас обоих, поэтому я сначала проводила вечер с ней, а на ночь глядя уезжала к Полу. Перед расставаньем мы с Пегги обязательно ссорились, но обе знали, что на следующий день созвонимся или увидимся.

Ночь выдалась холодная, ветреная. Роланд жил в противоположном от Пола конце города, и я взяла такси. Ехать предстояло полчаса — вполне достаточно, чтобы похоронить в памяти свою тайну. Пол открыл дверь, и я поцеловала его в губы с неукротимым пылом, которого на самом деле вовсе не испытывала; поцелуй был предательский, ведь я еще ощущала во рту вкус поцелуев другого мужчины. От холодного ветра губы у меня обметало корочкой, какая образуется на засохшем хлебе, но Пол набросился на них, как на только вытащенный из печи пирожок. Он очень мне обрадовался и все повторял: "Люблю тебя", а я думала: вот, значит, как звучат эти слова, когда их произносят с настоящим чувством. Я

стала целовать его с удвоенной страстью, но тут же поняла, что совершаю ошибку, потому что он принял мое воодушевление за ответную любовь. Утром он сказал, что накануне, в начале вечера, звонила Пегги, чтобы узнать, у него я или нет. В его голосе не было и тени подозрительности.

— Какая же она зануда! — сказала я и принялась поносить Пегги за скверный характер, как будто на Пегги с ее характером свет клином сошелся.

Пол не сознавал, что в действительности хотел получить точный ответ на вопрос: где же я была, если не с Пегги и не дома?

Я пошла погулять с детьми в парке; вернувшись, мы, как всегда, огласили квартиру воплями — кто радостными, кто обиженными. Луис и Мария сидели в гостиной, и девочки с веселым криком кинулись к ним. Я шла следом с фотоаппаратом в руках — теперь я с ним почти не расставалась, — и заметила, что сидят они вроде бы совсем рядом, но совершенно обособленно, у Марии глаза покраснели от слез, на губах кривая улыбка, как у ребенка, который храбро пытается скрыть огорчение. Мне сразу стало ясно: всё, крах, передо мной развалины семейной жизни. До конца своих дней не пойму, зачем я это сделала, но неожиданно для самой себя я вдруг произнесла: "Улыбочку, пожалуйста!" и нажала на спуск.

— Черт побери! — сердито воскликнул Луис и вышел.

Раскинув руки, Мария обняла четверых своих дочек и, обращаясь ко мне, сказала:

— Извини.

Зачем извиняться за хама, подумала я. И тут же изумилась: с каких это пор я считаю Луиса хамом? Он же мне всегда нравился; ко мне он был неизменно добр. Но вскоре поняла, в чем дело: он довел Марию до слез, и я стала на ее сторону; и всегда буду на ее стороне. Я уже представляла себе, как именно Луис ее бросил. Фактически ведь он уходил от Марии, а не наоборот, но прямо и открыто в этом ни за что бы не признался. Такой уж он был человек — неизменно очень вежливый, начистоту не высказывался никогда. Не то чтобы воспитание не позволяло ему говорить откровенно; просто мужчина в его положении всегда точно знает, чего хочет, и получает все готовеньким. Иногда мы с ним сражались в шашки. Я играла очень неплохо, но обыграть его мне не удалось ни разу. Он строил свою стратегию на нападении исподтишка; и как бы я ни сопротивлялась, все равно рано или поздно совершала промах и вынуждена была, к удовольствию Луиса, признать свое поражение. После чего он любезно показывал мне, где именно я "зевнула".

— Извини, — говорил он, — в другой раз твоя возьмет.

Но в другой раз все повторялось снова. Слишком уж он был ловок, этот Луис, и слишком привык добиваться своего. Он, конечно, уйдет от Марии, но ей внушит, что это она от него уходит. Детей в комнате уже не было. Мария открыла рот, и я знала, что она скажет, еще прежде, чем она произнесла: "Я хочу попросить Луиса оставить нас".

Участливо взглянув на меня, она протянула руку для поддержки. Но со мной-то все обстояло прекрасно. Я никогда не вышла бы замуж за такого мужчину, как Луис.

Раз лежала я ночью в постели. Дети уже спали. В доме было тихо. Я накинула на стоявшую на ночном столике лампу квадратный лоскут искусственного шелка, и комната погрузилась в неясный полумрак — то ли ранние сумерки, то ли отсветы дальнего заката. Мне вспомнился родной дом, нахлынуло странное чувство, смесь радостного возбуждения,

ожидания и страха. Вокруг на всех стенах висели сделанные мной черно-белые фотографии — девочек с Марией, одной Марии и кое-каких вещиц, которые я приобрела со времени отъезда из дома. Но не было ни единой фотографии Луиса или меня самой. Я пыталась воссоздать атмосферу, которая ощущалась на снимках в альбоме, подаренном Марией, и хотя потерпела полную неудачу, мои произведения мне все равно очень нравились. На одной фотографии дети ели зефир; на другой они повернулись к объективу попками, показывая, что им до смерти надоели просьбы улыбаться; на третьей Мария готовила замысловатое блюдо: тушенную в красном вине курицу с овощами; вот снимок моего комода, на котором валяются мои ношеные трусы, помада, неиспользованный бумажный носовой платок и раскрытая записная книжка; вот фотография купленного у уличной торговки ожерелья из семян неизвестного мне растения; там снимок вазы, которую я приглядела в музее, — это копия вазы, найденной на раскопках исчезнувшей цивилизации. Отчего фотография какой-то вещи волнует душу больше, чем сама вещь? Ответ на этот вопрос был мне еще не известен. Я лежала, не ощущая себя, почти как под наркозом — без мыслей и без чувств. Ничего хорошего такое состояние не сулит: возникшую пустоту дух непременно заполнит, причем обыкновенно чем-нибудь гадким.

Раздался осторожный стук, дверь приоткрылась. Заглянула Мария: ко мне пришли. По тому, как она это сказала, стало ясно, что она этого человека не знает; плохие вести, сразу поняла я. Войдя вслед за Марией в гостиную, я увидела в чересчур туго набитом кресле знакомую особу с лицом Мод Квик, только теперь она превратилась во взрослую женщину. Она по-прежнему любила поиздеваться над людьми — это было видно по ее габаритам: разнесло ее под стать креслу, в которое она уселась. При моем появлении она встала, еще больше раздавшись и ввысь, и вширь. Назвала меня по имени, и мне почудилось, что я стала центром земного тяготения, превратилась в крупинку, весившую столько же, сколько весь мир.

— Я на несколько недель ездила домой, — сообщила Мод, — и только вчера вернулась. Вот, возьми.

И она протянула мне синий конверт со штемпелем "PAR AVION"[1] и моим именем и адресом, написанными маминым почерком.

— Твоя мать просила передать его тебе в руки, — сказала она. — Месяц назад умер твой отец. Совершенно внезапно. Сердце остановилось. — И добавила: — Ты же знаешь, сердце у него всегда пошаливало.

Я молчала. Долго молчала. Вы только посмотрите на эту самодовольную бабу, думала я; и что она ни делает: ест (особенно когда ест), спит или сообщает мне то, что секунду назад сказала, — все прибавляет ей самодовольства.

— Твоя мать очень огорчается, что ты не отвечаешь на ее письма, — сказала она. — Может, ты их так и не получила?

Все это время Мария оставалась в гостиной, стояла поблизости. Услышав слова Мод, она подошла ко мне; обхватив одной рукой мои плечи, а в другую взяв обе мои ладони, прижала к себе. Она, должно быть, поняла, что я вот-вот рассыплюсь на кусочки, и удерживала меня наподобие того, как перед отправкой в дальний путь коробки с товаром стягивают металлическими лентами. У меня заболела голова, заломило глаза, во рту пересохло, я не могла глотнуть, горло тоже разболелось, в ушах шумели рвавшиеся на простор волны, разбиваясь о неприступные скалы. Я не

1. Авиа (*франц.*).

могла плакать. Не могла говорить. Я пыталась вновь подчинить своей воле вышедшее из повиновения лицо, пыталась овладеть собой.

Мод хохотнула — коротким смешком человека, который не считает нужным прилагать усилия ради учтивости.

— Ты напоминаешь мне мисс Анни, правда-правда. Напоминаешь свою мать.

Я умирала, но этими словами она спасла мне жизнь. За это я ей буду вечно благодарна. А она, конечно, знать не знала, что только та небрежно брошенная фраза единственно и могла удержать меня на этом свете.

— Я на мать не похожа, — сказала я. — Мы с ней разные. Ей не следовало выходить за моего отца. Не следовало заводить детей. Не следовало попусту растрачивать свои умственные способности. И пренебрегать моими. А такого человека, как ты, ей и замечать не стоило. Я совсем на нее не похожа.

Быть может, я произнесла все это на древнегреческом, потому что Мод лишь взглянула на меня и усмехнулась. Мария вышла из комнаты — чтобы напоить нас чаем, сказала она. Я опустилась на стул и сказала, на этот раз по-английски:

— Ты прекрасно выглядишь, Мод.

— Да, — отозвалась она. — Я свято следую маминому совету. Когда я уезжала из дому, мама мне наказала: "Всегда, изо дня в день принимай пищу в одни и те же часы. Следи за этим, Мод".

Эта невероятная чушь не вызвала во мне даже мысленного презрения — не до того мне было.

Мод, разумеется, стала меня убеждать немедленно вернуться домой. Я не отвечала, на все ее увещевания не проронила ни слова. Наконец, в знак своего благословения заключив меня в объятия, она ушла; в воздухе после ее ухода витало много всякого, но, помимо прочего, остался запах гвоздики, лайма и розового масла; вдыхая этот аромат, я умирала от тоски по дому. Когда-то мама купала меня в отваре листьев и цветов именно этих растений; отвар должен был служить защитой от злых духов, насылавшихся кое-кем из женщин, которые любили моего отца и которым он не отвечал взаимностью.

А с чего началась вся эта история с безответной любовью обожавших его женщин? Его мать, поручив малыша отцу, отбыла в Англию. В последний раз мальчик получил от нее весточку, когда ему было двенадцать лет. Она прислала ему на Рождество туфли — черные, на носках красивый рисунок из маленьких дырочек. Но в ту пору туфли оказались ему велики, он их убрал, а когда вновь достал, выяснилось, что он из них уже вырос. Отец держал туфли в сейфе, вместе с деньгами и кое-какими вещами, но иногда вынимал и показывал мне. О матери он не рассказывал никогда, говорил только, что она красавица. Еще говорил, что она добрая, но я уже тогда догадывалась, что, разговаривая с ребенком, он не мог откровенничать о том, как оно все было на самом деле, и раскрывать свои истинные чувства. Разве можно назвать доброй женщину, которая, бросив пятилетнего сынишку, села на корабль и уплыла невесть куда? Больше он ее ни разу не видел и даже не знал, жива она или умерла. А два года спустя, когда мальчику исполнилось семь лет, отец оставил его на попечении бабушки и уехал строить Панамский канал. И отца своего мой папа тоже больше не видел. Он спал в одной кровати с бабушкой. Старуха обычно вставала чуть раньше его и готовила ему завтрак; моя мать усвоила этот распорядок и следовала ему, наверное, до самой смерти мужа. Однажды утром бабушка не встала вовремя, и, проснув-

шись, мальчик понял, что она лежит рядом уже мертвая. "Умерла, скорее всего, среди ночи, а я и знать не знал", – говорил отец. Он ни разу не назвал бабушку ни красивой, ни доброй, но мне было ясно, что она его преданно любила. Моя мать тоже была ему предана. И преданно выполняла свои обязанности: в доме всегда образцовый порядок, вкусная еда, двор выметен чисто-начисто, на грядках растут овощи и зелень, одежда выстирана и выглажена. Наверное, отец любил мою мать, раз взял в жены ее, одну из всех. Раньше-то я думала, что он женился на ней ради ее молодости и выносливости – как другие женятся ради денег. Он ведь был человек очень смекалистый.

Я так вцепилась в привезенное Мод письмо, что прямо-таки срослась с ним и уже его не замечала. А заметив, стала молить Бога, чтобы он помог мне остаться равнодушной к тому, что там написано. Вскрыла конверт и прочла то, что уже знала. Мой отец умер. Уже с месяц тому назад. Хотя сердце у него пошаливало давно, все равно смерть была неожиданной. Я должна сразу же ехать домой. Но было в письме и кое-что новенькое. Оказывается, отец умер, оставив маму без гроша. В сейфе, где он хранил присланные его матерью туфли и кое-какие другие ценные для него вещи, а также деньги, именно денег-то и не оказалось. Мать пошла в банк, но на его счету денег тоже не было. И в мужском клубе тоже. Он столько назанимал под свою страховку, что, не исключено, задолжал и страховой компании, и теперь моей матери придется эту кашу расхлебывать. Она уже взяла в долг на похороны, а в церкви, учитывая ее заслуги доброй прихожанки, заупокойную отслужили бесплатно.

У меня было накоплено немного денег – я откладывала их на квартиру, которую мы с Пегги планировали снять на пару; я собрала все, что было, и отправила матери. Узнав об этом, Мария дала мне вдвое против той суммы, что я отослала, эти деньги я тоже отправила. И написала матери; письмо вышло холодное. Под стать моему сердцу. Даже я сама изумилась, но послание все равно отправила. В письме я спрашивала мать, как ее угораздило выйти замуж за человека, который, умерев, оставит ее по уши в долгах, и даже на его похороны придется брать взаймы. Я указывала, где и как она сама себя предавала. По-моему, писала я, она и меня предавала, я это точно знаю, хотя не могу в данный момент подтвердить убедительным примером. Верно, писала я, она вела себя всегда как святая, но ведь живу-то я в реальном мире, поэтому мне всегда нужна была просто мать. Я напомнила ей, что все мое воспитание было посвящено одной-единственной цели – не дать мне стать потаскухой. Затем я вкратце описала свою личную жизнь, всячески доказывая, что воспитание успеха не имело и что, вообще говоря, быть потаскухой очень даже приятно – а потому большое спасибо. Сейчас я домой не приеду, писала я. И не приеду никогда.

На все это святая ответила, что всегда будет меня любить, навеки останется мне матерью, и только возле нее я буду чувствовать себя дома. Это письмо вместе с остальными, небольшой аккуратной пачкой лежавшими у меня на комоде, я сожгла в камине Луиса и Марии.

Как-то поздним вечером мы опять сидели с Марией на кухне. Она выглядела юной и легкой, а я – старой, свинцово-тяжелой. Нам обеим было ясно, что так проявилась реакция каждой на свое новое положение: она осталась без мужа, а я – без отца. Казалось, мы дочитали последние предложения длинного абзаца, дальше шла чистая страница. Луис бросил Марию, но она считала, что сама попросила его уйти. Они подали на

развод, говорила она; дети вконец запутались, ее очень беспокоит их психическое состояние, зато она чувствует себя свободной. Мне хотелось заметить ей, что не стоит сильно обольщаться этой "свободой", она исчезнет, словно по мановению волшебной палочки, но вместо этого я рассказала про нашу с Полом поездку днем за город. Пол повез меня взглянуть на развалины старинной усадьбы; бывший ее владелец когда-то страшно разбогател на торговле сахаром, производившимся как раз в тех краях, где я родилась. Я этого человека не знала, но если бы он еще не умер, я от души пожелала бы ему поскорее сдохнуть. По дороге Пол рассказывал о великих путешественниках, переплывавших моря и океаны не только в поисках богатства, но и в поисках свободы; стремление к свободе вообще свойственно человеку, говорил он. Я и понятия не имела об этом его пунктике — "свобода". На обочинах дороги валялись мертвые животные — олени, еноты, барсуки, белки; они пытались перебраться через шоссе и попали под колеса мчащихся машин.

— На пути к свободе одни находят богатство, а другие — смерть, — я старалась говорить небрежно, но не сумела, голос прозвучал серьезно.

Выслушав меня, Мария помолчала и затем спросила:

— Почему ты не простишь матери то, что она, как тебе представляется, наделала? Может, съездишь домой, скажешь ей, что ты ее прощаешь?

Каждое произнесенное ею слово тяжко падало мне в душу, будто высеченное на чем-то твердом, горьком и твердом, напоминая, как и почему я возненавидела свою мать; из глаз разом хлынули слезы, вкусом походившие на сок алоэ. В семье я была не единственным ребенком, но отчего-то почти стыдилась этого обстоятельства и никогда никому о нем не говорила, даже Марии. Единственным ребенком я была до девятилетнего возраста, а потом, в следующие пять лет, мать родила подряд трех мальчиков. Всякий раз при появлении новорожденного мои родители с большой важностью заверяли друг друга, что уж этот малыш точно поступит учиться в английский университет и станет врачом, или юристом, или еще кем-нибудь, кто имеет вес и влияние в обществе. Меня ничуть не волновало, когда отец, напрочь забыв о моем существовании, говорил это про сыновей — они же одной породы. Отец меня совершенно не знал; я и не ждала, что он пустится в фантазии о моем будущем, полном волнующих событий и побед. Но мать знала меня прекрасно, как самое себя; в то время я даже верила, что мы неотличимы друг от друга. И всякий раз при виде слез, наворачивавшихся ей на глаза, когда она воображала, как будет гордиться очередным выдающимся поступком своего сына, у меня сердце словно пронзало ножом, ведь никакого подобного сценария про единственную дочку, похожую на нее как две капли воды, матери и в голову не приходило. И я про себя стала звать ее миссис Иуда, начала обдумывать способы отмежеваться от нее, хотя и тогда уже подозревала, что полное отъединение неосуществимо.

Я рассказывала Марии об этом, и в памяти всплывали разные мелкие подробности моей жизни на родном острове: какого цвета было небо в шесть часов вечера того дня, когда я пошла за повитухой — мать собралась рожать первого братца; вспомнилась белоснежность сорочки, которую мать вышивала к рождению второго братца; рыжина рыжих муравьев, напавших на третьего братика, когда он лежал на кровати возле матери на следующий после рождения день; густая синева матросского костюмчика, в котором мой первый брат отправился с отцом на крикетный матч; ненакрашенные губы матери после родов каждого из братьев; день, когда из тюрьмы явились заключенные в своих черно-белых робах,

чтобы срубить росшее у нас во дворе сливовое дерево, потому что один из моих братьев чуть не умер, подавившись подобранной с земли сливой.

Внезапно мне пришлось замолчать; рот опустел, язык завалился в глотку. Сейчас окаменею, мелькнула мысль. Мария попыталась прийти на помощь. Она заговорила о роли женщин в общественной жизни, об их роли в истории, культуре, во всем. Но я не могла выдавить из себя ни слова и потому не сказала, что моя мать — это моя мать, а общество, история, культура и вообще все остальные женщины — это совсем другое.

Мария вышла и вернулась с большой книгой. Открыла на первой главе и протянула книгу мне. Я прочла самое начало: "Что такое женщина? Ответ очень прост, уверяют любители простых определений. Матка плюс яичники; короче, самка — и этим все сказано". Мне пришлось остановиться. Мария совершенно неверно истолковала мое положение. Невозможно было объяснить мою жизнь с помощью этой толстенной книги, которую я с трудом держала в руках. Моя жизнь была одновременно и проще, и сложнее: из своих двадцати лет десять, то есть половину, я провела, оплакивая конец моей любовной связи, быть может, единственной настоящей любви, которую мне суждено пережить.

Люси

Снова наступил январь; мир опять стал тонким, бледным и холодным; и я опять начинала все заново.

На ту девушку, какой я была раньше, возлагали немалые надежды: к примеру, ей прочили карьеру медсестры; ожидали, что она будет исправно исполнять свой дочерний долг, а также, конечно, проявлять законопослушность и благоговейно следовать условностям. Но за один-единственный год жизни вдалеке от дома эта девушка испарилась.

А какой я стала, я и сама еще не поняла. Ну, внешне-то все было привычно. Волосы те же, только теперь я их стригла очень-очень коротко, отчего лицо казалось почти совершенно круглым, и в голову впервые в жизни закралась мысль, что, может быть, я по-настоящему красива. Я знала, что если когда-нибудь и приду к заключению, что красива, то большого шума из-за этого поднимать не стану. Глаза те же. Уши те же. И остальные важные части тела те же.

Но кое-что другое, чего не увидишь глазами, не потрогаешь руками, все-таки изменилось, только я еще не уловила этих перемен. Я сознавала, что творю себя, причем скорее как художник, а не как ученый: никаких точных расчетов, одна интуиция. Даже более-менее определенного замысла в голове не было, но когда картина будет завершена, я это пойму сразу. У меня много чего нет. Ни положения в обществе, ни денег. Только память, только гнев, только отчаяние.

Я родилась на острове, на крошечном островке — двенадцать миль длиной и восемь миль шириной; однако до своего отъезда я исходила едва ли одну его четверть. Недавно я познакомилась с человеком, родившимся на противоположной стороне земного шара, но человек этот, эта женщина успела посетить и остров, на котором поколениями жили мои предки.

— До чего же там красиво! — сказала она, назвав какую-то прибрежную деревушку, и принялась описывать незнакомую мне местность.

В ту минуту я страшно устыдилась: я ведь считала, что люди моего положения обязаны все досконально знать про свои родные края. Знаю

я следующее: наш остров был открыт Колумбом в 1493 году; сам Колумб даже не сошел на берег, просто, проплывая мимо, назвал остров в честь какой-то церкви в Испании. Откуда ему было знать, что придется придумывать столько наименований, и я представляла себе, как ломал бедняга голову, когда уже иссяк запас имен и его благодетелей, и почитаемых им святых, и названий важных для него событий. Задача такого масштаба могла бы человека вдумчивого и погубить, но Колумб прожил еще очень, очень долго.

Я давно поняла, что первопричиной моего появления на острове — вернее, появления моих предков — была совершенная людьми гнусность. Однако не она побудила меня лет в четырнадцать встать на спевке школьного хора и громко заявить, что я не желаю петь "Правь, Британия! Правь, Британия, морями! Не бывать британцам никогда рабами" — я же не британка и не так давно вполне могла быть рабыней. Скандал замяли; вместо этого наша регентша только задалась вопросом: неужели все многолетние усилия окультурить меня так ни к чему и не приведут? В то время основания для подобного поведения были у меня совсем незамысловаты: я не любила потомков британцев за то, что они некрасивы, не умеют вкусно готовить, уродливо одеваются, не способны танцевать по-настоящему и не любят настоящей музыки. Вот бы вместо них нами правили французы!.. Они и внешне симпатичнее, и вид у них более жизнерадостный, словом, они мне были куда больше по душе. Завелась когда-то у меня подружка, мы с ней переписывались, она жила на соседнем, французском, острове, но хотя я его видела со своего берега, наши письма в обязательном порядке отсылались за тысячи миль в правившие нами державы, а потом уж шли к месту назначения. Марки на ее письмах всегда были проштемпелеваны французскими словами "Свобода, равенство, братство". На моих письмах вместо подобных слов непременно красовалось изображение женщины с каменной физиономией и недовольно поджатыми губами. Теперь-то я разбираюсь в этом гораздо лучше; мне ясно, что, при всех прекрасных штампованных словах, положение моей подружки было ничуть не завиднее моего. И все же слова эти, по-моему, не в пример приятнее, чем изображение женщины с каменной физиономией и недовольно поджатыми губами.

Вроде бы только вчера я была еще ребенком, а сегодня вдруг стала взрослой. И все разом принялись внушать: ты уже не ребенок. У меня начались менструации, появились груди, под мышками и между ног выросли волосы. Я резко вытянулась и с непривычно высоким ростом справлялась с трудом. Вроде бы только вчера я безмолвно мучилась в своем личном аду, не зная, кому рассказать о своих чувствах, даже не подозревая, что чувства эти знакомы и другим людям. Но тут вдруг жизнь резко переменилась. И я стала смотреть на свое прошлое так: есть некая граница; можно провести ее самой, иногда ее проводят другие; в любом случае за ней и находится твое прошлое — те разнообразные личности, которыми ты была раньше, и дела, которыми ты прежде занималась. Твое прошлое — это человек, которым ты была, и обстоятельства, которые для тебя тоже переменились.

Когда-то мне было девятнадцать; когда-то я жила в семье Луиса и Марии, когда-то я работала няней их четверых детей; в ту пору я нередко стояла как клуша с четырьмя девочками на перекрестке, ждала, пока на светофоре не загорится зеленый свет; или сидела с ними на берегу озера; или сидела с Марией на кухне, неизменно залитой бьющим в окно солнцем, и

мы пили кофе, который она научилась варить во Франции, а я, разговаривая с Марией, пыталась уяснить для себя, как возникли во мне те чувства, которые я испытываю до сих пор; я видела, каким счастьем изо дня в день лучилась Мария, а потом, когда ставший за столько лет привычным идеальный мир в одночасье рухнул, я увидела, что в душе ее вместо счастья воцарилась печаль; было время, когда я лежала голая в лунном свете с парнем по имени Хью; было время, когда я не знала, что за человек Луис, пока однажды не выяснилось, что он просто-напросто мужчина, самый что ни на есть рядовой мужчина — на моих глазах он крутил любовь с лучшей подругой собственной жены. Вот этим человеком, в этих обстоятельствах я и была в ту пору. Именно так я провела прошедший год.

Еще накануне я жила в огромной квартире Луиса и Марии (Луиса уже, конечно, не было, он куда-то съехал и пребывал в полном одиночестве, ожидая, пока пройдет предписываемое приличиями время, чтобы можно было сообщить Марии сногсшибательную новость: он охладел к жене, потому что влюбился в ее лучшую подругу Дайну), а назавтра я уже там не жила.

Мой уход начался в ту ночь, когда я узнала о смерти отца. В свое время, уезжая от родителей, я сказала себе, что не хочу их больше видеть. Это было сказано по-детски; ребенок вполне может пожелать кому-то смерти, может даже мечтать о том, как сам исполнит желаемое, но одновременно он хочет, чтобы умерший потом встал и продолжал жить и действовать как и прежде, только не делал того, что, собственно, и побудило ребенка желать его гибели. Я же мечтала никогда больше не видеть отца, и мечта моя сбылась: больше я его не увижу никогда. Как он выглядел в гробу? — думала я; кто сколотил гроб, из чего — из сосны или из красного дерева? А похоронили его в синем саржевом костюме, который он берег на особый случай, а тот все не наступал? Наверно, мать решила, что похороны и есть самый подходящий случай. Я никогда не представляла себе отца при смерти. Не представляла родителей при смерти. Я сказала об этом Марии, и она ответила, что никто не думает о том, что родители когда-нибудь умрут; я подавила досаду: снова она мне толкует про всех, когда я рассказываю ей *про себя*.

— Все дело в том, — сказала Мария, — что ты чувствуешь себя виноватой.

Виноватой?! Я всю жизнь полагала, что такой приговор выносят тебе другие, и мысль, что человек способен вынести себе его сам, была для меня новой. Виноватой! Но я вовсе не чувствовала себя убийцей. Я чувствовала себя Люцифером, обреченным громоздить зло на зло.

Месяцами я не вскрывала писем, что присылала мне мать. В них она подробнейшим образом описывала, как быстро и решительно изменилась к худшему ее жизнь с тех пор, как я уехала, но об этом я узнала позже — после того как, услышав о смерти отца, написала ей письмо и отправила деньги, а потом прочла ее ответ. Но ведь если б я заглянула в эти письма раньше, я бы, как ни кинь, умерла. Умерла бы, если бы ничего не стала делать; умерла бы, если бы что-то сделала. И тогда я написала ей последнее письмо, хотя она, вероятно, не подозревала, что никогда больше не получит от меня вестей. Я скоро приеду домой, писала я, и очень сожалею обо всем, что с ней произошло. Только не написала, что я ее люблю. Этих слов я вывести не могла. Затем сообщила, что семья, у которой я живу (Луис и Мария), переезжает в другую часть города; и быстренько сочинила несуществующий адрес. В ту же минуту я поняла, что вскоре мое житье у Луиса и Марии уйдет в прошлое.

После этого дни потекли слишком медленно и слишком быстро: мне не терпелось оставить этот период моей жизни позади, и каждое мгновение тяготило, как свинцовый шар. В то же время хотелось осознать все, что со мной происходит, и день пролетал как единый миг. В доме было мрачно, на улице тоже.

— Приближаются праздники, — говорила Мария. — Приближаются праздники.

Голос ее должен был бы звенеть от радости, но звучал так, будто впереди у нее похороны. Небо было плотное, серое; шел дождь, и капли походили на маленькие острые гвоздики; иногда проглядывало солнце, тусклое, точно на кого-то обиженное. Я заметила, что земля кажется жесткой, холодной, наглухо закрытой. Заметила потому, что, когда мне бывало совсем плохо, я мечтала, что она раскроется и поглотит меня. Значит, если, переходя улицу, я вдруг упала бы замертво от отчаяния, то просто осталась бы лежать там на холоде. Земля не принимала меня. Но мысль о смерти на холоде была мне невыносима. Я хотела умереть в жарком месте. Единственным известным мне жарким местом был родной дом. Уехать домой я не могла, стало быть, не могла еще умереть.

Я сказала Марии, что ухожу от них.

— Но еще и года не прошло. Тебе положено проработать хотя бы год.

Тон у нее был сердитый, но я не обращала внимания. Человеку, которого бросают, всегда приходится нелегко. И даже произнося эти слова, Мария, наверное, понимала их бессмысленность, ведь через считаные недели должен был исполниться год, как я к ним нанялась. Теперь она ясно представляла себе свое положение: женщина, которой изменил муж. Меня подмывало сказать ей:

— Эка невидаль! Дело-то житейское. Мужчины так поступают постоянно. А те, кто поступает не так, просто исключения из правила.

Но я знала, что услышу в ответ.

"Какая банальность, — сказала бы Мария. — Да и откуда тебе про это знать?"

И была бы права, это и правда банальность, а я сама через такое испытание не проходила. Но ведь и там, откуда я родом, с этой банальностью сталкивается каждая женщина. Поведение мужчины вроде Луиса никого не удивило бы и никому не отравило бы жизнь: ведь этого следовало ожидать. Всем же известно, что мужчины аморальны, что они не умеют себя вести, не считаются с другими людьми. Именно поэтому мужчины так обожают законы; поэтому они их и напридумывали — им необходима инструкция. Не зная, как поступить, они немедленно справляются в инструкции. Если предлагаемый там совет им не по вкусу, они инструкцию изменяют. Даже мне было это известно; почему же Мария не знает? Но если бы я все это ей высказала, она достала бы откуда-то драгоценную свою книгу и ткнула меня в нее носом; в книге опровергается все, что бы я ни сказала; судя по всему, этот томина был написан женщиной, в жизни абсолютно не разбиравшейся.

Наступили праздники, в самом деле напоминавшие похороны: много чего к тому времени умерло. Ради детей Мария с Луисом делали вид, что все хорошо. Появляясь время от времени в бывшей своей квартире, Луис исправно выполнял все, что положено отцу, — как если бы еще жил с женой и детьми. Принес елку, купил дочкам подарки, о которых они мечтали, а Марии — шубку, сшитую из шкурок мелкого животного, живущего под землей вредителя. У Марии, естественно, шубка не вызвала ничего, кроме отвращения, но из вежливости она своей гадливости не вы-

казала. Луис, очевидно, забыл, что Мария совсем не тот человек, кто без крайней нужды натянет на себя шкуру другого живого существа. А может быть, в предпраздничной суете он отдал своей прежней возлюбленной подарок, предназначенный для новой любимой? Мария подарила мне ожерелье из красивых фарфоровых бусин и маленьких полированных деревянных шариков. Его сделали в Африке, сказала она, ручная работа. Такой красивой вещи мне еще никто не дарил.

Наступил Новый год, и я опять переезжала на новое место. Вещи я уже упаковала; их набралось куда больше, чем было, когда я сюда приехала. У меня появилась новая одежда, более подходящая для климата, в котором я теперь жила. А еще фотоаппарат и снимки, которые я сама сделала. Но в основном — книги, очень много книг, и все — мои. Мне не нужно будет с ними расставаться. Я всегда мечтала обзавестись массой книг, чтобы не расставаться с книжкой, как только я ее прочитала. Они были разложены по небольшим коробкам и аккуратно упакованы — мои собственные, уже прочитанные книги.

Теперь Мария разговаривала со мной неизменно резким тоном, придумывала все новые и новые правила, требуя, чтобы я им следовала. Я подчинялась — ведь, в конце-то концов, что еще она могла поделать? Это было ее последнее утешение: подчеркивать, что я — служанка, а она — госпожа. Раньше она настойчиво утверждала, что мы с ней подруги, но из этого ничего не вышло. А теперь я уезжала. Роль госпожи ей удавалась плохо, грустно было наблюдать за Марией. Это, однако, напомнило мне наказ моей матери, который она повторяла без устали: в жизни я всегда должна стремиться иметь собственную крышу над головой; это крайне важно, особенно для женщины.

В день моего отъезда солнце не выглянуло ни разу, его наглухо закрыли тучи. Была суббота. Луис повел детей во французский ресторан угостить улитками. Все четверо обожали такую еду — оно и к лучшему, это вполне соответствовало той жизни, которая им предстояла. Мария помогла мне снести вещи к такси. Попрощалась она со мной холодно. И тон, и выражение лица были ледяными. Она не обняла меня на прощание. Я не обиделась; когда-нибудь мы снова станем друзьями. Я словно оцепенела, ведь я не знала, что́ ждет меня в новой жизни.

На следующее утро я проснулась на новой кровати, и она принадлежала мне. Я купила ее на собственные деньги. Крыша над головой тоже принадлежала мне — во всяком случае, пока у меня хватит денег на оплату квартиры. Ситцевые занавески на окнах были пестрые, в ярких цветах; мне приглянулся этот рисунок сразу, как только продавщица в магазине тканей на него указала. В здешнем климате они выглядели вульгарно, но там, откуда я родом, были бы очень уместны. Сквозь занавески просвечивал такой же серый, как накануне, день: небо затянуто тучами, солнце в глухой темнице. Но я уже знала, что, хотя мне никогда не будет безразлично, есть на небе солнце или нет, и солнечный день всегда будет предпочтительнее пасмурного, я и к новому климату привыкну. И не стану принимать важного решения под влиянием погоды.

Квартиру для нас нашла Пегги. В то время мы еще считали себя закадычными подружками. Нас ничто не связывало, кроме одного: нам было легко вместе. С первой минуты знакомства каждая ощутила в другой привычное беспокойство, недовольство всем окружающим, знакомую неприкаянность. Этим наше сходство и ограничивалось. С несходствами и недостатками мы мирились. Но позже, когда общение стало нас тяготить, когда

проклюнулись первые ростки неприязни, грозившие рано или поздно перерасти в неискоренимую ненависть, — вот тут-то мы и решили съехаться. Это еще не худший случай. В подобные минуты жизни люди, бывает, женятся, потом заводят десяток детей, годами живут под одной крышей и в конце концов умирают, распорядившись похоронить их рядом. Мы же всего лишь подписали договор о найме квартиры на пару лет.

Было воскресенье. Слышался перезвон церковных колоколов. Я больше года не заходила в церковь — с тех пор, как уехала из дома. Наверно, я по-прежнему верила в Бога, да и что мне еще оставалось? Но я уже не обращалась к Нему с просьбами, поскольку была уверена, что ответ мне не понравится. А я теперь могла делать все, что нравилось, лишь бы это было мне по карману. Фраза "Лишь бы это было мне по карману" стала моим девизом, вытеснив всякий здравый смысл. Умри я тогда, она вполне подошла бы для эпитафии.

Пегги, жившая всю жизнь с родителями, решила, что с нее хватит. Предки обрыдли ей до смерти, заявила она. Сказано это было так, будто речь шла, к примеру, о молодежной одежде, которую она давно переросла. Я никогда не слыхала, чтобы о родителях говорили подобным образом; не подозревала, что их можно изображать людьми надоедливыми и ничтожными, вроде никчемных опостылевших безделушек. Я не знала — то ли восхищаться подругой, то ли жалеть ее за то, что ей в качестве родителей не достались более крупные, яркие личности, чье присутствие на земле ощущаешь при каждом вздохе.

Кто-то сказал Пегги, что сдается квартира: две спальни, гостиная, кухня и ванная. Большую часть жизни я прожила, не подозревая о такой роскоши, как унитаз, горячая и холодная вода и возможность уединиться в ванной комнате — то есть просто закрыть дверь, раздеться и, улегшись в ванну, нежиться сколько душе угодно. И могла бы так никогда и не узнать, причем отсутствие этих удобств даже не вошло бы в мой список поводов для огорчения. Но теперь-то все стало иначе. Убедившись, что в новой квартире всего одна ванная, я расстроилась. Когда я работала у Марии и Луиса, у меня была своя ванная комната, и мои запахи были известны мне одной. Здесь на выходивших во двор окнах тоже стояли решетки — но не те, красивые, которые не дадут детям выпасть из окна, а обычные прутья крест-накрест, чтобы в квартиру не влезли злоумышленники; сквозь фасадные окна, если день выдавался солнечный, комнаты заливало золотистым светом. Дома я нередко валялась в постели, окруженная тем, что, по общему мнению, удоволетворило бы всякого: любящей родней, массой вкусной еды в кладовке, благодатной природой — но довольной себя не чувствовала. В ту пору я мечтала пожить именно в таком вот месте, с решетками на окнах — на случай, если кто замыслит недоброе, — с суровым климатом и поджидающей за каждым углом неизвестностью. История полна великих событий; но по их окончании всегда остается кто-то — маленький, несчастный человечек, всем недовольный и раздраженный; ему неуютно в собственной шкуре, и он готов заварить целую серию новых великих исторических событий. И хоть я не принадлежала к породе людей, способных дать ход великим событиям, я прекрасно понимала природу этого явления.

По воскресеньям я частенько мечтала просто провалять денек в постели и не вставать вообще, тем более ради посещения церкви. Итак, было воскресенье, я не поднималась с кровати. Зачем? Встану когда захочу. На стене передо мной висела фотография — я сняла ее взятым у Хью аппаратом. На снимке было лишь водное пространство, озеро, на

котором я провела то лето, больше ничего: ни лодок, ни людей, никаких признаков жизни — одна только вода; поверхность равномерно покрыта мелкой рябью, а глубь темная, неприветливая, коварная. Полная противоположность той воде, которая окружала меня на родном острове. Там она была синяя, трех оттенков, спокойная, приветливая, теплая; я воспринимала ее как нечто само собой разумеющееся, и она тоже вошла в список проклинаемых мною вещей.

Мария подарила мне небольшой письменный столик со множеством ящиков. Я поставила его возле кровати, а сверху водрузила лампу. Сунув руку в верхний ящик, я вытащила тонкую пачечку документов: мой паспорт, иммиграционное свидетельство, разрешение на работу, свидетельство о рождении и копию контракта о найме квартиры. Эти документы сообщали обо мне все — и одновременно ничего. Сообщали, где я родилась. Сообщали, что родилась я двадцать пятого мая тысяча девятьсот сорок девятого года. Указывали, какого я роста. Сообщали, что и кожа, и глаза у меня коричневого цвета, хотя и не утверждали, что одного и того же оттенка. Во всех документах говорилось, что меня зовут Люси, Люси Джозефин Поттер. Раньше я ненавидела и оба имени, и фамилию. Джозефин меня назвали в честь мистера Джозефа, дяди моей матери, потому что он был богат, нажился на кубинском сахаре, и в семье надеялись, что он не забудет оказанной ему чести и что-нибудь да оставит мне по завещанию. Но когда он умер, выяснилось, что задолго до смерти он потерял свое состояние и не имел даже крыши над головой — ютился в старинном склепе на англиканском кладбище. Фамилия Поттер, скорее всего, досталась нам от англичанина, владевшего моими предками, когда они были рабами; происхождения фамилии никто точно не знал, и вряд ли можно было винить родню за то, что они не удосужились это выяснить. Так что я готова была считать по-настоящему своим только имя Люси. Когда я впервые начала раздумывать над своими именами, имя Люси мне не понравилось — уж слишком оно казалось легковесным, бессодержательным; совсем не такое подходит человеку, каким уже тогда я хотела стать. Я мысленно называла себя другими именами: Эмили, Шарлотта, Джейн — именами писательниц, чьи книги особенно любила. В конце концов остановилась на Инид, имени, позаимствованном у писательницы Инид Блайтон[1], потому что оно показалось мне самым необычным из всех. Вбив себе в голову, что теперь меня должны знать только под именем Инид, я однажды объявила матери:

— Мне не нравится имя Люси. Хочу сменить его на Инид. Это имя мне нравится больше.

Мать стала темнее тучи, кровь бросилась ей в лицо. Она повернулась ко мне, и я ее не узнала: вместо матери передо мной был наполненный клокочущей яростью шар, огромный, словно Бог. Я в очередной, миллионный, раз подумала: ну почему из всех матерей на свете мне досталась не обычная женщина, а существо из какой-то древней книги? Вскоре после того, благодаря своей привычке подслушивать разговоры матери с ее подругами, я узнала, что женщину, которая родила ребенка от моего отца и пыталась навести на нас с мамой смертельную порчу, звали Инид. Прежде я никогда этого имени не слыхала. Когда тайна загадочного поведения матери была раскрыта, я устыдилась своей промашки. Даже ради того, чтобы досадить маме, я не стала бы брать имя женщины, пытавшейся убить нас обеих.

1. Инид Блайтон (1897—1978) — английская детская писательница.

Много времени спустя, когда мне уже было все равно, какое действие оказывают на мать мои слова и поступки, я снова завела речь о своем имени. Мать готовила ужин: склонившись над миской, потрошила рыбу и приправляла ее специями. Она тогда носила последнего своего ребенка. Беременность эта была нежеланной, мать трижды пыталась избавиться от плода, но никакие ухищрения не помогли. Между тем к ней давно уже привязалась старая, коричневая с белым собака. Мы не знали, откуда она взялась, но стоило матери ступить за порог, поджидавшая ее собака неотступно шла за ней по пятам. Мать животных не любила; у нее на родине, когда кто-нибудь хотел причинить другому зло, то зло это насылалось в зверином обличье. Убедившись, что собака всюду следует за ней, мать решила, что это не к добру, и потому всячески старалась отделаться от псины, но та не уходила. Мать сдалась в тот день, когда поняла, что собака тоже брюхата. Забавно было смотреть, как обе они шествуют по улице, две женские особи, одна человеческого, другая собачьего рода, и обе беременные. Они всюду появлялись вместе и даже стали походить друг на дружку: обе худые, усохшие, недокормленные (у матери пропал аппетит), неласковые. Обе стали раздражительными и огрызались, если им казалось, что кто-то их чем-то обидел. Пока мать чистила рыбу, собака стояла неподалеку, клацая зубами на надоедливых мух. Вот была картина! Снулая рыба, мухи, беременная женщина и беременная собака.

Глядя на это зрелище, я возьми да и спроси мать, почему она назвала меня Люси. Когда я задала вопрос в первый раз, она не ответила, притворившись, что не расслышала его. Я повторила, и она процедила шепотом:

— Назвала в честь самого Сатаны. Люси — сокращенное от Люцифера. Покоя от тебя нет с самого зачатия!

Я отчетливо услышала каждое слово; услышала еще до того, как слова сорвались с ее губ. И тем не менее проговорила:

— Что ты сказала?

Но она повторять не стала, лишь обронила:

— Зачем ты меня так мучаешь?

И больше со мной вообще не разговаривала.

Еще минуту назад я казалась себе тяжелой, старой и усталой, но после ее слов сразу почувствовала себя легкой, новой, чистой. Ощущение собственной никчемности сменилось торжеством. Наконец-то я поняла, кто я. Когда я была совсем маленькой и еще не знала грамоты, меня учили читать по таким книгам, как Библия, "Потерянный рай" и сборник пьес Шекспира. Я хорошо знала Книгу Бытия; время от времени меня заставляли заучивать отрывки из "Потерянного рая". Стало быть, истории падших ангелов были мне прекрасно известны, но я и не подозревала, что перипетии моей собственной жизни могут быть с ними связаны хотя бы отдаленно. Люси, девичье имя, — от Люцифера! Меня не удивило, что мать углядела во мне бесовщину, ведь сама она мне часто казалась богоподобной, а разве дьяволы — не дети богов? Не то чтобы я прониклась любовью к имени Люси — уж лучше бы меня прямо и честно назвали Люцифером, — но всякий раз, видя свое имя, я готова была крепко его обнять.

Я вылезла из-под одеяла и ступила на старенький коврик, подаренный Марией. Захотелось как следует потянуться, но в комнате было холодно, и я съежилась, обхватив себя за плечи. Пегги еще спала; сквозь закры-

тую дверь доносился ее храп. Прежде она каждое воскресенье ходила с родителями в церковь, но теперь заявляла, что ноги ее там больше не будет. В ванной я взглянула на свое лицо в зеркало. Мне было двадцать лет — не слишком-то долгая жизнь, и тем не менее на моем лице не видно было и намека на невинность. Пусть я еще не познала всего; если мне суждено, что ж, я не боюсь познать *всё*. Если жизнь окажется холодной и суровой, я не удивлюсь.

Я подошла к окну и посмотрела на улицу. Внизу торопливо шли люди, правда, не так много, как в будни. Вдали вырисовывались крыши других зданий. В обозримом пространстве ни единого деревца. Все, что я видела вокруг, казалось мне нереальным, и возникало чувство, что я никогда не стану частью этого мира, никогда в него не проникну и не буду в нем принята. На доме напротив высилась башня с часами. Я долго смотрела на часы, пока не поняла, что они сломаны, и преследовавшее меня ощущение стало еще острее: у меня нарушилось чувство времени, я уже не понимаю, как проходит день — слишком быстро или слишком медленно.

Подошла Пегги и тоже посмотрела в окно. Перед нами открывался один и тот же вид, но видела ли она то же, что я? Скорее всего, нет. Мы прожили вместе меньше суток, и за это недолгое время различия между нами все нарастали. Чем самой стряпать, Пегги предпочитала питаться консервами или полуфабрикатами. И вообще, предпочитала, чтобы за нее все делали другие. Даже пуговицу пришить не умела. Она стояла возле меня у окна, от нее пахло сигаретами и несвежей едой. Пегги еще не принимала ванны и не чистила зубов. Положив голову мне на плечо, она сказала:

— Ну кто бы мог подумать! Все-таки мы это сделали! Даже не верится.

От ее волос пахло лимоном, но не настоящим лимоном, не таким, какие росли у нас дома во дворе, а искусственным, созданным в лаборатории. Пегги понятия не имела, как пахнет настоящий лимон.

"Как же мне теперь отсюда выбраться?" — пробивалась откуда-то изнутри мысль, но я быстренько завалила ее большим камнем. Пегги закурила; мне это было неприятно. Она вызвалась сделать нам по чашке растворимого кофе, но я сварила настоящий кофе с кипящим молоком, как научила меня Мария. День клонился к вечеру. Какое-то время я гадала, чем сейчас занимается моя мать, и живо представила ее лицо; на нем было выражение безграничной любви, с каким она изредка на меня смотрела.

Ранним вечером зашел Пол — взглянуть на квартиру и сводить нас поужинать. Он принес большой букет мелких желтых розочек и вручил мне мою фотографию: снял меня за готовкой, я стою над кастрюлей с кипящим варевом. До талии голая, а ниже обернута тканью. В ту минуту он, видимо, решил, что в каком-то смысле я ему принадлежу, а я в ту же минуту почувствовала, что он мне надоел. Я тогда громко распевала песню с такими словами: "Твоя безумная, безумная любовь — вот мечта моя". Он предположил, что мое особое настроение связано исключительно с ним, а я просто пела песню и ничего конкретного под ней не подразумевала. Он поцеловал меня поцелуем собственника: притиснув к себе все мое тело, не торопясь впился в губы; но я, хоть и не осталась безучастной, не видела в происходящем ничего особенного вопреки уверенности Пола в обратном. Я знала его лучше, чем он думал. Он обожал руины; любил прошлое, но только если оно завершалось на грустной ноте, постепенно перейдя от возвышенного начала к загниванию и упадку; любил привезенные из дальних стран вещи с загадочной историей. Я

могла бы ему сказать, что давно уже его раскусила, но зачем? Навряд ли он займет в моей жизни важное место на долгие, долгие годы.

Пол повел нас в ресторан, где подавали макароны разнообразной формы и размера под всевозможными соусами, только назывались они не макаронами, а незнакомым мне словом, и когда я его произносила, оно почему-то звучало фальшиво. Потом мы пошли обратно в нашу квартиру, и, переступая порог, я поймала себя на том, что вовсе не воспринимаю ее как свой дом, а всего лишь как место, где я теперь живу. Пол остался в моей постели. До этого ни один мужчина никогда не оставался в моей постели до утра. Но если раньше я посчитала бы это событие желанной вехой в жизни, то теперь не придала ему особого значения; просто отметила мысленно, и всё.

В тот понедельник я начала работать на новом месте. Объявляя Марии, что ухожу, я еще не знала, что стану делать. Собственно говоря, я вообще ничего еще не умела. У меня не было никакого реального жизненного опыта, кроме учебы и ухода за детьми. Но страха я не испытывала. Почему-то не испытывала. Один знакомый Пола фотографировал продукты и другие омертвелые предметы, а снимки продавал в журналы. Он сказал, что готов платить мне жалованье, если я возьмусь отвечать на телефонные звонки, записывать все, что попросят ему передать, а также вести переписку и выполнять другие мелкие поручения. Зарплата была маленькая, но я все равно была ему благодарна. Пегги давно готовила меня к миру отношений между наемным рабочим и нанимателем. Учила, как себя вести, когда хочешь получить место, как выказывать приличествующие случаю уважительность, смирение и угодливость, даже если в душе у тебя совершенно иные чувства. А вот когда получишь работу и закрепишься на ней, говорила она, вот тогда сможешь позволить себе проявить свою индивидуальность. Не то чтобы я возражала против обмана, но предпочла бы начинать по-другому.

Утро в тот понедельник было похоже на многие последующие утра, да и день походил на многие последующие дни. Мы с Пегги без лишних слов распределили время: сколько провести в ванной, сколько перед большим зеркалом в коридоре, сколько в кухне за завтраком. На углу улицы она обняла меня, поцеловала в щеку и пожелала удачи. В ту минуту что-то глубоко скрытое вдруг шевельнулось в душе каждой из нас, на глаза навернулись слезы, но, не дав им пролиться, мы повернулись, и каждая пошла своей дорогой. Я шагала по улицам, стараясь высоко держать голову и внимательно смотреть по сторонам. Мне хотелось запомнить все, что я вижу и чувствую, но уже тогда я понимала: в памяти останется совсем не то, на чем сейчас задержался взгляд.

Я пришла на работу, поздоровалась со всеми и села за свой стол. Наконец начиналась жизнь, о которой я всегда мечтала. Я жила отдельно от семьи, в месте, где обо мне мало что известно, почти никто не знал даже, как меня зовут, и я была более-менее вольна приходить и уходить когда вздумается. И при этом я не улавливала в себе и намека на чувство блаженства, счастья, осуществленной мечты, которое, по моим предположениям, должно было нахлынуть в такой момент.

Человека, который взял меня на работу, звали Тимоти Саймон. Я называла его мистер Саймон, а не Тим и даже не Тимоти, хотя он меня об этом очень просил. Поэтому и он не называл меня "лапулей" или "дорогушей", как всех прочих женщин. Раз он дружит с моим другом, говорил мистер Саймон, значит, и мы с ним должны быть друзьями. Но в ту пору

я еще не слишком хорошо знала мужчин; а то, что про них знала, не очень-то их красило. Дружба — вещь простая, но в то же время и сложная; на первый взгляд, все очевидно, естественно, само собой разумеется, однако стоит заглянуть поглубже, и откроются целые непознанные миры. Друзьями мы так и не стали, но он все равно возбуждал мое любопытство. Он был первым из моих знакомых, кто пошел на страшный компромисс с самим собой. Мистер Саймон ведь вовсе не жаждал сидеть в студии и фотографировать омертвелые предметы; он всегда хотел бродить по свету и снимать людей, совершенно безвинно перенесших ужасные страдания. Но спрос на такого рода произведения весьма ограничен, объяснял он, а вот его нынешнее занятие оказалось делом прибыльным. Произнеся слово "прибыльный", он растянул сжатые губы в улыбку, которая, в сущности, была вовсе и не улыбкой, а способом пресечь дальнейшие расспросы.

Каждое утро я вставала и завтракала, но завтраки становились все скуднее и в конце концов свелись к чашке чая. Мы с Пегги шли вместе до ближайшего угла, а потом расходились в противоположные стороны, она на север, я на юг. В студии я выполняла свои обязанности, причем кое-что заметно лучше прочих. Печатать, к примеру, я практически не умела, зато на телефонные звонки отвечала, по общему мнению, толковее всех своих предшественниц. Я взяла моду постоянно пить кофе, хотя по вкусу здешний кофе больше напоминал помои, а не тот напиток, к которому я привыкла у Марии. Обедала я чем-нибудь холодным и влажным — сандвичами или кислым молоком с примесью желатина. Я была уверена, что такая еда мне совсем не годится, но и это мне нравилось.

Мистер Саймон разрешал мне проявлять пленки в своей фотолаборатории, когда она была свободна. Делала я это в нерабочее время. Я по-прежнему занималась фотографией, а зачем, и сама не знала. Я даже откладывала понемножку из зарплаты, чтобы потом пойти на вечерние курсы в расположенном неподалеку университете, но без всякого прицела на будущее — просто меня увлекло это занятие. Иногда я засиживалась в проявочной допоздна, стараясь получить хороший, выразительный отпечаток. Больше всего мне нравилось фотографировать идущих по тротуарам прохожих. Я снимала не отдельных индивидуумов, а сценки уличной жизни, спешащих куда-то людей. Я их не знала, и они меня ничуть не интересовали. Я делала отпечаток за отпечатком, добиваясь, чтобы то, что, казалось мне, я увидела, выглядело на фотографии лучше, чем в жизни, чтобы проступило что-то, чего я не увидела, однако каждый раз терпела неудачу.

Поздно вечером я брела домой; воздух был чуточку гуще, чуточку теплее, чем когда я только вступала в новую пору моей жизни, потому что зима прошла. Пегги уже была дома, расхаживала в халате, от свежевымытых волос пахло фальшивым лимоном. Она каждый вечер мыла голову и ложилась спать с мокрыми волосами, чтобы наутро получить желаемый эффект. Когда я в первый раз застала ее дома в таком виде, она призналась, что надеется поступить в училище парикмахерского искусства, чтобы овладеть секретами красоты. Впрочем, говорила она об этом очень трогательно — как будто и впрямь намерена служить обществу. И я тогда же поняла, что ни в коем случае не стану обсуждать с ней свои мучения с отпечатками. Иногда дома меня уже поджидал Пол — обычно лежа на моей кровати, поскольку Пегги казалось, что своим присутствием он посягает на ее личную жизнь. И я ее понимала. Его присутствие в моей постели частенько было мне совершенно ни к чему, но, пока он сам не надумал

окончательно со мной распрощаться, я терпела: не хотелось еще одного расставания, с меня на тот момент было довольно.

Я была одна на всем свете. Уже немалое достижение. Я ведь думала, что умру, так и не узнав одиночества. Счастья я не испытывала, но на него вроде бы и рассчитывать не приходилось. Я повидалась с Марией. Она пригласила меня на ужин. Мы с ней сблизились заново; обе признались, что нам очень не хватает друг друга. Мария выглядела сильно похудевшей. Она страдала, оттого что осталась одна, хотя при ней были ее четверо детей, но дети — это ведь не друзья-приятели. Мария сообщила, что уезжает далеко-далеко и поселится в необыкновенно красивом месте, среди нетронутой природы. Все тамошние жители, сказала она, исполнены любви и доверия к окружающим и при встрече приветствуют друг друга словами "Мир вам". Мы ужинали, сидя на полу, среди обломков ее семейной жизни: вокруг стояли хрустальные бокалы для вина и воды, фарфоровые тарелки, отделанные по краю настоящим золотом, было разложено настоящее столовое серебро. Все это и многое другое, связанное с ее замужеством, Мария раздаривала. Она предложила мне взять что захочу, но я не хотела ничего. Я не представляла себе, как стала бы жить рядом с какой-нибудь из этих вещей. Все они напоминали мне — и ей, наверно, тоже, — как тяжела жизнь. Мария подарила мне на память записную книжку, которую много лет назад купила в Италии, а теперь наткнулась на нее, когда разбирала вещи. Обложка была кожаная, кроваво-красная, а страницы — молочно-белые, гладкие. В те дни, когда я собралась уходить от Марии, чтобы начать жизнь, которую теперь вела, я как-то сказала ей, что передо мной открывается будущее, похожее на книгу с чистыми страницами. И протягивая мне записную книжку, Мария повторила эти мои слова; потом, в обычной своей манере, которую я успела полюбить, заговорила о женщинах, журналах и, разумеется, об истории. Мы попрощались; увижу ли я ее когда-нибудь еще? — подумала я.

Как-то вечером я осталась дома одна. Пегги ушла куда-то развлекаться без меня. Пол тоже ушел куда-то развлекаться без меня. Я уже заметила, что это случалось все чаще и чаще. Оба они были чем-то заняты; я подозревала — друг другом. Я лишь надеялась, что они не станут злиться и портить мне жизнь, когда поймут, что мне это все равно. Я переделала кучу мелких домашних дел: выстирала белье, отчистила плиту, вымыла пол в ванной комнате, подстригла ногти, разобрала вещи в комоде, проверила свой запас прокладок. Потом решила пойти спать; не выключая света, долго лежала в оцепенении. И вдруг на прикроватном столике заметила подаренную Марией записную книжку; рядом — свою авторучку, полную красивых синих чернил. Я взяла ручку и открыла книжку. На самом верху страницы вывела свое имя: Люси Джозефин Поттер. Разом, сменяя друг друга, нахлынуло множество мыслей, но записала я только вот что: "До чего же хочется полюбить кого-нибудь сильно-сильно, чтобы умереть от любви". Я взглянула на написанное, и меня захлестнуло волной стыда; я расплакалась, да так, что на страницу закапали слезы и слова расплылись в одну огромную кляксу.

Джампа Лахири

Рассказы

Перевод М. Салганик

Толмач

Случайной мистер и миссис Дас поссорились из-за того, кому отвести Тину в туалет. Идти пришлось миссис Дас: она сдалась, когда мистер Дас напомнил ей, что прошлым вечером купал ребенка он. В зеркальце заднего обзора мистер Капаси видел, как она медленно выбирается из толстобокого белого "амбассадора", перемещая по сиденью выбритые, почти доверху оголенные ноги. Она не взяла девочку за руку, когда они зашагали к сортиру.

Ехали осматривать храм Солнца в Конараке. Воскресенье выдалось сухое и ясное, июльскую жару умерял ровный океанский бриз — идеальная погода для экскурсии. Вообще-то мистер Капаси не любил частые остановки в пути, но тут девочка начала проситься уже через пять минут после того, как он взял семейство в отеле "Санди Вилла". Увидев мистера и миссис Дас с детьми на ступенях отеля, он сразу обратил внимание на молодость супругов, подумал, что им, пожалуй, и тридцати нет. Трое детей: кроме Тины, еще два мальчика, похоже, погодки, Ронни и Бобби, с блестящими металлическими скобками на зубах. Индийцы, но одеты по-заграничному, дети в новеньком и ярком, на мальчиках кепочки с прозрачными козырьками. Мистер Капаси к иностранным туристам привык, его часто приглашали обслуживать их, поскольку он знал английский. Вчера возил старенькую чету из Шотландии, у обоих лица в пигментных пятнах и легкие седые волосы, такие реденькие, что сквозь

© Jhumpa Lahiri, 1999
© М. Салганик. Перевод, 2003

них просвечивают обожженные солнцем макушки. По сравнению с теми загорелые молодые лица супругов Дас выглядели очень свежими. Представляясь, мистер Капаси сложил ладони перед грудью, но Дас пожал ему руку по-американски крепко, так что даже в локте отдалось. Миссис Дас заученно улыбнулась уголком рта, явно не проявив к нему никакого интереса.

Пока стояли у чайной, Ронни, который вроде был старшим из двоих, вдруг выпрыгнул из машины, привлеченный привязанной к колышку козой.

— Не трогай животное, — сказал мистер Дас, на миг оторвавшись от книги в заграничном глянце с надписью "Индия" крупными желтыми буквами. Голос у него был высокий и чуть неуверенный, будто он еще только пробовал его.

— Я хочу ей жвачку дать! — отозвался мальчишка, устремляясь к козе.

Мистер Дас вышел из машины и сделал несколько приседаний, разминая ноги. Гладко выбритый отец выглядел увеличенной копией сына. Козырек его бейсболки был сапфирово-синий, на нем были шорты, теннисные туфли и футболка. На груди висела камера с внушительным телефотообъективом, множеством кнопок и разных штучек — единственная сложная вещь в его обмундировании. Мистер Дас нахмурился, наблюдая за приближением Ронни к козе, но намерения вмешаться не выказал.

— Бобби, следи, чтобы брат не наделал глупостей.

— Да ну его, — не двинулся с места Бобби, сидевший рядом с мистером Капаси и рассматривавший изображение бога-слона на панели управления.

— Не волнуйтесь, — сказал мистер Капаси, — здесь козы смирные.

Мистеру Капаси исполнилось сорок шесть, волосы у него поредели и приобрели совершенно серебряный цвет, но чистая бледно-смуглая кожа и лоб без единой морщинки (он постоянно пользовался бальзамом из лотосового масла) позволяли догадаться, каким он был в молодости. Он был одет в серые брюки и рубашку в тон, приталенную, с короткими рукавами и большим воротником с острыми уголками. И материал — тонкая, но прочная синтетика, — и покрой детально оговаривались с портным; мистер Капаси предпочитал для работы с туристами одежду, которая не мялась от долгого сидения за рулем. Он следил за Ронни — тот обошел козу, осторожно дотронулся до ее бока и ринулся обратно к машине.

— Вас, наверное, увезли из Индии еще ребенком? — осведомился мистер Капаси, когда мистер Дас уселся на место.

— Мы с Миной оба родились в Америке, — с неожиданной кичливостью объявил Дас. — Родились и выросли. Здесь у нас живут родители. В Ассансоле. Они уже отошли от дел. Раз в два-три года мы их навещаем.

Он оглянулся — девочка подбегала к машине, пышные банты ее сарафанчика подскакивали на узких загорелых плечиках, она прижимала к груди желтоволосую куклу, будто в наказание остриженную тупыми ножницами.

— Вот Тина у нас впервые в Индии, правда?

— Больше мне в туалет не надо, — объявила Тина.

— А Мина где?

Мистера Капаси удивило, что, обращаясь к дочери, он называет жену по имени. Тина ткнула пальчиком в сторону чайной, где миссис Дас что-то покупала у голого по пояс мужчины. Другие мужчины у чайной разглядывали ее. Один запел ей вслед популярную любовную песенку, но

она, видимо, не знала хинди, потому что не смутилась, не возмутилась, вообще никак не отреагировала на это предложение любви.

Мистер Капаси присмотрелся к ней. Юбка в красно-белую клетку не достает до колен, босоножки на квадратных деревянных каблуках, облегающая блузка, скроенная на манер нижней мужской рубахи. На груди блузку украшает аппликация в виде клубничины. Роста она невысокого, маленькие руки похожие на лапки, на ногтях розовый лак в тон губной помаде, фигура полноватая. Волосы, ненамного длинней, чем у мужа, сбоку разделены пробором. Огромные коричневые с розовым отливом очки, большая соломенная сумка в форме чаши, из которой торчит бутылка с водой. Идет не спеша, в руках большой кулек из газетной бумаги с поджаренным перченым рисом. Мистер Капаси повернулся к Дасу:

— А где вы живете в Америке?

— Нью-Брансуик в Нью-Джерси.

— Около Нью-Йорка?

— Верно. Я преподаю там в средней школе.

— Какой предмет?

— Естествознание. Раз в год я езжу с классом в Нью-Йорк, в Музей естественной истории. Можно сказать, мы с вами похожим делом занимаемся. Вы давно работаете гидом, мистер Капаси?

— Пять лет.

Миссис Дас забирается в машину, захлопывает дверцу.

— Сколько нам ехать? — спрашивает она.

— Часа два с половиной, — отвечает мистер Капаси.

Она вздыхает с такой досадой, будто всю жизнь вынуждена проводить в пути, и начинает обмахиваться бомбейским киножурналом на английском языке.

— Мне казалось, что храм Солнца всего в восемнадцати милях к северу от Пури, — говорит мистер Дас, постукивая пальцем по путеводителю.

— Дорога на Конарак плохая. На самом деле ехать нам пятьдесят три мили.

Мистер Дас кивнул и поправил ремешок камеры, чтоб не натирал шею.

Прежде чем включить зажигание, мистер Капаси перегнулся назад и проверил, закрыты ли внутренние замки на дверцах. Как только машина тронулась, девочка стала играть с замком на своей стороне, с усилием двигая его взад-вперед. Миссис Дас и не пыталась остановить ребенка. Она ссутулилась на заднем сиденье, никому не предлагая жареный рис из своего кулька. Тина и Ронни сидели по обе стороны от нее, пощелкивая ядовито-зеленой жвачкой.

— Смотрите, — ахнул Бобби, показывая пальцем на высокие деревья вдоль дороги. — Смотрите же!

— Обезьяны! — взвизгнул Ронни. — Здорово!

Обезьяны группками сидели на ветках — блестящие черные мордочки, серебряные тела, горизонтальные брови, хохолки на головах. Длинные серые хвосты свисали с ветвей, как набор веревок. Одни почесывались черными лапками, другие болтали ногами, таращась на проезжающую машину.

— Мы зовем их хануманами, — объяснил мистер Капаси. — Здесь много обезьян.

Он едва успел договорить, как одна из обезьян вдруг прыгнула на середину дороги, заставив его ударить по тормозам. Другая скакнула на

крышу машины и сразу отскочила в сторону. Мистер Капаси посигналил. Дети пришли в большое возбуждение, шумно задышали, прикрывая ладошками лица. Они только в зоопарке видели обезьян, пояснил мистер Дас и попросил остановить машину, чтобы снять зрелище.

Пока мистер Дас наводил свой телефото, миссис Дас достала из сумки флакончик бесцветного лака и занялась ногтем указательного пальца.

— И мне тоже, — подставила руку девочка. — Мама, мне тоже накрась!

— Оставь меня в покое. — Миссис Дас подула на ноготь и отвела руку в сторону. — Сейчас все испорчу из-за тебя.

Девочка тут же отвлеклась и стала расстегивать и застегивать фартук на пластмассовом тельце куклы.

— Готово, — возгласил мистер Дас, надевая колпачок на линзу.

Машину довольно сильно трясло на выбоинах пыльной дороги, пассажиров подбрасывало на сиденьях, но миссис Дас продолжала красить ногти. Мистер Капаси ослабил педаль, потянулся к переключателю скоростей. Мальчик, сидевший рядом, услужливо отодвинул голые коленки. Мистеру Капаси показалось, что кожа у него светлее, чем у других детей.

— Папа, а почему водитель сидит не с той стороны? — спросил он.

— Они тут все так делают, балда, — ответил Ронни.

— Не надо называть брата балдой, — одернул его отец и добавил, обращаясь к мистеру Капаси: — Вы знаете, в Америке... они никак не привыкнут...

— О да, это мне известно. — Мистер Капаси осторожно снова переключил скорость, приближаясь к подъему: — Я видел "Даллас" и обратил внимание, что у машин руль слева.

— Что такое даллас? — заколотила Тина теперь уже голой куклой по спинке сиденья мистера Капаси.

— Телевизионное шоу. Его больше не показывают.

Они какие-то невзрослые, подумал мистер Капаси. Ведут себя не по-родительски, а как дети постарше. Как будто им всего на день поручили младших; трудно было представить, что они способны нести ответственность за кого-то, кроме себя самих. Мистер Дас постукивал пальцами то по крышке линзы, то по книге. Миссис Дас все красила ногти. Она так и не сняла солнечные очки. Тина время от времени приставала с требованием, чтобы и ей накрасили ногти, и в конце концов мать капнула ей лаком на пальчик, прежде чем убрать флакон в сумку.

— Разве нам не должны были дать машину с кондиционером? — спросила она, дуя на ногти.

Стекло на стороне Тины не опускалось.

— Хватит жаловаться, не так уж и жарко, — заметил мистер Дас.

— Просила тебя заказать машину с кондиционером, — не унималась миссис Дас. — Ты всегда так, Радж, экономишь на ерунде. Ну и сколько ты выгадал, полдоллара?

Выговор у них был совсем как в американских телепрограммах, хотя не такой, как в "Далласе".

— Не скучно вам, мистер Капаси, каждый день показывать туристам одно и то же? — спросил Дас, до конца опуская свое стекло. — Ух ты, остановите на минутку. Мне хочется щелкнуть этого типа!

Мистер Капаси съехал на обочину. Мистер Дас навел фотоаппарат на босоногого крестьянина в грязном тюрбане, который восседал на

мешках зерна, сложенных на повозке, запряженной парой буйволов. И человек, и животные были неимоверно худы. Миссис Дас смотрела в другую сторону, на небо, где обгоняли друг друга почти прозрачные облака.

— На самом деле мне это нравится, — ответил мистер Капаси, когда машина тронулась. — А храм Солнца — одно из моих любимых мест. Это мне как награда. Туристов я вожу только по пятницам и субботам. В другие дни я занят на работе.

— Вот как? Что за работа? — поинтересовался Дас.

— Я работаю у доктора.

— Вы что, доктор?

— Я не доктор, я работаю с доктором. В качестве переводчика.

— Зачем доктору переводчик?

— У него много пациентов из Гуджарата. Мой отец был гуджаратцем, но в здешних краях мало кто знает гуджаратский язык, доктор тоже его не знает. Вот он и пригласил меня работать с ним — переводить, что говорят больные.

— Интересно. В жизни о таком не слышал, — сказал мистер Дас.

— Работа как работа, — пожал плечами мистер Капаси.

— Но очень романтичная, — неожиданно вмешалась миссис Дас.

Она подняла солнечные очки, водрузив их почти на макушку, где они стали похожи на тиару. Мистер Капаси в зеркальце заднего обзора впервые увидел ее глаза — неяркие, довольно маленькие, смотрят сосредоточенно, но как-то безразлично.

— Что в ней романтичного? — повернул к жене голову мистер Дас.

— Не знаю. Что-то есть. — Она пожала плечами и на миг свела брови. — Не хотите ли жвачки, мистер Капаси? — вдруг осенило ее. Порывшись в соломенной сумке, она извлекла квадратный пакетик в бело-зеленую полоску.

Мистер Капаси положил жвачку в рот и сразу почувствовал густую сладость на языке.

— Расскажите о своей работе, мистер Капаси, — попросила миссис Дас.

— Что бы вы хотели узнать, мадам?

— Не знаю. — Она жевала поджаренный рис, слизывая горчичное масло с губ. — Опишите типичную ситуацию, — она поудобней откинулась на сиденье и закрыла глаза. — Хочу представить себе, как это происходит.

— Хорошо. Вот недавно пришел мужчина с жалобой на боль в горле.

— От курения?

— Нет. Гораздо интереснее. Стал рассказывать, что ему кажется, будто у него в горле застряли длинные соломинки. А когда я перевел это доктору, тот сумел назначить ему правильное лечение.

— Очень ловко.

— Да, — согласился мистер Капаси после некоторого колебания.

— Выходит, больные полностью зависят от вас, — миссис Дас говорила медленно, будто раздумывала вслух. — Можно сказать, что от вас они зависят больше, чем от доктора.

— Каким образом? Как это может быть?

— Ну, например, вы могли бы сообщить доктору, что у него першит в горле, а про соломинки и не упоминать. Больной никогда бы не узнал, как вы перевели его слова доктору, а доктор не узнал бы, что ему сказали не то. Это огромная ответственность.

— Да, на вас лежит огромная ответственность, мистер Капаси, — согласился и мистер Дас.

Мистеру Капаси и в голову не приходило, что его работа заслуживает такой высокой оценки. Он считал ее делом достаточно неблагодарным. Ничего возвышенного в том, чтобы толковать людские болезни, он не видел — добросовестно переводил симптомы разных недугов: распухшие суставы, рези в животе, плохая работа кишечника, пятна на ладонях, меняющие цвет, форму или размеры. Доктор, почти вполовину моложе его, имеет слабость к брюкам, расширенным книзу, и занудным шуткам в адрес конгрессистской партии. Они работают вдвоем в затхлом маленьком лазарете, где сшитая на заказ одежда мистера Капаси липнет к телу, хотя под потолком медленно вращаются почерневшие лопасти вентилятора.

Эта работа была свидетельством его неудач. В молодости он увлеченно изучал иностранные языки, собрал внушительную коллекцию словарей. Мечтал стать переводчиком дипломатов и государственных деятелей, участвовать в разрешении конфликтов между народами и странами, в улаживании споров, где только он понимал обе стороны. Он был самоучкой. До того как родители женили его, он по вечерам исписывал блокнот за блокнотом, отыскивал общую этимологию слов, и было время, когда он не сомневался, что смог бы разговаривать, если представится случай, на английском, французском, русском, португальском и итальянском, не говоря уж о хинди, бенгали, орисси и гуджарати. Теперь в памяти осталось только несколько выражений на разных европейских языках и какие-то отдельные слова, обозначающие блюдце или стул. Сейчас из неиндийских языков он свободно говорил только по-английски. Мистер Капаси понимал, что это небольшое достижение. Иногда ему казалось, что его дети знают английский лучше его, просто потому что смотрят телевизор. Но благодаря английскому он мог работать с туристами.

Переводчиком недугов он начал работать, когда его старший в семь лет заболел тифом — собственно, так он познакомился с доктором. Мистер Капаси в то время преподавал английский в средней школе. Он поменял учительскую работу на переводческую, чтобы получить возможность расплачиваться за все дорожавшее лечение сына. Мальчик умер на руках у матери, пылая от жара, но похороны тоже стоили денег, потом пошли другие дети, понадобился дом побольше, школа получше, репетиторы, приличная обувь, телевизор и многое другое, чтобы хоть както утешить жену, которая все плакала во сне. Так что когда доктор предложил платить ему вдвое больше, чем он получал в школе, мистер Капаси перешел к нему. Мистер Капаси знал, что жена не испытывает особого почтения к его переводческой деятельности. Он знал, что его занятие напоминает ей об умершем сыне и ей обидно, что он хоть немножко, но все же помогает спасению других жизней. Жена старалась не говорить о его работе, а если приходилось упомянуть о том, чем занимается муж, называла его "докторский помощник" — будто он мерил больным температуру или судно подавал. Никогда не расспрашивала о больных, не заявляла, что на муже лежит большая ответственность.

Поэтому мистеру Капаси польстил интерес миссис Дас к его работе. В отличие от жены она сочла ее интеллектуальной. Даже употребила слово "романтичная". Собственного мужа она явно не находила романтичным, а вот в отношении мистера Капаси употребила это слово. Он подумал, что, возможно, мистер и миссис Дас пара не слишком удачная — как и они с женой. Возможно, их тоже мало что связывает, кроме

троих детей и десятка прожитых вместе лет. Налицо все признаки, так хорошо ему знакомые по собственной семейной жизни: перебранки, безразличие, затяжное молчание. Неожиданный интерес миссис Дас к нему, интерес, который она не выказывала ни к мужу, ни к детям, слегка вскружил ему голову. А когда он опять вспомнил, каким тоном она сказала "романтичная", это ощущение усилилось.

Бросив взгляд на свое отражение в зеркальце, он порадовался, что утром выбрал серый костюм, а не коричневый, который чуточку пузырился на коленях. Время от времени он поглядывал в зеркальце на миссис Дас, не только на ее лицо, но и на клубничину между грудей, на смугло-золотистую ямку у горла. Он решил рассказать миссис Дас еще про двух больных: про молодую женщину, которой казалось, будто по ее позвоночнику барабанят дождевые капли, и про мужчину, у которого из родинки вдруг стали расти волосы. Миссис Дас слушала внимательно, проводя по волосам пластмассовой щеткой, похожей на утыканную гвоздями ложку, задавала вопросы, просила рассказать еще. Дети не отрывались от окон в надежде опять увидеть обезьян на деревьях, мистер Дас уткнулся в свой путеводитель, и они беседовали как бы только друг с другом. Так прошло с полчаса, и он огорчился, когда пришлось остановиться у придорожного ресторанчика, где подавали оладьи с начинкой и сандвичи с омлетом, хотя обычно, сопровождая туристов, дождаться не мог обеденного часа, чтобы передохнуть и выпить горячего чаю. Семья Дасов расселась под красным зонтом с бело-оранжевой бахромой, официант в трехцветной шапочке принял заказ. Мистер Капаси неохотно двинулся было к соседнему столику, но миссис Дас окликнула его:

— Мистер Капаси, подождите, у нас есть место!

Она усадила Тину на колени и заставила его присоединиться к семейству. Официант принес манговый сок в бутылках, оладьи с луком и картошкой, сандвичи с омлетом. Прикончив два сандвича, мистер Дас сфотографировал всех за едой.

— Долго еще ехать? — спросил он мистера Капаси, перезаряжая пленку.

— Примерно полчаса.

Дети, выбравшись из-за стола, побежали смотреть обезьян на соседнем дереве, и между миссис Дас и мистером Капаси образовалось значительное пространство. Мистер Дас уставился в видоискатель, прищурив глаз и высунув кончик языка.

— Так не получится. Мина, сядь поближе к мистеру Капаси!

Она придвинула стул. Он вдохнул запах ее надушенной кожи — что-то наподобие смеси виски с розовой водой — и встревоженно подумал, не пахнет ли от него потом: неизбежно потеешь, когда носишь синтетику. Залпом допил манговый сок, пригладил седые волосы. Капелька сока скатилась на подбородок, он не знал, заметила ли миссис Дас.

Она не заметила.

— Дайте мне ваш адрес, мистер Капаси, — сказала она, добывая что-то из соломенной сумки.

— Вы хотите мой адрес?

— Ну да, чтобы фотографии послать.

Она протянула ему клочок, наспех оторванный от киножурнала. Между журнальными строчками и фотографией двух кинозвезд, обнимающихся под эвкалиптом, оставалось совсем немного свободного места.

Бумага сворачивалась, пока мистер Капаси как можно разборчивей записывал адрес. Она напишет ему, спросит, как идет работа у доктора,

он для ответного письма выберет самые занимательные случаи, чтобы, читая про них в этом своем доме в Нью-Джерси, она засмеялась вслух. Со временем она раскроет перед ним душу, расскажет, как разочарована в семейной жизни, он ответит ей тем же. Так постепенно окрепнет дружеская связь между ними. У него будет фотография, где они вместе едят оладьи под красным зонтом — он решил, что станет хранить ее между страниц русской грамматики. Увлекшись этими мыслями, мистер Капаси испытал легкое приятное возбуждение. Оно вызвало в его памяти чувство, которое он переживал в молодости, когда после многомесячного копания в словарях вдруг без усилий, слово за словом прочитывал страничку французского романа или итальянский сонет. В те минуты мистеру Капаси верилось, что мир справедлив, что старания всегда вознаграждаются, что все жизненные ошибки, как оказывается в конечном счете, имели свой смысл. Обещание весточки от миссис Дас пробудило в нем былую веру.

Записав адрес на обрывке и вручив его миссис Дас, он тут же стал терзаться сомнениями: что, если он неправильно написал собственное имя или перепутал цифры почтового индекса? Его ужаснула мысль о том, что письмо может затеряться и фотография начнет блуждать по Ориссе — близкая, но недосягаемая. Он даже собрался было попросить обратно клочок бумаги, чтобы удостовериться в правильности адреса, но миссис Дас уже уронила его в хаос своей сумки.

В Конарак прибыли в два тридцать. Выстроенный из песчаника храм представлял собой массивную пирамиду в форме колесницы. Он был посвящен великому властелину жизни, солнцу, которое, проходя свой ежедневный путь по небосводу, поочередно освещает три стороны здания. С северной и южной сторон в цоколе вырезаны двадцать четыре гигантских колеса. Упряжка из семи каменных коней будто увлекает все строение в небо. На подъезде к Конараку мистер Капаси сообщил пассажирам, что храм строился с 1243 по 1255 год, на строительстве было занято двенадцать тысяч человек, повелел возвести его великий царь Нарасимхадева I из династии Ганга в ознаменование своей победы над мусульманами.

— Здесь говорится, что общая территория храма составляет примерно сто семьдесят акров, — прочитал из путеводителя мистер Дас.

— На пустыню похоже, — сказал Ронни, озирая пески, со всех сторон окружающие храм.

— В миле на север отсюда протекала река Чандрабхага. Теперь она пересохла, — пояснил мистер Капаси, выключая мотор.

Все вышли из машины и двинулись к храму. У пары львов, охраняющих ступени, задержались, чтобы сфотографироваться.

— Колеса призваны символизировать Колесо жизни, — прочитал мистер Дас. — Они знаменуют собой цикл сотворения, сохранения и постижения сути. Ничего себе, — он перевернул страницу. — Каждое колесо поделено на сегменты восемью толстыми и тонкими спицами, деля таким образом день на восемь равных отрезков. По ободьям колес вырезаны изображения птиц и животных, а медальоны на спицах украшены женскими фигурами в соблазнительных позах, преимущественно эротических.

Прочитанное относилось к великому множеству фризов из переплетения обнаженных тел, совокупляющихся в различных позах, — женщины повисли на шеях мужчин, навеки обхватив коленями бедра возлюбленных. На фризах изображались и сцены повседневной жизни, охоты

и торговли, олень, пронзенный стрелами охотников, отряды вооруженных мечами воинов.

Вход в храм давно завалило обломками, и, как все туристы, которых привозил сюда мистер Капаси, они медленно пошли в обход, рассматривая каждую из сторон. Замыкал шествие мистер Дас, поглощенный фотографированием. Дети неслись впереди, тыча пальцами в фигуры голых людей. Особенно их заинтриговали нагамитхуны – слившиеся в объятиях полулюди-полузмеи, по легенде обитающие на дне морском, как объяснил мистер Капаси. Мистеру Капаси было приятно, что дети интересуются храмом, и еще приятней, что храм явно по душе миссис Дас. Она останавливалась через каждые три-четыре шага, молча разглядывала изваяния любовников, процессии слонов и гологрудых музыкантш, бьющих в удлиненные барабаны-мриданги.

Хотя мистер Капаси много раз бывал в храме, но только сейчас вид этих полуобнаженных женщин навел его на мысль о том, что он никогда не видел обнаженной собственную жену. Даже когда обнимал ее в постели, она не расстегивала блузку и не развязывала нижнюю юбку. Он никогда не любовался ногами жены, как, следуя за миссис Дас, любовался ее ногами, которые будто только ради него и шагали. Ну конечно же, он достаточно насмотрелся на обнаженные конечности американок и европеек, которых возил по турам. Но миссис Дас – другая. В отличие от прочих женщин, которые интересовались только храмом и почти не отрывались кто от путеводителя, кто от видоискателя, миссис Дас проявила интерес к нему.

Мистеру Капаси так хотелось остаться с ней наедине, продолжить их интимную беседу, но он не решался даже пойти рядом с ней. Она пряталась за своими очками, игнорируя все просьбы мужа еще разок сфотографироваться, проходя мимо детей, будто мимо чужих. Боясь потревожить ее, мистер Капаси прошел вперед, чтобы в очередной раз полюбоваться тремя бронзовыми, в человеческий рост, аватарами Сурьи, бога солнца. Каждая статуя выступала из собственной ниши на фасаде храма, приветствуя солнце на восходе, в полдень и перед закатом. На статуях замысловатые головные уборы, томные удлиненные глаза полуприкрыты веками, торсы украшены вырезанными из камня цепочками и амулетами, у серо-зеленых ступней рассыпаны лепестки гибискуса – подношения побывавших здесь раньше. Больше всего любил мистер Капаси последнюю статую, в северной стене храма. Этот Сурья казался истомленным дневными трудами, он сидел на коне, скрестив ноги, и даже конь его смотрел усталыми глазами. На торсе вырезаны женские фигурки парами; каждая женщина кокетливо выставляет бедро.

– Кто это? – спросила миссис Дас.

Он вздрогнул, обнаружив ее рядом с собой.

– Астачала-Сурья. Заходящее солнце.

– Значит, часика через два солнце зайдет именно здесь?

Она стряхнула с ноги туфлю с квадратным каблуком и потерла босыми пальцами другую ногу.

– Совершенно верно.

Миссис Дас на мгновение приподняла очки.

– Круто.

Мистер Капаси не совсем понимал, что значит "круто", но чувствовал одобрительность отклика. Он надеялся, что миссис Дас ощутила красоту Сурьи, его силу. Возможно, они подробней обсудят это в письмах. Он бы многое объяснил ей про Индию, а она бы многое объяснила

ему про Америку. И по-своему их переписка стала бы исполнением его мечты — быть переводчиком между народами. Он бросил взгляд на соломенную сумку, счастливый тем, что его адрес угнездился среди ее содержимого. Представив себе миссис Дас за много тысяч миль отсюда, он так затосковал, что ему нестерпимо захотелось обнять ее, хоть на миг замереть с ней вместе перед своим любимым Сурьей. Но миссис Дас уже двинулась дальше.

— Когда вы возвращаетесь в Америку? — спросил мистер Капаси нарочито равнодушным тоном.

— Через десять дней.

Мистер Капаси подсчитал: неделя на приведение в порядок дел, неделя на проявление пленки, несколько дней на письмо, две недели на его доставку в Индию авиапочтой. Выходит, что, с поправками на непредвиденные задержки, недель через шесть он должен получить письмо от миссис Дас.

В половине пятого мистер Капаси повез семейство в отель "Санди Вилла". На обратном пути все притихли. Дети вертели в руках миниатюрные гранитные модели храмовых колес из сувенирного киоска. Мистер Дас читал путеводитель. Миссис Дас расчесала Тине волосы своей щеткой и разделила на два хвостика.

Мистера Капаси все сильнее донимала мысль о скором расставании. Он еще не был готов начать шестинедельное ожидание письма от миссис Дас. Она закрепляла хвостики Тины пластмассовыми заколками; поглядывая на нее в зеркальце, мистер Капаси придумывал способ продлить поездку. Обыкновенно он возвращался в Пури самой короткой дорогой, торопясь поскорее попасть домой, вымыть руки и ноги сандаловым мылом и с удовольствием сесть за вечернюю газету и чашку горячего чая, молча поданную женой. Мысль об этом молчании, с которым он уже давно смирился, теперь удручала его. И он предложил заехать в Удаягири и Кхандагири посмотреть монашеские кельи, высеченные в скалистом склоне. "Ехать несколько миль, но того стоит", — сказал мистер Капаси.

— Да-да, — подхватил мистер Дас, — в путеводителе они упомянуты. Связаны с каким-то джайнским царем или кем-то в этом роде!

— Так поедем? — уточнил мистер Капаси, притормаживая у поворота. — Если ехать, то сейчас налево.

Мистер Дас посмотрел на жену. Оба пожали плечами.

— Налево, налево! — закричали дети.

Мистер Капаси с радостным облегчением повернул руль.

Он понятия не имел, что будет делать или что он скажет миссис Дас, когда привезет их на место. Может быть, скажет, что у нее очень приятная улыбка. Или сделает комплимент клубничке на ее блузке, которая нравилась ему все больше. Может быть, возьмет ее за руку, когда мистер Дас уткнется в видоискатель.

Он напрасно беспокоился. Когда подъехали к скалам, разделенным тропой, круто поднимающейся среди деревьев, миссис Дас не пожелала выйти из машины. На каменистой тропе и на деревьях расположились десятки обезьян.

— Ноги устали, — сказала миссис Дас, поглубже усаживаясь на сиденье. — Останусь тут.

— Зачем только ты надела эти туфли дурацкие? — спросил мистер Дас. — Теперь тебя на фотографиях не будет.

— А ты притворись, что я есть.

— Мы бы могли использовать некоторые фотографии для рождественских поздравлений. А в храме мы ни разу не снялись впятером. Попросим мистера Капаси хоть здесь сделать общий снимок.

— Никуда я не пойду. И эти обезьяны мне на нервы действуют.

— Они же безобидные! Верно, мистер Капаси?

— Они скорее голодные, чем опасные. Если не показывать им еду, они не обратят на вас внимания, — заверил мистер Капаси.

Мистер Дас отправился вверх по тропе, неся на плечах девочку. Мальчики шли рядом. Мистер Капаси видел, как они разминулись с японской парой, единственными здесь туристами, которые приостановились для прощального снимка, сели в машину и уехали. Когда их машина скрылась из виду, одна из обезьян издала негромкий крик и побежала вверх по тропе. За ней последовали другие, наступая на камни плоскими, черными ладонями и ступнями. Скоро обезьяны взяли в кольцо мистера Даса с детьми. Тина заверещала от восторга. Ронни завертелся вокруг отца. Бобби подобрал с земли толстую палку, но только успел замахнуться, как подскочившая обезьяна цапнула палку из его рук и с силой ударила ею о землю.

— Пойду к ним, — сказал мистер Капаси, открывая свою дверцу, — о пещерах нужно рассказывать.

— Подождите.

Миссис Дас выбралась с заднего сиденья и села рядом с мистером Капаси.

— У Раджа есть эта его глупая книга.

Они вместе наблюдали через ветровое стекло, как Бобби и обезьяна выхватывают друг у друга палку.

— Смелый мальчик, — заметил мистер Капаси.

— Ничего удивительного.

— Правда?

— Он не от него.

— Простите?

— Не от Раджа. Он не сын Раджа.

Мистер Капаси ощутил покалывание на коже. Он достал из нагрудного кармашка плоскую баночку лотосового бальзама, который всегда был при нем, и нанес три мазка на лоб. Он знал, что миссис Дас смотрит на него, но не повернул головы в ее сторону. Не отрываясь, следил за уменьшающимися фигурами мистера Даса и детей, которые уходили все выше по тропе, время от времени останавливались, фотографировались и шли дальше в окружении все более многочисленной компании обезьян.

— Вы удивлены?

Тон вопроса заставил его осмотрительно подбирать слова.

— Как-то не предполагаешь такого рода вещи.

Он спрятал баночку с бальзамом в карман.

— Ну конечно нет. И об этом никто не знает. Ни одна душа. Я целых восемь лет хранила тайну, — она взглянула на мистера Капаси, чуть вздернув подбородок, будто желая увидеть его под новым углом зрения. — А теперь рассказала вам.

Мистер Капаси кивнул. У него вдруг пересохло во рту, горячий лоб немного занемел от бальзама. Он даже хотел попросить воды у миссис Дас, но раздумал.

— Мы с ним с детства знаем друг друга, — сказала она.

Покопалась в соломенной сумке, вынула пакет с жареным рисом.

— Хотите?

— Нет, спасибо.

Миссис Дас положила горстку риса в рот, уселась поглубже и отвернулась от мистера Капаси к окну.

— Мы уже в колледже поженились, а предложение он мне сделал, еще когда мы заканчивали школу. Ясное дело, поступили в один колледж. В те времена мы были неразлучны, ни на час, ни на минуту не могли расстаться. Наши родители жили в одном городе, дружили семьями. Сколько я себя помню, мы вместе проводили уикенды, то у нас дома, то у них. Нас, детей, отправляли играть наверх, а внизу родители обменивались шуточками насчет жениха и невесты. Представляете! Нас ни разу не застукали, хотя я подозреваю, что все было подстроено. Что мы только ни выделывали по вечерам, пока родители сидели за чаем... Я бы много что могла вам порассказать, мистер Капаси.

Поскольку в колледже она все свободное время проводила с Раджем, то близкими подругами так и не обзавелась. Не с кем было поболтать о нем в конце тяжелого дня, не с кем поделиться мыслями или тревогами. Родители теперь жили на другом краю света, впрочем, она никогда и не была особо близка с ними. Раннее замужество с головой поглотило ее — очень скоро появился ребенок, началось кормление, подогревание бутылочек с молоком, прикладывание бутылочки к запястью для проверки температуры... Раджа рядом не было: одетый в свитер и вельветовые брюки, он рассказывал ученикам о скалах и динозаврах. Радж никогда не выглядел раздраженным или замотанным, и в весе он не прибавил, как она после первых родов.

А она, вечно усталая, отказывалась от приглашений бывших сокурсниц пообедать компанией или по магазинам пройтись. Постепенно те перестали звонить, так что она почти не выходила из дому, с утра до ночи с ребенком, в окружении игрушек, о которые она то спотыкалась, то подскакивала, нечаянно сев на них, постоянно раздраженная и утомленная. После рождения Ронни они с Раджем очень редко куда-нибудь ходили, еще реже приглашали к себе гостей. Раджа это устраивало, он с удовольствием возвращался после уроков домой, включал телевизор, качал Ронни на колене. Она в бешенство пришла, когда Радж объявил, что к ним на неделю приедет какой-то его друг из Пенджаба, которого она и видела-то один раз и совершенно не помнила. У друга, видите ли, назначены встречи в районе Нью-Брансуика, что-то насчет работы.

Бобби был зачат во второй половине дня на диване, заваленном резиновыми игрушками. Друга только что известили, что его берут на работу в лондонскую фармацевтическую фирму, а Ронни плакал, требуя, чтобы его выпустили из манежа. Она как раз собиралась сварить кофе, когда друг обнял ее сзади и прижал к своему жесткому темно-синему костюму. Она не противилась. Он действовал быстро и молча, с дотоле ей неведомым мастерством, без многозначительных словечек и улыбочек, обязательных у Раджа. Назавтра Радж отвез друга в аэропорт Кеннеди. Теперь он женат на пенджабке, семья обосновалась в Лондоне, каждый год они обмениваются с Раджем и Миной рождественскими открытками, вкладывая в конверт семейные фотографии. Друг не знает, что он отец Бобби. И никогда не узнает.

— Прошу прощения, миссис Дас, но почему вы сообщили мне эту информацию? — спросил мистер Капаси, когда она закончила рассказ и снова повернулась к нему лицом.

— Бога ради, перестаньте называть меня "миссис Дас"! Мне двадцать восемь лет, у вас, наверное, дети моего возраста!

— Не совсем.

Мистеру Капаси было неприятно, что она воспринимает его всего лишь как человека старшего поколения. Чувство к ней, которое побудило его смотреться в зеркальце, пока они ехали, теперь улетучивалось.

— Ваши таланты... я потому и рассказала вам...

Она сунула обратно в сумку открытый пакет с рисом.

— Я вас не понимаю.

— Неужели не ясно? Я восемь лет никому не могла и словом обмолвиться, ни подругам, и, уж конечно, не Раджу. Ему такое и в голову прийти не может. Думает, я по-прежнему в него влюблена. Вам что же, нечего мне сказать?

— О чем?

— О том, что вы сейчас от меня узнали. О моей тайне и о том, как мне тяжело жить с ней. Мне тяжело смотреть на детей, на Раджа, мне все время больно. И у меня появляются такие страшные желания, мистер Капаси, мне хочется все выбросить вон. Был день, когда мне захотелось выбросить в окно все, что у меня есть — телевизор, детей, все. Вы не думаете, что это болезнь?

Он молчал.

— Мистер Капаси, неужели вам нечего мне сказать? Это же ваша работа.

— Моя работа туристов возить, миссис Дас.

— Да не эта! Я о другой вашей работе. Вы ведь переводчик! Толмач!

— Но между нами нет языкового барьера, что же мне переводить?

— Не в этом дело. Иначе я бы вам не рассказала. Неужели вы не понимаете, что это для меня значит — взять и все рассказать?

— Так что это значит?

— Это значит, что у меня больше нет сил так жить. Восемь лет, мистер Капаси. Я восемь лет промучилась. Я надеялась, вы мне поможете, скажете, как быть, подскажете выход...

Он смотрел на нее: женщина в клетчатой юбке и блузке с клубничиной, ей тридцати еще нет, она не любит ни мужа, ни детей, даже жизнь любить перестала. Ее признание давило его, и давило тем сильнее, чем отчетливее он себе представлял мистера Даса с Тиной на плечах, фотографирующего старинные монашеские кельи, вырубленные в скале, чтобы показывать снимки своим ученикам в Америке, не зная и не подозревая, что один из сыновей ему не сын. Мистер Капаси чувствовал себя оскорбленным: с чего это миссис Дас решила заставить его разбираться в своем банальном секрете? При чем тут перевод? Она совсем не похожа на больных в приемной доктора, у тех в глазах застыло отчаяние, оттого что они не могут спать, или нормально дышать, или мочиться, но самое страшное — они не в состоянии объяснить свои муки словами. И все равно мистер Капаси должен хоть как-то помочь миссис Дас. Может быть, надо посоветовать ей во всем признаться мистеру Дасу. Объяснить, что честность — лучшая линия поведения. Честное признание, несомненно, облегчит ей жизнь. Может быть, даже стоит предложить свои услуги, сказать, что он готов присутствовать при разговоре, чтобы им было легче понять друг друга. Он решил, что начать надо с наиболее очевидного, сразу подойти к сути дела, и потому спросил:

— Вам действительно больно, миссис Дас, или вас мучает чувство вины?

Она смерила его яростным взглядом. Накрашенные розовым губы, перепачканные горчичным маслом, приоткрылись, будто она собиралась что-то сказать, но тут в ее глазах блеснуло понимание, она закрыла рот и распахнула дверцу машины. Он был раздавлен, он понял, что слишком ничтожен и не заслуживает даже оскорбительного ответа. Выскочив из машины, она заспешила вверх по тропе, ковыляя на своих квадратных каблуках, на ходу набивая рот поджаренным рисом. Рис сыпался сквозь пальцы, за ней зигзагами протянулась рисовая дорожка. С дерева спрыгнула обезьяна, бросилась подъедать белые зерна, к ней присоединились другие, и скоро за миссис Дас уже следовала целая обезьянья свита, волоча по пыли бархатные хвосты.

Мистер Капаси вышел из машины. Он хотел было окликнуть миссис Дас, предостеречь, но побоялся. Вдруг она испугается, увидев обезьян. Потеряет равновесие. Обезьяны могут вцепиться в ее соломенную сумку. Или в волосы. Он побежал по тропе, размахивая веткой, подобранной на ходу. Миссис Дас продолжала шагать, рассыпая рис и ничего не замечая. На самом краю обрыва стоял на коленях мистер Дас, стараясь поймать в объектив кельи в скале и приземистые каменные столбики перед ними. Дети прятались под аркадой, то выходя на свет, то скрываясь в тень.

— Подождите меня, — крикнула миссис Дас. — Я иду!

— Мамочка идет, — запрыгала на месте Тина.

— Замечательно, — не отрываясь от объектива, отозвался мистер Дас. — Как раз вовремя. Пускай мистер Капаси сфотографирует нас впятером.

Мистер Капаси прибавил шагу, прогоняя веткой обезьян с тропы.

— А Бобби где? — спросила миссис Дас, остановившись.

Мистер Дас поднял голову и осмотрелся.

— Не знаю. Ронни, где Бобби?

— Только что был здесь, — пожал плечами Ронни.

— Так где он? — требовательно спросила миссис Дас. — Как это никто не знает, где он?

Бобби звали наперебой, бегали взад-вперед, суетились, а потому за шумом вначале не услышали его криков. Мальчика обнаружили чуть выше на тропе, под деревом, в окружении обезьян, дергавших его длинными черными пальцами за одежду. Под ногами у Бобби был рассыпанный рис миссис Дас, который обезьяньи лапки уже перемешали с грязью. Мальчик оцепенело молчал, по испуганному лицу быстро катились слезы. На голых грязных ногах виднелись красные рубцы от палки, отнятой у него обезьяной.

— Папа, мартышка обижает Бобби! — закричала Тина.

Мистер Дас обтер вспотевшие ладони о шорты; от волнения он нечаянно нажал затвор объектива, жужжание выползающей пленки привело обезьян в возбуждение, и самец с палкой начал еще сильнее лупить Бобби.

— Что делать? А вдруг они на нас набросятся?

— Мистер Капаси! — взвизгнула его жена. — Сделайте что-нибудь, ради Бога!

Мистер Капаси замахнулся веткой и затопал ногами, отпугивая обезьян. Животные отступали размеренным шагом, они подчинились, но не испугались. Мистер Капаси подхватил Бобби на руки и понес к тому месту, где столпилось семейство. Ему очень хотелось шепнуть на ухо мальчику секрет, но тот был перепуган, дрожал и поджимал окровавленные но-

ги. Миссис Дас отряхнула грязь с его футболки, поправила перевернувшуюся козырьком назад кепочку. Извлекла пластырь из соломенной сумки и заклеила ссадину на колене. Ронни протянул брату свежую жвачку.

— С ним все в порядке, — сказал мистер Дас. — Просто немножко испугался, да, Бобби?

Он погладил мальчика по голове.

— Господи, уедем отсюда поскорей, — миссис Дас обхватила себя за плечи, закрыв руками клубничину. — Ужасное место, меня всю трясет!

— Да, да, — поддержал ее мистер Дас. — И разумеется, прямо в отель.

— Бедный Бобби, — сказала миссис Дас. — Иди сюда, мама тебя причешет.

Она опять полезла в соломенную сумку, на этот раз за расческой, и стала приглаживать сыну волосы вокруг прозрачного козырька. Когда она доставала расческу, клочок бумаги с адресом мистера Капаси выпал и его подхватило ветром. Один мистер Капаси заметил и проводил глазами бумажку, уносимую ветром все выше, к верхушкам деревьев, где теперь на ветках расселись обезьяны, с важностью наблюдая за происходящим внизу. Наблюдал и мистер Капаси, понимая, что эта картинка семейства Дасов навеки сохранится в его памяти.

Секси

САМЫЙ страшный из женских кошмаров. На десятый год семейной жизни, рассказывала Миранде Лакшми, муж ее двоюродной сестры влюбился в другую. Сидел рядом с ней в самолете из Дели в Монреаль и, вместо того чтобы лететь домой к жене и сыну, сошел с этой женщиной в Хитроу. Позвонил жене, сказал, что произошел разговор, изменивший всю его жизнь, и теперь ему нужно время, чтобы во всем разобраться. Двоюродная сестра Лакшми тут же слегла.

— И я ее понимаю, — заявила Лакшми. — Она потянулась за хот-миксом, который жевала целыми днями. Миранде эта острая смесь казалась чем-то вроде пыльной оранжевой крупы. — Подумать только. Англичанка, в два раза моложе его.

Лакшми старше Миранды всего на несколько лет, но она уже замужем и к стенке своего отсека, соседствующего с отсеком Миранды, прикрепила фотографию, где они с мужем сидят на белой каменной скамье перед Тадж-Махалом. Лакшми не меньше часу провисела на телефоне, успокаивая двоюродную сестру. Никто не заметил — они работали на общественной радиостанции, в отделе сбора средств, где сотрудники с утра до ночи говорили по телефону, добывая спонсорские взносы.

— Больше всего я за мальчика переживаю, — продолжала Лакшми. — Уже который день дома сидит. Сестра говорит, что не в состоянии водить его в школу.

— Ужас какой, — отозвалась Миранда.

Телефонные разговоры Лакшми — главным образом, обсуждение с мужем, что на обед готовить, — отвлекали Миранду от печатания адресованных постоянным слушателям писем с предложением увеличить ежегодный взнос в обмен на матерчатую сумку или зонтик. Через ламинированную стенку между их столами она хорошо слышала разговоры Лакшми, в которых то и дело попадались перчинки индийских слов. Но в тот послеобеденный час Миранда не слушала. Она сама разговаривала по телефону с Девом, обсуждая, где им встретиться вечером.

— А с другой стороны, ему не повредит побыть несколько дней дома, — Лакшми положила в рот еще немного хот-микса, а остаток убрала в ящик стола. — Он у них прямо вундеркинд. Мать из Пенджаба, отец бенгалец, в школе ребенок учит французский и английский, так что уже сейчас на четырех языках говорит. Перепрыгнул через два класса, что ли...

Дев тоже бенгалец. Миранда сначала думала, что это религия. Потом он показал ей на карте в журнале "Экономист" местность в Индии под названием Бенгалия. Специально принес номер журнала к ней домой, потому что у нее не было ни атласа, ни другой книги с картами. Он показал город, в котором родился, и еще один, в котором родился его отец. Название одного города было помещено в рамку, чтобы привлечь внимание читателей. Когда Миранда спросила, что означает рамка, Дев скатал журнал в трубочку:

— Ничего заслуживающего внимания, — и дурашливо постучал Миранду трубочкой по голове.

Перед уходом он выбросил журнал в мусор вместе с окурками трех сигарет, которые всегда выкуривал у нее. Но когда машина Дева проехала по Коммонуэлс-авеню в сторону пригорода, где он жил с женой, Миранда достала журнал, стряхнула пепел с обложки и свернула его в обратную сторону, чтобы распрямился. Потом забралась в разворошенную их любовью постель и принялась изучать границы Бенгалии. Внизу залив, наверху горы. Карта относилась к статье о каком-то Грамин-банке. Миранда перевернула страницу в надежде найти там фотографию города, где родился Дев, но обнаружила только графики и таблицы. Уставясь на них, она думала про Дева, который пятнадцать минут назад прижимал ее ступни к своим плечам, а колени — к ее груди и говорил, что просто оторваться от нее не может.

Она познакомилась с ним неделю назад в "Файлине". Заглянула в обеденный перерыв купить колготки на распродаже в цокольном этаже, потом поднялась на эскалаторе в косметический отдел, где за витринным стеклом мерцали, как драгоценности, мыла и кремы; словно наколотые на булавки бабочки, поблескивали коробочки с тенями и пудрой. Хотя Миранда пользовалась только губной помадой, ей нравилось прогуливаться по людному узкому лабиринту, который уже стал привычным — не то что остальной Бостон. Нравилось протискиваться между женщин, которые прыскали духами на картонные квадратики и помахивали ими в воздухе. Бывало, что несколько дней спустя сложенный квадратик обнаруживался в кармане ее пальто, и от слабого запаха дорогих духов ей будто становилось теплей ждать автобуса в холодное утро.

В тот день, нюхая квадратик с особо привлекательным запахом, Миранда обратила внимание на мужчину перед одним из прилавков. Он показывал продавщице листок, исписанный аккуратным женским почерком. Продавщица, бросив взгляд на листок, сразу начала выдвигать ящики. Достала мыло в овальной черной коробочке, упаковку с увлажняющей маской, флакончик жидкости, обновляющей клетки, и два тюбика крема для лица. Мужчина был загорелый, на пальцах у него росли черные волоски. На нем была рубашка цвета розового фламинго, темно-синий костюм и верблюжье пальто с блестящими кожаными пуговицами. Расплачиваясь, он снял перчатки из свиной кожи. Хрустящие банкноты появились из бумажника винного цвета. Обручального кольца не было.

— А для вас что? — обратилась продавщица к Миранде, рассматривая поверх очков в черепаховой оправе ее кожу.

Миранда не знала что. Она только знала, что не хочет, чтобы этот мужчина ушел. Он тоже медлил, вместе с продавщицей ожидая ответа Миранды.

Миранда осмотрела флаконы — маленькие и повыше, — выстроившиеся на овальном подносе, как семейство, позирующее для фотографии.

— Мне бы крем, — решила она наконец.

— Сколько вам лет?

— Двадцать два.

Продавщица кивнула и открыла матовый флакончик.

— Он может показаться вам жирнее того, к чему вы привыкли, но я на вашем месте начала бы сейчас. Морщинки образуются уже годам к двадцати пяти, потом они просто становятся заметными.

Мужчина стоял и смотрел, как продавщица наложила чуточку крема на лицо Миранды. Пока Миранде объясняли, как его полагается наносить — быстрыми движениями вверх, начиная от основания шеи,— он крутанул карусель с губной помадой, нажал на помпочку, выдавившую капельку геля от целлюлита, растер гель по тыльной стороне руки, открыл какую-то баночку и так близко поднес к носу, что испачкался кремом.

Миранда улыбнулась, но большая кисточка, которой продавщица легко обмахивала ей лицо, как раз прикрыла губы.

— Румяна номер два, — пояснила продавщица. — Ваша кожа нуждается в цвете.

Миранда кивнула, рассматривая себя в одном из угловых зеркал на прилавке. У нее были серебристо-серые глаза и бумажно-бледная кожа, что в контрасте с блестящими темными, цвета кофейных бобов, волосами делало ее если не красоткой, то очень привлекательной. Голова узкая, похожая на яйцо острым концом вверх, узкое с мелкими чертами лицо, а ноздри такие узкие, будто бельевой защипкой прихвачены. Сейчас лицо цвело, розовое на щеках, дымчатое под бровями, на губах блеск.

Мужчина тоже заглянул в зеркало, поспешно вытер крем с носа. Миранда гадала, откуда он. Должно быть, испанец или ливанец... Он открыл еще одну баночку, понюхал и объявил, не обращаясь ни к кому в особенности:

— Ананасом пахнет...

Миранде послышался легкий акцент.

— Что-нибудь еще? — спросила продавщица, принимая от Миранды кредитную карточку.

— Нет, спасибо.

Продавщица упаковала крем в несколько слоев красной бумаги.

— Вы останетесь довольны.

Миранда неуверенно подписывала чек. Мужчина и не собирался уходить.

— Я еще положила вам образец нашего нового геля для век, — говорила продавщица, вручая Миранде маленькую сумочку. И, прочтя имя на кредитной карточке, закончила: — До свидания, Миранда.

Миранда отошла от прилавка довольно быстро, но по мере приближения к двери магазина шаг ее замедлился.

— В вашем имени есть индийская часть, — сказал мужчина, поравнявшись с ней.

Она остановилась — он тоже — у круглого стола, на котором лежала гора свитеров в окружении сосновых шишек и бархатных бантов.

— Миранда?

— Мира. У меня есть тетка, которую зовут Мира.

А его зовут Дев. Он работает в инвестиционном банке вон в той стороне — он повел головой в сторону Южного вокзала. Миранда подумала, что впервые видит мужчину с усами, который кажется ей красивым.

Они вместе шагали к станции Парк-стрит мимо киосков, где торговали дешевыми поясами и сумками. Резкий январский ветер спутал Миранде волосы. Роясь в кармане в поисках жетона, она взглянула на покупки у него в руках.

— Это для нее?

— Для кого — "для нее"?

— Для вашей тети Миры?

— Это для моей жены. — Он произнес эти слова медленно, глядя Миранде прямо в глаза. — Она ненадолго уезжает в Индию. — И воздев глаза к небу, добавил: — Она помешана на этих штучках!

Почему-то в отсутствие жены это не казалось таким уж порочным. Поначалу Дев и Миранда проводили вместе каждую ночь; правда, под утро он уходил, поскольку жена звонила ему в шесть — когда в Индии четыре часа пополудни. Поэтому он покидал квартиру Миранды в два, в три, иногда даже до четырех задерживался, а потом торопился домой в пригород. Днем он звонил ей каждый час, видимо, с работы или с сотового. Освоившись с ее распорядком жизни, стал оставлять сообщения на автоответчике ровно в пять тридцать, пока она ехала в метро, чтобы, как он объяснил, она услышала его голос, как только в дверь войдет. "Я думаю о тебе, — диктовал он на пленку, — жду не дождусь встречи". Он говорил, что ему нравится у нее дома, где кухонный столик размером с хлебную доску, поцарапанные и покосившиеся полы, а звонок в холле от нажатия кнопки издает малопристойный звук. Говорил, что восхищается тем, что она перебралась в совершенно чужой ей Бостон, а не осталась в Мичигане, где росла и кончала колледж. Когда Миранда ответила, что тут нечем восхищаться, поскольку в Бостон она уехала как раз по этой причине, он покачал головой и очень серьезно произнес:

— Я хорошо знаю, что такое одиночество!

В ту минуту она чувствовала, как он ее понимает — понимает, каково ей в одиночестве ехать вечером домой из кино, или заходить в книжный магазин полистать журналы, или сидеть в баре с Лакшми, которой всегда нужно через час-другой встретиться с мужем в метро. В менее серьезные минуты Дев восторгался тем, что у нее ноги длиннее торса — он это впервые заметил, когда она нагишом прошлась по комнате.

— В жизни не видел женщину с такими длинными ногами! — говорил он. — Ты первая!

А он был первым, кто ей сказал об этом. В отличие от ребят, с которыми она встречалась в колледже — а они были просто ростом выше и в плечах шире тех, с кем она встречалась в школе, — Дев всегда расплачивался за нее, открывал перед ней двери, целовал ей руку над ресторанным столиком. Дев был первым, кто принес ей букет цветов — такой большой, что его пришлось разделить на шесть частей, по числу стаканов в доме, — и первым, кто шепотом повторял ее имя в пылу страсти. Уже через несколько дней после встречи с ним, придя на работу, Миранда подумала, что хорошо бы иметь их фотографию вдвоем и прикрепить

ее на стену, как Лакшми свое фото с мужем на фоне Тадж-Махала. Она не рассказала Лакшми про Дева. Никому не рассказывала. Пожалуй, Лакшми она и открылась бы, ну хотя бы потому, что та тоже из Индии. Но как раз тогда Лакшми без конца говорила по телефону с двоюродной сестрой, которая все еще не поднялась с постели, муж ее все еще находился в Лондоне, а сын так и не ходил в школу.

— Тебе надо поесть, — увещевала Лакшми сестру. — Ты так здоровье погубишь.

Когда Лакшми не говорила с сестрой, она совещалась с мужем насчет того, курятину или баранину приготовить на ужин.

Однажды Миранда услышала, как Лакшми извиняется перед мужем:

— Ты уж прости, но вся эта история просто вгоняет меня в паранойю.

У Миранды с Девом споров не бывало. Они ходили в кино и целовались весь сеанс. Ели свинину с кукурузными лепешками на Дэвис-сквер — Дев затыкал бумажную салфетку за ворот рубашки наподобие шейного платка. Тянули сангрию в баре испанского ресторана под ухмыляющейся кабаньей головой, прислушивающейся к их разговорам. Заглянули в Музей изящных искусств и выбрали там постер с водяными лилиями для ее спальни. В одну из суббот, после концерта в Симфони-холл, Дев повел ее в свое любимое место, Маппариум в Центре христианской науки. Вошли в зал с подсвеченными витражными панелями, который был устроен как внутренность шара, а выглядел его поверхностью. С прозрачного мостика в середине зала казалось, будто находишься в самом центре мира. Дев показал ей Индию, она была красного цвета, и все изображено куда подробнее, чем на карте в "Экономисте". Он пояснил, что многие страны, например Сиам или Итальянское Сомали, уже не существуют в прежнем виде и называются теперь по-другому. Океан, синий, как павлинья грудка, был чем глубже, тем синее. Дев показал самое глубокое место на планете — семь миль в глубину — чуть повыше Марианских островов. Перегнувшись через перила, они под ногами увидели архипелаг Антарктику; вытянув шеи, увидели над головами гигантскую металлическую звезду. Голос Дева странно отражался от стеклянных поверхностей, звучал то громче, то тише, то словно доносился из груди Миранды, то вовсе ускользал от ее слуха. Когда по мостику проходила группа туристов, Миранда услышала их покашливания, будто усиленные микрофоном. Акустический эффект, объяснил Дев.

Миранда нашла Лондон, где находился муж двоюродной сестры Лакшми с той женщиной, которую встретил в самолете. Ей захотелось узнать, в каком индийском городе жена Дева. Миранда не бывала нигде дальше Багамских островов, куда ее однажды возили еще маленькой. Она поискала острова на стеклянных панелях, но не нашла. Когда туристы ушли и они с Девом остались вдвоем, Дев отослал ее на самый конец мостика, сказав, что здесь можно переговариваться шепотом на расстоянии в тридцать футов.

— Не может быть, — усомнилась Миранда.

Это были первые слова, произнесенные ею в зале, и прозвучали они так, будто у нее громкоговорители в ушах.

— Давай попробуем, — Дев попятился к своему концу мостика. — Скажи что-нибудь, — прошептал он.

Миранда увидела, как шевелятся его губы, выговаривая слова, и одновременно отчетливо услышала их, будто они зазвучали у нее под ко-

жей, под зимним пальто, так близко и жарко, что ее обдало теплой волной.

— Привет, — шепнула она, не зная, что говорить.

— Ты очень сексуальная, — прошептал он. — Я буду звать тебя Секси!

На работе Лакшми сообщила Миранде, что это не первый роман мужа ее двоюродной сестры.

— Она решила дать ему время, пусть опомнится, — сказала Лакшми как-то вечером, когда они собирались уходить с работы. — Говорит, ради ребенка... готова простить его ради ребенка.

Миранда дожидалась, пока Лакшми выключит компьютер.

— Он приползет домой, а она его пустит, — качала головой Лакшми. — Я не такая. Если мой муж хоть глянет на другую, я замок сменю.

Лакшми посмотрела на фотографию, прикрепленную к стене. Рука мужа лежала у нее на плече, колени были обращены в ее сторону.

Она перевела взгляд на Миранду:

— А ты разве нет?

Миранда кивнула. Жена Дева возвращалась из Индии на следующий день. Дев к вечеру позвонил ей на работу, сказал, что должен ехать в аэропорт встречать жену. Обещал перезвонить при первой возможности.

— А что собой представляет Тадж-Махал? — спросила она Лакшми.

— Самое романтичное место на свете! — Лакшми просияла от воспоминаний. — Вечный памятник любви.

Пока Дев ездил в аэропорт, Миранда пошла в "Файлин" покупать вещи, которые, по ее представлениям, надлежало иметь любовнице. Она нашла пару черных туфель на высоком каблуке, с пряжечками размером с детский зубок. Нашла черную атласную комбинацию с фестончатым низом и шелковый халатик до колен. Вместо нормальных колготок, в каких она ходила на работу, купила паутинной тонкости чулки со швом. Долго рылась в грудах одежды, бродила вдоль длинных стоек, сдвигая вешалку за вешалкой, пока не остановилась на облегающем коктейльном платье серебристого цвета — в тон глаз — на цепочках вместо бретелек. Все это время она думала про Дева и про то, что он сказал ей в Мапариуме. Впервые мужчина назвал ее сексуальной; даже теперь, закрывая глаза, она чувствовала, как его шепот проникает под кожу и расходится по всему телу.

В примерочной — большущей комнате с зеркалами по стенам — Миранда отыскала себе место возле немолодой женщины с лоснящимся лицом и жесткими, сухими волосами. Она стояла босиком в одном белье, туго растянув на распяленных пальцах черные ажурные колготки.

— Всегда надо проверять, нет ли затяжек, — сообщила женщина.

Миранда расправила черную комбинацию с фестонами и приложила ее к груди.

— О да, — одобрительно кивнула женщина.

— А это? — Миранда приложила к себе серебряное платье.

— Классно, — подтвердила женщина. — Ему с ходу захочется содрать его с вас.

Миранда представила себе их ужин вдвоем в том ресторане на Саут-энд, где Дев заказал паштет из гусиной печенки и суп из шампанского с клубникой. Представила, как сидит в серебряном платье, напротив нее Дев в одном из своих элегантных костюмов, он через столик берет ее руку и целует... Однако когда Дев появился у нее в воскресенье во второй

половине дня, через несколько дней после их последней встречи, на нем был спортивный костюм. С возвращением жены он придумал себе предлог для отлучек: по воскресеньям он ездит в город побегать трусцой по берегу Чарльза. В первое воскресенье Миранда открыла ему в новом коротеньком халатике, который Дев даже не заметил — понес ее на кровать и без единого слова вошел в нее, не сняв кроссовок и тренировочных штанов. Она набросила халатик, когда пошла за блюдечком для его окурков, но Дев потребовал халатик снять, чтобы не закрывал ее длинные ноги. Так что в следующее воскресенье она и стараться не стала. Открыла ему дверь в джинсах. Красивое белье она засунула в самую глубь ящика, за носки и прочее. Серебряное платье с неспоротым ярлыком висело в шкафу. Цепочки вечно соскальзывали с металлической вешалки, и по утрам она часто обнаруживала платье на дне шкафа.

И все же Миранда ждала воскресений. Утром она отправлялась в магазин, покупала французский батон и коробочки с закусками, которые любил Дев, — маринованную селедку, картофельный салат, мексиканские лепешки и сыр маскарпоне. Они ели в постели, пальцами выуживая кусочки селедки и ломая батон руками. Дев рассказывал о своем детстве: вернувшись из школы, он пил манговый сок, который ему подавали на подносе; потом он переодевался в белое и играл в крикет на берегу озера. В восемнадцать лет, во время какого-то "чрезвычайного положения", его отправили учиться в колледж в северной части Нью-Йорка. Прошли годы, прежде чем он научился понимать американский выговор с экрана, хотя с детства учился в английской школе. За разговорами Дев выкуривал три сигареты, гася окурки о блюдечко. Иногда он задавал вопросы Миранде, интересуясь, например, сколько у нее было любовников (три), когда она в первый раз (в девятнадцать). Поев, они сливались в объятиях на простыне, усыпанной крошками, после чего Дев засыпал на двенадцать минут. Миранда никогда раньше не видела, чтобы взрослый мужчина днем спал, но Дев объяснил, что с малых лет к этому привык, что в Индии из-за жары не принято выходить из дома, пока не сядет солнце.

— К тому же, мы можем поспать вместе, — игриво шептал он, обвивая ее тело рукой, как большим браслетом.

Но Миранда никогда не засыпала. Смотрела на часы на прикроватной тумбочке или прижималась лицом к пальцам Дева с черными волосками на суставах. Через шесть минут она поворачивалась к нему лицом, вздыхая и потягиваясь, чтобы проверить, вправду ли он спит. Он спал. Ребра вздымались и опускались в такт дыханию, прорисовывался и начинающий расти животик. Дев огорчался, что у него волосы на плечах, но Миранде он казался совершенством — другим она и представить себе его не могла.

Ровно через двенадцать минут Дев открывал глаза, будто и не спал вовсе, улыбаясь с таким удовлетворением, какое хотелось бы испытывать и Миранде.

Самые замечательные двенадцать минут недели!

Он вздыхал, проводил рукой по ее ногам, спрыгивал с кровати, натягивал штаны и зашнуровывал кроссовки. Шел в ванную, чистил зубы указательным пальцем; говорил, что все в Индии так делают, когда надо избавиться от табачного запаха изо рта. Целуя его на прощанье, Миранда иногда улавливала собственный запах в его волосах. Но она знала, что придуманный им предлог — пробежка по набережной — позволяет ему дома сразу принять душ.

Кроме Лакшми и Дева, Миранда из индийцев знала только семью Дикшитов, жившую недалеко от дома, в котором она выросла. Детей, включая Миранду, но исключая маленьких Дикшитов, забавляла ежевечерняя пробежка мистера Дикшита по извилистым улочкам квартала в обычной рубашке и брюках и в дешевых кедах, лишь по которым и можно было понять, что это его спортивная одежда. По уикендам семья — отец, мать, двое мальчиков и девочка — набивались в машину и уезжали — куда, никто не знал. Отцы семейств осуждали Дикшита за то, что он плохо удобряет лужайку перед домом, не сгребает вовремя палую листву; и сходились на том, что дом Дикшитов, единственный дом с виниловой обшивкой, портит вид квартала. Матери семейств никогда не приглашали миссис Дикшит присоединиться к компании, которая собиралась у бассейна Армстронгов. В ожидании школьного автобуса маленькие Дикшиты всегда стояли поодаль, а другие дети тихонько говорили: "Дикшиты — дико шиты", — и заливались громким смехом.

Однажды всех детей квартала пригласили на день рождения к маленькой Дикшит. Миранде в доме запомнился тяжелый запах курительных палочек и жареного лука, целая гора обуви у порога. Но сильней всего ей врезался в память кусок материи размером с диванную наволочку, висевший на деревянной рейке над лестницей. На нем была нарисована голая женщина с красным лицом, похожим по форме на рыцарский щит. У нее были огромные белые глаза, скошенные к вискам, с точечками вместо зрачков. Два круга с такими же точечками посредине изображали ее груди. В руке женщина держала кинжал, а ногой давила мужчину, извивавшегося по земле. На ней было ожерелье из окровавленных голов, смахивающее на попкорн, нанизанный на нитку. Высунутый язык был направлен прямо в Миранду.

— Это богиня Кали, — весело объяснила миссис Дикшит, на ходу поправляя чуть покосившуюся рейку. Руки миссис Дикшит были разрисованы хной замысловатым узором из звездочек и зигзагов. — Пошли, дети, пошли, торт уже на столе!

Миранда, которой тогда было девять, от страха и думать не могла ни о каком торте. Она потом долго боялась даже проходить мимо дома Дикшитов, что ей надо было делать дважды в день — по дороге на автобус и обратно. Поначалу она старалась не дышать, пока не добежит до следующего дома, как не дышала, когда школьный автобус проезжал мимо кладбища.

Сейчас она стыдилась этого воспоминания. Сейчас, обнимая Дева, Миранда закрывала глаза и видела пустыни и слонов, мраморные павильоны на озерах под полной луной. Однажды в субботу вечером от нечего делать она дошла пешком до Сентрал-сквер, где в индийском ресторане заказала себе порцию тандури из курятины. За едой она зубрила фразы, напечатанные в конце меню: "очень вкусно", "вода", "принесите счет, пожалуйста". Фразы никак не давались. Она стала заглядывать в отдел иностранной книги в магазине на Кенмор-сквер — надеялась выучить бенгальский алфавит по самоучителю. Даже пробовала срисовать в блокнот буквы, составляющие имя "Мира" — индийскую часть своего имени. Рука спотыкалась на непривычных линиях и завитках. Следуя стрелочкам самоучителя, она провела слева направо черту, на которой висели буквы, одна скорей смахивала на цифру, другая — на завалившийся набок треугольник. После долгих стараний у нее вышло нечто похожее на буквы в учебнике, но она так и не знала, "Мира" написалось или

"Мара". Выглядело просто каракулями, но ведь где-то они имеют смысл, вдруг потрясенно подумала она.

На неделе все было как будто ничего. Работа не давала передышки, а в обеденный перерыв они с Лакшми теперь ходили в открывшийся за углом индийский ресторанчик. За обедом Лакшми докладывала Миранде о положении дел в семье двоюродной сестры. Иногда Миранда пыталась сменить тему, вроде того как студенткой она с тогдашним своим другом улизнула из переполненного кафе, не расплатившись, — просто чтобы посмотреть, удастся ли. С Лакшми номер не проходил — она ни о чем другом не говорила.

— На ее месте я бы полетела в Лондон и пристрелила обоих! — заявила она однажды. И, переломив пополам хрусткую лепешку, обмакнула в соус чатни. — Не знаю, как это можно просто сидеть и ждать!

Миранда знала, как сидеть и ждать. По вечерам она сидела за обеденным столом, красила ногти бесцветным лаком, ела салат прямо из салатницы, смотрела телевизор и ждала воскресенья. Хуже всего были субботы, потому что в субботу казалось, что воскресенье никогда не наступит. Однажды Дев позвонил в субботу, поздно вечером. Миранда услышала смех и голоса, множество голосов, она даже подумала, не на концерте ли он. Нет, он из дому звонит.

— Я плохо тебя слышу, — сказал он. — У нас тут гости. Соскучилась?

Миранда бросила взгляд на телевизор, по которому беззвучно шла комедия — она выключила звук, когда зазвонил телефон. Представила себе Дева в комнате на втором этаже, он тихонько говорит в мобильник, придерживая дверную ручку, а внизу полно гостей.

— Ты соскучилась по мне, Миранда? — снова спросил он.

Она сказала, что соскучилась.

Когда Дев появился на другой день, Миранда спросила, как выглядит его жена. Вопрос она задала не сразу, опасаясь рассердить Дева. Дождалась, пока он выкурит последнюю сигарету и погасит окурок о блюдечко. Но Дев даже не удивился. Жена похожа на бомбейскую актрису по имени Мадхури Дикшит, ответил он, накладывая на крекер кусочек копченого сига.

У Миранды перехватило дух. Да нет же, маленькую Дикшит звали по-другому, ее имя начиналось на "П", но вдруг есть здесь какая-то связь...Та была страшненькая, до самого окончания школы ходила с косичками.

Через несколько дней Миранда отправилась в индийскую бакалею на Сентрал-сквер, где давали видео в прокат. Дверь открылась под замысловатое звякание колокольчиков. Время было обеденное, и магазин пустовал. На телеэкране в углу шеренга девиц в гаремных штанах двигалась по пляжу, синхронно виляя бедрами.

— Вам помочь? — спросил молодой человек за кассой.

Он ел самосу, макая ее в коричневый соус на бумажной тарелочке. На прилавке под стеклом стояли подносы с пухлыми пончиками-самосами, с чем-то вроде сливочной помадки, нарезанной блеклыми ромбиками и сверху покрытой тоненькой фольгой, с ярко-оранжевыми шариками, плавающими в сиропе.

— Интересуетесь кассетами?

Миранда заглянула в блокнотик, куда по слуху записала имя — Маттури Дикшит.

Она прошлась взглядом по видеокассетам на полках за прилавком. Красавицы в юбках, приспущенных на бедра, и шарфах, повязанных по грудям, кто стоит, прислонясь к каменной стене, кто к дереву. Все красивы той же красотой, что танцовщицы на пляже: густо подведенные глаза и длинные черные волосы. Теперь Миранда представляла себе внешность Мадхури Дикшит.

— У нас есть кассеты с субтитрами, — не унимался продавец.

Он быстренько вытер пальцы о рубашку и снял с полки три кассеты.

— Нет, спасибо, — сказала Миранда и двинулась вдоль стеллажей, уставленных пакетами и банками без этикеток.

Холодильный шкаф был набит лепешками в полиэтилене и незнакомыми ей овощами. Единственное, что опознала Миранда, — горы упаковок хот-микса, который постоянно поедала Лакшми. Хотела купить для Лакшми, но подумала, что трудно будет объяснить, зачем она заходила в индийскую бакалею.

— Это очень острое, — предупредил продавец, ощупывая глазами ее фигуру, — чересчур острое для вас.

Наступил февраль, а муж двоюродной сестры Лакшми так и не опомнился. Вернулся в Монреаль, две недели яростно ссорился с женой, потом упаковал два чемодана и улетел в Лондон. Требует развода.

Миранда сидела в своем закутке и слушала, как Лакшми внушает сестре, что на ее муже свет клином не сошелся, есть и получше, позови — и придут.

На другой день сестра объявила, что отправляется с сыном к родителям в Калифорнию и там постарается прийти в себя. Лакшми уговорила ее заехать на субботу и воскресенье в Бостон.

— Тебе полезно почаще менять обстановку, а потом, мы же с тобой столько лет не виделись!

Миранда смотрела на свой телефон, страстно желая, чтобы Дев позвонил. Он не звонил уже четыре дня.

Она слышала, как Лакшми по справочной выясняет номер салона красоты, как, дозвонившись, просит: “Что-нибудь успокаивающее, понимаете”. Договаривается о массажах, масках, маникюре, педикюре. На вечер заказывает столик во “Временах года”. Она до такой степени поглощена заботами о двоюродной сестре, что начисто забывает про ее сына.

И вот она стучит в ламинированную стенку:

— Ты не занята в субботу?

Мальчик был очень худенький. С желтым рюкзачком за плечами, в полосатых брюках, красном джемпере с треугольным вырезом, в блестящих кожаных ботинках. Густая челка до самых глаз, под глазами темные круги. Миранда сразу обратила на них внимание. Они придавали семилетнему ребенку изможденный вид взрослого, который много курит и мало спит. В руках он держал большой альбом для рисования, скрепленный пластмассовой спиралью. Звали его Рохин.

— Загадай мне столицу, — сразу потребовал он.

— Что? — воззрилась на него Миранда.

Было рано, девятый час, она еще не допила кофе.

— Это у него такая игра, — пояснила двоюродная сестра Лакшми. Тоже худенькая; удлиненное лицо и такие же темные круги под глазами, как у сына. Пальто цвета ржавчины тяжело лежит на плечах, черные во-

лосы с легкой проседью на висках гладко зачесаны назад, как у балерины. — Вы называете страну, а он вам говорит, какая там столица.

— Послушала бы ты его в машине, он уже выучил половину Европы! — добавляет Лакшми.

— Это не игра, — возражает Рохин. — Мы поспорили с одним мальчиком в классе, кто первый выучит все столицы. Я выучу раньше.

— Ладно, — соглашается Миранда. — Столица Индии?

— Ну нет, — негодует мальчик.

Размахивая руками, как игрушечный солдатик, он пятится к матери и тянет ее за карман пальто.

— Трудное спроси!

— Сенегал.

— Дакар! — победно возглашает Рохин и начинает бегать кругами, которые, расширяясь, приводят его на кухню. Миранда слышит, как хлопнула дверца холодильника.

— Рохин. Ничего не трогай без спроса, — устало говорит двоюродная сестра Лакшми и с вымученной улыбкой обращается к Миранде: — Не волнуйтесь, он через часик-другой заснет. Спасибо, что согласились присмотреть за ним.

— В три вернемся! — заспешила Лакшми. — Мы там чужую машину загородили!

Миранда закрывает дверь на цепочку. Заглядывает на кухню, но Рохин уже расположился в комнате за обеденным столом. Он сдвинул в сторону ее маникюрные принадлежности, чтобы очистить место для альбома и цветных карандашей. Миранда остановилась за его стулом. Он схватил синий карандаш и нарисовал самолет.

— Молодец, — похвалила она.

Мальчик не ответил, и Миранда двинулась на кухню за кофе.

— И мне тоже! — крикнул он ей вслед.

— Что тебе тоже?

— Кофе. Там в кофейнике еще много, я посмотрел.

Миранда усаживается за стол напротив него. Ему приходится привставать со стула, чтобы дотянуться до карандаша.

— Маленький ты еще кофе пить.

Рохин почти улегся грудью на рисовальный альбом, склонив голову набок.

— А стюардесса дала мне кофе. С молоком. И много сахара.

Он выпрямился, и Миранда увидела рядом с самолетом женское лицо с длинными волнистыми волосами и глазами-звездочками.

— Только волосы у нее сильней блестели, — раздумчиво говорит он.

И добавляет:

— Мой отец тоже встретил в самолете красивую женщину.

Он посмотрел на Миранду и надул губы, увидев, что она подносит чашку ко рту.

— Ну можно мне немножко кофе? Пожалуйста!

Миранда испугалась. А что, если этот ребенок, на вид сдержанный и задумчивый, возьмет и закатит истерику? Она представила себе, как он, требуя кофе, пинает ее своими блестящими ботинками, визжит, вопит и катается по полу, пока за ним не придут. На кухне она выбрала чашку похуже — на случай, если разобьет, — и налила ему кофе с молоком и уймой сахару.

— Спасибо, — Рохин пил маленькими глоточками, крепко держа чашку обеими руками.

Миранда сидела с ним, наблюдая, как он рисует, но едва она снова потянулась к маникюрным принадлежностям, Рохин отложил альбом, вытащил из рюкзачка географический атлас и потребовал, чтобы Миранда задавала вопросы. В атласе страны располагались по континентам, по шесть стран на страницу, сперва названия столиц жирным шрифтом, а дальше краткие сведения о населении, государственном строе и прочем. Миранда раскрыла атлас на Африке.

— Мали?

— Бамако, — мгновенно ответил он.

— Малави?

— Лилонгве.

Она вспомнила Африку в Маппариуме. Вспомнила, что большая часть континента была зеленого цвета.

— Дальше! — скомандовал Рохин.

— Мавритания.

— Нуакшот.

— Маврикий.

Рохин крепко зажмурился, потом удрученно глянул на нее:

— Не помню...

— Порт-Луи, — сказала Миранда.

— Порт-Луи, Порт-Луи, Порт-Луи, — забормотал он нараспев.

Когда со странами Африки было покончено, Рохин объявил, что хочет смотреть мультики и чтобы Миранда тоже смотрела вместе с ним. После мультиков он пошел за ней на кухню наблюдать, как она заваривает свежий кофе. В туалет за ней не пошел, но, выходя, Миранда вздрогнула, натолкнувшись на него под дверью.

— Тебе тоже нужно?

Рохин покачал головой, но в ванную тем не менее отправился. Закрыв крышку унитаза, он влез на нее ногами и занялся обследованием косметики на узенькой стеклянной полочке.

— А это для чего? — он взял в руки пробный тюбик геля для век, который Миранде дали в тот день, когда она познакомилась с Девом.

— Чтобы глаза не опухали.

— Как они опухают?

Миранда показала на себе.

— Это оттого, что ты плакала?

— Наверное.

Рохин открыл тюбик, понюхал. Выдавил капельку на палец, растер по тыльной стороне руки.

— Щиплется.

Он рассматривал руку с таким вниманием, будто ожидал, что она изменит цвет.

— У мамы тоже опухают. Она говорит, что от простуды, но на самом деле она плачет. Иногда целыми часами. Мы с ней обедаем, а она плачет за столом. Так много плачет, что у нее глаза становятся как у лягушки.

Миранда подумала, что ребенка надо бы накормить. В кухне нашлся только пакет рисовых лепешек и пучок салата. Она собралась было выйти и купить чего-нибудь, но Рохин сказал, что не очень хочет есть. Рисовую лепешку он взял.

— И ты съешь лепешку, — потребовал он.

Они уселись за стол, между ними — рисовые лепешки. Рохин открыл чистую страницу в рисовальном альбоме.

— Теперь ты рисуй.

Миранда выбрала синий карандаш.

— Что тебе нарисовать?

Он задумался.

— Знаю! — решил он. И попросил ее нарисовать все, что в комнате: диван, кресла, телевизор, телефон.

— Чтоб я мог все запомнить.

— Что ты хочешь запомнить?

— Наш с тобой день вместе.

Рохин потянулся за новой рисовой лепешкой.

— Зачем тебе запоминать?

— Потому что мы больше не увидимся, никогда в жизни.

Миранду поразила точность фразы. Она взглянула на него с неожиданной грустью. Мальчик не казался грустным.

— Рисуй, — постучал он пальцем по странице.

Миранда принялась за рисование — как умела, изобразила диван, кресла, телевизор, телефон. Рохин так близко придвинулся к ней, что она едва видела, что у нее получается.

— Теперь моя очередь, — положил он смуглую ручонку на ее руку.

Она протянула ему карандаш.

— Да нет же, теперь нарисуй меня!

— Не умею. Будет непохоже.

Рохин опять надул губы, как в тот раз, когда Миранда отказала ему в кофе.

— Пожалуйста...

Миранда нарисовала лицо, густую челку на лбу. Мальчик сидел совершенно неподвижно, придав лицу строгое, меланхолическое выражение и глядя вбок. Миранде очень хотелось уловить сходство. Рука неловко следовала движению ее глаз, как тогда в книжном магазине, когда она складывала свое имя из бенгальских букв. Получалось совсем не то. Она попробовала нарисовать нос мальчика, но тут Рохин соскользнул со стула.

— Надоело, — объявил он, направляясь в спальню.

Миранда услышала звук выдвигаемых и задвигаемых ящиков комода.

Войдя в спальню, она увидела, что Рохин залез в шкаф, откуда через минуту выбрался растрепанный с ее серебряным платьем в руках.

— На полу валялось.

— Оно не держится на вешалке.

Рохин осмотрел платье, бросил взгляд на Миранду.

— Надень!

— Что-что?

— Платье надень.

— Это еще зачем?..

Миранда ни единого раза не надевала это платье после примерки в магазине и знала, что не наденет, пока они с Девом вместе. Знала, что он уже никогда не поведет ее в ресторан, не поцелует ей руку над столиком. Будут встречаться у нее по воскресеньям, он — в спортивном костюме, она — в джинсах. Она взяла у Рохина платье, встряхнула, хотя скользкая ткань не мялась, и поискала свободную вешалку в шкафу.

— Надень. Я тебя очень прошу.

Он неожиданно оказался у нее за спиной и, обвив ее сзади худыми ручонками, прижался лицом.

— Ну пожалуйста.

— Хорошо, — согласилась она, пораженная силой его объятия.

Рохин, удовлетворенно улыбнувшись, уселся на краешек кровати.

— Нет уж, — возразила Миранда. — Ты подождешь за дверью. Я переоденусь и выйду.

— А мама всегда переодевается при мне.

— Да что ты?

— Правда, — кивнул Рохин. — И бросает одежду прямо на пол возле кровати. Как попало. А один раз она пришла спать в мою комнату. Сказала, что без отца ей у меня лучше, чем у себя в спальне.

— Я не твоя мама, — сказала Миранда, подхватив его под мышки и стаскивая с кровати.

Он поджал ноги, и Миранде пришлось поднимать его. Он оказался очень тяжелым да еще крепко уцепился за нее ногами и руками. Миранда выволокла его в коридор, закрыла дверь изнутри и для верности защелкнула задвижку.

Надев платье и увидев в зеркале, прикрепленном изнутри к дверце шкафа, как нелепо оно выглядит в сочетании с толстыми носками, достала и натянула чулки. Порывшись в шкафу, извлекла из него туфли с пряжечками на высоком каблуке. Цепочки платья лежали на ключицах, легкие, как скрепки, ткань неплотно облегала тело, но молнию застегнуть никак не удавалось.

— Можно мне войти? — застучал в дверь Рохин.

Миранда открыла. Рохин листал атлас, что-то бурча себе под нос. Он поднял на нее глаза и замер.

— Помоги застегнуть молнию, — попросила Миранда, присаживаясь на край кровати.

Рохин поднял молнию до самого верха; Миранда встала, крутанулась на каблуках.

Рохин выронил атлас.

— Какая ты... секси, — пробормотал он.

— Что ты сказал?

— Что ты секси.

Миранда снова присела на кровать. Она понимала, что это ничего не означает, но у нее перехватило дух. Ребенок, наверное, считает, что так вообще говорят о женщине. Услышал слово по телевизору или на журнальной обложке прочитал. Она вспомнила Маппариум, мостик, на котором стояла напротив Дева. Тогда ей казалось, что она понимает смысл его слов. Тогда в них был смысл.

Скрестив руки на груди, она посмотрела мальчику в глаза:

— Скажи мне одну вещь.

Рохин молчал.

— Что это значит?

— Что?

— Это слово. Секси. Что оно значит?

Он неожиданно смутился и опустил глаза.

— Не скажу.

— Почему?

— Секрет.

Он так плотно сжал губы, что они побелели.

— Расскажи мне секрет. Я хочу знать.

Рохин уселся на кровать рядом с ней и застучал ботинками по краю матраса, поеживаясь и нервно хихикая, как от щекотки.

— Говори, — потребовала Миранда, придерживая его щиколотки.

Рохин посмотрел на нее, прищурился, попытался брыкнуть ногами, но Миранда крепко держала его. Тогда он откинулся на спину и, сложив ладошки рупором, прошептал:

— Это когда любишь кого не знаешь.

Слова зазвучали у нее под кожей, как слова Дева в тот день. Только теперь ее не жаром обдало, а холодом. Как в индийском магазине, когда ей не понадобилась картинка, чтобы понять, как красива Мадхури Дикшит, на которую похожа жена Дева.

— Так мой отец сделал. Сидел рядом с незнакомой женщиной, с какой-то секси, а теперь любит ее, а не маму.

Рохин снял ботинки, поставил рядышком у кровати и забрался в постель Миранды с географическим атласом в руках. Через минуту его глаза закрылись, атлас выпал из рук. Миранда смотрела, как он спит, как в такт его дыханию поднимается и опускается вязаный шарф. Он не проснулся через двенадцать минут, как Дев, и через двадцать тоже. Спал, пока Миранда снимала серебряное коктейльное платье и снова натягивала джинсы, убирала туфли обратно в шкаф, скатывала и прятала в ящик тонкие чулки.

Приведя все в порядок, Миранда села на край кровати, склонилась над Рохином так низко, что разглядела белую пудру от рисовых лепешек в уголках его рта, осторожно подобрала атлас. Перелистывая страницы, она представляла себе перебранки между родителями, которые слышал Рохин дома в Монреале. "Она хорошенькая? — наверное, допытывалась у мужа мать Рохина, одетая в купальный халат, из которого неделями не вылезала. Злоба портила ее миловидное личико. — Она что, такая сексуальная?" Отец, конечно, сначала говорил, что не в этом дело, пытался вообще сменить тему. Но мать срывалась на крик: "Говори же, признавайся — она очень сексуальная? Этакая секси, да?"

В конце концов отец сдавался — да, секси. Тогда мать разражалась рыданиями, лила и лила слезы, сидя на кровати среди разбросанной одежды, а глаза у нее распухали и выпучивались, как у лягушки. "Как это можно, — рыдала мать, — как ты мог полюбить женщину, которую совсем не знаешь?"

Воображая эту сцену, Миранда сама тихонько расплакалась. В тот день в Маппариуме все страны казались близкими, до любой дотронуться можно, а голос Дева странно отражался от стеклянных панелей. Его слова достигали ее слуха с другого конца мостика, с расстояния в тридцать футов, такие близкие, такие теплые, они проникали под кожу и надолго оставались в ней. Слезы лились все сильнее, но Рохин не просыпался. Миранда догадалась, что мальчик успел привыкнуть к этим звукам, к женскому плачу.

В воскресенье позвонил Дев.

— Я уже почти собрался. Буду к двум.

Миранда смотрела кулинарную передачу. На экране женщина показывала яблоки разных сортов и объясняла, какие лучше запекаются.

— Не надо тебе сегодня приходить.

— В чем дело?

— Я простужена, — соврала Миранда. Она много плакала, и носоглотка у нее действительно была забита. — Полдня в постели пролежала.

— Голос у тебя больной, — сказал Дев и, помолчав, спросил: — Тебе что-нибудь нужно?

— Все есть.

— Надо пить побольше.
— Дев?
— Что, Миранда?
— Помнишь, как мы ходили в Маппариум?
— Конечно.
— И как мы перешептывались, помнишь?
— Помню, — игриво ответил он.
— И что ты мне сказал?
Пауза.
— Сказал, пошли скорей к тебе, — тихонько рассмеялся он. — Ну так что, до следующего воскресенья?

Еще вчера, когда Миранда плакала, она была уверена, что никогда не забудет ничего — даже как выглядит ее имя на бенгали. Она так и заснула рядом с Рохином, а проснувшись, увидела, что он рисует самолет на обложке журнала "Экономист", который она держала под кроватью.

— Девджит Митра, кто это? — спросил он, изучая наклейку с адресом.

Миранда представила себе, как Дев, в тренировочных штанах и кроссовках, смеется в телефонную трубку. Сейчас он спустится к жене и скажет, что сегодня не будет бегать. Утром мышцу растянул, скажет он ей, и усядется читать газеты. Миранда затосковала по нему и не могла справиться с тоской. Будет еще одна воскресная встреча, решила Миранда, возможно — две. А потом она ему скажет то, что всегда знала: это несправедливо и по отношению к ней, и по отношению к его жене, они обе заслуживают лучшего, так что незачем дальше тянуть.

Но в следующее воскресенье валил снег, и Дев не мог уйти из дому на свою пробежку. Через неделю снег растаял, но Миранда договорилась пойти в кино с Лакшми, а Дев, позвонив ей, отговаривать не стал. В третье воскресенье Миранда встала пораньше и ушла гулять. День был холодный, но солнечный, она прошлась по всей Коммонуэлс-авеню, мимо ресторанов, где Дев целовал ей руки, до самого Маппариума. Маппариум был закрыт, но она взяла себе в соседней закусочной горячего кофе, уселась на скамейку на площади перед церковью и долго смотрела на гигантские колонны, на массивный купол и ясное синее небо над городом.

Чарльз Симик

Стихи из сборника "Ночной пикник"

Перевод Дмитрия Веденяпина

Бензоколонка

Мы бы и дальше мчались
По этой ночной дороге,
Рассекающей надвое бесконечное слепое пространство,
Если бы не ярко-оранжевый знак,
Заставивший нас притормозить,
Выключить двигатель и замереть,
Уставясь на сиротливую лампочку
Пустынной бензоколонки.

Одному из нас следовало бы выйти
И поискать служителя, но мы
Как зачарованные слушали стрекот сверчков
И разглядывали деревья,
Как будто ждущие чего-то такого,
Чему не подобрать имени
Августовской беззвездной ночью
Вдали от жилья.

© 2001 by Charles Simic
© Д. Веденяпин. Перевод, 2003

Новые красные кроссовки

– Даже тысячи бессонных ночей бессильны
Изменить расчисленный ход событий.
Но когда и кого
Это останавливало, дружище? –
Сказал я своему псу.

Зеленели луга, цвели сады.
Дорога, вьющаяся посреди этой роскоши,
Явно не спешила доставить нас в пункт Б.
Мое сердце прыгало от радости,
Что тот воробей
На свежей навозной куче.

Рай, да и только! Если бы не эти две
Бог весть откуда взявшиеся вороны – мол,
Вдруг один из нас все-таки угодит под машину...
Мой верный пес погнался за ними
С остервенелым лаем.
Браво, дружище, надеюсь, они поняли,
Что ты хочешь этим сказать.

Железнодорожный калейдоскоп

Парадоксально, но факт:
Встреча с чужим несчастьем нередко
Пробуждает в душе стороннего наблюдателя
Необъяснимое чувство радости.

Вот за окнами замелькали какие-то хибары,
По замусоренному пустырю носились
Облезлые собаки и голопузые мальчишки –
Самый маленький прыгал на костылях.

Вдруг мы нырнули в туннель – колеса,
Грохоча, перемалывали наши мысли,
Как кусочки гравия – а еще через миг
Мы мчались вдоль моря:
Сверкала вода, ярко светило солнце.

Пальмы, виллы, серебристый песок;
Женщина в красном купальнике
Махала нам как своим добрым знакомым,
А поезд, разгоняясь, уже входил
В новый туннель.

Мой отец называл официантов небожителями

Дереку Уолкотту

Ведь нельзя же всерьез рассчитывать,
Что такие, как мы, невзначай окажутся
В этом фантастическом ресторане
С призрачно-бледными столиками.

Очевидно, законы земного времени
Просто не действуют на этих двоих
Торчащих в дверях профессионально улыбчивых
Джентльменов в одинаковых белых кителях,

Учтивым кивком готовых приветствовать всякого,
Кто, уйдя в воротник, ссутулясь, спешит по улице
Мимо их фирменного меню
С сумасшедшими ценами.

В *закусочной*

Все кажутся, а может, и, вправду, становятся
Ужасно задумчивыми, когда —
Сидя за стойкой —
Глубокомысленно пережевывают
Гигантские сандвичи, озабоченно
Запивая их минералкой.

Седовласый официант,
Принимая заказ,
Замирает, уставившись в одну точку;
Парень в синей бейсболке
И дама в темных очках
Машинально помешивают, помешивают
И снова помешивают свой кофе.

А у плиты — и, очнись на мгновение,
Они бы его заметили — сам Сократ
В заляпанном фартуке и самодельном
Колпаке из вчерашней газеты
Отрешенно подбрасывает омлет
На маленькой, черной от огня сковородке.

Ха Цзинь

Рассказы

Перевод А. Смирновой

Моей учительнице Лесли Эпстайн

Донесение

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ дивизионный комиссар Линь!

Пишу, чтобы уведомить Вас о том, что случилось в прошлую субботу. Наша разведрота — прекрасно обученные бойцы, цвет нашей Второй дивизии, — проходила через город Лунмынь в сторону Западного аэродрома, где у нас были запланированы парашютные учения. Когда шли по Центральному бульвару, на углу возле Универмага №1 я приказал завканцелярией Сю Фану запевать песню — хотелось произвести впечатление на прохожих. Он приказ выполнил, и рота затянула:

До свидания, мама, до свидания, мама,
Меня военная труба в поход зовет.
Сверкают на солнце наши винтовки,
Туго набиты наши котомки —
Солдаты собрались в поход.
Украдкою по мне не плачь, мама!
По сыну не скучай, мама!
С победой ворочусь домой, мама!
Обнимемся опять с тобой, мама!

Внезапно движение отряда замедлилось, чеканный шаг сотни людей сбился с ритма. Слова и музыка, годные скорее для причитания, словно

© 1996 by Ha Jin
© А. Смирнова. Перевод, 2003

отнимали у солдат силы. Я крикнул, чтобы они прекратили это пение, уже сильно смахивающее на плач. Но шли-то по оживленной улице, мой голос терялся в грохоте несущегося транспорта, и они продолжали петь. Некоторые новички прямо-таки навзрыд плакали; и даже кое-кто из старых и опытных солдат заливался слезами. Представьте, сотня отлично обученных бойцов безо всякого стыда блеет, как стадо овец! С автоматами и базуками! Народ останавливался на тротуарах поглазеть на нас, рыдающих и завывающих. "Небось хоронят кого", — донесся голос.

Я не осуждаю своих людей и не критикую завканцелярией Сю Фана. Они храбрые солдаты, и история нашей роты подтверждает это со всей наглядностью. Глубокоуважаемый комиссар Линь, возможно, я отчасти виновен в случившемся, так как не пресек разучивание этой песни. Ослабил бдительность в классовой борьбе. Думал, не будет ничего дурного, если они споют песню, которую каждый день транслирует Центральная радиостанция. Пожалуйста, поймите меня правильно: мы не давали приказа выучить эту зловредную песню, это их, солдат, самодеятельность. Моя ошибка состоит в том, что не вмешался вовремя.

Случай, который я описываю, доказывает, что эта песня контрреволюционная. Сейчас все солдаты моей роты стыдом мучаются, что буржуазные чувства застигли их врасплох. Пострадала наша честь, да и образу всей нашей армии нанесен урон.

Не нужно и говорить, что истинно революционная песня — это та песня, которая воодушевляет, объединяет и направляет, а не та, которая подрывает наши моральные устои и разрушает наше единство. Хорошая песня должна поднимать народный дух, с такой песней сильнее любишь друзей и яростней ненавидишь врагов. Комиссар Линь, Вы наверняка помните замечательные старые революционные боевые песни; не могу удержаться, чтобы не привести здесь одну из них в качестве примера:

Все мы меткие стрелки — как один,
Любая наша пуля сражает наповал.
Все мы ловкие бойцы — как один,
И не страшимся глубоких вод и отвесных скал.
В высоких горах — в дозоре друзья,
В густых лесах — в дозоре друзья.
Еду и одежду — добудем у врага,
Винтовки и пули — добудем у врага.
Мы родились и выросли вот здесь,
Любая пядь земли тут нам принадлежит.
И коль посмеет кто ее отнять,
Мы биться станем до победы!

Вот это песня! Пишу и вспоминаю, как мы маршировали под нее. С огромной верой в то, что земля дрожит от нашего шага, что мы без труда покорим горы и моря, а уж о врагах и говорить нечего. Подробно не останавливаюсь на этом, поскольку Вы, революционер старой закалки, просто-таки выросли на этих замечательных песнях и смысл их понимаете лучше моего.

Из всего происшедшего мы извлекли следующий урок: наши классовые враги не дремлют, они все еще действуют, и стоит ослабить бдительность, как они подомнут нас, нанесут урон делу социализма, изменят политическую окраску нашей армии. И надо иметь еще одну пару глаз на затылке, чтобы следить за ними всегда и повсюду.

Глубокоуважаемый товарищ комиссар, от имени моей роты предлагаю запретить эту вредоносную песню и прояснить соцпроисхождение и политическое лицо ее автора и композитора. Как бы то ни было, их взгляды явно буржуйские. Они — вредители, их цель — лишить солдат боеспособности, подточить изнутри наш железный бастион. Да и те, кто распространял эту песню, не должны уйти от ответственности. Хорошо бы пару-тройку из их числа доставить прямиком в Военный трибунал. Мы обязаны продемонстрировать нашим врагам, что являемся бойцами-отличниками идеологического фронта.

С революционным приветом,
остаюсь верным солдатом,
политинструктор и партсекретарь разведроты
Чэнь Жунь.

Лунмынь, 27 мая

Лекция

ВОТ и настало время снова приступить к изучению истории Партии. Сыма Линь, партсекретарь радиороты, опять переписывает свои лекции — ведь что ни год меняется смысл и трактовка событий, описанных в учебнике. Скажем, в прошлом году Линь Бяо именовался Мудрым Предводителем, а нынче объявлен предателем Коммунистической партии Китая. Определились бы они с этим учебником раз и навсегда — не пришлось бы Сыма лекции переделывать. Сэкономили бы кучу времени.

С недавних пор партсекретарю не давала покоя одна идея. Оказывается, Лю Баомин, бывший солдат, участвовал в Великом Походе. Не пригласить ли его выступить перед ротой? Живой рассказ очевидца в начале учебного года поднимет интерес солдат к партийной истории. И потом Сыма чувствовал, что сможет использовать опыт старого революционера и для себя. Запишет историю старика, если удастся, сделает из нее статью, а потом где-нибудь напечатает. Пусть начальники из политотдела дивизии оценят, как он, Сыма, ловко пишет.

Он обсудил это дело с командиром роты Пэй Дином. Пэй отнесся к затее прохладно, но позвать Старого Лю согласился. Вообще отношения между двумя ротными вожаками были натянутыми: Сыма как старший по званию получал на девять юаней в месяц больше.

Сыма отправился за несколько кварталов домой к Старому Лю, чтобы официально пригласить его. Старик дал согласие, и Сыма пообещал прислать за ним автомобиль в тринадцать тридцать в пятницу.

В четверг Сыма позвонил в штаб дивизии, чтобы договориться о транспорте для Лю, но ему сказали, что свободных машин в пятницу не будет. К счастью, у радиороты имелся собственный грузовик-восьмитонка марки "Хуанхэ", который Сыма и распорядился послать за стариком.

Когда солдаты заняли свои места в актовом зале, Сыма вышел вперед и сказал:

— Товарищи, это наша первая лекция по истории Партии. Мы счастливы, что сегодня услышим рассказ старого ветерана Красной Армии о Великом Походе. Позвольте мне представить вам товарища Лю Баомина.

И он вежливо, обратив ладонь к потолку, указал рукой на гостя, сидевшего в первом ряду. В том же направлении он выпятил и подбородок.

Перед солдатами поднялась седая голова Лю. Многие были поражены, что красноармейцем оказался тот самый крохотный человечек, который каждый день играл в шахматы с пенсионерами, бывшими рабочими, у входа в штаб дивизии. Лю улыбнулся аудитории, развел сухонькими руками и снова уселся на место.

— Как все вы знаете, — вновь заговорил Сыма, — Великий Поход — это героический эпос, потрясший весь мир. Под предводительством нашего Великого Вождя Председателя Мао бойцы Красной Армии взбирались на заснеженные горы, переходили через болота, сражались с бандами милитаристов и войсками Чан Кайши, с боями прошли через одиннадцать провинций — всего они преодолели двадцать пять тысяч ли. Благодаря Великому Походу были спасены наша армия, наша Партия, наша революция и наша страна. Когда в тысяча девятьсот тридцать четвертом году в провинции Цзянси поход только начинался, Красная Армия насчитывала в своих рядах триста тысяч человек; а год спустя, в северной провинции Шаньси, в ней осталось лишь тридцать тысяч. Товарищи, вот как много воинов революции отдали свои бесценные молодые жизни за освобождение китайского народа! Сегодня, сорок лет спустя, живы только несколько сотен участников Великого Похода. Один из них — наш сегодняшний почетный гость товарищ Лю Баомин. Товарищи, мы должны использовать эту возможность, чтобы узнать побольше о славной истории нашей Партии. Мы должны внимательно слушать и все записывать. А теперь давайте поприветствуем многоуважаемого товарища Лю.

Под бурные аплодисменты старик вышел вперед и сел у стола президиума. Ординарец подал ему кружку с зеленым чаем. Шум постепенно стих; больше сотни пар глаз не отрываясь глядели в морщинистое, болезненно-бледное лицо Лю.

— Дети мои, — начал Лю, — юный Сыма хочет, чтобы я рассказал вам, совсем еще мальчишкам, о Великом Походе. Что ж, согласен. Потому я и здесь. Для начала разрешите рассказать, как я вступил в Красную Армию. Это случилось весной тысяча девятьсот тридцать пятого года, мне семнадцать сравнялось. Красная Армия пришла в мой родной город Минъи, отняла всю землю у богатых землевладельцев и раздала ее нам, беднякам. Это я к тому говорю, что сам не состоял в Красной Армии, когда начался Великий Поход, а вступил в нее позже, когда она пришла в наши края.

В комнате только авторучки поскрипывали. Сыма записал в свой блокнот: "Вступил в 1935-м, семнадцати лет".

Лю помолчал немного, оглядел пчелиный рой темных голов, затем продолжил:

— Почему я вступил в Красную Армию? Ну, потому, что там давали хоть что-то поесть. Мы с папаней ходили в горы за дровами, а потом продавали их в городе. Работа ух тяжелая, и у нас никогда не хватало еды и одежды. Потом пришла Красная Армия. Богатых похватали и разрешили беднякам разделить их добро и землю. Хорошее дело, этих паразитов давно надо было передавить. Наконец-то мы, угнетенные сельчане, смогли распрямить спины и дать волю нашей злости. Сгоняли толстопузых богатеев к реке и забивали их насмерть камнями, одного за другим. Так я поверил, что красные — это армия бедного народа, и вступил в нее. Впервые у меня были теплый рис в брюхе и новая одежда. Две недели спустя вместе с Красной Армией я навсегда покинул родной дом.

Лю замолчал и растерянно огляделся.

— Сыма, малыш, что дальше-то говорить?

— Расскажите о героических свершениях, о переходах через заснеженные горы и болота.

С чувством удовлетворения Сыма украдкой посматривал на командира Пэя — тот глаз не сводил со Старого Лю. Пэю явно нравился и сам старик, и его рассказ.

— Ах да, заснеженные горы, — продолжил Лю, — это было летом того же года. Мы добрались до Баосина в провинции Сычуань, там была гора под названием Цзяцзяньшань. Никто не видел ее укрытой облаками вершины. Когда мы выступали в поход, и не знали, что там лежит снег. У подножья-то было тепло. Поначалу мы даже травили байки, но уже через какой-то час все переменилось. Метель началась, задул холодный ветер. На нас было только летнее обмундирование — ох, как же все затряслись от холода и страха! Было слышно, как духи и привидения стонут на вершине горы и в черных небесах. Я потерял свои веревочные сандалии. Правду сказать, от них было мало толку, ведь приходилось пробиваться через сугробы. Некоторые из наших стали молиться. Они верили, что горные духи осерчали на нас. Потом начался град. О, небо! градины величиной с яйцо прибивали нас к земле. Одна саданула мне в лоб. Я так и рухнул грудью на приклад собственной винтовки. В глазах потемнело, а потом будто искры посыпались. Лица у многих наших были разбиты в кровь, некоторые попадали на колени, взывая к горному пику. Ничего не помогало. Эта гора была пристанищем духов; все так думали. В конце концов мы просто сунули головы в снег, а граду подставили задницы. Там, знаете ли, мясца — хе-хе-хе — побольше, да оно и пожестче!

Кое-кто из солдат засмеялся. Сыма обернулся и обвел своих бойцов взглядом. Все затихли.

— Заливные рисовые поля — тоже, знаете, дело нешуточное, — продолжал Старый Лю. — Люди вязли в грязи — и чем отчаяннее ты пытался выбраться, тем глубже тебя засасывало. Оставалось только смотреть на тонущих товарищей, они исчезали прямо у тебя под носом. Сил нет вспоминать все это, аж живот прихватывает. Крики тонущих были ужасны, до сих пор их слышу. Во время переходов подъедали все подчистую: обувь, одежду, ремни, — что сварить удавалось. Председатель Мао даже пристрелил свою лошадь и отдал мясо больным. Так что о болотах давайте не будем. Лучше расскажу вам кое-что о жителях Тибета. Бывал кто в Тибете?

— Нет, — отозвались с десяток бойцов.

— Туда мы попали еще до всяких болот. Деревни точно вымерли. Еды не хватало, мы забирали тамошний ячмень. Но платили, конечно, оставляли деньги на краю поля и прижимали их маленькими камушками. Тибетцы об этом не знали, думали, мы их грабим. Дикари! Не понимали, что мы — народная армия. Затаскивали бревна и камни на вершины холмов, поджидали, пока отряд втянется в ущелье, и обрушивали все это на наши головы. Бабкой клянусь! Грохот ужасающий, по склонам несутся бревна, каменюги крушат все на своем пути, даже деревья. Стоны, вопли... Лежим, вжавшись в землю, а лошади сигают через наши головы и мчатся прочь. Каждое такое бревно зашибало до смерти чуть не дюжину бойцов; кто в живых остался, едва от страха не помер. Честно вам скажу, я так просто с земли подняться не мог — ноги свело. Но мне повезло: спрятался под сломанной телегой и жизнь свою сберег. Ну точно дикари! Все никак их жестокость не позабуду!

Солдаты рты руками зажимали, чтобы сдержать смех. Впрочем, некоторые ржали не скрываясь. Сыма поднялся. Его волосатое лицо по-

краснело, напомнив всем о его прозвище — Павианий Зад; хохот усилился. Сыма обратился к Лю:

— Что ж, старый воин, расскажите теперь о битвах и победах, — и посмотрел на командира Пэя, который многозначительно улыбался и покачивал своей круглой головой.

— Ладно, — старческие глаза сверкнули, запавший рот перекосило судорогой. Глотнув чая, он снова заговорил: — Вы все уже не раз слышали рассказы о победоносных сражениях и небось уши себе намозолили. Дайте подумать, о чем вы еще не слыхали. А вот, к примеру! Такое не позабудешь... Перевалив через гору Люпаньшань, оказались мы в городишке под названием Чучжи и принялись устраиваться на ночлег, палатки ставить. Тут-то из темноты нагрянула вражеская конница. Дневной переход всех до смерти утомил, так что сил сражаться ни у кого не осталось. А вражеские верховые совсем свеженькие, они-то много дней сиднем сидели и нас поджидали. В миг отряд распался. Все бросились врассыпную, заботясь только о собственной жизни. О бое никто и не думал — не было ни лошадей, ни времени построить людей для контратаки. Я так и вовсе голову потерял, мчался за теми, кто побежал первыми. Сиганул с невысокого обрыва, винтовку обронил... Только жизнь-то, она поважней винтовки, так что искать я винтовку не стал. Потом потерял фуражку. Но все продолжал бежать, покуда, перемахнув через стожок сена, не влетел в свинарник. Тут какой-то шест подвернулся, ударился об него носом, хлынула кровь...

По рядам прокатились смешки. Секретарь Сыма опять поднялся и потребовал тишины.

— Слушайте старшего товарища! — Весельчаки опустили головы и притихли.

Сыма сел на свое место. "Мать его растак! — ругался он про себя. — Старый пидор болтает как настоящий контрик".

— Когда я добрался до своих, — продолжал Старый Лю, — там спросили, где мое оружие. Я им на разбитое лицо показываю, а они: нас не ты, а твоя винтовка интересует! Нету винтовки, отвечаю, потерял. Наш командир роты приказал пойти и отыскать личное оружие. А куда идти-то? Городишко тот давно врагами захвачен. Пришлось удариться в бега. Черт с вами, думаю, гоните, ладно, уйду. Как добраться до дому, я и понятия не имел. Пошел на восток, где, как говорили, был большой город. Но вскорости угодил в медицинскую бригаду Красной Армии. Они меня спрашивают: "Чего это ты, товарищ, шастаешь в одиночку?" Я и объяснил, мол, с начальством не поладил, вот и прогнали из роты. "Возьмите меня к себе", — попросил. "Ладно, будешь санитаром". Так я снова оказался в Красной Армии. Только вместо винтовки у меня теперь был ночной горшок.

Вся аудитория взорвалась хохотом, но старик даже не улыбнулся. Он спокойно смотрел на молодые лица солдат.

Секретарь Сыма снова встал и жестом утихомирил подчиненных. Он весь вспотел, да еще внезапно заныл коренной зуб.

— Товарищи, посерьезней! Мы на лекции по истории Партии.

С растерянной улыбкой он повернулся к старику, но не знал, что сказать. Он слышал, что, когда Старый Лю сердится и начинает клясть всех почем зря, даже дивизионное начальство отступается, — в Красную Армию он как-никак раньше всех вступил.

— Но и в медицинской бригаде я надолго не задержался, — продолжал Лю. — Случилось так, что тем же летом мы разбили два полка чанкайшистов и взяли несколько сотен пленных. Среди них был один офицерик, совершеннейший реакционер. Когда мы обрабатывали ему

раны, он нас ругал на чем свет стоит. Обзывал "коммунистическими бандитами" и "красными скотами". Все ужасно злились.

Как-то ночью после дежурства я заглянул на кухню, воды напиться. Там выпивали и закусывали начальники. Все уже пьяные. Увидев меня, старший офицер Вань Фуминь и говорит: "Глоток вина, малыш Лю?" Я глотнул из его кружки. "Закуси-ка мясцом", — кивнул он на тарелки. "Откуда мясо-то?" — удивился я. Мы его месяцами не видали, и от одного этого слова "мясо" у меня рот наполнился слюной. Все заржали. "Человечина", — объяснил Фэн Шунь, командир караульного взвода. Я так и обомлел, понять не мог, шутит он или нет. "Помнишь того ругачего офицерика? Это его сердце и печень, дружище," — сказал мне Вань, подхватил шмат мяса и отправил себе в рот. И стал жевать. Я задрожал, мне захотелось поскорей убраться оттуда. Но Вань протянул мне свои палочки и приказал: "Съешь кусочек, малыш Лю. Узнаешь, похоже ли это на баранину. Нужно учиться поедать наших врагов!"

Тут все закричали, подначивая меня. Я бросил палочки и выбежал вон. Бежал по дороге между холмов до тех пор, пока огонек в окне кухни не пропал из виду. Ночь стояла сырая и холодная. Я засел на просяном поле, не решаясь вернуться, пока они не лягут спать. Все сомневался, надо ли доложить вышестоящему начальству. Но кто знает, как там у них заведено. Может, и другие офицеры санитарной службы нормально относятся к поеданию врагов, а то и сами при случае не прочь полакомиться?

На следующее утро Вань и Фэн сцапали меня в казарме и стали ругать за мое мягкосердечие. Фэн Шунь сказал: "Если тебе жаль этого паршивого пса, значит ты не понимаешь разницы между врагом и другом. Любовь к нашим друзьям — это ненависть к нашим врагам. Врага нельзя считать человеком!" Я не понял, что же в точности он имел в виду. Сердце мое колотилось со страху. А что, как в один прекрасный день они и меня посчитают врагом? Вынут внутренности и сожрут? Пришлось снова бежать.

В комнате стояла тишина, было слышно только, как дышит Старый Лю. Сыма встал и направился к нему.

— Я не был дезертиром! — закричал старик, колотя по столу маленькими кулачками. Слезы потекли по его щекам. — Я ненавижу Чан Кайши и всех этих реакционеров, но есть их не стану! Убить могу, но чтобы питаться их мясом... Храбрости мне и вправду недостает... И все-таки я не дезертир!

— Успокойтесь, пожалуйста, — сказал Сыма и положил руку на плечо Лю. Потом дал знак, чтобы старику помогли. Сразу же вскочили трое из переднего ряда.

— Старый боец, вы слишком устали, — бормотал секретарь, — вам нужно отдохнуть.

Двое солдат помогли Старому Лю подняться и, поддерживая под руки, вывели его из актового зала.

— Товарищи, — обратился Сыма к присутствующим, — если вы делали записи, то должны вырвать эти страницы и сдать их мне. Складывать здесь. — Он указал на стол. — Правду говорил старый Лю или нет, не нам судить. Я только хочу, чтобы вы помалкивали об этой лекции. Лю — красноармеец; может быть, то, что он говорил, и не принесет ему вреда, но если вы начнете повсюду болтать об этом, то выйдет, что вы льете воду на мельницу контрреволюции. Ясно?

— Ясно, — гаркнули все как один.

Комната наполнилась шумом отодвигаемых стульев. Солдаты подходили к столу и складывали исписанные листы.

Командир Пэй не двинулся с места, просто сидел и курил. Только сощурившись на партсекретаря поглядывал.

Сыма забеспокоился, что Пэй не сдает свои записи. Погодя до партсекретаря дошло, что теперь у Пэя появилось кое-что против него. И он решил побыстрей написать отчет для политотдела дивизии, чтобы Пэй не опередил его, донеся начальству о случившемся.

Русский пленник

КОМАНДИР взвода Ши Сян вернулся из ротного управления с одиннадцатью пистолетами и велел нам паковаться. Каждый должен был взять с собой противомоскитную сетку и летние вещи. "На этот раз работа будет легкая," – заверил нас Ши Сян. Нам выдали пистолеты, поэтому свои винтовки и автоматы мы оставили в казарме.

Через двадцать минут все стояли по стойке "смирно" посереди учебного плаца, глядя на ротного командира Янь Ли. Он крикнул: "Вольно!" – и стал объяснять, в чем состоит эта самая "легкая работа". На щеку мне села муха и зигзагами поползла к подбородку, я не осмелился согнать ее. Вдруг в свинарнике, что находился в пятидесяти метрах позади нас, завизжали поросята. Командир взвода Ши велел Ван Миню пойти и сказать скотнику Лю, чтобы тот погодил ловить и кастрировать поросят.

– На этот раз, – продолжил командир Янь, – вы, Девятый взвод, будете представлять нашу роту, выполняя важное задание под прямым руководством начальника штаба Шуня. Партия и народ доверяют вам. Я надеюсь, никто из вас не забудет: все, что вы делаете, должно служить славе нашей караульной роты. Конвоирование русского пленного – это одновременно и военная, и политическая задача. Помните, что для русского вы будете представителями Китая и китайской армии. И вы обязаны продемонстрировать наш истинно революционный дух. Как я уже говорил, вы должны обращаться с русским, с одним из этих большеносых, вежливо, чтобы у него не возникло впечатления, что он заключенный, ведь в настоящий момент мы еще не знаем, кто он такой на самом деле. Но не забывайте, наша обязанность следить за ним постоянно, днем и ночью. Вам все понятно, товарищи?

– Так точно, – гаркнули мы в один голос и щелкнули каблуками.

Прибыл новенький грузовик марки "Освобождение". Мы залезли в него и расселись на скатках вдоль бортов. Когда мы отъезжали, опять принялись визжать поросята. По песчаной дороге грузовик понесся к восточным окраинам Лунмыня. В кузове нас растрясло, и мы уснули под лучами палящего солнца.

Оставив позади себя длиннющую змею пыли, мы прибыли на Восточный аэродром – заброшенную военную базу, построенную еще японцами во время Второй мировой войны. Там нас уже ждали трое молодых офицеров. У двоих на груди болтались фотокамеры, третий держал кожаный портфель. Все уже было готово: спальня для нас устроена на втором этаже маленькой постройки из черного кирпича, единственного здания на территории аэропорта; столовая – на первом; русский пленный и его переводчик-китаец разместятся в двух комнатушках, смежных с нашей большой – то есть ходить им придется через нас. На первом этаже располагалась также комната отдыха и стоял на вид совершенно новый пинг-понговый стол.

– В данный момент обращаться с ним надо вроде как с гостем. Я имею в виду внешне, – говорил высокий офицер со сверкающим золо-

тым зубом командиру нашего отделения, пока мы в спальне раскатывали наши соломенные матрасы на пятнадцатиметровом настиле из досок. Этот штабной офицер из тактического отдела штаба дивизии был известен своим красивым почерком. В народе его прозвали Ученый Ван.

Мы чувствовали, что сможем тут неплохо провести время. Все както удачно складывалось. Уж по крайней мере удастся прогулять летние учения.

Около трех часов пополудни два джипа затормозили в центре баскетбольной площадки перед нашим домиком. Из машин вышли начальник дивизионного штаба Шунь Синь, его охранник, четыре офицера и пленный русский. Русский выглядел почти мальчишкой, ему небось и двадцати пяти не было. К нашему удивлению, он оказался вовсе не таким крупным и высоким, как мы ожидали, — того же роста, что и большинство сопровождавших его китайцев, и даже на полголовы ниже Ученого Вана. Одет в русскую военную форму; на голове совсем не похожая на наши фуражка с широким козырьком. Мы глазели на происходящее сверху, стараясь при этом не приближаться к окнам, чтобы снаружи не заметили.

— Он неплохо смотрится в этой форме, — сказал Ван Минь, — небось шерстяная.

— Дерюга, — сказал командир взвода Ши. — Хороша, пока новая. Увидите, во что она вскорости превратится.

— Нос-то вовсе не огромный, — удивился Ма Линь.

— А чего это у него лицо такое белое? — спросил Мэн Дун.

— Небось молока много пил, — ответил Ван Минь. — Гляньте, какие у него здоровущие круглые гляделки! Знать, каждый день от пуза наедается. — Ван всегда любил шуточки шутить.

— А что там за хмырь с козлиной бородкой? — спросил замкомандира взвода Сю Цзясю, указывая на офицера, который шел между русским и начальником штаба, переговариваясь то с одним, то с другим.

— Должно быть, переводчик Чжан. Говорит по-русски лучше всех в провинции. Неужто не слышали о Чжане Большая борода? — спросил командир взвода.

— Не-а. И борода у него совсем не большая.

— Зато раньше бородища была — во!

— Русский не похож на офицера, — сказал я.

— Твоя правда, Сун Мин, не похож, — согласился замкомандира. — Он наверняка солдат вроде нас. Больно молод, чтобы нацеплять звезды и нашивки.

В этот момент один из офицеров вынул из багажника джипа блестящий, похожий на игрушку автомат и зеленый уоки-токи и отдал их двум офицерам, ожидавшим с фотоаппаратами наготове. Они живо унесли все в дом, чтобы сфотографировать. Видать, эти штуки были самым что ни на есть новейшим русским вооружением. По размеру их уоки-токи был не больше коробочки для завтрака. А такой модели автомата никто из нас не знал, в нашей книжке по русскому оружию ее не было.

Внизу были еще две дополнительные комнаты, куда нам запретили входить. По утрам офицеры станут допрашивать там русского пленного. А в дневные часы, когда он свободен, мы будем "составлять ему компанию".

Ближе к вечеру прибыл еще один джип, привез шеф-повара Вана, который работал в гостинице для почетных гостей города Лунмыня. Мы слышали, что он — лучший повар во всей провинции, и его французскую кухню очень ценил премьер Чжоу Эньлай. Мы, конечно, будем питаться сорго и рисом, но не исключено, что при таком важном "госте" и нам пе-

репадет что-нибудь повкуснее. Мы с удовольствием вдыхали ароматы блюд, готовившихся для чужеземца. Эти запахи вскоре заполонили весь первый этаж и лестницу .

Русского звали Лев Петрович. По его собственному признанию, на границе он был совершеннейшим новичком. Прежде болтался при штабе Дальневосточного военного округа, а на сибирскую границу его сослали за лень. Так он говорил. И нам это не нравилось. Мы не могли понять, кто он есть на самом деле и какова истинная причина его перехода через границу. Действительно новичок? Или опытный агент? Заслан для сбора информации? С кем намеревался встретиться? Или правду говорит, что старослужащие заставляли таскать за ними автоматы и рацию во время патрулирования границы, вообще измывались — даже не подождали его, пока он срал в кустах, так что он сбился с пути и забрел на нашу сторону. Крестьяне, работавшие на конопляном поле, заприметили его издалека и устроили засаду. Едва русский оказался в их кольце, они повыскакивали, размахивая серпами, камнями, мотыгами и ружьями и вопя: "Брось оружие — будешь жить!" Лев драться не стал и попросту отдал им свой автомат. Опять-таки удивительно. Все выглядело заранее спланированным — он даже не попытался удрать. Офицеры допрашивали его каждый день и не верили ни единому слову.

Начальник штаба Шунь присутствовал на допросах только несколько первых дней. Потом Льва перепоручили офицерам. Основной задачей нашего отделения стали ночные дежурства. Ничего трудного — каждый дежурил всего по часу. И шастать вокруг дома в темноте нам не приходилось. Утром мы Львом не занимались и по два часа штудировали "Манифест Коммунистической партии". А днем, после двухчасового сна, если он изъявлял желание, мы играли с ним в разные игры. Поначалу он редко к нам присоединялся, все больше читал в одиночестве. Компанию ему в основном составлял переводчик Чжан, мы-то ведь не понимали, что он там лопочет. Они спали в одной комнате, где окно было затянуто москитной сеткой и забрано шестью железными прутами. Господину Чжану прислали много его собственных книг, и вторую комнатушку он использовал как кабинет. Я никогда не видал такого количества книжек, они занимали четыре высоких стеллажа. На корешках некоторых толстенных томов были картинки — портреты русских писателей, кое-кто с бородами, как у Маркса и Энгельса. Книги господина Чжана вызывали у нас благоговейный страх. Мы слышали, что его отец был генералом в армии Чжан Цзолиня, а кормилицей у него была русская, потому с детских лет он свободно говорил по-русски. Нельзя даже представить себе, что переводчик прочитал все эти книги. Поистине мудрый старик. На самом деле он вовсе не был стар, лет около сорока пяти, думаю. Правда, кожа складками висела на тонких костях, а узкие глаза глядели мутно за толстыми стеклами очков.

Уверен, и на Льва эти книги производили впечатление. Первые две недели он постоянно торчал в кабинете, читал и писал. Мы и не ожидали, что он такой книгочей и любитель поэзии. Однажды, возвращаясь ранним утром с тренировки, мы услышали дикие крики Льва, доносившиеся со второго этажа. Мы поспешили наверх и в коридоре столкнулись с переводчиком господином Чжаном.

— Что с ним такое? — спросил командир взвода Ши.

— Ничего страшного, — сказал Чжан, — читает Пушкина.

Дверь кабинета была распахнута настежь. Лев, держа увесистый том, что-то выкрикивал; лучи восходящего солнца освещали его. Пот-

ное лицо пылало. Господин Чжан вошел в кабинет и положил руку Льву на плечо. Они сели и стали беседовать.

Потом мы увидели, как господин Чжан, засунув руки в карманы, меряет шагами кабинет, и услышали, как он бормочет русские слова, видимо стихи, возможно даже этого самого Пушкина. Лев сидел совершенно неподвижно и только взглядом следил за Чжаном, его глазища сияли. Стихотворение оказалось длинным, Чжан закончил чтение только минут через десять. Едва он смолк, Лев вскочил, обнял переводчика и что-то зашептал ему на ухо. Потом мы видели, как Лев достал из кармана носовой платок и промокнул глаза. Господин Чжан улыбался и выглядел довольным. А нам было смешно: Лев, словно девица, плачет над красивыми словами.

Как и предсказывал наш командир, одежда Льва уже после нескольких стирок стала смахивать на тряпку. Тогда он облачился в нашу дакроновую форму, но без красных нашивок на воротнике и красной звезды на фуражке. Он просил и нашивки и звезду, но офицеры ему отказали. Сказали, мол, слишком быстро переметнулся на нашу сторону. Кстати, все свои русские вещи, включая грубые сапоги и обмотки, он выкинул и теперь носил наши зеленые кроссовки и хлопковые носки. Забавно, что со спины его вполне можно было принять за одного из наших. Однажды замкомандира взвода Сю хлопнул Льва по шее, решив, что это Ван Минь, и сказал: "Когда наконец купишь нам обещанные леденцы, а?" Лев обернулся, в его серых глазах мелькнула растерянность, и на широком лице появилась какая-то кошачья ухмылка. Большая бородавка над верхней губой поднялась аж к левой ноздре. Сю тупо на него уставился. Мы все заржали и стали кричать прямо как уличные старухи-торговки: "Леденцы, пять фэней за штучку."

Вообще-то Лев был наглый сукин сын. Мы обращались с ним как с гостем, и он совсем избаловался. Курил только два самых дорогих сорта сигарет: "Женьшень" и "Великий Китай". Ученый Ван как-то дал ему несколько штук "Пионовых", но Лев, попробовав, отказался; он желал курить только лучшие китайские сорта и все свои привилегии считал само собой разумеющимися. Естественно, он и понятия не имел, что такое уважение к хозяевам. Однажды добрых пару минут делал стойку на руках на деревянном настиле, где мы спали. А когда снова встал на ноги, махнул нам, вроде как приглашая посоревноваться. Никто из нас не смог. Мы ему, видать, казались неотесанными мужланами, которые знать не знают, что такое гимнастика, и не читают толстых книг.

В уме ему и в самом деле трудно было отказать. На столе у него стопкой лежали исписанные листы бумаги, штук эдак двести. Господин Чжан говорил, что это размышления Льва по поводу ленинского труда "Государство и революция".

Но ум причинял Льву одни неприятности. Кто поверит, что простой русский солдат может написать статью длиной в целую книгу и работать на горизонтальной перекладине как профессиональный атлет. И чем дальше, тем больше он смахивал на хорошо подготовленного шпиона.

Мы были просто обязаны найти способ победить его в гимнастике. Но даже наши офицеры не были сильны в упражнениях на турнике, поэтому штаб дивизии прислал доктора Кая, который раньше входил в гимнастическую команду Китайского медицинского университета. Конечно, Лев не мог соперничать с доктором Каем. Тот худобой и мускулистостью напоминал гончую. А Лев, хоть и выглядел достаточно крепким, для классного гимнаста был тяжеловат.

Чжан познакомил их на заднем дворе, и они пожали друг другу руки. Лев зачерпнул немного песка из ямы для прыжков в длину и растер его между ладонями. Потом ринулся к турнику, подпрыгнул, ухватился за перекладину и начал делать махи вперед-назад. Вскоре его тело уже крутилось вокруг перекладины. Мы были потрясены, никто не ожидал, что он способен на такое. Постепенно вращение замедлилось, и он замер, сделав стойку на перкладине. Пораженные, мы затаили дыхание. Секунд через пять он вышел из стойки и спрыгнул на землю. Сами того не желая, мы зааплодировали — он улыбался нам, тяжко дыша. Господин Чжан протянул ему полотенце.

Доктор Кай даже не удосужился протереть ладони песком. Спокойно подошел к турнику, слегка подпрыгнул и повис на перекладине. Повисел несколько секунд и принялся раскачиваться. Наш доктор явно знал толк в этом деле. Мы и глазом не успели моргнуть, а его тело уже летало, описывая полные круги. После пяти оборотов он неожиданно отпустил руки, мгновенно сделал сальто назад и снова ухватился за перекладину. Этот трюк он проделывал трижды. Мы закричали, подбадривая его. Он перешел в вертикальную стойку, затем грациозно отвел в сторону левую руку — теперь он балансировал на одной правой. Мы все захлопали и закричали "Браво!"

Состязание окончилось. Лев, весь красный, подошел к доктору, и они опять пожали друг другу руки. Вид у Льва был не очень-то радостный. Ему, конечно, полезно было узнать, что мы, китайцы, вовсе не такие тупицы, как он полагал, и тоже можем делать все, что он умеет. Два дня после этого он вел себя тихо и не смел подначивать нас.

Вообще-то мы считали его смышленым парнем, он быстро все схватывал. Когда приехал, совсем в пинг-понг не умел играть, а теперь играл наравне с нашими лучшими игроками. Его манера все время вызывать нас на соревнование страшно раздражала. Обычно он указывал пинг-понговой ракеткой себе на грудь и говорил "Россия", а потом на тебя — "Китай". Это были два первых китайских слова, которые он выучил. Он хотел сказать, что каждый игрок представляет в игре свою страну. Однажды он побил меня — 21:18. Я чувствовал себя отвратительно и готов был разорвать его в клочья, а он был доволен и дал мне сигарету "Женьшень".

Дальше хуже. Через шесть недель он играл в китайские шашки, которых до того в глаза не видел, ловчее нас всех. И всегда хотел играть вроде как Россия-против-Китая. В шашки мы с ним уже не осмеливались сражаться и перешли на карты. Тут ему приходилось выбирать одного или нескольких партнеров, и в одиночку представлять Россию не получалось.

Как-то днем составилась партия до ста очков. Его команда вроде выигрывала. Он бросил на стол бубнового короля и громко произнес по-китайски: "Мать вашу!" И серьезно так посмотрел на нас своими собачьими глазами.

Мы были шокированы, но потом заржали, и он тоже засмеялся. Значения этих слов он не знал. Но с этого дня стал ругаться за картами. Вначале нам казалось смешным, что он матерится, как и мы промеж собой частенько, но потом мы забеспокоились. Ведь это означало, что теперь он кое-что понимает по-нашему, видно, пытался скрытно учить китайский. Ученый Ван велел нам как можно меньше болтать за игрой. В наших интересах было, чтобы он нас не понимал. Это ведь наш пленник; если он проникнет в наши мозги, бог знает что может случиться. И мы стали играть молча.

Временами, изнемогая от этого молчания, он вынимал из бумажника фотографию какой-то девицы, как он говорил, его подружки. Цело-

вал фотографию прямо при нас и бесстыдно подмигивал нам и ухмылялся, показывая широкие передние зубы. Или прижимал фотографию к уху, будто слушал шепот. Теперь-то он уже попривык, а поначалу так скучал, что рано уходил спать. Мы решили, что русские — плохие солдаты. Где уж хорошо драться, если все время думать о женщине? Мы все видели фото девушки и считали, что она в общем-то хорошенькая: золотистые волосы, серые глаза, щечки цвета персика, и худа, точно отощавшая кошка. Она сильно отличалась от других русских женщин, у которых титьки, как баскетбольные мячи. Мне было интересно, есть ли у Льва фотографии голых женщин, — нам говорили, что каждый русский солдат держит в бумажнике минимум пять снимков голых баб. Но Лев, видно, хранил только фотографию своей девушки.

Льву нужно было выучить наш язык в первую очередь для того, чтобы определить свое местонахождение. Он уже шесть недель жил на Восточном аэродроме, но до сих пор не имел ни малейшего понятия, где находится. Его схватили в Хутоу, что всего-то в двухстах ли от Лунмыня, но потом всю ночь возили в джипе между Хутоу и Лунмынем туда-обратно через одни и те же маленькие городки, накручивая круги вокруг одних и тех же холмов. Окна джипа были зашторены; тут уж никто, кроме разве что Небесного правителя, не сообразил бы, где находится. Потом Лев расспрашивал офицеров, в каком именно месте его держат, но те отказались отвечать. Нам тоже было велено скрывать от него название ближайшего города. Он нас спрашивал много раз, даже набросал карту на листке бумаги, отметив китайские города, которые знал, в том числе Пекин, но мы ни разу не сказали, как называется наш город. Причина проста: если он узнает, где находится, ему будет легче связаться с русскими секретными агентами.

Мы до сих пор не выяснили, кто же он на самом деле. Но его настойчивое желание узнать о своем местоположении убеждало нас, что Лев не просто солдат. К тому же русские проявляли необычный интерес к его судьбе. Они без конца посылали запросы и даже предлагали передать сведения о двух китайских перебежчиках в обмен на информацию о нем. Наша сторона отвергла их предложение и отказалась обсуждать эту тему. Почему он был так важен для них? Конечно, мы ничего не собирались им сообщать, пока не выясним, кто он, и в зависимости от этого не решим, как с ним поступить.

Как-то вечером все ребята из нашего взвода отправились смотреть кино, которое показывали в штабе дивизии. Караулить Льва остались только командир Ши, Ма Линь и я. Как водится, стали играть в карты (переводчик Чжан никогда к нашей компании не присоединялся, читал в своем кабинете в одиночестве). Лев достал из кармана коробку конфет с алкогольной пропиткой, которую ему дал Ученый Ван; в начинке там были вина лучших сортов. Он поставил ее на стол и жестом предложил нам угощаться. Мы трое переглянулись. Но, подивившись его щедрости, долго думать не стали и принялись уписывать конфеты. Ши взял с маотаем, Ма — с вином из пяти злаков, а я — из листьев зеленого бамбука. Получалось, что наша страна угощала Льва нашими китайскими конфетами с нашим китайским вином: так почему же мы, хозяева, не могли их попробовать?

Сыграв пять партий, Лев встал и двинулся в сторону двери. Командир Ши подмигнул мне, и я тут же вскочил. Лев отправился в уборную. Я пошел следом, отлил, продолжая за ним наблюдать. Окно уборной смотрело на широкое кукурузное поле. Луна в небе походила на маленькую лодочку, бросившую якорь у золотистого облака. Убедившись, что Лев сидит на корточках над дыркой, я вышел и стал ждать его в коридоре. Он появил-

ся минут пять спустя и направился ко мне с каким-то таинственным видом. Затем достал пачку сигарет "Женьшень", сунул мне в руку и, фальшиво улыбаясь, загнусавил: "Чанчунь, Харбин, Цзилинь, Шэньян, Пекин?" Он хотел, чтобы я сказал, в каком из этих городов мы находимся. В темноте его глаза горели, как у леопарда. Я вернул ему сигареты и покачал головой. Он не упомянул Лунмынь, должно быть, считал, что мы за тысячу ли от России. В тот вечер играл он с каким-то отсутствующим видом.

Что нам нравилось в нашей работе охранников, так это хорошая еда. Поначалу шеф-повар Ван готовил для Льва целые горы еды. Переводчик Чжан кушал вместе с ним и объяснял, как называются блюда и как их готовят. Уж конечно, Лев раньше никогда не пробовал настоящей китайской кухни. Если блюдо нравилось ему с первого же куска, он съедал его подчистую, даже не притрагиваясь к остальным шести или семи. Иногда попробовав что-то одно, он бросался на другое, затем на третье и, если в желудке еще оставалось место, — на четвертое. Через щели в рассевшейся двери мы видели, как в столовой переводчик Чжан изумленно глядит на Льва, и хихикали над дикими манерами русского.

Всю первую неделю Лев оставлял многие блюда нетронутыми, и мы, доедая за ним, получали хорошую добавку к нашим тушеным овощам, сорго или рису. Ох, никогда я не пробовал таких вкусностей! Перепела, медвежьи лапы, лягушачьи лапки, устрицы, лососина — все так и просилось в рот. Но приходилось себя сдерживать, ведь надо было делиться по-братски. Офицеры и солдаты тут были равны. Добрый старый шеф-повар Ван улыбался, глядя, как мы уписываем все, что ни приготовит. Возможно, иногда он специально готовил побольше, чтобы и нам побольше досталось.

Но шеф-повар Ван не мог слишком долго оставаться у нас и работать на Льва, ему нужно было кормить людей поважнее. Какой смысл принимать неизвестного русского как высокого государственного гостя? Поначалу мы его хорошо кормили в надежде, что он согласится сотрудничать с нами и расскажет офицерам все их интересовавшее. Он и вправду болтал немало. Ученый Ван записывал с помощью переводчика Чжана все до единого слова, но было непонятно, насколько его сведения ценны и достоверны. И вот через три недели шеф-повар Ван уехал, а вместо него прислали повара из дивизионного управления. Хотя этот Старый Би готовил похуже Вана, для Льва и он сгодился. Ежедневно Льву на еду выделяли по семь юаней, а каждому из нас полагалось только по пятьдесят пять фэней. Получалось, что Лев съедает больше, чем весь наш взвод. Так много он никак сожрать не мог, и мы по-прежнему доедали за ним. Надо, однако, сказать, что со временем он стал вести себя более культурно — вначале пробовал ото всех блюд понемногу, составлял, так сказать, план операции, а уж затем стремительно атаковал.

Однажды после обеда Лев вышел из столовой, держа в руке куриную ножку. Дожевывая, он стал подниматься по лестнице, за ним следовал переводчик Чжан. На втором этаже Лев вышвырнул недоеденную ножку в открытое окно. Увидав это, переводчик принялся кричать на него по-русски. Хоть мы и не понимали слов, но было видно, что он страшно сердит. Никто из нас и представить себе не мог, что этот тихий добрый человек способен прийти в такую ярость. Даже когда они ушли в свою комнату, до нас доносились крики Чжана. Он стучал и стучал кулаком по столу. Через несколько минут Чжан выскочил из комнаты, промчался через нашу спальню и сбежал вниз по лестнице. Почти тут же он вернулся, держа пару палочек для еды и миску вареного сорго с печеными баклажанами — наш обед. Он пронесся мимо нас, тяжело дыша и тряся своей козлиной

бородкой. Когда он скрылся в их комнате, мы услышали стук брошенных на стол палочек. Мы сгрудились у двери, заглядывая в щели.

Лев сидел на краю постели, низко опустив голову. Его лицо было почти фиолетовым, как баклажан. Чжан сунул ему под нос миску с сорго, Лев отвернулся. Чжан вновь заговорил громким голосом. По-видимому, он хотел преподать Льву урок, чтобы тот знал свое место и не забывал, что у многих китайцев нет даже сорго. Чжан взял миску и стал есть, продолжая свою речь. Мы так и не узнали, о чем он говорил. Наш командир потом спрашивал Чжана, но переводчик велел ему забыть об этом происшествии.

Лев не просто уважал своего переводчика, он вроде как даже привязался к нему. Недели через три после того, как Чжан накричал на Льва, китайская милиция потопила русский сторожевой катер в Хутоу. Русские заявили протест, на границе начались переговоры. Чжана приставили к нашей делегации в качестве переводчика. На замену ему прислали молодого переводчика Цзяо Му, недавнего выпускника Цзилиньской школы иностранных языков. Лев явно вознамерился устроить Цзяо веселую жизнь: он делал вид, что не понимает его и все время требовал Чжана. Возможно, он собирался дать понять молодому офицеру, что тому далеко до его предшественника. Он даже изображал нам, как скучает без Чжана — стучал себя в грудь, произносил "Чжан" и поднимал вверх свой толстый большой палец.

Каждый день переводчик Цзяо докладывал Ученому Вану, что Лев все время спрашивает, когда же вернется Чжан, будто чует недоброе. Вскоре стало известно, что Чжан не вернется никогда. Он умер в Хутоу сразу после переговоров. Когда Чжан только приехал в столицу округа, он почувствовал боль в желудке, но не придал этому значения. Наглотался обезболивающих и поехал дальше. В России боль усилилась. Чжан был единственным переводчиком при делегации, и ему пришлось безотлучно присутствовать на переговорах, которые шли с утра до ночи лишь с небольшим перерывом на обед. Во время утренних заседаний он глотал таблетки одну за другой и работал из последних сил. Выходил из зала совершенно мокрый. И пока офицеры закусывали, он пластом лежал на диване. Русские прислали доктора. Диагноз: острый аппендицит, Чжану требовалась срочная операция. Но заседания должны были продолжиться на следующий день. Без собственного переводчика мы могли потерять контроль над ходом переговоров и подписать соглашения в пользу русских, поэтому Чжан огромным усилием воли заставил себя встать на ноги и работал до конца встречи. Теперь уже доктор категорически настаивал на немедленной операции. Русские предложили поместить Чжана в их госпиталь и после операции прислать обратно. Глава делегации, комиссар Линь из нашей дивизии, спросил Чжана, хочет ли тот задержаться на несколько дней в России. Чжан отказался. Со слезами на глазах он произнес: "Наши враги не смогут меня вылечить... И если я умираю, то, пожалуйста, пожалуйста, дайте мне умереть на Родине!" Его повезли в Хутоу так быстро, как могли, но в пути то и дело приходилось делать остановки — дорогу затопило, и два моста были сметены горными потоками. В полном отчаянии они добрались до штаба Пятого полка только к трем часам ночи. Но было уже слишком поздно. Чжан умер.

Он стал нашим героем. Политотдел шэньянского военного округа выпустил указ, предписывающий всем офицерам и солдатам изучать волнующую историю Чжан Фаня, чья любовь к Родине и несгибаемый китайский дух должны служить примером для подражания. В газете

"Вперед" на первой полосе было опубликовано описание его жизни и его последних минут. Читая статью, мы не могли сдержать слез. Чжан удостоился некролога высшего разряда, а его семью объявили семьей павшего за дело Революции.

Смерть Чжана произвела на нас ужасное впечатление, но больше всех горевал Лев. Ему пришлось обратиться к переводчику Цзяо, чтобы узнать содержание газетного очерка о Чжане. Молодой человек целый вечер корпел в кабинете, переводя статью на русский. На следующее утро после завтрака Лев прочел перевод и зарыдал так, как будто умерли его родители. Все в нашем доме слышали его плач — он причитал целый час. Позднее он сказал переводчику Цзяо, что Чжан был для него как отец и преподал ему урок глубокого патриотизма. А мы и не думали никогда, что у Льва есть сердце. В тот день он отказался от обеда.

С этих пор он завел странную привычку без конца повторять, что в России все самое лучшее: климат в России самый благоприятный, русские девушки самые красивые, русские лошади самые выносливые, русские поросята самые вкусные, русские яблоки самые сочные, русский язык самый сложный.

Обычно мы не решались с ним спорить (Цзяо переводил нам его рассуждения), только однажды Ван Минь предложил ему произнести несколько китайских звуков — Лев не смог, хотя и говорил на самом сложном языке. Мы посмеялись, но решили оставить Льва в покое со всеми его шовинистскими речами.

По ночам наши офицеры уходили спать домой к женам. Командование на себя принимал переводчик Цзяо. Он только три месяца как стал офицером и еще не избавился от студенческих замашек. Не привык командовать и не протестовал, даже если мы оставляли ему всего двоих солдат для охраны Льва и отправлялись в Лунмынь смотреть кино или играть. Три человека вполне могли составить Льву компанию для партии в карты. В отличие от переводчика Чжана, Цзяо всегда принимал участие в этих играх — старался использовать любую возможность, чтобы улучшить свой русский. Цзяо оказался причиной всех наших бед; с его появлением наша бдительность стала постепенно ослабевать.

Во вторник вечером мы пошли смотреть фильм в дивизионное управление. На дежурстве вместе с переводчиком Цзяо остались замкомандира взвода Сю и Ван Минь. Все предвкушали большое удовольствие, мы слыхали, что это шпионский фильм, сделанный в Северной Корее. Но как только на экране появилось название "Невидимый фронт", в зале снова зажегся свет. Голос в громкоговорителе объявил: "Тревога, тревога: всем солдатам и офицерам немедленно покинуть здание и собраться снаружи. Тревога, тревога..."

Мы выскочили на улицу. У входа в кинотеатр уже собралась почти вся наша рота. Заложив руки за спину, командир Янь расхаживал взад-вперед перед строем, дожидаясь, пока явятся все. Вокруг раздавались крики: "Инженерный батальон, батальон связи, стройся!", "Рота противохимической защиты, к воротам шагом марш!"

Наш политинструктор Ню выкрикивал в толпу выбегающих из кинотеатра: "Караульная рота, ко мне!"

Командир Янь потребовал внимания, и мы стали по стойке смирно.

— Номер первый сбежал, — объявил он.

Я вздрогнул. Номер первый — это Лев, наш первый русский пленный.

— Только что пришел приказ из Пекина: мы должны мобилизовать все войска и полицию Лунмыня, соседних городов и областей и прочесать все поля, все холмы, обыскать каждую канаву, каждый двор, каждый погреб, искать, пока не найдем. Сейчас у нас нет времени разбираться, кто лично несет ответственность за побег. Это случилось по вине нашей роты, и мы обязаны схватить его. Дивизионное командование велело нам без него не возвращаться. — Он выдержал паузу и гаркнул: — Направо. Кру-угом марш!

Мы опрометью кинулись к штабным складам, чтобы взять оружие. Бежавший впереди меня командир взвода Ши не переставал проклинать замкомандира Сю и Ван Миня. "Черт возьми, уж я надеру им задницы. Они нас подставили. Да я их просто прикончу!"

Нашу роту погрузили в четыре грузовика и повезли к Восточному аэропорту. По дороге мы видели свет во всех казармах, слышали крики людей и рев машин. Город пришел в движение. Грузовики мчались на полной скорости — москиты и ночные мотыльки разбивались о наши лица. Командир отряда Фан, уцепившись за борт грузовика, делил нас на группы; в каждую группу входило по три человека, и им предписывалось держаться вместе во время поисков.

Грузовики затормозили перед зданием аэропорта. Мы поспрыгивали на землю. Навстречу нам выбежали переводчик Цзяо, Сю Цзясю и Ван Минь. Ши схватил замкомандира взвода за плечо и заорал:

— Так-перетак твою мать! Ты нас всех подставил!

— Командир Ши, выслушайте меня. Прошу, выслушайте.

— Прекратить! — крикнул командир взвода Фан. — Отпусти его, Ши Сян. Я сказал — отпусти! Думаешь, сумеешь выйти сухим из воды? Я сказал, вы все несете ответственность. И если мы не поймаем Номера первого, то все отправимся домой землю копать. Так что хватит препираться, ребята. Силы нам потребуются для работы. Сю Цзясю, ты присоединяешься в шестой группе, Ван Минь, пойдешь с седьмой.

Оба командира застыли возле своих групп, а Ван Минь подошел к нашей.

— Помните, — продолжал командир взвода, — соблюдать дистанцию в пятьдесят метров между группами и двигаться не слишком быстро.

Мы начали поиски. Группу, в которую входили Ван Минь и я, вел Мэн Дун. Мы медленно шли по кукурузному полю, стараясь разглядеть, нет ли кого в канавах. Листья хлестали по лицу, но мы не смели жаловаться. Продираться сквозь толщу кукурузных побегов было страшно. Высокие и толстые стебли заслоняли от нас остальных солдат, мы только слышали, как они, тихо ступая, продвигаются вперед. Самое ужасное, что мы не знали наверняка, есть ли у Льва оружие. Хотя нам сказали, что он не взял ни одного из наших пистолетов. Но он был там, в темноте, возможно, даже наблюдал, как мы крадемся. Умирая от страха, мы раздвигали стебли винтовками, направив дула вперед, в темноту.

Прочесали кукурузу и вышли на поле с посадками сои. Здесь оказалось не так страшно, были хорошо видны ребята из других групп. Вышли на капустное поле. Потоптали бог знает сколько кочанов капусты, оставляя позади только бесчисленные темные борозды.

Впереди офицеры вели вдоль ручья двух немецких овчарок, которые рвались в разные стороны. Один из офицеров нес подушку Льва, другой — его тазик для умывания. Они то и дело совали собакам эти вещи под нос, чтобы напомнить им запах беглеца и помочь взять след. Вообще собрали аж шестерых собак, с лаем носившихся взад-вперед, но

толку от них было маловато. Каждая тянула в своем направлении, и скоро офицеры перестали на них надеяться.

Поначалу мы не решались разговаривать. Но когда прочесали четыре поля, Ван Минь уже не мог больше сдерживаться и стал материться вовсю. Мы спросили его, как все это вышло. Он ответил, что никто тут не виноват. Видно, Лев, сукин сын, решил нарочно выставить нас дураками.

— Мы играли в карты, а он и говорит... мол, хочу в уборную. Я с ним пошел... не споткнись, Сун Мин... проследил, как он там раскорячился ну и, как обычно, стал ждать снаружи, пока он закончит. Ждал минут десять, а его все нет. Переводчик Цзяо... и Сю Цзясю пришли поглядеть, что происходит... помедленней, старина Мэн, нам надо остальных подождать. Потом мы втроем заходим в уборную. Лев все так и сидит на корточках, мы опять вышли. Потом услышали глухой удар, вбежали — а его нет! В окно выпрыгнул. Мы в окно выглянули... и увидели, как он зигзагами бежит... к кукурузному полю. "Стой! Ле-ев, стой! Вернись, Лев!" — орали мы сверху. Он даже головы не повернул, просто продолжал бежать. И пропал в кукурузе. Переводчик Цзяо не знал, что делать. Он только и мог кричать: "Нет, вы только поглядите, только поглядите!" Сю Цзясю велел ему позвонить в управление. Потом мы побежали в поле искать Льва.

— Нашли? — спросил Мэн Дун вроде вполне серьезно.

— Черт бы тебя побрал, старик. Ты еще шутки шутишь.

— Да и пробовать не стоило. Маловероятно, чтоб вы вдвоем смогли его найти.

— Может, ты и прав, но мы должны были попытаться. Это, сам знаешь, входит в наши обязанности.

— А что вы с ним сделаете, если мы его поймаем? — спросил я Ван Миня.

— Заставлю конскую мочу пить!

— А я бы увеличил затраты на его рацион, — сказал Мэн. Мы заржали.

— Все, ребята, кончай смеяться, — прикрикнул Ма Линь. Он шел в группе слева от нас. — Сейчас поднимаемся на холм и начинаем прочесывать лес.

Полезли на холм. Вообще-то побег Льва нас здорово озадачил. Планировал ли он встречу с агентом в каком-то конкретном месте? Знал ли, в какой стороне Россия? Знал, наверное, иначе какой смысл бежать. Были ли у него оружие и еда? Почему он убежал всего за неделю до национального праздника? Может, 1 октября он намеревался взорвать фабрику или мост? На эти вопросы не существовало ответов. Только в одном мы были уверены: если он знал о своем местонахождении, то вполне мог добраться до России — все вокруг бурно колосилось, и в полях можно было легко укрыться. Хотя к операции привлекли более тридцати тысяч бойцов армии и полиции, нельзя было ручаться, что мы сможем обыскать каждый уголок на огромном пространстве, где находились одиннадцать областей и три города. Вдобавок, Лев же не сидел на одном месте, он мог все время перемещаться, спасаясь от преследователей. От голода он бы тоже не умер — в период уборки урожая в полях было полно кукурузы, бобовых, картофеля, разных овощей, а в горах уже фрукты созрели. Короче, если он мог ориентироваться, то вполне мог и до России дойти. Похоже, кто-то из наших все-таки был подкуплен и сказал ему, что его держат в Лунмыне. Если Льву удастся спрятаться или пересечь границу, то подозревать станут всех в нашем взводе. Мы должны были вернуть его, чтобы снять с себя подозрение.

Был уже час ночи. Пять часов без отдыха велись поиски. Все вокруг — и солдаты, и полицейские — проклинали Большеносого Русского, Полярного Медведя, Русского Волосатого Скота. Они не знали ни что его Львом зовут, ни как он выглядит. Мы никому из них не смели ничего рассказать, ведь это мы его упустили. Он и вправду стоил наших проклятий. Так хорошо с ним обращались, а он подвел, гад. Рыскай теперь из-за него в ночи, без еды и без сна.

Ни теплых вещей, ни еды с собой у нас не оказалось, а вернуться за всем этим никакой возможности не было. В приказе четко сказано: "Не возвращаться, пока беглец не будет пойман". После пятичасовых поисков мы падали от усталости и просто умирали с голоду. В полях нам, конечно, попадалось кое-что съедобное, но никто не решился ничего взять. Второе армейское правило запрещало брать что-либо принадлежащее народу, так что мы отчаянно боролись с голодом и продолжали поиски.

Но долго так не могло продолжаться. Было холодно. Отовсюду падали капли росы, и одежда промокла насквозь. На пустой желудок казалось, что даже кости внутри пусты, — и озноб никак нельзя было унять.

Мы начали прочесывать поле, засаженное репой вперемежку с сорго. Двенадцать рядов репы, потом четыре-пять рядов сорго, снова репа, снова сорго. Каждая группа шла по рядам с репой и хорошо видела людей из других групп.

— Может взять реп-п-пку? — сказал Ван Минь, стуча зубами.

— У меня внутренности прямо как изгрызены, — сказал я, потирая живот.

— А почему бы и нет? — Мэн Дун поддел ногой репу. Оторвал ботву и принялся жадно жевать.

Все занялись репой. Ван Минь стал отрезать ботву штык-ножом.

— Штыком не надо — он же отравленный, — сказал ему Мэн.

Ван, новичок, совсем об этом забыл. Репу он, конечно, сразу выкинул и выкопал себе другую размером с младенца. Вскоре разговор прекратился, и мы стали молча есть. Опасно, если другие группы заметят, чем мы занимаемся, так что вести себя следовало тихо. Кто знает, что они там делали? Может, тоже жевали репу. Все вдруг затихли как по команде, только слышался глухой звук шагов.

Я съел одну репку и выдернул следующую. Мэн тоже принялся за вторую. Ван все не мог разделаться со своей — очень уж крупная попалась. Благодарение Богу, поле было большое, и я успел доесть и вторую репку.

Было уже два тридцать. Нам разрешили сделать привал и два часа поспать. Командование, видимо, полагало, что поиски будут продолжаться не один день и нам надо беречь силы. Мы расположились на пологом склоне между соевым полем и дубовой рощей. Теперь уж каждый был сам по себе, между бойцами соблюдалась дистанция метров в тридцать.

Вскоре все стихло. Только где-то вдалеке слышался лай собак. По темному фиолетовому небу были небрежно разбросаны звезды. Редкие перистые облака трепетали под величавой серебряной луной, которая заливала холодным светом мокрые деревья и землю, словно изборожденную глубокими морщинами. Внутри у меня урчало, хотелось съесть чего-нибудь горяченького, супа или каши, чтобы избавиться от неприятной тяжести в желудке. Репа — хорошее средство, если хочешь прочистить кишки, для этого и одной штуки вполне достаточно, а я запихал в себя целых две. Теперь вместо голода я страдал от изжоги.

Если б я мог развести огонь и запечь немного свежих соевых бобов... ведь так холодно... о, мои колени... они окоченели... словно чужие...

Арахис, только что собранный арахис, такой изумительно вкусный, жареный... с изюмом... иди сюда, сядь поближе к огню... этот теплый плоский камень прекрасно согреет тебе ноги... дай-ка и мне местечко... хочу разогреть себе завтрак... соленую макрель и кукурузный хлебец... пахнет так вкусно... солнце, какое чудное солнце, как оно согревает... эти облака... как чудесно — лошади и коровы... еще яблоки, груши... ах, все-то у нас тут есть...Четвертый Пес, где твой брат... крикни ему, чтоб перестал копать картошку... не жадничай... все поле наше... никто этого места не знает... Лилиан, возьми кусочек дыни... она тает во рту... что смеешься?... она слаще всего, что есть в саду у недомерка Лю... эй, вы... идите сюда... арахис, только что собраный арахис, жареный, с изюмом... не хотите ли немного... садитесь к огню и ешьте... приглашаем всех... сегодня настал день Коммунизма — берите все, что вам нужно... что хихикаешь, старина Мэн... разве ты не счастлив... сукин сын... не хочешь ли поразвлечься... где Лев... он же только что ел тут арахис... говоришь, пошел отлить в кусты... эй, кто здесь... это ты, Лев... нет, это Ван Минь... Ван... Минь... скажи Льву, что мы и сладкой картошки напекли для него... много всяких вкусностей, чтоб позабыл все обиды... Ма Линь, дай мне свою шинель... не будь таким эгоистом... теперь моя очередь греться... кто там свистит в свисток... черт, да кто там портит все удовольствие...

"Караульная рота, подъем"... кто там орет..."Караульная рота, подъем!"?

Я вскочил, схватил винтовку. Растер руки и почувствовал тупую боль в локтевых суставах. Колени дрожали, я стал хлопать себя по ногам, чтобы проснуться... Вот это сон! Мне приснилось множество чудных вещей, но все так перепуталось... Как это столько людей могло собраться в одном месте — в моей родной деревне? Кошмар какой, мне даже снилось, что Лев — наш друг. И все мы собрались в Лисьей долине.

О, как я скучал по дому! Дома всегда тепло и безопасно, и если ты устал как собака, то можешь спать хоть день и ночь напролет. А утром глаза откроешь — мама поставит у изголовья горшок просяной каши, горячей и вкусной, да в ней еще четыре крутых яйца. О, мама и папа, как я скучаю без вас!..

Мои мысли были прерваны бранью. Народ опять стал проклинать Льва, все желали, чтоб его разорвало, а его кости обглодали бы медведи.

Еще не рассвело. Тонкая пелена тумана окутывала дубовый лесок и стелилась над полями. Каждая травинка клонилась под тяжестью росы. В воздухе пахло травой, но никто, кажется, не находил в себе сил вдохнуть свежий воздух полной грудью. Люди выстроились длинной цепью вдоль опушки и, стараясь не шуметь, двинулись вперед. У меня кружилась голова и совершенно онемел лоб. На дереве застучал дятел — было ощущение, что от его стука сотрясаются горы.

Мы вышли из полосы тумана, и начался рассвет: внезапно на востоке озарилось и заалело небо. Мы увидели, что вдалеке с подветренной стороны холма бегут люди. Кто-то предположил, что Льва уже поймали. Командир Янь стал смотреть в бинокль, мы сгрудились вокруг него.

— Нет, — сказал он, — похоже, еще один полицейский ранен. Они несут на плечах носилки.

— Война еще не началась, — сказал командир взвода Фан, — а уже есть потери.

— Всем внимание, — повернулся к нам командир Янь. — Сейчас входим в лес. Когда выберемся оттуда, будем завтракать.

Мы пошли дальше, мечтая о завтраке, теплой каше и свежеиспеченном хлебе. Объявили, что минувшей ночью были ранены два милиционера. Кто-то забыл поставить ружья на предохранители.

Лес оказался невелик. Вскоре мы сделали привал и позавтракали сухарями с холодной водой. Сухари, может, были и не так уж плохи, но мы дрожали от холода и всем очень хотелось выпить хоть немного горячей воды. Но разводить огонь запретили, дым мог выдать наше местонахождение. Хотя мы не заметили никаких следов беглеца, но вынуждены были действовать так, будто он где-то рядом.

После завтрака час отдыхали. Никто не знал, где именно нужно искать. А бесцельно блуждая, мы могли даже и следов Льва не найти. Но об этом лучше было не думать.

В десять часов наш взвод получил приказ прочесать участок долины вокруг бойни. Нам велели не заходить слишком далеко, держаться в этом районе. К тому времени все проходы и узловые точки от Лунмыня до Хутоу и до самой границы контролировались армией, полицией и крестьянами. Лев оказался посреди безбрежного океана воруженных людей.

Мы медленно двигались по просяному полю восточнее здания бойни. Каждый, механически передвигая ноги, пытался хоть чуть-чуть расслабиться. Два наших командира уже помирились. Вечно у них так: сначала ссорятся чуть не до драки, а час спустя — снова лучшие друзья. У нас у всех настроение улучшилось, но как Льва вспомним — материмся.

Днем на бойне забивали быков. Прочесав окрестные просяные и соевые поля, мы отправились поглядеть, как там работают. Ма Линь сказал, что в их краях вначале валят быка на землю, а потом закалывают длинным ножом прямо в сердце. Но замкомандира взвода Сю сказал: "Чушь, надо сначала его кувалдой вдарить. А иначе кто же сможет завалить быка?!"

И все потащились смотреть. В большом помещении висело несколько обезглавленных бычьих туш, уже потрошенных, но еще не освежеванных. Было время обеда, и работали только два человека: один из них, видно, главный, другой — ученик. Они нам кивнули и вроде не возражали, что мы пришли. Главный был высокий и крепко сбитый. Его толстые щеки подпирали глаза, так что те превратились в два маленьких треугольничка. Подмастерье тоже высокого роста, но худой и узкоплечий. Его массивная нижняя челюсть странно кривилась, подбородок казался свернутым на сторону и продолжал вертикальную линию левой щеки. Выглядел он умственно отсталым. Ван Минь попросил их показать, как забивают быка, они согласились. Мне было интересно, как они вдвоем смогут убить такое большое животное.

Они разложили веревку на дне устроенного в полу желоба так, что получились четыре петли. На бедре у главного болтался короткий пятидюймовый нож. Потом они сходили за зеленые ворота в загон для скота и вывели оттуда быка. Увидев болтающиеся над ним туши, бык отказался идти вперед. Шерсть у него на загривке повытерлась, видать, много работал. Глаза были затуманены. И слезы, я видел катившиеся у него из глаз слезы. Мужики стали тянуть сильнее.

Когда копыта быка оказались в ловушке, они дернули за концы веревки. Бык с грохотом рухнул на пол. Все его четыре ноги оказались связаны, он молотил ими в воздухе, силясь подняться. Младший ударил его кувалдой по лбу, и бык сразу затих. А главный достал свой короткий нож и принялся отрезать быку голову. Из-под острия показалось белое мясо, сразу ставшее красным. Тремя ударами он отделил голову от туловища. Все дело заняло не больше двадцати секунд. На полу начала расползаться пенистая темно-красная лужа, а в воздухе поплыл навозный дух.

Я вышел наружу, в груди и в желудке жгло. Передо мной в зарослях полыни запрыгали маленькие звездочки. Подступала тошнота, но выда-

вить из себя ничего не удавалось. Они быка зарезали как цыпленка. Права была моя бабушка: человек — самое злобное существо на земле. Бык работал на своего хозяина, пока не состарился; а когда уже не мог работать хорошо, хозяин продал его на бойню. Только что бык плакал, молча умоляя толстого мясника пощадить его. Но люди хотят есть говядину и, не обращая внимания на слезы, забивают быков. Человек — настоящее чудовище.

Когда я присоединился к моим товарищам, они уже сели обедать на краю соевого поля и обсуждали происшедшее на бойне. На всех произвело впечатление, что огромного быка можно убить безо всякого шума. На обед опять были сухари. Их нам выдали еще во время завтрака. Я был голоден, но чувствовал себя так отвратительно, что ел медленнее остальных и через силу. Главный из нашей группы велел мне поторопиться. А те, кто уже покончил с обедом, лежали на траве и покуривали табачок.

В три часа пришло известие, что Льва поймали. Собрали всю роту; наш взвод на грузовике повезли в штаб дивизии, где мы должны были его дожидаться. Все обсуждали, как мы поступим с русским, когда он попадет к нам в руки.

Выяснилось, что Лев не знал ни в каком городе его держали, ни в каком направлении находится Россия. Всю ночь он двигался в глубь страны, но прошел всего тридцать ли. Оказывается, мы его прямо-таки избаловали. Все наши страхи были напрасны, он попросту не сумел прокормиться в полях. Слишком долго лакомился деликатесами и лучшими сластями, курил слишком много дорогих сигарет. Всю эту ночь он ничего не ел, хотя и был голоден. Около полудня, уже не в силах выносить голод, он выбрался из кукурузного поля, в котором прятался, остановил проходившего мимо старого крестьянина и попросил у него еды и сигарет. Старик понял, кто это, и привел его к себе домой. Набил ему трубку и велел жене готовить еду. Тем временем дочь старика побежала в контору их производственной бригады и вызвала полицию. Полицейские приехали, как раз когда Лев уплетал луковый пирог, яичницу и ростки фасоли. Они окружили дом, но тревожить его не стали. Чуть позже за ним прибыл джип из Военного отдела района Чаоян.

Теперь и мы были готовы забрать его. Солдаты внутренних войск, полиция, народ на улицах — все знали, что мы поймали "русского шпиона". Выстроившись в две шеренги у входа в штаб дивизии, мы не давали толпе приблизиться к наружному караульному посту. Кое у кого в этой толпе были ружья, многие держали палки и лопаты. Все выражали желание преподать "русскому шпиону" незабываемый урок, все злились после бессонной ночи и почти двадцатичасовых поисков. Кроме того, много посевов было повытоптано. Даже некоторые полицейские говорили, что хотят морду набить этому Большеносому.

Нашему взводу было велено отконвоировать его обратно на Восточный аэродром. С этого момента все привилегии, которыми наслаждался Лев, отменялись, теперь ему в день на питание будут выделять столько же, сколько нам. Он и есть теперь будет вместе с нами.

Подъехал джип. Едва машина остановилась, оттуда вышел Лев в наручниках. Народ бросился ему навстречу. Лев понял, что его собираются бить, и заспешил к нам, но вдруг остановился, видимо разобрав, что мы все вооружены. Мы его ненавидели: он нас ославил на всю округу и теперь каждый должен будет в течение нескольких дней выступать с самокритикой.

Видя, что вокруг него только у двоих-троих есть палки, мы не стали вмешиваться и просто крикнули им: "Не бейте его. Не применяйте силу". Мы думали, что парочка ударов ему не повредит, а лишь отобьет охоту бежать еще раз.

— А-а-а! — Лев повалился на землю и закричал. Он корчился на гравии, потом скатился в придорожную канаву. Там и остался лежать на спине в своей перепачканной зеленой форме. Руки он закинул за голову и судорожно шевелил кистями, пытаясь высвободиться из наручников. Ноги его не двигались.

— Стоять! Стоять! — мы бросились к нему, отталкивая озверевших людей. Никто не ожидал, что его будут бить так, чтобы забить до смерти. Один парень все продолжал рваться вперед и, потрясая в воздухе палкой, кричал: "Пустите меня! Я с ним рассчитаюсь, с этим русским гадом!" Это он сломал Льву правую ногу. Мы схватили этого парня вместе с его палкой и отвели в штаб. Потом мы узнали, что старший брат парня, начальник отряда внутренних войск, был этим утром убит случайным выстрелом из карабина.

Льва тем временем перенесли в Отдел почты и информации. От него несло, как от козла. Его тело, распростертое на цементном полу, била дрожь. Он прерывисто стонал, не открывая глаз, и, словно тупое животное, не мог выговорить ни одного человеческого слова, хотя переводчик Цзяо стоял рядом. Местами его одежда промокла от пота. Командир взвода Ши приподнял ему голову и поднес к губам стакан воды. Лев выпил с закрытыми глазами. Казалось, ему все равно — вода это или отрава.

На машине скорой помощи приехал доктор Кай. Мы вынесли Льва и погрузили в машину. Сразу же включилась сирена, и "скорая" понеслась к Двадцать третьему полевому госпиталю.

Ночью мы собрали свои вещи и переехали из аэропорта к месту нашей дислокации в ротное управление. Тогда мы видели Льва в последний раз. Теперь, когда выяснилось, что он ни с кем не собирался встречаться и что, направляясь в Россию, шел в сторону Пекина, его личность уже не была загадкой.

Месяца два спустя нам сказали, что Льва вернули на родину в обмен на перебежчика из Четвертого полка. Хотя мы теперь знали, кем был этот Лев Петрович, я думаю, ему было нелегко объяснить, кто он такой, своим русским друзьям. Они наверняка посчитали его или предателем, или китайским шпионом. По счастью, у него была сломана нога.

Мой лучший солдат

Я просто глазам своим не поверил — на фотографии, присланной из политотдела полка, был Лю Фу. Ну и нелепый же вид: на груди наискосок автомат болтается, в углу карточки прямо над его армейской меховой шапкой вытянулась строчка китайских иероглифов "На защите Родины", а на лице — улыбка простого деревенского парня, и даже в помине нет никакой солдатской суровости. Да он и прослужил-то у меня во взводе всего десять месяцев. Как же этот салажонок так быстро сделался клиентом Маленькой Белой Феи из Хутоу?

Наш политинструктор, партсекретарь нашей роты, прервал мои размышления.

— Я говорил с ним, и он признался, что в нынешнем году был у этой женщины шесть раз.

— Шесть раз? — опять удивился я. — Он же новичок. Как он умудрился так быстро сойтись с ней?

— Вот и я спрашиваю. — Инструктор Чан легонько постучал сигаретой о край пепельницы и, подняв голову, глянул в открытую дверь маленькой комнатки, где мы сидели. Хотел удостовериться, что в соседней комнате нет дневального. — Я думаю, тут сводня поработала, но Лю Фу настаивает, что сам познакомился с Феей, когда стригся у нее в парикмахерской. У него, видать, опыта нет в таких делах. Опытный человек не оставил бы свое фото у этой куницы.

— Верно. — Я вспомнил, что в прошлом году в бюллетене, который выпускает политотдел полка, была заметка об этой молодой женщине. После того как Маленькую Белую Фею застали в постели с офицером, ее доставили в штаб полка, где она и созналась, что принимала многих солдат и офицеров. Однажды за ночь обслужила аж шестерых военных. Но имен никого из них не знает. Платили они ей по два юаня каждый, и сразу в койку. Вот и все. Полковой комиссар Фэн клялся, что найдет этих парней. Все они наверняка были из нашего пятого полка, единственного армейского подразделения в Хутоу. Но эти бывалые псы следов за собой не оставляли.

— Вы должны поговорить с ним, товарищ Ван Ху. — Секретарь Чан выдохнул маленькое облачко. — В нынешнем году в вашем взводе все идет хорошо, если не считать вот этого дела Лю Фу. Нельзя ничего упускать в воспитательной работе. Самое важное — это развитие сознательности. Вы понимаете, стоит нам ослабить идеологическое воспитание, как у наших людей начнутся проблемы.

— Секретарь Чан, я поговорю с ним незамедлительно. И теперь буду больше внимания уделять идеологическому воспитанию.

— Хорошо.

Похоже было, он не хотел продолжать этот разговор, так что я встал и, отдав честь, вышел. На улице снег уже перестал и северный ветер задул сильнее. Возвращаясь к своему взводу, я мучился, как теперь поступить. Лю Фу меня расстроил. Стыд какой! Я всегда считал, что смогу доверить ему ответственные задания. Командир его отделения Ли Яопин собирался демобилизоваться в следующем году, и я планировал передать командование Лю Фу. Если честно, Лю был во всех отношениях отличным солдатом. Он превосходил остальных в метании ручной гранаты, мог зашвырнуть ее на семьдесят два метра. На последних учениях он при стрельбе боевыми патронами выбил девятью выстрелами восемьдесят четыре очка, только у меня показатель оказался выше — восемьдесят шесть. Если бы у нас было соревнование с тремя другими взводами, я не колеблясь выставил бы Лю как лучшего бойца.

Понятное дело, я ценил не только его способности и ловкость, мне он вообще нравился. Крупный парень, сто восемьдесят с гаком сантиметров роста, немного тяжеловат, но очень проворен. Его большие глаза напоминали мне о маленьком пони в моей родной деревне. А широкий рот и кустистые брови делали его странным образом похожим на военачальников со старинных новогодних лубков. Он нравился и другим солдатам, в нашей Девятой роте у него было немало друзей.

Никогда не забуду, как он стал героем стихотворного произведения. Однажды весной мы сажали сою, и я приказал ребятам из Третьего отделения впрячься в плуг — у нас не хватало лошадей и быков. В первый же день взмокшие от пота люди стали жаловаться, что это работа для ско-

та. Хотя они распевали революционные песни и даже изображали японских солдат, маршем входящих в деревню, никакими ухищрениями не удавалось облегчить этот тяжкий труд. Но уже назавтра все переменилось. Лю Фу и два других парня из Третьего отделения явились обритыми наголо. Они объявили, что так потеешь меньше и мыться после работы легче. Атмосфера в поле заметно оживилась. Три блестящие лысые башки, как воздушные шарики, покачивались во главе отделения. Никто не упускал возможности похихикать над ними. Лю Фу был повыше остальных, и голова у него была побольше, вот он и стал главной мишенью для шуточек. За пару часов в его честь сложили стишок, и солдаты в поле стали распевать:

Шляпу снимет Лю Большой,
Чиновник качает головой:
"Ужасный участок земли нам дан —
Как по урожаю мы выполним план?!"

Шляпу снимет Лю Большой,
Рады все в артели скобяной:
"Что за огромный блестящий баллон,
Сколько ж клиентов приманит он!"

Шляпу снимет Лю Большой,
Торговка крик издает горловой:
"Гондоны сбываю тысячу лет,
А такого размера не видела, нет!"

Два дня спустя уже вся рота знала эти вирши. Большой Лю нисколько не обижался. Он даже распевал их с остальными, только вместо "Большого Лю" пел "Маленький Ван", "Старый Мэн" и тому подобное. Его популярность росла, он был желанным гостем повсюду в нашей роте. Парень вроде него мог стать хорошим командиром отделения или взвода. Потому-то я и собирался в следующем году выдвинуть его на командную должность. Кто же мог знать, что он окажется таким любителем клубнички?

Наш партсекретарь был прав: тут поработала сводня. Хутоу находится в пятидесяти ли от Матишаня, где мы квартировали. Лю Фу ездил в областной центр по воскресеньям семь, ну самое большее восемь раз. Неужто он встречался с Маленькой Белой Феей шесть раз? Почти каждый раз, как ездил туда? Это невозможно, если только в первую же поездку кто-то не отвел его прямиком к этой женщине. Я вспомнил, что впервые он поехал туда с Ли Дуном, а второй раз — с Чжао Юмином. Эти солдаты были постарше и вполне надежны; маловероятно, чтобы они занимались сводничеством. Но знать человека в лицо — не значит знать его сердце. Я решил поговорить с Лю Фу.

Беседа наша много времени не отняла. Он выглядел удрученным и пристыженным, но отрицал участие кого-либо еще в этом деле и уверял меня, что порядочный человек должен сам отвечать за свои поступки и их последствия.

Я даже рад был, что он всю вину берет на себя. Если в нашем взводе обнаружится еще один такой вроде него, мне будет трудно оправдаться. Нас засмеют, разговоры пойдут, что Первый взвод — приют разврата. Да и Лю Фу туго придется, товарищи его сочтут вроде как предателем.

Я серьезно отнесся к этой истории, ей следовало положить конец. Мы защищаем границы Родины и не должны растрачивать боевой запал, гоняясь за женщинами. В отличие от русских по ту сторону границы, мы, китайцы, — солдаты Революции и не можем позволить женщинам нарушать чистоту нашего морального облика. Субботними вечерами мы с вышек часто наблюдали, как русские развлекаются в бараках со школьницами. Они пели и плясали у костров, целовались-обнимались в открытую, валялись и совокуплялись по кустам. Но они же варвары и ревизионисты, а мы — китайцы и настоящие революционеры.

Так что я велел Лю Фу написать самокритику, проанализировать элементы буржуазной идеологии, проникшие в его мозги, и сделать заключение о природе его проступка. Он плакал и просил не накладывать на него дисциплинарного взыскания. Он боялся, что все станет известно его семье, и это пятном ляжет на всю его оставшуюся жизнь. Я сказал, что дисциплинарных мер не избежать, и тут я ничем помочь ему не смогу. Лучше уж было сказать ему правду.

— Значит, мне конец? — своими глазами пони он выжидающе смотрел на мои губы.

— Твое дело было спущено из политотдела полка. Тебе известно, что рота не может оспорить решение, принятое наверху. Обычно на таких, как ты, провинившихся, налагают дисциплинарное взыскание, но это не значит, что ты будешь наказан на всю оставшуюся жизнь. Все зависит от твоего поведения. Если, скажем, с настоящего момента ты будешь вести себя во всех отношениях хорошо, это взыскание может быть изъято из твоего личного дела при демобилизации.

Он раскрыл было свой большой рот, но ничего не сказал, как будто сглотнул слова, прилипшие к гортани. Слово "демобилизация", видать, здорово его стукнуло. Когда деревенщина вроде него идет в солдаты, то старается изо всех сил дослужиться до офицерского звания. Вернуться домой в нищую деревню, где нет никакой работы, — это же просто несчастье. Работы нет, и никакая девушка за тебя не пойдет. А с таким клеймом в характеристике армейское будущее Лю Фу было предопределено: он уже никогда не станет офицером.

Через два дня он сдал свою "самокритику". Восемь белых листов с крупными каракулями и несколькими кляксами. Ничего выдающегося этот деревенский парнишка написать, конечно, не мог. Язык у него был корявый, многие предложения оборваны на полуслове. В основном он себя критиковал за то, что недостаточно много работал над очищением собственных мозгов от буржуазной идеологии, и за то, что подхватил заразу либерализма. В Седьмом армейском правиле ясно говорится: "Никто не имеет права на вольности с женщинами," а он забыл указание Председателя Мао и нарушил правило. Он также забыл обязанности солдата, несущего службу на Северной границе. В то время как враги острили свои зубы и точили свои шашки, он предавался сексуальным утехам. Он не достоин того, чему учила его Партия, не достоин того, чего ждала от него Родина, не достоин тех усилий, которые приложили родители, чтобы вырастить его, не достоин оружия, которое народ дал ему в руки, не достоин своей новой зеленой формы.

Я знал, что он не красноречив, поэтому простил ему некоторый перебор с самообвинениями. Он серьезно ко всему отнесся; только это и имело значение.

Когда я сказал, что попробую убедить партсекретаря Чана, чтобы тот попросил в политотделе полка назначить ему менее суровое наказание, он немного успокоился.

— Дело еще не закрыто, — предупредил я, — однако ты не должен воспринимать все это как тяжкое бремя. Попробуй открыть новую страницу и начни серьезно работать, чтобы искупить свою вину.

Он сказал, что благодарен мне и никогда не забудет, как я ему помог.

Прошло две недели. Из политотдела полка о деле Лю Фу ничего не было слышно. Ни партсекретарь, ни ротный командир о взыскании не напоминали. Это казалось неразумным, ведь со временем интерес к делу угаснет. На самом деле никто из ротного командования не хотел сурово наказывать Лю Фу. Лю был их человеком; а какому хорошему начальнику приятно видеть, как его человека наказывают?

Прошел месяц, но так ничего и не случилось. Лю Фу вел себя спокойней прежнего. А чтобы он опять не спутался с Маленькой Белой Феей, мы его на выходные оставляли в Матишане. Кроме того, мы ужесточили правила посещения города Хутоу и для всех остальных. Особенно для новеньких.

Как-то ночью была моя очередь обходить караульные посты и проверять часовых, чтоб не дрыхли. У нас было пять постов, считая и новый, у склада, где хранились провизия и часть боеприпасов. Я ненавидел эти полуночные обходы, когда приходилось вскакивать с постели и делать вид, что ты бодр, как кот на ночной охоте. Если будешь выглядеть сонным, часовые последуют твоему примеру и не станут прилагать усилия, чтобы не заснуть.

Сначала я отправился на стоянку, где были наши грузовики с минометами, и застукал там караульного, курившего в темноте. Приказал ему сигарету выбросить. Мальчишка заныл, что слишком холодно и он не может даже веки разлепить, если нечем заняться. Я сказал ему, что все стоят на часах холодными ночами. Но кроме как Бога Небесного проклинать за холод некого. Что до его сонливости, то пусть лучше держит в уме, что мы всего в четырех ли от русских. И если он не будет бдителен, то рискует своей собственной шеей. Русские часто посылают разведчиков для выявления наших караульных постов и дислокации наших частей. Они избавятся от часового, если сочтут это необходимым или если возможность представится. Так что для его же безопасности будет лучше глаза не закрывать и свое местонахождение не обнаруживать.

Потом я проверил посты у ворот и у штаба. Там все было нормально. Я поболтал несколько минут с часовыми и каждому дал жареных семечек. Затем отправился к складу.

На посту никого не было, и я решил подождать в доме. Подумал, что часовой пошел отлить или опростаться.

Но и через десять минут никто не показался. Я забеспокоился, не произошло ли чего необычного. Крикнуть часового я не мог, среди ночи это последнее дело, всю роту перебудишь, да и русские услышат. Но надо же было выяснить, куда этот часовой подевался. Небось дрыхнет где-нибудь. Снег вокруг не был затоптан, маловероятно, что его похитили или убили. Я обнаружил цепочку свежих следов и пошел по ним — они вели к нашей конюшне. Подняв глаза, я увидел, что окно в крыше конюшни светится слабым светом. Очевидно, там кто-то был. Что ему понадобилось в конюшне? И кто сегодня на дежурстве? Я взглянул на светящийся циферблат своих часов: час тридцать, — но не смог вспомнить, кто сегодня в карауле.

Подойдя поближе к дверям, я услышал внутри какой-то шум и ускорил шаги. С пистолетом наготове я приподнял хлопковую занавеску на двери и заглянул внутрь. Хотел удостовериться, не спрятался ли кто за дверью и не набросится ли на меня неожиданно.

Внутри я увидел Лю Фу! Он стоял рядом с нашим серым мулом и затягивал ремень. Ружье он прислонил к длинным яслям, а шапку свою повесил на ружейный ствол. В глубине за мулом стояло двенадцать наших лошадей, они спали, опустив головы. Значит, он сегодня в карауле. Вот шельмец, использует конюшню как отхожее место. Роскошь какая, греть тут свою задницу.

Хотя... стоп. Я приметил кое-что странное. Рядом с крупом серого мула стояла скамья. На ней было немного снега и какие-то влажные пятна. Скотина! Да он же трахал этого мула! Я видел его потное, искаженное странной гримасой лицо, на котором было ясно написано: "Я не могу с этим совладать, простите, не могу!"

Я бросился к нему и сгреб за грудки. Он был гораздо больше и сильнее меня, но я почувствовал, как он обмяк у меня в руках. Ну и скотина. Я стал бить его по лицу и орать. "Ты, любитель мулов! Ты даешь своему петушку отдохнуть когда-нибудь? Сейчас я тебе его оторву и яйца, которые у тебя чешутся, собакам кину!"

Он не сопротивлялся и только постанывал, как будто от моих проклятий и ударов ему лучше становилось. Он выглядел таким пристыженным. Не встретив никакого сопротивления, я быстро остыл. Невозможно долго избивать человека, если он даже руку не поднимет, чтобы заслониться. Я отпустил его и строго сказал:

— Марш на склад! Завтра разберемся.

Он взял ружье, вытер шапкой мокрые от слез щеки и тихонько вышел. Все животные в конюшне проснулись. Открыли глаза и навострили уши. Одна из лошадей зафыркала.

До завтра я ждать не мог и разбудил Ли Яопина, комадира отделения, в котором служил Лю Фу. Нам нужно было поговорить прежде, чем я доложу партсекретарю. Мне хотелось узнать о Лю Фу побольше. Поиметь городскую девку — это еще понятно, у нас здесь в горах женщин не было. Но вот так развлекаться с тупым животным, кто бы мог подумать! Меня просто тошнило.

Явился еще толком не проснувшийся Ли. Я дал ему сигарету и чиркнул спичкой.

— Сядь. Хочу с тобой поговорить.

Он сел на стул и закурил.

— О чем разговаривать в такую темень... — он взглянул на часы. — Ведь два тридцать только...

— Хочу поговорить о Лю Фу. Только что я застукал его в конюшне, он терся возле серого мула. — Я не сказал "трахал", потому что не видел этого своими глазами. Но уверен, что так оно и было. И когда колошматил и костерил Ли Фу, тот ничего не отрицал. Я уже собирался объяснить Ли, что имею в виду.

— Ох нет! Вы хотите сказать, он опять этим занимался? — веснушчатый Лю покачал головой.

— Да. Значит, тебе уже известно.

— Д-да, — он кивнул.

— Почему раньше меня не проинформировал? Кто дал тебе право скрывать от меня такое? — Я разозлился, я наорал бы на него, но в смежной комнате спали люди.

— Он обещал мне никогда больше этого не делать. — Вид у Ли был озабоченный. — Я думал, что могу дать ему шанс.

— Дать шанс? Разве мы не дали ему шанс, когда застукали с Маленькой Белой Феей? — Я был взбешен. В моем взводе происходят такие вещи, и, видимо, уже довольно давно, а я — ни сном ни духом. — Скажи, когда и сколько раз ты его заставал за этим занятием?

— Я видел его с мулом только однажды. Это было ночью в прошлую субботу. Я видел, как он стоял на скамье, приладившись к муловой заднице. Около минуты я наблюдал за ним через заднее оконце конюшни, потом кашлянул. Он испугался и сразу же отскочил. Увидев меня, он упал на колени, умоляя простить его и не выдавать. Он был так жалок, такой крупный парень... Я обещал не выдавать его. Но я его осудил.

— Что же ты сказал? Как именно ты осудил его, дорогой товарищ командир отделения? — Мне странным казалось, что он проявил такое снисхождение к этому человеку.

— Я спросил его, почему он трахает мула. — Ли выглядел вполне бодренько.

— Что за глупый вопрос. Как же он на него ответил?

— Он сказал: "Знаете, командир, мулы-то не жеребятся. Я клянусь, что никогда не трону ни одну из этих кобыл". — Ли захихикал.

— Что? Это же чушь. Ты хочешь сказать, он считает, что может кобылам ребятишек заделать?

— Ага, точно.

— Ну и тупица! Такой нравственный, что боится стать отцом лошадиных ублюдков. — Я не смог сдержать смех, и хихиканье Ли тоже перешло в громкий хохот.

— Ш-ш-ш. — Я напомнил ему о спящих.

— Я сказал, что даже мула "трогать" нельзя, и он обещал больше этого не делать. — Ли подмигнул мне.

— Старина Ли, ты просто старый лис.

— Не судите меня строго, командир. Если честно, то он во всех отношениях хороший парень. Вот только свою похоть не может контролировать. Уж не знаю почему. И не скажешь ведь, что у него слишком много буржуазного дерьма в голове... Крестьянин из безупречной бедняцкой семьи, здоровый росток красного корня...

— Я не прошу тебя разводить теории, старина Ли. Я хочу знать, что мы будем с ним теперь делать. Утром, всего через несколько часов я доложу обо всем нашему ротному. Что и как сказать?

— Ну, ты хочешь от него избавиться или оставить его у нас?

Это был по-настоящему жестокий вопрос, и у меня на него ответа не было. Лю Фу — мой лучший солдат, и он наверняка понадобится мне в будущем.

— А ты что думаешь? По крайней мере, мы не должны покрывать его на этот раз. — Я понял, что старина Ли не донес на Лю Фу, потому что хотел оставить его у себя в отделении.

— Конечно, мы уже давали ему шанс. Как насчет...

Дверь внезапно распахнулась, кто-то ворвался в комнату. Это был Ма Пинли, наш самый молодой солдат, в три часа он должен был заступать на пост у склада.

— Командир, Лю Фу нет... нет на посту. — Он высунул нос из-под своего мехового капюшона, часто и тяжело дыша. — Все телефонные провода обрезаны. Мы никуда не можем позвонить.

— А ты там походил, поискал его?

— Да, повсюду.

— Где его ружье?

— Ружье все еще там на посту, но его самого нет.

— Быстрее! Выводи лошадей! — приказал я. — Мы поймаем его.

Ма побежал к конюшне. Я посмотрел на старину Ли. Судя по выражению его лица, он понял, что произошло.

— Возьми это с собой. — Я протянул ему полуавтоматическую винтовку, он взял ее с каким-то отсутствующим видом. Сам я забрал другую. В тяжелом молчании мы вышли на улицу дожидаться Ма.

Совершенно взмыленные лошади карабкались в гору по направлению к границе. По моим подсчетам у нас было достаточно времени, чтобы задержать его прежде, чем он перейдет границу. Ему придется взбираться на гору кружным путем по южному склону, чтобы его не заметили с наших смотровых вышек. Однако, добравшись до реки Уссури, мы увидели цепочку свежих следов; они шли по заснеженному льду реки, поднимались на противоположный берег и постепенно изчезали в холодной белизне огромной русской территории.

— Скотина, да он сильнее лошади, — сказал я. Невозможно представить, как он мог бежать так быстро по такому глубокому снегу.

— Вон он! — Ма Пинли показал на небольшой склон, кое-где поросший серыми кустами.

В самом деле, впереди, метрах в пятистах я увидел темную точку, которая двигалась в сторону зарослей. Глазам не верю: у него должно было хватить ума надеть камуфляжную накидку. Я посмотрел в бинокль и увидел, как он отчаянно спешит под прикрытие кустов. На правом плече у него большой, туго набитый джутовый мешок, а его белая накидка, завязанная на шее, вьется за спиной, как огромная бабочка. Я передал бинокль старине Лю. Тот стал смотреть.

— У него мешок набит номерами газеты "Передовик".

— Он их на кухне украл. Я видел, дверь на кухню была взломана, — доложил Ма. Все мы знали, что наши повара держали номера "Передовика", газеты Шэньянского военного округа, для растопки. Нам было велено не раскидывать эти газеты, потому что русские в Гонконге охотились за каждым экземпляром и давали за штуку больше десяти долларов.

— Старые номера русским не нужны, — сказал я.- Они у них уже есть. Им только последние нужны. Ну и тупица же он.

Внезапно желтый луч чиркнул небо над склоном. Видимо, его заметили с русской смотровой вышки и выслали машину, чтобы подобрать.

Мы переглянулись со стариной Лю. Мы знали, что должны делать. Нельзя было терять ни минуты.

— Выбора у нас нет, — бормотал я, прилаживая оптический прицел к винтовке. — Он предал нашу страну, и теперь он наш враг.

Я поднял винтовку и аккуратно прицелился. Выстрел остановил его. Он рухнул в снег, большой мешок свалился у него с плеча и покатился вниз по склону.

— Попал! — закричал Ма.

— Да, попал. Возвращаемся.

Мы залезли в седла. Лошади сразу же взяли под гору в галоп, им не терпелось скрыться от холодного ветра и вернуться в конюшню.

На обратном пути никто из нас не сказал ни слова.

Ага Шахид Али

Стихи

От переводчиков

"Для большинства современных изгнанников самое сложное — не печальная необходимость жить вдали от родного дома, а то, что помимо их воли дом постоянно напоминает о себе, он — рядом, в нескольких часах лёта, в выпуске вечерних новостей, и это длящееся, неизбывное соприкосновение с прошлым ни на мгновение не дает забыть о самой ситуации изгнания", — заметил как-то известный критик-постструктуралист Эдвард Саид. Эти горькие слова вполне применимы к поэту Ага Шахиду Али. Он родился в мусульманской семье в Кашмире, однако конфликт между индуистами и мусульманами заставил его покинуть родину, и вторую половину жизни поэт прожил в США. Ага Шахид Али — автор девяти сборников стихов. Первый из них, "Скульптура из кости", вышел в 1972 году. Стихи в этой книге (в большинстве своем верлибры) сочетали бесстрастную отстраненность Т. С. Элиота и напряженность мировосприятия, которая свойственна исламу, с его резким разделением добра и зла и ощущением "духовной вертикали". Эта страстность, "горячечность" осталась потом и в зрелых стихах Ага Шахида Али. Однако если, живя на родине, он предпочитал верлибр, стремясь "узаконить" его в индийской поэтической традиции, ориентированной на такие поэтические формы, как ра́ги или газеллы, то, уехав в Америку, он пытается привнести то, что давали ему родная культура и воспитание, в американскую поэзию. Зрелый Ага Шахид Али — поэт сложных форм, он экспериментирует (на фоне современной англо-американской поэзии, почти отвыкшей от рифмы!) с сестинами, канцонами — и прежде всего с газеллами. При этом его эксперименты получают серьезный отклик в американской поэзии: в 2000 году под редакцией Ага Шахида Али выходит сборник современных газелл, написанных по-английски, — "Восхитительная разноголосица". Ведя в Массачусетсском университете класс по литературному мастерству, Ага Шахид Али учил своих студентов и искусству сочинять газеллы. Для них он составил несколько "правил": "Каждая строфа газеллы может мыслиться как отдельное стихотворение, где первая строка схожа по своей роли с октавой в сонете Петрарки, а вторая — с шестистишием. И еще — вторая строка должна быть "обращением" первой... Читатель должен воспринимать ее

© А. Нестеров, И. Ковалева. Вступление, 2003

как усиление первой, "разработку" ее, рождающую неожиданный и удивительный результат... Каждая строфа должна быть подобна драгоценному камню в ожерелье, и, вынутый из оправы, он будет сиять и переливаться, но истинный блеск явит лишь тогда, когда займет свое место рядом с другими... В газелле используются одна сквозная рифма и один сквозной рефрен. Рифма всегда стоит непосредственно перед рефреном. Если рифма спрятана в середине строки, в этом есть своя магия, но тогда она не ведет к наслаждению немедленным узнаванием созвучия, а это — главное для газеллы... Рифма и рефрен повторяются в обеих строках первой строфы, а затем звучат лишь в последних строках каждого двустишия... Для газеллы характерна сжатость эпиграммы, соединенная с беспредельным лиризмом, со скорбью, сокрушенностью сердца и мудростью. Газелла есть длящееся неутоленное желание".

В нашей подборке представлена "Газелла" из сборника "Деревня без почты" (1997). Поэт виртуозно сочетает в ней "восточные" и "западные" мотивы. Уже сам эпиграф, вынесенный в начало стихотворения — строчка английского поэта Лоренса Хоупа: "Томные руки, что я любил близ Шалимара", — отсылает, с одной стороны, к традициям английской "ориентализирующей" поэзии, где Восток вполне мифологичен и экзотичен, а с другой стороны, для самого Ага Шахида Али эта строчка — лишь переложение на английский начала кашмирской народной песни, которую он не раз в юные годы слышал на улицах родного города: "Томные руки, что я любил близ Шалимара, / Где вы теперь? Кто поко́рен вашим чарам...? / Томные руки, розовые ноготки, точно бутоны лотоса, плывущие / в прохладной реке, там, где мы жили прежде..." Третье двустишие "Газеллы" с его разорванным синтаксисом, представляет собой обширную цитату из стихотворения Эмили Дикинсон "I am ashamed — I hide...", и это ей принадлежит упоминание о "тканях Кашмира"[1]. Стоит привести здесь оба текста — Дикинсон и Шахида Али — в оригинале, чтобы показать, как утонченно мастерство младшего поэта.

Вот начало строфы Дикинсон:

Me to adorn — How — tell —
Trinket — to make Me beautiful —
Fabrics of Cashmere —

А вот строфа "Газеллы" Шахида Али:

Those "Fabrics of Cashmere" — "to make Me beautiful" —
"Trinket" — to gem — "Me to adorn — How — tell" — tonight?

Шахид Али насыщает любовный сюжет сложными реминисценциями из Корана и Ветхого Завета. Так, царица *Иезавель*, почитавшая Ваала и склонившая к идолопоклонству своего супруга, израильского царя Ахава, была обличаема за это пророком *Илией*. Илия, в частности, *сокрушил капище* Ваала, устроенное Иезавелью, и истребил языческих жрецов. (3 Цар. 16 — 21). Упоминаемый Шахидом *Святой Колодец* — мусульманская святыня, колодец Замзам в Мекке, отождествляемый с источником, который Ангел Господень (в мусульманской традиции — Джабраил) открыл в пустыне для Агари, наложницы Авраама и матери *Измаила*, считающегося прародителем арабов (Быт. **21**. 13 — 20). В то же время Измаил и Ахав — герои романа Мелвилла "Моби Дик". В последнем стихе "Газеллы" цитируется первая фраза романа: "Зовите меня Измаил". Измаил — рассказчик, единственный *уцелевший* после безумного преследования Белого Кита, затеянного капитаном Ахавом. Текст стихотворения наполняется множеством смыслов, сплетая

1. Благодарю д-ра У. Томпсона, обратившего мое внимание на этот факт. — *И. К.*

литературные реминисценции, библейскую и кораническую символику и реальность сегодняшнего дня, политическую ситуацию в Кашмире.

В стихотворении "Прощание" мы встречаемся со столь же сложным и тонким соединением мотивов. У англоязычного читателя это название сразу вызывает в памяти хрестоматийное байроновское "Прощай, и если навсегда..." — и тем самым уже "в затакте" стихотворения Ага Шахида Али дана невозможность встречи возлюбленных. Вторая строчка стихотворения — "Сеющие опустошение кричат о мире" — является парафразой из Тацита: "Solitudinem faciunt, pacem appellant" ("Они творят опустошение и называют это миром" — *лат.*), что вводит историю расставания возлюбленных в контекст "актуальной политики" — не затихающего уже несколько десятков лет противостояния индуистов и мусульман в Кашмире. И тут подключается мощный пласт коранических аллюзий: ткань мироздания соткана Аллахом (один из Его эпитетов — Ткач), и происходящее не зависит от чьей-то индивидуальной воли, но при этом с каждого будет спрошено в посмертии, добрые и злые деяния каждого будут взвешены и ответ за них неизбежен. Коран говорит: "В День воскресения Мы установим справедливые весы, и никто не вкусит несправедливости — даже на вес горчичного зерна. Ибо никто другой не умеет считать [деяния], как умеем считать Мы!" (Коран. **21**. 47). Невозможность возвращения в Кашмир превращает его в подобие Рая, в который человеку после грехопадения закрыт вход, и на страже его поставлен ангел с огненным мечом. Однако насколько можно уподобить этому Стражу Порога введенные в Кашмир войска? Пусть они и были призваны разделить враждующие стороны, но "разделение рождает разделение". А вместе с ним — ненависть. Мотив отпадения от Бога звучит в стихотворении дважды: ближе к финалу вводится еще одна кораническая аллюзия — падение Иблиса, ставшего врагом Аллаха. До своего падения Иблис был "прекраснейшим из ангелов", более того, суфийская традиция связывает мятеж Иблиса с его безмерной любовью к Творцу: Иблис отказался поклониться человеку, ибо любил одного Аллаха. В памяти возлюбленной герой стихотворения превращается в "прекрасного врага" и потому обречен Аду, которым становится его память. Согласно одной из суфийских притч, величайшей мукой Иблиса после падения становится сама память о том, что когда-то он мог зреть лик Возлюбленного им Бога, который теперь для него навсегда сокрыт.

Открытка из Кашмира

Посвящается Павану Шагалу

Кашмир в моем почтовом ящике,
отливающий глянцем, 13×18.

Что ж, мне всегда нравились миниатюрность и глянец,
Гималаи, высотою полтора сантиметра, умещающиеся на
ладони.

Вот он — мой дом. Вряд ли он будет
ближе, чем в это мгновенье. Вернись я туда,

© Agha Shahid Ali, 1987 and reprinted by permission of Wesleyan University Press
© Agha Shahid Ali, 1997
© А. Нестеров. Перевод, 2003

краски поблекнут, воды реки
предстанут мутным потоком,
без отблесков ультрамарина. Моя любовь —
как передержанный снимок.

Моя память: огромный, размытый
негатив,
черно-белый, все еще
не проявленный.

Прощание

Патриции О'Нил

Где и когда я потерял твой след?
Сеющие опустошение кричат о мире.
Когда ты уехала, все было кончено, камни погребены:
Беззащитным оружие не пристало.

Когда горный тур трется о скалы, кто станет
Сбирать его шерсть с каменистых отрогов на пряжу?
О Ткач, полотно Твое гладко, но кто же
взвесит руно на весах справедливых?
Сеющие опустошение кричат о мире.
Что за ангелы ночью застыли на страже у врат Эдемских?

Память, гончая сука, готова бежать по следу.
Фары армейских конвоев, ночь напролет через город
ползущих,
как караван сквозь пустыню, — всю зиму, из ночи в ночь, время
остановилось,
запах солярки и мятой травы.
Разве спросишь пришедших: "С этим миром покончено?"
В водах озера храм с мечетью застыли — отразившись —
в объятьях
друг друга.
Готова ли ты их осыпать шафрановой взвесью — столетья
спустя,
в той стране, где я не смог оторвать от себя твою тень?
В той стране, куда мы уходили в ночи, неся двери домов пред
собою,
чтобы в дом не забрались воры.
А дети несли в руках окна — чтобы видеть.
Ты шла вместе со всеми, в коридоре огней.
Когда выключен свет — можно ли не порезаться об осколки?

Я потерял твой след.
Когда-то я был тебе нужен. Ты жаждала видеть во мне
совершенство.

В разлуке ты отточила мой образ. Я стал Врагом.
Жизнь превращается в память, чтоб в ней затеряться.
Я — все утраты твои. Ты не можешь простить мне.
Я — все потери твои. Твой прекрасный враг.
Воспоминанья, твои и мои, здесь сольются.

По адской реке я проплывал через сад Эдемский —
фатоватый призрак, укрытый ночью.
По адской реке, в лодочке сердца: волны, как из фарфора,
ночь тиха. Лодочка-лотос:
я плыл — на вянущем цветке лотоса — в направлении нежного
бриза,
может, хотя бы у ветра есть ко мне жалость.
Если бы только ты могла быть моей —
что тогда невозможно было бы в мире?
Я — все утраты твои. Ты меня не простишь, никогда.
Память идет по следам, будто гончая сука.
Я не знаю вины за собой. Непрощенный.
Сокровенная боль, о которой не скажешь.
Нет ничего, что нельзя бы простить. Не простишь.
Если бы только была ты моей,
Что бы тогда невозможно было бы в мире?

Перевод А. Нестерова

Г*азелла*

Томные руки, что я любил близ Шалимара
Лоренс Хоуп

Где ты теперь? Кто вкушает яд твоих чар сей ночью?
Будет в разлуке с тобою он мучим худшей из кар сей ночью.

Томные руки в садах Шалимара ласкали меня:
Кто, возносясь к небесам, примет от вас удар сей ночью?

Все эти "ткани Кашмира" — "прекрасной сделать Меня" —
Как — сказать — "россыпь алмазов" — "Мне в дар" — сей ночью?

Я прошу небеса: хочет в келью от Веры беглец, —
Пусть ворота тюрьмы отомкнет ключарь сей ночью.

Рядом с женщиной, видной в окне, встают палачи.
Проклят будь, Илия! Иезавели — алтарь сей ночью!

Боже, — вопили идолы, — *неверного лишь мы обратим,*
О, не обрушь на нас Твой гнев, как пожар, сей ночью.

© И. Ковалева. Перевод, 2003

Уксусом стало одиночества Божье вино?
Ржавчина льется в Колодец Святой, поивший Агарь, сей ночью.

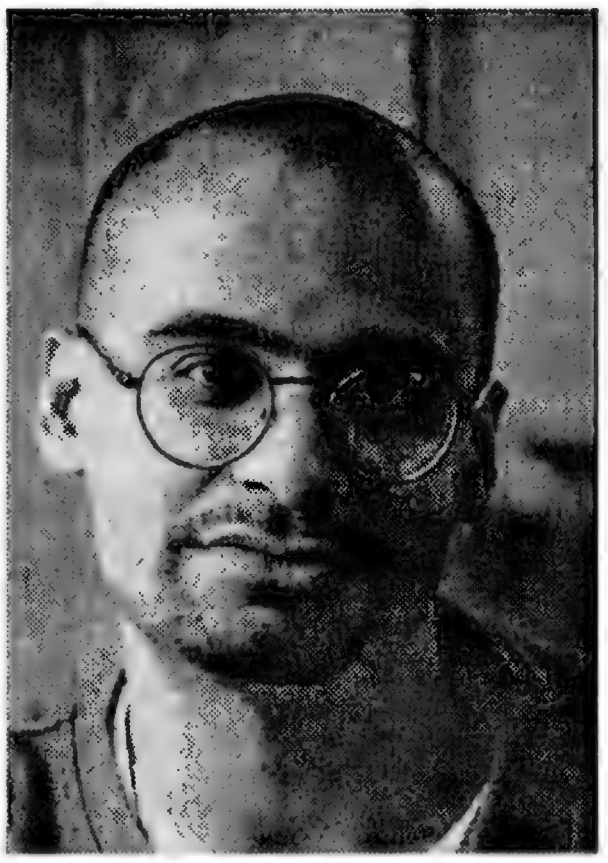
В жиловатом капище сердца все кумиры повержены в прах.
Не отзвонит по ним в шафран облаченный звонарь сей ночью.

Пламя исторг изо льда он во имя милосердья Небес,
Во имя Бога – отверсты врата: Ад источает жар сей ночью.

И я, Шахид, уцелел затем, чтобы сказать тебе –
Бог рыдает в моих объятьях. Зови меня Измаил – как встарь – сей ночью.

Перевод И. Ковалевой

Хунот Диас



Рассказы

Перевод В. Козлова

Солнце, луна и звезды

Я не считаю себя плохим. Понимаю, это звучит так, будто я себя защищаю, и даже нагло, но это правда. Я такой же, как все: слабый, ошибающийся, но, в общем, неплохой. Магдалена со мной не согласна. Она считает меня типичным доминиканцем — sucio, то есть уродом. Понимаете, давно, когда Магда еще была моей девушкой и не было нужды осторожничать практически во всем, я изменил ей с этой телкой, у которой на голове была копна в стиле восьмидесятых. Я, конечно, ничего Магде не рассказал. Сами понимаете, такое грязное белье лучше запрятать подальше, чтоб не воняло. Магда узнала обо всем только потому, что эта дура написала ей идиотское *письмо*, и в письме были *подробности*. Случается же такая фигня.

Штука в том, что, когда она узнала, у нас с этой дурой уже несколько месяцев, как все было кончено. А с Магдой, наоборот, все было хорошо, гораздо лучше, чем той зимой, когда я ей изменил. Плохие времена остались позади. Она приходила ко мне домой, и вместо того, чтобы тусоваться с моими тупыми дружками — я курю, а ей скучно до смерти, — мы ходили в кино или во всякие рестораны, а однажды даже попали в театр, и я сфотографировал ее с какими-то крутыми черными драматургами. У нее на той фотографии улыбка до ушей — кажется, челюсть вот-вот отвалится. Мы снова были парочкой хоть куда. По выходным ходили в гости то к моим, то к ее родителям. Вместе завтракали в забегаловках, пока все еще спали, вместе часами просиживали в библиотеке Нью-Брансуика, которую Карнеги[1] построил, потому что ему было стыдно за свое богат-

© 1999 by Junot Diaz
© В. Козлов. Перевод, 2003

1. Эндрю Карнеги (1835—1919) — американский промышленник и финансист. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

ство. Хороший такой был у нас ритм жизни. А потом вдруг это письмо, как граната в "Звездном пути"[1], – и все взрывается: и прошлое, и настоящее, и будущее. Ее старики прямо убить меня были готовы. И это несмотря на то, что я два года подряд помогал им с налогами и косил их газон. Ее отец, который относился ко мне как к своему hijo[2], кричит мне в телефонную трубку, что я подонок, таким голосом, словно вот-вот удавится телефонным шнуром. "Ты не заслуживать, чтобы с тобой говорить испанский", – орет. А когда я встречаю в магазине одну из подружек Магды, Кларибел – ecuatoriana[3] с дипломом по биологии и глазами chinita[4], – она смотрит на меня, будто я съел чьего-то ребенка.

А что Магда учудила – про это вам лучше и не знать. Прямо как столкновение пяти поездов. Она швырнула в меня письмо этой Кассандры, но не попала, и оно приземлилось под какой-то машиной. Потом села на край тротуара и начала вопить благим матом: "О боже, о боже".

А мои ребята говорят, что нужно было уходить в несознанку. Какая еще Кассандра? Ничего не знаю. Но у меня вдруг так заныло в животе, что я даже и не пытался. Сел с ней рядом, схватил за руки – а они дрожат – и несу какую-то чушь типа: "Выслушай меня, Магда, иначе ты не поймешь".

Я должен вам кое-что рассказать про Магду. Она – как все женщины в Бергенлине[5] – невысокая, глаза большие, бедра широкие, а волосы черные и курчавые, такие пышные, что рука в них может заблудиться. Ее отец пекарь, а мать ходит по домам и продает детскую одежду. Магда всем все прощает, она католичка. Она таскала меня в церковь каждое воскресенье, к мессе на испанском. А когда кто-нибудь из ее родни заболеет, особенно на Кубе, она пишет письма каким-то монашкам в Пенсильвании – просит, чтобы те помолились за них. Она достала всех библиотекарей в городе. Она – учительница, и ученики в нее влюблены. Она всегда вырезает для меня из газет статьи про доминиканцев. Мы видимся, типа, каждую неделю, а она все посылает мне по почте дурацкие записки вроде: "Чтобы ты меня не забыл". А что до секса, то хуже нее в постели и придумать трудно.

Я не буду утомлять вас подробностями. Просьбы, разговоры через дверь, слезы. Скажу только, что мы помирились после того, как я две недели околачивался возле ее дома, писал письма, звонил каждый вечер по много раз. Нет, я больше не ужинал с ее родителями, и ее подруги, завидев меня, больше не прыгали от радости. Эти carbonas[6] теперь думали: "No, jamás" – никогда, ни за что. Даже Магда поначалу не очень-то хотела мириться, но прошлое было на моей стороне. Когда она спросила: "Почему ты не оставишь меня в покое?", я взял и ответил ей честно: "Потому что я люблю тебя, mami". Понимаю, это звучит глупо, но так оно и было: Магда для меня значила все. Я не хотел ее терять. Я не собирался искать себе новую подружку из-за того, что однажды облажался перед Магдой.

Не подумайте только, что мне легко было ее заполучить, вовсе нет. Магда упрямая. Когда мы только начали встречаться, она сказала, что в первый месяц не будет спать со мной. И сдержала слово: сколько я ни пы-

1. "Звездный путь" – американский телесериал.
2. Сын (*исп.*).
3. Жительница Эквадора (*исп.*).
4. Индианочка (*исп.*).
5. Город в Доминиканской Республике.
6. Дуры (*исп.*).

тался залезть к ней в трусы, ничего не получилось. Кроме того, она чувствительная. Никак не могла выкинуть ту историю из головы. Вы не представляете, сколько раз она спрашивала у меня (особенно после секса): "А ты собирался мне про это рассказать?" или: "Зачем ты это сделал?" А я всегда отвечал одинаково: "Да, собирался" и "Это была дурацкая ошибка".

Мы иногда даже разговаривали про эту Кассандру, обычно в темноте, чтобы не смотреть друг другу в глаза. Магда спрашивала, любил ли я Кассандру, и я говорил, что нет, не любил. "А ты все еще о ней думаешь?" — "Нет". — "А тебе понравилось ее трахать?" — "Сказать по правде, совсем не понравилось". В общем, через некоторое время после примирения все вроде как стало на свои места.

Но, странное дело, наши отношения не улучшались, а ухудшались. Моя Магда стала какой-то другой. Она уже не с такой охотой отправлялась со мной в постель и отказывалась чесать мне спину, когда я просил. Чудно́, но все эти мелочи начали бросаться в глаза. Раньше, когда я ей звонил, она не просила меня перезвонить, если говорила с кем-то по другому телефону: разговор со мной был важнее любых других. А теперь все стало ровно наоборот. Я, конечно, валил все на ее дурацких подружек. Я был уверен, что они настраивают Магду против меня.

Но и я тоже получал советы. Мои ребята говорили: "Пошла она в жопу, зачем тебе нужна эта сучка?" Но я не мог ее бросить, сколько ни пытался. Ведь я по-настоящему втрескался в нее. Наоборот, я стал тратить на нее больше времени, но что толку? С каждой новой встречей, когда мы ходили в кино или вечером ездили куда-нибудь на машине, или в те редкие ночи, когда она все-таки оставалась у меня, она все хуже и хуже ко мне относилась. Казалось, я для нее постепенно перестаю существовать, но когда я заводил про это разговор, она отвечала, что у меня паранойя.

Примерно через месяц с ней произошли перемены, и черномазый параноик не мог не встревожиться. Магда обрезала волосы, стала пользоваться дорогой косметикой, покупать новые шмотки и ходить в пятницу вечером на дискотеку с друзьями. Когда я предлагаю ей встретиться, у меня уже нет никакой уверенности, что она согласится. Часто она заявляет, что предпочла бы обойтись без этого, совсем как Бартлби[1]. Я спрашиваю у нее, что все это, черт побери, значит, а она говорит: "Это я и пытаюсь выяснить".

Я знаю, зачем она все это делает. Чтобы показать, как неустойчиво мое место в ее жизни. Но мне это и так известно.

Потом наступил июнь. В небе застревали горячие белые облака, владельцы машин поливали свои тачки водой из шлангов, и никто не возмущался, когда отовсюду гремела громкая музыка. Все готовились к отпуску, даже мы. Еще в начале года мы запланировали поездку в Санто-Доминго[2] как подарок к годовщине нашего знакомства, и сейчас нужно было решить, поедем мы все же или нет. Этот вопрос долго висел в воздухе, и я ждал, что он как-то решится сам собой. Когда он так и не решился, я просто купил билеты и спросил у нее:

— Ну что скажешь?

— Это вроде как чересчур ко многому обязывает.

— Ни к чему это не обязывает. Просто отдых.

— Меня такой отдых напрягает.

1. Герой одноименного американского фильма по повести Г. Мелвилла, клерк, который все время говорит: "Я предпочел бы без этого".
2. Столица Доминиканской Республики.

— Отдых не должен быть в напряг.

Не знаю, почему я так уцепился за эту идею. Я заводил разговор про поездку каждый день, пытался уговорить Магду. Возможно, мне уже начинала надоедать ситуация, в которую мы влипли. Я хотел расслабиться, надеялся на какие-то перемены. Или, может быть, думал, что, если она скажет: "Хорошо, я согласна", то все у нас с ней наладится. А если скажет: "Нет, не поеду" — станет понятно, что все кончено.

Ее подруги, редкостные задницы, советовали ей съездить, а потом никогда больше со мной не встречаться. Она, конечно, сама мне об этом рассказала, потому что ничего не умела скрывать.

— Ну и что ты сама об этом думаешь? — спросил я.

Она пожала плечами:

— Так тоже можно сделать.

А мои ребята говорили: "Послушай, ты только зря тратишь деньги на всякую фигню". Но я верил, что эта поездка нам поможет. В глубине души — куда моим ребятам доступа нет — я оптимист. И я представлял себе картину: Я и Она на Острове. Да после такой поездки все изменится!

Должен вам признаться, что я обожаю Санто-Доминго. Я люблю приезжать домой, где ребята в блейзерах тут же начнут совать мне в руки стаканы с бругалом[1]. Мне нравится, что, когда самолет приземляется и шасси только-только коснется посадочной полосы, пассажиры начинают хлопать в ладоши. Мне нравится, что я единственный негритос на борту, который не имеет отношения к Кубе и на чье лицо не вывалена целая тонна грима. Мне нравится смотреть на рыжеволосую женщину, готовящуюся обнять дочь, которую она не видела одиннадцать лет. Подарки она держит на коленях, как святые мощи. "У m'ija[2] теперь tetas[3]" — шепчет она своей соседке. — Последний раз, когда я ее видела, она даже разговаривать толком не умела. А сейчас она, imagínate[4], женщина". Мне нравятся сумки, которые моя мать набивает всяким барахлом — подарками для американских родственников и обязательно что-нибудь для Магды: "Это для нее, как бы там у вас ни сложилось".

Будь это другая история, я рассказал бы про море. Про то, как оно сливается с небом. Про то, как я еду на машине из аэропорта, и кажется, что по воде разбросаны осколки серебра — вот тогда я по-настоящему понимаю, что я дома. Я бы рассказал вам, как много здесь всяких уродов. Нигде больше в мире не встретишь столько светлокожих и косоглазых негров. А уж mujeres — olvidate[5]. Здесь шагу нельзя ступить, чтобы не напороться на кого-нибудь такого. Но лучше я расскажу вам про то, какие здесь машины — это же целая история автомобилестроения конца двадцатого века, припаркованная на каждом более-менее ровном клочке земли, это же вселенная разбитых машин, разбитых мотоциклов и разбитых автобусов, и ровно столько же мастерских: любой дурак с гаечным ключом может открыть здесь автомастерскую. Я бы рассказал вам про лачуги и краны, из которых не течет вода, и про то, что дом моих родителей был куплен в комплекте с "супернадежным" сортиром. Я бы рассказал вам про своего abuelo[6] и про его руки campo[7] и про то, как он го-

1. Бругал — сорт доминиканского рома.
2. Моя девочка (*исп.*).
3. Груди (*исп.*).
4. Представьте себе (*исп.*).
5. Женщины — закачаешься (*исп.*).
6. Дед (*исп.*).
7. Деревня, сельская местность; зд.: натруженные (*исп.*).

рюет из-за того, что я свалил в Штаты. И рассказал бы вам про улицу, на которой родился, которая называется Калле XXI, и про то, что она словно еще не решила, становиться ей трущобой или нет, и уже не первый год не может насчет этого определиться.

Но это был бы уже совсем другой рассказ, а я и с этим едва справляюсь. Так что вам придется поверить мне на слово. Санто-Доминго — это Санто-Доминго. Давайте сделаем вид, что все мы имеем о нем представление.

У меня, должно быть, мозги слегка на солнце расплавились, и мне казалось, что первые два дня все было в порядке. Да, Магде было чертовски скучно в доме abuelo. Она так и сказала: "Хуниор, мне здесь скучно". Но я предупреждал ее об обязательном Визите к abuelo. Думал, она не будет против. Она всегда без проблем общается с viejitos[1]. А с ним, почему-то, вообще почти не разговаривала, только сидела на солнце вся какая-то дерганая и выпила пятнадцать бутылок воды. Короче, не успел начаться второй день нашего отдыха, как мы уже, покинув столицу, ехали на guagua[2] в глубь страны. Пейзаж был классный, даже несмотря на то, что стояла засуха и вся campo, включая дома, была покрыта красной пылью. А я высматривал, чего тут новенького с прошлого года: новые "Пицца Хат" и "Данкин Донатс"[3] и маленькие пластиковые упаковки с водой, которые продавали негритята. Даже вспоминал всякие исторические события. Вот здесь Трухильо[4] и его спутников убили gavilleros[5], а сюда Jefe[6] привозил своих девушек, а здесь Балагер[7] продал душу дьяволу. И казалось, что Магде это все интересно. Она кивала, иногда что-то говорила. Ну что вам сказать? Мне казалось, лед начал таять.

Теперь я понимаю, что уже тогда можно было заметить нехорошие признаки. Во-первых, Магда редко молчит. Она болтушка, ей иногда настолько трудно закрыть boca[8], что я, бывало, просто поднимал руку и говорил: "Время истекло". Это означало, что ей следует помолчать хотя бы две минуты, чтобы я успел переварить все, что она перед тем наговорила. Она, конечно, злилась и обижалась, но как только я объявлял "Время пошло", снова принималась трещать.

Возможно, я пребывал в слишком благодушном настроении. Впервые за последние несколько недель я почувствовал, что могу расслабиться, что мне не нужно постоянно быть начеку, ожидая от Магды подвоха. Мне жутко не нравилось, что она каждый вечер звонила подругам, как будто они опасались, что я могу ее убить или типа того. И все же, черт подери, я продолжал думать, что у нас с Магдой все налаживается.

Мы остановились в этой кошмарной дешевой гостинице недалеко от университета. Я стоял на улице и смотрел на город, в котором только что выключили электричество, когда вдруг услышал, что она плачет. Моя первая мысль была: что-то случилось. Я нашел фонарик и посветил на ее распухшее от жары лицо.

— Что случилось, mami? — спросил я.

Она замотала головой:

1. Старики (*исп.*).
2. Автобус (*исп.*).
3. Американские рестораны сети быстрого питания.
4. Рафаэль Леонидас Трухильо (1891—1961) — диктатор Доминиканской Республики; в 1930—1938 и 1942—1952 гг. официально занимал президентский пост.
5. Разбойники (*исп.*); зд.: наемные убийцы.
6. Хозяин (*исп.*) — прозвище Р. Л. Трухильо.
7. Хоакин Балагер (1907 — 1996) — президент Доминиканской Республики.
8. Рот (*исп.*).

— Мне здесь не нравится.

— Что ты имеешь в виду?

— Неужели не понятно? Мне. Здесь. Не. Нравится.

Это была какая-то другая Магда, не та, которую я знал. Магда, которую я знал, всегда была супервежливой. Она даже стучала в дверь перед тем, как войти.

Я чуть было не заорал: "Что с тобой, черт побери?", но не сделал этого. Кончилось тем, что я обнял ее и начал гладить и спрашивать, что случилось. Она долго плакала, потом еще некоторое время посидела молча и только тогда заговорила. В это время свет снова зажегся. Оказалось, что ей не нравится путешествовать, "как бродяги".

— Я думала, мы будем загорать на пляже.

— Мы скоро будем на пляже. Послезавтра.

— А нельзя поехать прямо сейчас?

Что я мог сделать? Она сидела передо мной в одном белье и ждала, чтобы я что-нибудь сказал. И как вы думаете, что я сказал?

— Все будет так, как ты захочешь.

Я позвонил в отель в Ла Романа и сказал, что мы будем раньше, чем планировали. А на следующее утро мы сели в скоростной guagua и, доехав до столицы, пересели на другой, который шел в Ла Романа. За всю дорогу я не сказал Магде ни слова, и она тоже со мной не разговаривала. Вид у нее был усталый, и на пейзаж за окном она смотрела так, будто он мог с ней заговорить.

К середине третьего дня нашего Примирительного Доминиканского Тура мы уже сидели в бунгало с кондиционером и смотрели Эйч-би-о[1]. Можно подумать, для меня во всем Санто-Доминго нет лучшего места, чем дурацкий курорт. Магда читала книгу какого-то бенедиктинского монаха, и, по-моему, настроение у нее было получше, чем накануне, а я сидел на краю кровати и водил пальцем по бесполезной теперь карте.

Я размышлял. Выходило, что я заслужил награду. В физическом смысле. Для нас с Магдой секс никогда не был очень уж важен, но после того письма вообще все пошло чёрт-те как. Во-первых, мы больше не занимались сексом регулярно, как раньше. Хорошо, если удавалось ее трахнуть хотя бы раз в неделю. Да и то после долгих уговоров, а без этого она вообще ни в какую. Она всегда делает вид, будто не хочет, а иногда она и вправду не хочет. В таких случаях мне ничего не остается, как просто осадить назад. Но иногда она все-таки хочет и, когда я трогаю ее там, словно говоря: "Ну как насчет этого, mami?" — кивает, словно объявляя: "Я слишком горда, чтобы подчиняться твоим животным желаниям, но если ты будешь продолжать своим пальцем, я, так и быть, не стану тебя останавливать".

Сегодня все началось нормально, но потом вдруг, ни с того ни с сего, она говорит:

— Нет, давай не будем.

Я поинтересовался почему. Она закрыла глаза, как будто сама себя застеснялась.

— Забудем об этом, — сказала, отталкивая меня. — Просто забудем.

Мне даже и говорить вам не хочется, где мы. В Касса-де-Кампо, на Курорте, Потерявшем Стыд. Среднестатистическому придурку это место наверняка понравилось бы. Как-никак самый большой и самый богатый курорт

1. Эйч-би-о — американский развлекательный телеканал.

на Острове, и это превращает его в крепость, напрочь отгороженную от простых людей. На каждом шагу редкостные растения, и павлины, и выпендрежно подстриженные деревья. В Штатах курорт рекламируют так, будто это какая-то отдельная страна, и, возможно, так оно и есть. Здесь имеется свой аэропорт, и поле для гольфа на тридцать шесть лунок, и пляжи с таким белым песком, что, кажется, он только и ждет, чтобы по нему прошлись, а что до местных жителей, то их почти и не видно, кроме тех, кто меняют белье в отеле или приносят вам еду в ресторане. Достаточно сказать, что мой abuelo никогда здесь не бывал, и ваш, я думаю, тоже. Сюда приезжают отдохнуть после напряженной работы по угнетению масс всякие там важные шишки. Здесь tutumpotes[1] могут обмениваться опытом со своими заграничными коллегами. Стоит чужаку задержаться тут надолго, и будьте уверены: его никогда больше сюда не пустят.

Мы просыпаемся рано и идем завтракать. Обслуживает нас улыбчивая женщина в костюме Тетушки Джемимы[2]. Я не шучу, здесь официанток даже заставляют носить платки на голове. Магда царапает какие-то открытки своим. Я хочу поговорить с ней про вчерашнее, но как только открываю рот, она откладывает ручку в сторону. Надевает солнцезащитные очки.

— Мне кажется, ты на меня давишь.

— Как я на тебя давлю? — спрашиваю я.

И тут начинается обычный дурацкий двадцатиминутный спор, который официантка время от времени прерывает, принося нам апельсиновый сок или кофе — и того и другого на Острове хоть залейся.

— Мне просто иногда нужно немного личного пространства. Каждый раз, когда я с тобой, у меня такое чувство, будто ты чего-то от меня хочешь.

— "Личное пространство", — говорю я. — Что ты имеешь в виду?

— Ну, чтоб хоть раз в день я занималась своими делами, а ты — своими.

— Когда, например? Сейчас?

— Не обязательно сейчас, — она выглядит раздраженной. — Давай лучше пойдем на пляж.

По дороге к тележке с мотором, на которой можно подъехать к пляжу, я говорю:

— Похоже, ты отвергаешь всю мою страну, Магда.

— Не смеши меня, — говорит она и кладет руку мне между колен. — Я просто хочу расслабиться. Что в этом плохого?

Солнце в зените, и голубизна океана давит на мозги. В Касса-де-Кампо столько же пляжей, сколько проблем в остальной части Острова. На этих пляжах не танцуют меренгу[3], здесь нет маленьких детей, никто не норовит продать вам chicharrones[4] и черная кожа явно в дефиците. Каждые пятнадцать метров лежит и загорает на полотенце какой-нибудь придурок из Европы, похожий на выплюнутого морем бледнолицего монстра. Все они выглядят как профессора философии, эдакие уценённые Фуко, и рядом с каждым вторым — черная задница доминиканской девчонки. Нет, я не шучу. А девчонкам этим никак не больше шестнадцати, и каждая — puro ingenio[5]. Судя по тому, что им не о чем разговаривать, познакомились они явно не на Левом Берегу[6].

1. Влиятельные лица, шишки (*исп.*).
2. Тетушка Джемима — марка и логотип полуфабрикатов для выпечки блинов.
3. Меренга — национальный доминиканский танец.
4. Пережаренное мясо (*исп.*).
5. Сущая шельма (*исп.*).
6. Левый Берег — район в Париже, традиционно ассоциирующийся с богемой.

Магда загорает в открытом купальнике золотистого цвета, который подруги ей присоветовали специально, чтобы меня помучить. На мне старые заношенные плавки с надписью "Сэнди-Хук[1] навсегда!" Да, не спорю, мне неуютно на людях с полураздетой Магдой. Я кладу руку ей на колено и говорю:

— Я только хочу, чтобы ты сказала, что любишь меня.

— Хуниор, не надо.

— Ну скажи, что я тебе очень нравлюсь.

— Слушай, оставь меня в покое! Достал уже.

Я растягиваюсь на песке, и пусть солнце меня спалит. Мне не в кайф торчать здесь с Магдой. По нам не скажешь, что мы парочка. Когда она улыбается, негры просят у нее руку и сердце; когда я улыбаюсь, народ хватается за свои кошельки. Все время, что мы здесь, Магда — звезда. Ну вы понимаете, каково оно на Острове, когда у твоей девушки всего только одна восьмушка негритянской крови. У мужиков крыша едет. В автобусе ей говорили: "Tu sí eres bella, muchacha"[2]. Всякий раз, стоит мне пойти искупаться, вернувшись, я обнаруживаю, что какой-то Посланец Любви с берегов Средиземного моря уже к ней подрулил. И тогда я встреваю, естественно, не слишком вежливо. "Эй, pancho[3], валил бы ты отсюда. У нас медовый месяц". Есть тут один кальмар, жутко упорный, все норовит подсесть поближе, чтобы произвести на нее впечатление волосами на сосках. А она нет чтобы не обращать внимания — заводит с ним разговор, и выясняется, что он тоже доминиканец, из Кискейа-Хайтс, помощник прокурора, который обожает своих земляков. "Уж пусть лучше я буду их судить, — говорит он. — Я то хоть их понимаю". Мне его манера разговаривать напоминает негров, шестеривших перед белым хозяином, когда тот посещал плантации. Через три минуты мое терпение иссякает, и я говорю ей: "Магда, кончай трепаться с этим придурком".

Помощник прокурора удивлен.

— Надеюсь, ты не меня имел в виду, — говорит он.

— Именно тебя, — отвечаю я.

— Нет, это невыносимо, — Магда встает и идет к воде. На ягодицах у нее налипли песчаные полумесяцы. Полная катастрофа.

Помощник прокурора еще что-то мне говорит, но я не слушаю. Догадываюсь, что она скажет, когда вернется: "Пришло время каждому из нас заняться своими делами".

Вечером я тусуюсь у бассейна и в местном баре под названием "Клуб Касик". Магды нигде не видно. Я знакомлюсь с доминиканкой из западного Нью-Йорка. Выглядит, само собой, стильно. Trigueña[4], с самой яркой косметикой на всем побережье. Зовут Люси. Она здесь с тремя своими кузинами-подростками. Когда она снимает халат, чтобы искупаться в бассейне, я вижу у нее на животе целую паутину шрамов. Она говорит мне по-испански:

— У меня родственники в Ла Романа, но я не хочу с ними жить. Ни за что. Мой дядя никого из нас не выпускает из дома, когда стемнеет. Уж лучше я буду жить здесь и растрачу все деньги, чем сидеть взаперти.

Еще я знакомлюсь с двумя богатыми немолодыми мужиками, которые пьют в баре коньяк. Один называет себя вице-президентом, а второй —

1. Сэнди-Хук — полуостров в штате Нью-Джерси.
2. А ты красивая, подружка (*исп.*).
3. Парень (*исп.*).
4. Смуглая, русоволосая (*исп.*).

просто Барбаро, и он его телохранитель. Должно быть, у меня на лице написаны все мои проблемы. Они слушают мой рассказ, как главари мафии отчет об убийстве. Сочувствуют. На улице, наверное, сорок градусов жары, и комары гудят так, будто вознамерились захватить власть на земле, а эти два кота в дорогих костюмах, а у Барбаро к тому же фиолетовый шейный платок. Когда-то солдат пытался перерезать ему глотку, и сейчас он платком прикрывает шрам. "Я – скромный человек", – говорит он.

Я иду к телефону и набираю наш номер. Магды нет. Спрашиваю у портье – для меня никаких сообщений. Возвращаюсь в бар и улыбаюсь.

Вице-президент помоложе – ему нет и сорока, и вообще для chupabarrio[1] он выглядит вполне клево. Он советует мне найти другую женщину. Bella и negra[2]. Получается, что Кассандра подошла бы лучше всего.

Вице-президент машет рукой, и Барбаро появляется моментально, как в фантастическом фильме.

– Ревность – лучший способ начать новый роман, – говорит вице-президент. – Я понял это, когда учился в Сиракузах. Потанцуй с другой женщиной, потанцуй с ней меренгу и посмотри, готов ли к действию твой jeva[3].

– Ты имеешь в виду – готов к насилию?

– Она что, ударила тебя?

– Когда я ей рассказал. Врезала прямо в челюсть.

– Pero, hermano[4], зачем ты ей рассказал? – интересуется Барбаро. – Почему не притворился, будто знать ничего не знаешь?

– Compadre[5], она получила письмо. У нее была улика.

Вице-президент ослепительно улыбается, и я понимаю, почему он вице-президент. Потом, когда вернусь домой, расскажу матери про всю эту фигню, и она скажет мне, в какой фирме он вице-президент.

– Раз ударила, значит любит, – говорит вице-президент.

– Аминь, – добавляет Барбаро. – Аминь.

Все друзья Магды говорят, что я не мог не изменить ей, потому что я – доминиканец, а все доминиканские мужчины – козлы, и доверять им нельзя. Но дело тут не в национальности. На то были свои причины. И разные обстоятельства.

На самом деле не существует таких отношений, которые бы в определенный момент не заходили в тупик. Именно это с нами и случилось.

Я жил в Бруклине, а она со своими стариками в Нью-Джерси. Мы разговаривали по телефону каждый день, а по выходным встречались. Обычно я приезжал к ней, и мы проводили время, как все в Нью-Джерси: магазины, родители, кино, телевизор. И через год наши отношения были не то чтобы солнце, луна и звезды, но и не ерунда какая-нибудь. Особенно хорошо нам было в субботу утром, у меня дома, когда она варила кофе campo, отжимая его через чулок. Она говорила родителям, что остается ночевать у Кларибел. Они, скорее всего, знали, где она, но ничего не говорили. Я просыпался поздно, и она уже читала и чертила пальцем зигзаги у меня на спине. И перед тем как встать с постели, я начинал ее целовать, и она говорила: "Хуниор, у меня там мокро".

1. Мелкий мафиозо (*исп.*).
2. Красивая и черная (*исп.*).
3. Хрен (*вульг.; исп.*).
4. Ну братишка (*исп.*).
5. Дружище (*исп.*).

Мне, в общем, нравилось, и на хрена мне было торопить события, как это водится у черных? Конечно, я поглядывал и на других девушек и даже танцевал с некоторыми, когда выходил один поразвлечься, но не более того.

И все же, если встречаться с кем-то каждую неделю, оно приедается. До поры до времени никого не замечаешь, но вот у меня на работе появляется новая телка с большой грудью и острым язычком, и сразу подходит ко мне и норовит прижаться и ноет, что moreno[1], с которым она встречается, ее ни во что не ставит, и говорит, что черные не понимают латиноамериканских девушек.

Кассандра. Это она организовала футбольный тотализатор и могла разгадывать кроссворды, одновременно разговаривая по телефону. И была помешана на джинсовых юбках. Мы стали с ней вместе ходить на обед и болтать о том о сем. Я советовал ей бросить moreno, а она советовала мне найти девушку, которая умела бы хорошо трахаться. Я имел глупость в первую же неделю знакомства сказать ей, что наш секс с Магдой всегда оставлял желать лучшего.

— Ну я тебе сочувствую, — смеялась Кассандра. — А мной Руперт не нахвалится.

В первую ночь, когда мы с ней перепихнулись — и получилось действительно хорошо, она не врала, — мне было очень хреново, хотя такого тела, как у Кассандры надо еще поискать. Я даже уснуть не мог. У меня в голове вертелось: "Она знает", и я прямо из постели позвонил Магде и спросил, все ли у нее в порядке.

— У тебя странный голос, — сказала она.

Я помню, как Кассандра прижала свою горячую щелку прямо к моей ноге, а я в это время сказал:

— Нет-нет, просто я по тебе скучаю.

На следующий день Магда сказала мне только одну фразу: "Подай мне лосьон". Вечером в отеле вечеринка для всех постояльцев. Нужно одеться по-парадному, но у меня с собой такой одежды нет, как, впрочем, и охоты наряжаться. У Магды, напротив, есть и то и другое. Она надевает сверхоблегающие брючки из золотой парчи и такой же топик, оставляющий открытым пупок. Ее черные, как ночь, волосы поблескивают, и я вспоминаю, как, в первый раз целуя ее кудряшки, спрашивал: "А где же звезды?" И она тогда ответила:

— Чуть пониже, papi.

Мы оба стоим перед зеркалом. Я в широких штанах и мятой белой guayabera[2]. Она красит губы. Я всегда думал, что красный цвет изобретен специально для латиноамериканских женщин.

— Мы хорошо выглядим, — говорит она.

Так оно и есть. Мой оптимизм потихоньку возвращается. По-моему, этот вечер вполне может стать вечером примирения. Я обнимаю ее, но она, не моргнув глазом, бросает мне в рожу свое излюбленное: сегодня ей нужно личное пространство.

У меня руки опускаются.

— Я знала, что ты разозлишься, — говорит она.

— Ты настоящая стерва, и сама это знаешь.

— Я не хотела сюда ехать. Ты меня заставил.

1. Негр (*исп.*).
2. Гуайавера, крестьянская рубашка (*исп.*).

— Если не хотела, почему было не сказать сразу? Смелости ни хрена не хватило?

И так далее, и тому подобное, пока я, в конце концов, не сказал: "Пошла ты в жопу" — и не вышел из комнаты. Я чувствую, что сорвался с катушек, и теперь непонятно, что будет дальше. Это конец игры, но вместо того, чтобы попытаться что-то спасти, вместо того, чтобы сказать "pongándome más chivo que un chivo[1]", купаюсь в жалости к себе, как бездомный индеец. И не такой уж я плохой, думаю я.

"Клуб Касик" битком набит. Я высматриваю Люси, но вместо нее вижу вице-президента и Барбаро. Они пьют бренди в укромном уголке бара и спорят о том, сколько доминиканцев играют в высшей бейсбольной лиге — пятьдесят шесть или пятьдесят семь. Они освобождают место, чтобы я мог сесть, и хлопают меня по плечу.

— Я, кажется, тут окочурюсь, — говорю я.

— Сильно сказано, — вице-президент вытаскивает из кармана пиджака ключи. На ногах у него итальянские кожаные туфли, похожие на плетеные шлепанцы. — Как насчет того, чтобы прокатиться с нами?

— Почему бы и нет, — говорю я.

— Увидишь, откуда пошли твои предки.

Перед тем как уйти, я обвожу взглядом толпу. Люси пришла. Она одна, в другом конце бара, и на ней шикарное черное платье. Она улыбается во весь рот, поднимает руку, чтобы помахать мне, и я вижу, что волосы у нее под мышкой сбриты. На платье пятна пота, и комары кусают ее красивые руки. Я успеваю подумать, что надо бы остаться, но ноги сами выносят меня из клуба.

Мы садимся в черный БМВ с дипломатическими номерами. Я и Барбаро на заднем сиденье, а вице-президент за рулем. Оставляем за спиной Каса де Кампо и неистовство Ла Романы, и скоро уже все вокруг пахнет срезанным тростником. На дороге темно, как в заднице — ни одного фонаря, — и в свете фар мошкара роится, точно египетская саранча. Мы передаем друг другу бренди. Что, чёрт подери, со мной происходит? Я в машине с каким-то вице-президентом!

А он рассказывает про то, как жил на севере штата Нью-Йорк, и Барбаро талдычит что-то свое. Костюм телохранителя помят, и рука с сигаретой дрожит. Тот еще, на хрен, телохранитель. Рассказывает про свое детство в Сан-Хуане, на границе с Гаити. "Я хотел быть инженером. Я хотел строить школы и больницы для pueblo[2]". Я его почти не слушаю, я думаю про Магду, про то, что, наверное, никогда больше не попробую ее chocha[3].

И вот мы выходим из машины и карабкаемся вверх по склону, через кусты, и guineo[4], и бамбук, и комары жрут нас, будто мы — ихний десерт. У Барбаро большой фонарь — эдакий луч света в сплошном мраке. Вице-президент ругается, продираясь сквозь кусты, и говорит:

— Это здесь, неподалеку. Благодарность за долгие годы службы.

Тут только я замечаю, что Барбаро держит огромный автоматище, и его руки больше не дрожат. Он не смотрит ни на меня, ни на вице-президента — он прислушивается. Мне не страшно, но все это больно уж странно.

1. Я вел себя, как последний идиот (*исп.*).
2. Народ (*исп.*).
3. Женские половые органы (*исп.*)
4. Низкорослые банановые деревья (*исп.*).

— Что это за штука? — спрашиваю, чтобы как-то продолжить разговор.

— П-90 называется.

— Это еще что такое?

— Старый банан в новой шкуре.

Неплохо, думаю я, он еще и философ.

— Пришли, — кричит откуда-то вице-президент.

Я пробираюсь к нему. Он стоит над ямой. Земля красного цвета. Бокситы. А яма чернее, чем любой из нас.

— Это Пещера Ягуа, — с почтительной интонацией объявляет вице-президент. — Прародина племени Таино.

Я удивленно поднимаю брови:

— Я думал, они жили в Южной Америке.

— Мы предпочитаем верить в мифы.

Барбаро направляет луч света от фонаря в яму, но от этого мало толку.

— Хочешь посмотреть, что там, на дне? — спрашивает у меня вице-президент.

Должно быть, я сказал да, потому что Барбаро дает мне фонарь, и они вдвоем берут меня за лодыжки и опускают в яму. Из карманов сыплется мелочь. Bendiciones[1]. Я мало что вижу, только кое-где странного цвета изъеденные временем стены, а вице-президент кричит:

— Ну разве это не красиво?

Прекрасное место для очищения, если хочешь стать лучше. Вице-президент, наверное, увидел там, во тьме пещеры, свое будущее: как по его распоряжению сметают хижины бедняков. И Барбаро, должно быть, увидел свое — как он покупает каменный дом для матери и учит ее пользоваться кондиционером. Но мне приходит на ум лишь воспоминание о нашем первом разговоре с Магдой, недалеко от Ратджерса[2]. Мы ждали автобуса на Джордж-стрит, и она была вся в сиреневом.

И тут я понял, что все кончилось. Как только принимаешься думать о начале — значит, это конец.

Я плачу, и когда они вытаскивают меня наружу, вице-президент говорит:

— Ради бога, не надо из-за этого распускать сопли.

Это, наверное, и вправду было какое-то мощное местное вуду: что я подумал, то и сбылось. На следующий день мы вернулись в Штаты. Спустя пять месяцев я получил от нее письмо. Хоть я уже и встречался с новой девушкой, почерк Магды словно высосал из моих легких весь кислород, до последней молекулы.

Оказалось, у нее тоже новый кавалер. Очень хороший парень. Доминиканец, как и я.

Но я забегаю вперед. Надо еще рассказать вам, какой я дурак.

Когда я той ночью вернулся в бунгало, Магда ждала меня. Вещички собраны; похоже, она плакала.

— Завтра я еду домой, — сказала она.

Я сел рядом с ней. Взял за руку.

— Пожалуй, это неплохая идея, — сказал я ей. — Почему бы и нет.

1. Господи, помилуй (*исп.*).
2. Университет Ратджерса в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси.

Otravida, otravez[1]

ОН сидит на моей постели, и простыня, прижатая его жирной задницей, выбилась из-под матраца. Его одежда затвердела на морозе, а капли высохшей краски на штанах замерзли и стали похожи на заклепки. От него пахнет хлебом. Он говорит про дом, который хочет купить, и про то, как трудно это сделать, если ты латиноамериканец. Когда я прошу его встать, чтобы я могла заправить простыню, он подходит к окну. "Сколько снега", — говорит он. Я киваю, но мне хочется, чтобы он помолчал: Ана-Ирис пытается уснуть на другой кровати. Она полночи молилась за своих детей, оставшихся в Самане, и я знаю, что утром ей нужно на fábrica. Она беспокойно ворочается под ватным одеялом, накрыв голову подушкой. Даже здесь, в Штатах, она всегда вешает над кроватью сетку от комаров.

— Кто-то пытается свернуть за угол на грузовике, — говорит он. — Не хотел бы я быть этим chamaco[2].

— На этой улице всегда много машин, — говорю я, и так оно и есть на самом деле. По утрам на газоне перед домом, как сокровища на снегу, лежат кучками соль и гравий, высыпавшиеся из проезжавших мимо грузовиков.

— Ложись, — говорю я ему, и он залезает ко мне под одеяло. Его одежда словно промерзла насквозь, и я жду, пока мы согреемся, прежде чем расстегнуть его ремень. Он не прикасается ко мне, пока мы оба не перестаем дрожать.

— Ясмин, — говорит он, и его усы щекочут мне ухо. — У нас на хлебозаводе сегодня погиб человек.

Он умолкает, как будто тишина — пружина, которая вытолкнет из него следующие слова. Этот бедолага упал со стропил. Гектор нашел его возле конвейера.

— Он был твоим другом?

— Я привел его — нашел в баре. Пообещал, что его не облапошат.

— Жалко, — говорю я. — Надеюсь, у него нет семьи?

— Скорее всего, есть.

— Ты его видел?

— Как — видел?

— Ты видел его мертвым?

— Нет. Я позвал начальника, а он сказал мне никого не подпускать. — Он скрещивает руки на груди. — Я все время работаю там же, под крышей.

— Ты везучий, Тавито.

— Да, но что, если бы это случилось со мной?

— Глупый вопрос.

— Что бы ты делала?

Я придвигаюсь поближе к нему. Если он ждет от меня большего, значит, до сих пор имел дело не с теми женщинами. Я хочу сказать: "То же самое, что делает твоя жена в Санто-Доминго". Ана-Ирис что-то бормочет в своем углу, но это она нарочно, чтобы выручить меня. Тавито замолкает, чтобы ее не разбудить. Через некоторое время он встает и садится у окна. На улице снова идет снег. По радио сказали, что эта зима будет самой холодной за последние четыре года, а может, и за все десять. Я наблюдаю за ним. Он курит и водит пальцем вокруг глаз, по складкам возле

1. Другая жизнь, другое время (*искаж. исп.*).
2. Парень (*исп.*).

рта. Интересно, о ком он сейчас думает. Может быть, о своей жене Ампаро или о ребенке. У него есть дом в Вилья-Хуана. Я видела фото, которые присылала ему Ампаро. На них она, худая и печальная, сидит у гроба сына. Он хранит фотографии в банке, которая стоит под кроватью.

Мы засыпаем, не поцеловавшись. Скоро я просыпаюсь, и он тоже. Я спрашиваю, пойдет ли он к себе, и он говорит: "Нет". Когда я просыпаюсь в следующий раз, он спит. В комнате холодно и темно, и я не могу различить его черт — это может быть кто угодно. Я приподнимаю его мясистую руку. Она тяжелая, под ногтями мука. Иногда по ночам я целую костяшки его пальцев, сморщенные, как чернослив. Его руки пахнут крекерами и хлебом все три года, что мы вместе.

Одеваясь, он не разговаривает ни со мной, ни с Аной-Ирис. В верхнем кармане куртки у него синий одноразовый станок для бритья, лезвие которого уже начало покрываться ржавчиной. Он намыливает щеки и подбородок, набрав холодной воды из крана, затем скребет кожу станком, оставляя взамен щетины порезы. Я наблюдаю за ним, и моя голая грудь покрывается гусиной кожей. Тяжело ступая, он спускается по лестнице и выходит из дома; он не заметил, что на зубах у него осталось немного пасты. Как только за ним захлопывается дверь, я слышу недовольные замечания соседок. "Ему что, ночевать негде?" — спросят они меня, когда я выйду на кухню. И я скажу: "Да" — и улыбнусь. Сквозь обледенелое стекло я смотрю, как он накидывает капюшон и плотнее запахивает куртку поверх рубашки и свитера.

Ана-Ирис вылезает из-под одеяла.

— Что ты делаешь? — спрашивает она у меня.

— Ничего, — отвечаю я. Из-под своей буйной гривы она наблюдает, как я одеваюсь.

— Учись доверять своим мужчинам, — говорит она, потом целует меня в нос и спускается вниз. Я причесываюсь и сметаю с простыни крошки и лобковые волосы. Ана-Ирис считает, что он не уйдет от меня — слишком уж прижился здесь, слишком уж долго мы вместе. "Он из тех, кто доедет до аэропорта, но в самолет так и не сядет", — говорит она. У Аны-Ирис на Острове остались дети, она не видела трех своих мальчиков уже почти семь лет. Она понимает, что навестить их значит рискнуть слишком многим[1].

В зеркале ванной я смотрю себе в глаза. Сбритые волоски Тавито плавают в каплях воды, как стрелки в компасе.

Я работаю в двух кварталах отсюда, в больнице Святого Петра. Я никогда не опаздываю. Никогда не выхожу из прачечной. Всегда в этой жарище. Я загружаю белье в стиральные и сушильные машины, прочищаю фильтры, отмеряю специальной чашкой сыпкий стиральный порошок. Под моим началом четверо, мне платят американскую зарплату, но все равно это собачья работа. Надев перчатки, я перебираю горы белья. Грязное белье приносят санитары, обычно темнокожие. Я никогда не вижу больных, только их следы, вернее, пятна, которые они оставляют на простынях. Часто эти пятна настолько въелись в ткань, что приходится бросать белье в специальный бак. Одна из девушек сказала мне, что она слышала, будто все белье из этого бака сжигают. "Это из-за СПИДа", — прошептала она. Иногда пятна старые и засохшие, а иногда они остро пахнут кровью. "Когда видишь столько

1. Скорее всего, имеется в виду риск не получить вид на жительство в США.

крови, можно подумать, где-то в мире идет великая война, — сказала та девушка. — Но это всего лишь война внутри тела".

Мои девушки не слишком надежны, но мне нравится с ними работать. Они включают музыку, они ссорятся между собой, они рассказывают мне смешные истории. И они любят меня, потому что я над ними не издеваюсь и не кричу на них. Они молодые, их сюда отправили родители. Им по столько же лет, сколько было мне, когда я приехала. Сейчас, когда мне уже двадцать восемь и я прожила здесь пять лет, они смотрят на меня, как на ископаемое. Но тогда, в первое время, мне было очень одиноко, и каждый день был сущим мученьем.

У некоторых девушек есть парни, и на этих труднее всего положиться. Они опаздывают на работу и могут исчезнуть на несколько недель. Они могут переехать в Нуэва-Йорк или Юнион-Сити[1] без предупреждения. Когда такое случается, я иду в офис к менеджеру. Менеджер — маленький, тощий. На лице у него нет волос, зато их очень много на груди и на шее. Я говорю ему, что случилось, а он достает анкету девушки и рвет ее пополам с характерным звуком. Меньше чем через час одна из оставшихся девушек присылает взамен пропавшей свою подругу.

Последнюю из новеньких зовут Саманта, и с ней хлопот не оберешься. Она темнокожая, и говорит так, словно во рту у нее каша. Она устроилась к нам, когда одна из девушек уехала в Делавар. Саманта всего полтора месяца как приехала и отказывается верить, что на свете может быть так холодно. Она дважды опрокидывала бочонки со стиральным порошком, и у нее скверная привычка работать без перчаток. Она рассказывает мне, что болела, что дважды меняла квартиру, что соседи ее обокрали. У нее напряженный и одновременно робкий взгляд, как у всех неудачников. "Работа есть работа", — говорю я ей, но все же соглашаюсь одолжить ей денег на еду и разрешаю стирать свое белье в больничных машинах.

Я слышу, как она спрашивает у других: "А когда погода улучшится?" — "Скорее ухудшится, — отвечают ей. — Ты еще не видела ледяного дождя". Она смотрит на меня, пытаясь улыбнуться. На вид ей лет пятнадцать, и по ее худенькой фигурке никогда не скажешь, что у нее уже есть ребенок. Но она показывала мне фотографии своего толстячка Маноло. Видно, хотела что-то от меня услышать, но я занялась следующей партией белья. Я уже устала втолковывать ей, что работать надо не покладая рук. Она на это плюет. Надувает пузырь из жвачки и улыбается мне, как будто я выжившая из ума старуха. Я разворачиваю очередную простыню — на ней похожее на цветок пятно крови размером с мою ладонь. "В бак", — говорю я, и Саманта швыряет ее туда, даже не сложив. Я достаю простыню, сама сворачиваю, бросаю. Она падает прямо в середину.

Девять часов возни с бельем — и я дома. Ем холодный yuca[2] с горячим маслом и поджидаю Тавито, который должен заехать за мной на одолженной у кого-то машине. Мы поедем смотреть еще один дом. Купить дом — его мечта с того самого дня, как он ступил на землю Соединенных Штатов. И вот теперь, после того как он поработал на разных работах и скопил достаточно денег, она может стать реальностью. Тавито очень серьезно к этому подходит, а значит, и я должна быть серьезной. Каждую неделю мы отправляемся на поиски. Он устраивает из этого целое

1. Небольшой город в штате Нью-Джерси, заселенный в основном выходцами из Латинской Америки.
2. Блюдо из маниоки — вечнозеленого тропического растения, клубневидные корни которого употребляются в пищу (*исп.*).

событие, одеваясь так, как если бы шел устраиваться на новую работу, и мы едем в тихую часть Ливингстона, где деревья намного выше домов и гаражей. "Нужно быть очень осторожным", — говорит он, и я соглашаюсь. Он берет меня с собой при каждой возможности, но я сама вижу, как мало от меня толку. "Я не сторонница перемен", — говорю я ему; я замечаю только недостатки тех домов, которые мы осматриваем. А потом, в машине, он обвиняет меня, что я мешаю ему осуществить мечту.

Сегодня нам предстоит посмотреть еще один дом. Тавито входит в кухню, потирая свои потрескавшиеся руки, но я не в настроении, и он это видит. Он садится рядом и кладет руку мне на колено:

— Ты едешь?

— Я плохо себя чувствую.

— Очень плохо?

— Очень.

Он почесывает свою щетину.

— А вдруг это то, что надо? Хочешь, чтобы я сам принял решение?

— Я сомневаюсь, что до этого дойдет.

— Ну а если?

— Тогда я очень удивлюсь.

Он хмурится. Смотрит на часы. Уходит.

Ана-Ирис сейчас на своей второй работе, и я сижу целый вечер одна, слушая по радио про то, как вся страна замерзает. Я пытаюсь держать себя в руках, но уже к девяти часам разложила вокруг себя вещи, которые он хранит у меня в шкафу и к которым запрещает прикасаться. Его книги и одежда, старые очки в картонном футляре и пара изношенных chancletas[1]. Сотни лотерейных билетов, связанных в толстые пачки, которые рассыпаются, стоит до них дотронуться. Десятки бейсбольных карточек[2], на которых доминиканские игроки — Гусман, Фернандес и братья Алу[3] — отбивают и ловят мячи и совершают пробежки к базе. Он оставил мне кое-что постирать, но у меня не было времени, и сейчас я вытаскиваю грязную одежду, и запах дрожжей от его рабочих штанов и рубашек наполняет комнату.

В коробке на верхней полке шкафа он хранит пачку писем от Ампаро, стянутую широкой коричневой резинкой. Письма почти за восемь лет. Все конверты истрепанные, думаю, он про них вообще забыл. Я нашла их через месяц после того, как он притащил свои вещи ко мне, в самом начале наших отношений. Я не смогла сказать, чтобы он их унес, и потом об этом жалела.

Он утверждает, что перестал ей писать за год до нашего знакомства, но это неправда. Каждый месяц я приношу ему постиранное белье и читаю новые письма от нее, которые он прячет у себя под кроватью. Я знаю ее полное имя и адрес. Я знаю, что она работает на шоколадной фабрике. Я знаю, что он ей про меня ничего не сказал.

Стиль писем с годами улучшился, и почерк изменился: каждая буква словно свешивается вниз, на следующую строчку, как руль лодки. *Пожалуйста, пожалуйста, mi querido*[4] *муж, объясни мне, что происходит. Сколько времени понадобилось тебе, чтобы забыть свою жену?*

Почитав ее письма, я всегда начинаю лучше себя чувствовать. Думаю, обо мне это не очень хорошо говорит.

1. Сандалии (*исп.*).
2. Открытки с фотографиями игроков, предмет коллекционирования.
3. Доминиканские игроки в Национальной бейсбольной лиге.
4. Мой дорогой (*исп*).

"Мы здесь не для развлечений", — сказала мне Ана-Ирис в день знакомства, и я ответила: "Ты права", хоть и не хотела этого признавать.

Сейчас я говорю то же самое Саманте, и она смотрит на меня с ненавистью. Сегодня утром, когда я пришла на работу, она плакала в ванной, и я бы с радостью позволила ей отдохнуть часок, но не такое у нас начальство. Я ставлю Саманту складывать белье, руки у нее дрожат, и кажется, она вот-вот снова заплачет. Я долго за ней наблюдаю, потом спрашиваю: "Что-то не так?" И она отвечает: "Все не так".

— Это непростая страна, — говорит Ана-Ирис. — Многие девушки не смогли протянуть здесь и года.

— Попробуй сосредоточиться на работе, — говорю я Саманте. — Помогает.

Она кивает, но ее детское лицо ничего не выражает. Наверное, она скучает по своему сыну или по его отцу. Я похлопываю ее по плечу и иду наверх доложить, что пришла на работу. Когда возвращаюсь, ее уже нет. Остальные девушки делают вид, что ничего не заметили. Я иду в ванную. Там на полу валяется горка смятых салфеток. Я разглаживаю их и кладу на край раковины.

После обеда я все еще жду, что она придет и скажет: "Я здесь. Я просто вышла прогуляться".

На самом деле я счастлива, что у меня есть такая подруга, как Ана-Ирис. У большинства из тех, кого я знаю в Штатах, друзей здесь нет. Они просто вынуждены ютиться по несколько человек в одной квартире. Им холодно и одиноко. Я видела длинные очереди к телефонам, видела торговцев украденными номерами телефонных карточек, видела cuartos[1], которыми всегда набиты их карманы.

Я тоже была такой, когда только приехала и жила еще с девятью женщинами в квартире над баром. По ночам никто не мог уснуть из-за доносившихся оттуда криков и звона бутылок. Почти все мои соседки вечно ругались из-за того, кто кому сколько должен или кто у кого украл деньги. Когда у меня были лишние деньги, я шла к телефону и звонила матери, чтобы услышать голоса людей в моем barrio[2]: они передавали друг другу трубку, словно я была талисманом, приносящим счастье. В то время я работала на Тавито — мы тогда еще не встречались, это произошло только через два года. Тогда у него было guiso[3] по уборке домов, в основном в бедных районах. В день знакомства он спросил, за какую команду я болею, и я назвала "Агуилас", хотя на самом деле не интересовалась бейсболом.

— "Лайси", — прогудел он, — вот единственная настоящая команда на Острове.

Таким же голосом он говорил мне, что надо вымыть унитаз или почистить плиту. Тогда он мне не очень нравился: слишком высокомерный и громогласный, и я начинала напевать себе под нос всякий раз, когда он спорил с хозяевами о том, сколько они ему должны.

Первые несколько месяцев здесь я только и делала, что убирала квартиры и слушала, как ругается Тавито. А еще я совершала долгие прогулки по городу и ждала воскресенья, чтобы позвонить матери. Днем я часто смотрелась в зеркала в тех богатых домах, которые убирала, и говорила себе, что все сделала правильно и скоро вернусь домой, и мы все вместе соберемся возле нашего маленького телевизора, и мне казалось, что лучше ничего и быть не может.

1. Деньги (*исп*).
2. Район (*исп*).
3. Небольшое дело (*исп.*).

Я познакомилась с Аной-Ирис уже после того, как бизнес Тавито рухнул. "Здесь слишком мало ricos[1]", — сказал он, сделав вид, что совсем не расстроился. А с Аной-Ирис нас познакомили друзья. Мы встретились на рыбном базаре. Пока мы говорили, Ана-Ирис резала и потрошила рыбу. Я думала, что она boricua[2], но оказалось, что только наполовину. У нее были быстрые, ловкие руки, и аккуратные куски нарезанного ею филе отличались от других, лежащих на колотом льду.

— Ты сможешь работать в больнице? — спросила она.

— Я все могу, — ответила я.

— Там кровь.

— Если ты можешь заниматься вот этим, то я смогу работать в больнице.

Это она сделала те первые блеклые фотографии, которые я послала домой. На них я хорошо одета и улыбаюсь, но выгляжу растерянной. Один снимок сделан на фоне "Макдоналдса": я знала, что моей матери понравится этот символ Америки. На другой фотографии я в книжном магазине, делаю вид, что читаю, хоть книга и на английском. Волосы туго стянуты в высокий пучок, и кожа за ушами, как у младенца. Я такая тощая, что кажусь больной. Самая лучшая фотография — возле университета. Студентов не видно, зато перед зданием по случаю какого-то торжества расставлены сотни складных металлических стульев, и я смотрю на эти стулья, а они словно смотрят на меня, и в ярком свете мои руки красиво выглядят на фоне синего платья.

Мы ездим смотреть дома́ три вечера в неделю. С нами мало кто хочет иметь дело. Разговаривают вежливо, но, в конце концов, не перезванивают, а когда Тавито проезжает мимо дома в следующий раз, там уже живут, и, чаще всего, это blanquitos[3], и они приводят в порядок газон, который мог бы стать нашим, и сгоняют ворон с наших шелковиц. Сегодня старичок с седыми волосами, которые когда-то были рыжими, говорит, что мы ему нравимся. Дом красивый, и мы оба нервничаем. Тавито рыщет по дому, как кошка, которая высматривает, где бы окотиться. Он заходит в чуланы и просит, чтобы я закрыла за ним дверь. Он простукивает стены и не меньше пяти минут водит пальцем по канализационным трубам в подвале. Он принюхивается, не пахнет ли плесенью. В ванной я спускаю воду в унитазе, а он включает душ на полную мощность и подставляет под воду ладонь. Мы вдвоем обыскиваем кухонные полки, чтобы убедиться, что там нет тараканов. В соседней комнате старик по телефону проверяет наши рекомендации и смеется чему-то сказанному на другом конце провода.

Положив трубку, он говорит Тавито что-то, чего я не понимаю. Об этих людях по голосу нельзя судить. Blancos[4] назовут вашу мать puta[5] тем же тоном, что и поздороваются. Я жду без особой надежды, но тут Тавито наклоняется ко мне и шепчет, что, похоже, все идет хорошо.

— Отлично, — говорю я, хоть и не сомневаюсь, что скоро он переменит мнение. Он мало кому доверяет. Уже в машине он заявляет, что старик наверняка хочет его провести.

— С чего ты взял? Что-нибудь не так?

1. Богатые (*исп.*).
2. Пуэрториканка (*исп.*).
3. Презрительное название белых (*исп*).
4. Зд.: белокожие (*исп.*).
5. Шлюха (*исп*).

— Они создают видимость, что все как надо. Это такой фокус. Увидишь, через две недели все начнет разваливаться.

— Неужели хозяин не приведет все в порядок?

— Говорит, что приведет, но разве можно надеяться на такого старика? Удивительно, как он еще ноги передвигает.

На этом разговор обрывается. Тавито наклоняет голову к плечу, и на шее выступают жилы. Я знаю: стоит мне заговорить, он начнет орать. Он останавливается возле моего дома, проскользив колесами по снегу.

— Ты работаешь вечером? — спрашиваю я.

— Конечно.

И он с усталым видом снова садится в "бьюик". На лобовом стекле черные разводы, и та его часть, куда не достают "дворники", покрыта коркой грязи. Мы наблюдаем, как двое детей забрасывают снежками третьего. Я вижу, как Тавито мрачнеет, и понимаю, что он думает о своем сыне. И тут мне хочется обнять его и сказать, что все будет хорошо.

— Не придешь сегодня?

— Поглядим, как оно пойдет на работе.

— О'кей, — говорю я.

Когда я рассказываю про дом соседкам, сидящим за столом, накрытым грязной скатертью, они неискренне улыбаются.

— Похоже, ты теперь будешь bien cómoda[1], — говорит Марисоль.

— А тебе-то что?

— Ничего. Просто тебе повезло.

— Да, — говорю я.

Потом я лежу в постели и слушаю, как мимо проезжают грузовики, в кузовах которых пересыпается соль и песок. Проснувшись среди ночи, я вижу, что он так и не пришел, но злиться начинаю только утром. Кровать Аны-Ирис заправлена, марлевая сетка от комаров, аккуратно сложенная, лежит в ногах. Я слышу, как она полощет горло в ванной. Мои руки и ноги посинели от холода, и через окно, сплошь покрытое ледяными узорами, ничего не видно. Когда Ана-Ирис начинает молиться, я говорю: "Пожалуйста, только не сегодня".

Она опускает руки. Я одеваюсь.

Он снова рассказывает про человека, который упал со стропил. "Что бы ты сделала, если бы это был я?" — спрашивает он опять. И на этот раз я отвечаю:

— Я бы нашла другого.

Он улыбается:

— Серьезно? И где бы ты его нашла?

— У тебя что, друзей нет?

— Какой мужчина тронет novia[2] мертвеца?

— Не знаю. А зачем мне про это рассказывать? Я могу найти кого-нибудь так же, как нашла тебя.

— Любой догадается. Даже самый tonto[3] увидит смерть в твоих глазах.

— Нельзя же оплакивать кого-то вечно.

— Некоторые оплакивают, — он целует меня. — Уверен, и ты тоже будешь. Меня трудно заменить. Так мне говорят на работе.

1. В полном порядке (*исп.*).
2. Невеста (*исп.*).
3. Глупый (*исп.*).

— Ты долго горевал по своему сыну?

Он перестает меня целовать.

— Энрикильо... Очень долго. Мне до сих пор его не хватает.

— А глядя на тебя, не скажешь.

— Плохо смотришь.

— По-моему, все равно не видно.

Он убирает руки.

— Умом ты не блещешь.

— Я только говорю, что по тебе этого не видно.

— Теперь мне все ясно, — говорит он. — Ума у тебя маловато.

Пока он сидит у окна и курит, я достаю из своей сумки последнее письмо от его жены и открываю у него перед носом. Он и не догадывается, какой я могу быть наглой. В конверте один листок бумаги, пахнущий туалетной водой. Посередине страницы Ампаро аккуратным почерком написала: "Пожалуйста". И это все. Я улыбаюсь Тавито и кладу письмо обратно в конверт.

Ана-Ирис спросила меня однажды, люблю ли я его. И я рассказала ей про перебои с электричеством в нашем старом доме в столице, когда свет начинал мигать, и нельзя было понять, погаснет он или нет. Приходилось откладывать все дела и ждать, пока свет наконец не определится, будет он гореть или не будет. Примерно в таком я сейчас состоянии, сказала я Ане-Ирис.

Я держу в руках голубую больничную простыню и закрываю глаза, но пятна крови все равно плавают в темноте перед глазами.

— Можем мы попробовать отбелить эту простыню? — спрашивает Саманта.

Она вернулась, но я не знаю, надолго ли. На полу у моих ног сумка с одеждой Тавито, и я стираю ее вместе с больничным бельем. Теперь от него целый день будет пахнуть моей работой, но только один день, потому что запах хлеба сильнее запаха крови.

Я по-прежнему ищу признаки того, что он по ней скучает. "Ты лучше не думай про это, — говорит мне Ана-Ирис. — Гони такие мысли подальше, чтобы не сойти от них с ума".

Это ее способ выжить здесь, ее способ не свихнуться из-за детей. Я видела фотографию троих ее сынишек, играющих в японском саду, возле сосны; все улыбаются, а лицо младшего слегка смазано из-за того, что он пытался отвернуться от объектива. Я выслушиваю ее совет, а по пути на работу и с работы смотрю на таких же лунатиков, как я, на мужчин, подметающих улицы, и на тех, кто стоит у заднего входа в ресторан: волосы не стрижены, в зубах — сигарета. А также на мужчин в костюмах, выходящих толпой из вагонов электрички. Многие из них по дороге домой зайдут к своим любовницам, а потом, дома, только об этом и будут думать, поедая холодный ужин или лежа в постели с женами. Я думаю о своей матери, которая встречалась с женатым мужчиной, когда мне было семь лет. У него была красивая борода и впалые щеки, и он был такой черный, что все, кто его знал, называли его Noche[1]. Он прокладывал телефонные линии в campo, но жил в нашем barrio, а его жена и двое детей жили в другом городе. Жена была очень красивая, и когда я думаю о жене Тавито, то представляю ее такой: на высоких каблуках, с длиннющими смуглыми ногами, знойной, как раскаленный воздух. Мне не хочется думать про жену

1. Ночь (*исп.*).

Тавито, что она необразованная. Сериалы она смотрит, просто чтобы убить время. В своих письмах рассказывает о ребенке, за которым присматривает и которого любит почти так же сильно, как любила собственного. Поначалу, когда Тавито только уехал, она верила, что у них будет еще один сын, похожий на этого Виктора, ее amorcito[1]. *Он играет в баскетбол, как ты,* писала Ампаро. Энрикильо она никогда не упоминает.

Иногда я четко представляю себе наше будущее. Я буду ему готовить, и если он не уберет за собой посуду после обеда, назову его zángano[2]. Я воображаю, что каждое утро смотрю, как он бреется. Но порой мне становится страшно, что однажды, в яркий осенний день (или такой, как сегодня, жутко холодный, когда настроение меняется вместе с направлением ветра) он решит, что все кончено. Встанет, вымоет лицо и повернется ко мне. "Извини, – скажет он. – Я должен уйти".

На следующий день Саманта заболевает. У нее грипп. "Я чувствую себя так, как будто умираю", – говорит она. Назавтра у меня тоже грипп, и я заражаю им Тавито. Он обзывает меня estúpida[3] и не появляется до конца недели. В пятницу он звонит, чтобы рассказать, как обстоят дела с покупкой дома. "Старик согласен продать его нам", – говорит он. Я пытаюсь заговорить про Ампаро, но он, как всегда, обрывает тему.

– Я уже сказал тебе, что у нас все кончено, – кричит он. – Чего ты хочешь еще? Трупа, maldito[4]?"

Вечером мы с Аной-Ирис идем в кино. Мы не понимаем по-английски, но нам нравятся чистые ковры в новом кинотеатре. Голубые и розовые неоновые зигзаги вспыхивают на стенах, как молнии. Мы покупаем порцию попкорна на двоих и проносим из bodega[5] тамариндовый сок в банках. Все вокруг нас болтают, и мы тоже болтаем.

– Повезло тебе, что ты переезжаешь, – говорит Ана-Ирис. – Я скоро с ума сойду с этими putas.

– Я буду по тебе скучать, – говорю я, и она смеется.

– Ты на пороге другой жизни. У тебя не будет времени по мне скучать.

– Все равно буду скучать. И, наверное, буду каждый день к тебе заходить.

– И на это не будет времени.

– Найду время. Ты что, хочешь от меня избавиться?

– Конечно нет, Ясмин. Не говори глупости.

До конца фильма мы сидим молча. Я не стала спрашивать, что она думает о моем переезде, а она своего мнения не высказывает. Кое о чем мы помалкиваем и не лезем друг к дружке с расспросами. Так, я никогда не спрашиваю, собирается ли она когда-нибудь перевезти сюда детей. Я не знаю, какие у нее планы. У нее были мужчины, и они тоже спали в нашей комнате, но ни с одним она долго не оставалась. Когда я ей в первый раз сообщила, что мы покупаем дом, она сказала: "Надеюсь, ты будешь счастлива". – "Да, конечно", – ответила я.

Мы идем домой из кино, прижавшись друг к другу, старательно избегая блестящих островков льда, торчащих из-под снега, как фурункулы. Это неблагополучный район. На перекрестке стоит кучка парней с недо-

1. Любимчик (*исп.*).
2. Нахлебник (*исп.*).
3. Глупая (*исп.*).
4. Чтоб тебя (*исп.*).
5. Киоск (*исп.*).

брым взглядом, которые по-испански умеют только ругаться. Они, не глядя, переходят дорогу, врезаясь прямо в гущу машин. Когда мы с ними поравнялись, толстый парень говорит: "Никто в мире не умеет так лизать у бабы, как я". Ана-Ирис обнимает меня за плечи. Мы проходим мимо квартиры, в которой я раньше жила — на втором этаже, над баром, и я смотрю на окна, пытаясь вспомнить, из какого я смотрела на улицу. "Пошли, холодно", — говорит Ана-Ирис.

Тавито, должно быть, что-то сообщил Ампаро, потому что письма от нее перестали приходить. Пожалуй, правы те, кто говорит, что время лечит.

В декабре мы переезжаем в наш дом. По соседству живет кубинская семья. Их фамилия написана на почтовом ящике золотыми буквами, и каждое утро Дон Марко скребет краску ногтем, чтобы убедиться, что она еще держится. Я слышу этот звук сквозь сон так же отчетливо, как и птиц за окном.

К больнице пристраивают новое крыло. Через три дня после того, как башенные краны снимают и увозят на другую стройку, Саманта не выходит на работу. Я спрашиваю о ней, но никто ничего не знает. Я не помню, чтобы она что-то говорила в последний день. Девушка, которая ее заменила — полная и молчаливая, — работает без остановок и без жалоб. Иногда, когда у меня паршивое настроение, я представляю себе, что она съела Саманту и забрала у нее всю энергию, и оттого, похоже, никогда не устает.

В те вечера, которые Тавито проводит с друзьями, я перечитываю старые письма Ампаро, прихлебывая ром, который мы храним под раковиной в кухне.

Когда, наконец, от нее приходит письмо, я уже беременна. Письмо переслали нам со старого адреса Тавито. Я вытаскиваю его из пачки и разглядываю. Сердце колотится так, будто оно одно-одинешенько и внутри меня ничего больше нет. Я хочу вскрыть письмо, но вместо этого звоню Ане-Ирис; мы давно с ней не разговаривали. Я рассматриваю птиц на изгороди, когда звонит телефон.

Это Ана-Ирис перезванивает мне.

— Я хочу пойти погулять, — говорю я ей.

На ветках распускаются почки. Когда я вхожу в дом, она целует меня и сажает за кухонный стол. Из соседок, которых я знаю, остались только две; остальные переехали или вернулись домой. На их место вселились другие молодые девушки с Острова. Они ходят туда-сюда, едва глядя на меня, замученные грузом взятых на себя обязательств. Мне хочется дать им совет: никакие обязательства не выживут в этом водовороте. Я уже начинаю полнеть, а Ана-Ирис худая и изможденная. Она очень давно не стриглась, и из плотных прядей торчат посекшиеся кончики. Но она все еще способна улыбаться. Где-то на втором этаже женщина поет bachata[1], и ее звонкий голос напоминает мне о размерах дома, о его высоких потолках.

— Пойдем, — говорит Ана-Ирис и подает мне шарф. — Прогуляемся.

Я держу в руке письмо. День какой-то сизый. Под ногами хрустят разбросанные тут и там островки снега, покрытого коркой из грязи и песка. Мы ждем, пока свора машин остановится на светофоре, и удираем от них в парк. Когда мы с Тавито начали встречаться, мы бывали

1. Зд.: веселая песня (*исп.*).

в этом парке каждый день. “Просто проветриться после работы”, – говорил Тавито, но я всякий раз покрывала ногти красным лаком. Я помню день перед тем, как мы в первый раз легли в постель, когда я уже знала, что это произойдет. Он только что рассказал мне про жену и сына. Какие-то ребята играли неподалеку в бейсбол, и он отобрал у них биту, помахал ею в воздухе и сказал, чтобы они отошли подальше. Я думала, он опозорится, и была готова сочувственно похлопать его по плечу, если бы он упал или промахнулся. Но он, не делая лишних движений, ловко отбил мяч, который с резким звуком от столкновения с алюминиевой битой отлетел гораздо дальше, чем стояли мальчики. Они вскинули руки и закричали, а он улыбался мне, глядя поверх их голов.

Мы молча проходим через весь парк, пересекаем дорогу и возвращаемся к центру города.

– Она снова ему пишет, – говорю я, но Ана-Ирис прерывает меня.

– Я звонила детям, – говорит она и показывает на мужчину напротив здания суда, у которого она покупает краденые номера телефонных карт. – Они стали такие взрослые, что я с трудом узнаю их голоса.

Чуть погодя мы садимся на скамейку, чтобы я могла взять ее за руку, а она могла поплакать. Я, наверное, должна что-то сказать, но сказать тут нечего.

Холодает. Мы идем домой. Вечером я отдаю Тавито письмо и закрываю глаза, пока он его читает.

Александр Хемон

Слепой Йозеф Пронек

Рассказ

Перевод А. Ильинского

С высоты птичьего полета заснеженный Чикаго был похож на замерзшую микросхему: маленькие автомобили-байты вяло ползали между компьютерных чипов-домов. Самолет завалился на крыло и тут же попал в зону турбулентности, в этот момент апельсиновый сок, который пил Пронек, выплеснулся из пластикового стаканчика прямо ему на светлые штаны. Уже на земле, отстегивая ремень, он заметил, что пятно от сока по цвету смахивает на мочу. Андреа ждала его у выхода. Пронек показал на мокрые брюки и пошутил по поводу своего мочевого пузыря. Андреа шутку не оценила. Слегка подавшись вперед, она подставила для поцелуя правую щеку, однако, будто боясь, что их тела могут соприкоснуться, старалась не приближаться к Пронеку ближе, чем на полметра.

Они стояли на движущейся дорожке, которая везла их через темный тоннель, а металлический женский голос повторял, что не следует оставлять свои вещи без присмотра.

Пронек старался держаться непринужденно.

– Надо же, а у нас эскалаторы обычно наклонные, – сказал он.

– Да, точно, – ответила Андреа и, порывшись в сумочке, достала банан.

Пронек познакомился с ней прошлым летом на Украине. Был август 1991 года, но путч их мало интересовал – они бродили по Киеву, увлеченные друг другом. Держась за руки, они стояли перед украинским парламентом, когда там провозглашали независимость, а все вокруг махали флагами и пребывали в состоянии патриотического экстаза. У Андреа был парень – англичанин, он носил розовую бандану и без устали рыскал по ночному Киеву в поисках развлечений, но безуспешно. Работал он опера-

© 2000 by Aleksader Hemon
© А. Ильинский. Перевод, 2003

тором на Би-би-си и в день провозглашения независимости был, слава богу, очень занят. Андреа с Пронеком дошли до Днепра и за пару долларов купили офицерскую фуражку и потертый армейский ремень. Они ели пиццу с морковью и свеклой и смотрели, как серебрится река — словно звезды на ночном небе, сверкали чешуей на солнце дохлые рыбешки. Пронек водил рукой по бедру Андреа, не рискуя залезть в трусики, они целовались, и его язык неуклюже пытался найти ее язык. У него кружилась голова, и он на ухо напевал ей песню Синатры: "Eye praktis ehvree day to faind sum klehvr lains to say, too maik da meenin cum truh..."[1] Эту песню его блюзовая группа "Слепой Йозеф Пронек и мертвые души" играла еще в Сараеве, где, по его словам, они были очень популярны. О чудо: в его исполнении Андреа нашла песню довольно милой. На следующий день она с оператором уехала в Харьков.

По возвращении в Сараево Пронек писал ей любовные письма, полные золотой осенней листвы и воспоминаний о том времени (если быть точным — о тех пятидесяти трех часах), что они провели вместе. Она отвечала, что соскучилась и хотела бы снова встретиться, — как подумал Пронек, ее строки были продиктованы уверенностью в неисполнимости этого желания. Они начали переписывать историю своей встречи: она вспоминала, как они пили десертное вино, хотя на самом деле в Киеве, кроме отвратной водки, они ничего не пробовали. Он вспоминал аромат ее духов, хотя из-за перебоев с водой у них ни разу не было возможности нормально помыться. Они извлекали из памяти возбуждающие воспоминания о том, как танцевали, прижимаясь друг к другу, хотя в действительности лишь по-идиотски дрыгались под вышедшее из моды немецкое диско, в то время как волосатые украинцы крутились вокруг Андреа и норовили потереться об нее своими потными телами. Когда сочинять было уже практически нечего, она пригласила Пронека в Чикаго, возможно, наслушавшись сводок о войне в Хорватии и волнениях в Боснии. Это был великодушный поступок, но оба не верили, что он сможет приехать. Однако вскоре Пронек получил официальное приглашение посетить США в качестве свободомыслящего писателя, и он включил Чикаго в свой маршрут.

Андреа изменилась — он запомнил ее другой, — теперь она была более бледной, волосы стали короче и темнее, а в носу у нее он заметил сережку. Но ему по-прежнему ужасно хотелось к ней прикоснуться.

Когда они подъезжали к городу, силуэты домов отчетливо выделялись на фоне белого неба, как фигурки на экране "тетриса". Андреа вела машину по району, который, по ее словам, назывался Луп[2], показывала на небоскребы и объясняла, что есть что. Для Пронека все это было полной тарабарщиной: министерство торговли, самое высокое здание в мире, что-то самое большое, что-то еще самое-самое... Он высунул голову из окна и взглянул наверх, но не смог увидеть последних этажей.

— Вот так таракан смотрит на мебель, — сказал он.

— Точно, — ответила Андреа и включила радио.

Она открыла входную дверь (на двери висела табличка "Посторонним вход разрешен"), и Пронеку в нос ударил резкий запах табачного дыма и жареной картошки.

— Мой сосед целыми днями бьет баклуши, — сказала Андреа.

1. "Я тренируюсь каждый день, чтобы подобрать слова, дабы ты наконец поняла..." (*искаж. англ.*). *(Здесь и далее – прим. перев.)*
2. Название делового центра Чикаго.

Пронек оглядел комнату: диван с торчащей из подушек набивкой, стереосистема и телевизор с целой горой видеокассет и компакт-дисков. Маленький столик был завален бумажными пакетами из "Макдоналдса" и пустыми сигаретными пачками, а пепельницы забиты бычками. Из окна открывался вид на кирпичную стену. Жирный черный кот, изучив Пронека, равнодушно отвернулся. На кухонном столе, словно в ожидании казни, стояла батарея пивных бутылок с оторванными этикетками. Посуда в раковине утопала в толще какой-то темной жидкости.

— Кто твой сосед? — спросил Пронек.

— Мой парень, — ответила Андреа, — но мы спим в разных комнатах.

— И давно вы встречаетесь?

— С перерывами десять лет. Но этот козел меня уже достал. Думаю, нам пора разбегаться.

— А обо мне он знает?

— Да, я говорила, что ты приезжаешь. Но ему насрать.

Через стол, заляпанный жиром, она протянула Пронеку чашку кофе. Ему захотелось прикоснуться к ее щеке, потрогать нежный пушок на шее, золотившийся на свету. Он зачарованно наблюдал за ее губами, которые чуть смыкались, когда она произносила "б" и "м", и зубами, сверкавшими на звуках "з" и "с". Потом он отнес два своих чемодана в ее спальню, где на дверных ручках, словно кроличьи шкурки, висели ее лифчики.

В ту ночь они занимались любовью. Перед этим Андреа достала упаковку презервативов и велела ему надеть один. "На дворе девяностые, — сказала она, — теперь без резиновых перчаток лучше друг к другу не прикасаться". Вскоре одеяло оказалось на полу, и кровать энергично заскрипела; Андреа не переставая спрашивала Пронека: "Правда, хорошо? Тебе нравится? Тебе хорошо?" Потом она ушла в ванную. Ее силуэт на фоне дверного проема был поистине божественным.

Когда она вернулась, благоухая банановым шампунем, он снял презерватив, встал, поцеловал ее мокрые волосы и с болтающейся в руке резинкой вышел из спальни. Но когда он подходил к ванной, дверь соседней комнаты открылась, и оттуда вышел мужчина. Пронек стоял перед ним совершенно голый; вдруг он застеснялся своей безволосой груди.

— Привет, — сказал Пронек.

— Как дела? — спросил мужчина.

— Хорошо.

— Хорошо.

Молчание.

— Ты кто?

— Друг Андреа.

— А я Карвин, — сказал мужчина. У него была модная небритость и непослушные волосы. На футболке, под расстегнутой фланелевой рубашкой, красовался распятый светловолосый ангел. — Ты русский?

У Пронека замерзли ноги, поэтому он прижал левую ступню к правой икре и так и стоял, как воин племени масаи, разве что в руке вместо копья держал использованный презерватив.

— Нет, я из Сараева, это в Боснии, — сказал он, — но встретились мы на Украине.

— Рад знакомству, — ответил тот. — Надеюсь, больше никогда не увижу здесь твоей хари.

Затем он крикнул в сторону спальни Андреа:

— Иностранцев уже водить начала? Американский член тебя больше не устраивает, потаскуха?!

— Пошел в жопу, сраный шовинист! — прокричала она в ответ.

Пронек быстро прошмыгнул в ванную. Он бросил презерватив в унитаз, но каждый раз, когда пытался его смыть, тот, надуваясь, всплывал на поверхность. Пронек посмотрел в зеркало и увидел пунцовые прыщики, желтые зубы и квадратную славянскую голову с сальными волосами, прилипшими ко лбу. В этот момент он ощутил себя иностранцем — неотесанным и никчемным существом, которому некуда податься. Потом он побрился и умылся, будто в честь своей новообретенной сущности.

Андреа была художницей. Она показала Пронеку свою последнюю работу — автопортрет с боровом и свиноматкой под названием "Дом". На картине Андреа обнимала свиней, и все трое пялились на Пронека. Хрюшки были отчаянно-розового цвета, а у свиноматки сильно набухли соски. Андреа сказала, что нарисовала картину два года назад и с тех пор больше ничего не сделала.

— Мне надо кое-что понять про саму себя, прежде чем я смогу поделиться этим с другими, — пояснила она.

Андреа работала в сувенирном киоске в Чикагском художественном институте. Каждое утро она вскакивала в постели — так женщины в фильмах ужасов просыпаются от кошмарного сна за минуту до того, как их убьет маньяк — и закуривала сигарету. Курила она забавно: вдыхала дым короткими, быстрыми затяжками и выпускала его одним долгим выдохом, в это время ее правый локоть покоился на левой ладони, а сигарета почти не отрывалась от губ. Затем Андреа принималась свистеть. В полусне Пронек слышал, как она в спешке роется в шкафу и шуршит колготками. Он пытался понять, что за песню она насвистывает, но проваливался в сон прежде, чем ему это удавалось.

Когда наконец через пару часов Пронек вставал, он шел, следуя за ее запахом, в душ, где на дне ванны все еще оставались ее волосы. Приведя себя в порядок, он доставал из трясины в раковине одну из тарелок и ел крекеры с моцареллой. Прихлебывая кофе из чашки со следами губной помады, он начинал писать письмо родителям в Сараево, но дальше даты и адреса дело не шло — казалось, этим уже все сказано. Надо бы им позвонить, но у него не было денег, чтобы оплатить переговоры. В новостях он видел баррикады, бегущих в панике людей и белые бронетранспортеры, стоявшие посередине сараевских улиц.

Обычно Пронек встречался с Андреа во время обеда. Он брел к музею по "Великолепной миле"[1], которая наводила его на мысль о "Великолепной семерке", а затем и о "Семи самураях", хотя ничего великолепного в похожих на морг зданиях, мрачной улице и людях с каменными лицами, которые шли, судорожно сжимая свои сумочки и кейсы, не было. Шлепая по апрельской слякоти, Пронек думал о том, что он здесь лишний. Что ничего вокруг не изменится, возьми он вдруг и исчезни. Когда он позже поделился этой мыслью с Андреа, она заметила с неприятным смешком: "Свободная земля, страна отважных"[2].

Пронек ждал, пока у Андреа начнется обеденный перерыв, потом они вместе шли через музей в толпе школьников, преимущественно светловолосых и жирных (по словам Андреа, "откормленных кукурузой"), которые громко ржали перед полотнами с обнаженными женщинами. Пронек старался казаться человеком культурным и цивилизован-

1. "Великолепная миля" — часть центральной улицы Чикаго со множеством шикарных магазинов и картинных галерей.
2. Строки из национального гимна США.

ным (однажды он даже провел два часа в Лувре, в скучнейших залах с полотнами восемнадцатого века).

Любимая картина Андреа была огромной и черной: черные прожилки, черные пятна, черная потрескавшаяся краска. Пронек не понимал почему, но ему тоже нравилась эта работа. Они стояли и смотрели на полотно некоторое время, а потом Андреа говорила: "Кто мы такие в руках разгневанного Творца?"

Однажды Пронек, забирая вместе с Андреа верхнюю одежду из гардероба, спросил ее:

— Как знать, что это именно твое пальто?

— Ведь у меня есть номерок, — ответила она.

— Но, может, они там роются в твоих карманах, фотографируют их содержимое, делают копии ключей, после этого пальто уже не такое, каким было раньше, оно даже не сохранит твоих воспоминаний.

Андреа пожала плечами.

— Странные вы, славяне, — сказала она.

Когда Пронек пришел домой, Карвин сидел и смотрел телевизор. Он вскочил с дивана — возможно, Пронек застал его, когда тот мастурбировал — и отправился в свою комнату. Пронек переключил канал с "Семейства Дьюк из округа Хазард"[1] на Си-эн-эн и увидел около здания парламента в Сараеве толпу: люди убегали или прятались, спасаясь от пуль. Потом на экране мелькнули две ноги, одна в ботинке, другая босая, обе подергивались. Тело было закрыто от объектива камеры людьми, пытающимися помочь несчастному, некоторые плакали и вытирали слезы перепачканными в крови руками.

В одну из снежных ночей, когда Карвин уронил на пол горшок с соусом для спагетти и закричал на всю квартиру: "Твою мать!" — Пронек понял, что останется в Соединенных Штатах, возможно, до конца своих дней. Он проснулся от кошмара, у него колотилось сердце. Через открытую дверь он увидел, что Карвин пытается собрать соус, но вместо этого только еще больше размазывает его по полу, словно красную краску. Соус был похож на кровь, и Пронек представил, будто это он лежит там — в голове шумит, а мозги медленно вытекают на пол. Карвин задумчиво почесал в промежности и решил бросить бесплодные попытки вытереть пол. Он еще раз сказал: "Твою мать!" — и снова уселся на диван перед телевизором.

Утром Пронек проснулся совершенно больным, шея у него затекла, кровь пульсировала в висках. Андреа не было. Он слышал телевизор, но не мог встать и вновь погрузился в полузабытье. Андреа пришла после работы, заварила чай, принесла ему миску пшеничных хлопьев, плавающих в белоснежном молоке, поцеловала в горячий лоб и ушла на открытие выставки. В ту ночь она не пришла домой. На следующее утро Пронек проснулся все еще мокрый от пота, простыня прилипла к его слабому телу. Он не помнил, сколько времени провел в постели; отрывистые поцелуи, полуостывший чай, пробуждение на холодной и влажной простыне — все это повторялось, будто гудки в телефонной трубке. Он помнил, как ветер нетерпеливо бил в окно, помнил хор голосов в телевизоре, скандирующих: "Гол!" Смутно помнил и как разговаривал по телефону с родителями: отец убеждал его, что неразумно сейчас возвращаться домой, а мать рассказывала, что сегодня стреляли меньше, чем вчера.

1. Американский комедийно-приключенческий телесериал.

В конце концов он собрал остатки сил и обнаружил у телевизора Карвина с приятелями. Показывали порнуху. Пронек не сразу распознал на экране зияющую вагину. Но дружки Карвина на экран не смотрели, они были заняты игрой – кидали пустой пакет в вентилятор на потолке. Как объяснил Карвин, Андреа нуждалась в отдыхе и поэтому на пару недель уехала в Де-Калб[1]. Когда порнофильм закончился всеобщим оргазмом, Пронек завладел пультом и включил новости. Полувоенные формирования вошли в Боснию с территории Сербии и "чинили беспредел".

– Да что с вами всеми такое? – спросил парень в бейсболке "Беарс"[2]. – Чего вы никак не успокоитесь?

– Ты обратно не собираешься? – спросил Карвин.

– Через пару недель надо возвращаться, – ответил Пронек.

– А чего бы тебе не остаться здесь? – спросил парень в бейсболке.

– Что я буду здесь делать? – ответил Пронек. – Там у меня родители.

– Уж я-то, надеюсь, своих долбаных предков больше никогда не увижу, – заметил Карвин.

– Тебе надо остаться, вытащить сюда родителей, а эти уроды пусть там поубивают друг друга, – сказал парень в бейсболке. – Война, бля, – это, конечно, хорошо. Если бы мы не пережили войну, в стране было бы слишком много народа. Это как естественный отбор, свободный рынок. Лучшие выплывают, а все дерьмо тонет. Я, конечно, про вас, русских, мало что знаю, но если человек приезжает сюда, значит, он чего-то стоит. Ты посмотри на всех этих иммигрантов. Дома они были нулем без палочки, а здесь стали миллионерами, черт их подери. Поэтому мы самая крутая, мать ее, страна в мире. Здесь выживают только лучшие.

Карвин через трубочку потягивал коктейль из "Макдоналдса" и смотрел обзор матчей "Буллс"[3].

– В этом году мы снова всех дернем, – сказал он.

Андреа вернулась из Де-Калба посвежевшая и сообщила Пронеку, что они едут на обед к ее родителям. По дороге она насвистывала "Dear Prudence"[4], а после того, как они прослушали сводку новостей о войне в Боснии, сказала:

– Знаешь, тебе надо остаться.

– Знаю, – ответил Пронек.

В пронизанном резким северным ветром воздухе фонари горели ослепительно ярко. Они промчались мимо темных замков Чикагского университета и въехали в лабиринт одинаковых домиков из красного кирпича.

Отец Андреа долго тряс руку Пронека, а ее мать сказала: "Мы так много о вас слышали". Они познакомили его со старой женщиной, согнувшейся над ходунком и вцепившейся в поручни так, словно она собиралась произнести речь с трибуны.

– Нана, – обратилась к ней мать, – это друг Андреа из Боснии.

– Никогда не была в Бостоне, – ответила та.

– Из Боснии, Нана, из Боснии, это рядом с Чехословакией, – сказала мать Андреа, качая головой и взмахивая руками, будто бросала баскетбольный мяч.

Воспользовавшись неловким молчанием, Пронек снял туфли. Мать Андреа посмотрела на его ноги и сказала:

1. Город в штате Иллинойс.
2. "Чикаго беарс" – команда игроков в американский футбол.
3. "Чикаго буллс" – баскетбольная команда.
4. Песня "Битлз".

— У нас не принято снимать обувь, но ничего, — потом указала налево и продолжала: — Пройдемте в гостиную.

Они уселись за круглый стол, и отец Андреа разлил по бокалам вино. Затем он, держа зеленую бутылку в руке, уставился на Пронека в ожидании, что тот продегустирует напиток. Пронек сделал осторожный глоток, при этом бокал звонко клацнул о его зубы.

— Хорошее вино. Не слишком сладкое, — сказал он.

— Это ведь шардонне, — весьма довольный, заметил отец Андреа.

— Я тоже хочу вина, — сказала Нана.

— Ты же знаешь, тебе нельзя, — ответила мать Андреа.

— А какое там у вас вино? — поинтересовался отец, склонив голову налево и демонстрируя крайнюю заинтересованность.

— Не знаю, — ответил Пронек, — местные сорта.

— Андреа говорила, что вы писатель, — сказала мать. Она была в очках, на шее сверкало жемчужное ожерелье, и зубы у нее были ровные и белые.

— Да, был, — ответил Пронек.

— Мы любим хорошие романы, — сказала мать.

— Вы не читали Ричарда Форда[1]? — спросил отец.

— Слюнявая мужланская писанина, — отрезала Андреа.

— Очень хорошо написано, — покачал головой отец, — очень хорошо.

Мать Андреа подала на стол несколько блюд, не известных Пронеку, на десерт был нежирный ежевичный пудинг с обезжиренным замороженным йогуртом из киви и французский, со вкусом лесного ореха и ванили, кофе без кофеина. Пронек вдруг почувствовал неприятный запах и, поняв, что он исходит от его ног, осторожно накрыл левую ступню правой. Он решил, что должен шевелиться как можно меньше, чтобы этот запах не разносился по комнате. Нана сидела напротив него, она причмокивала губами и так энергично двигала челюстью, что было слышно, как щелкают ее зубные протезы. Набрав полный рот, она терпеливо жевала, поглядывая вокруг с рассеянным любопытством. Ее лицо напоминало пересеченную местность с глубокими бороздами морщин и скулами, возвышающимися над ними, словно холмы. На правом запястье был вытатуирован бледно-синий номер.

— Что сейчас происходит в Чехословакии? — спросила мать Андреа.

— Югославия, мам, Югославия, — поправила ее Андреа.

— Я читал об этом. Пытался понять, но не смог, — сказал отец, — эта ненависть копилась тысячу лет.

— Грустная история, — заключила мать.

— Чёрт-те что там у вас творится, — сказал отец, — надеюсь, все это закончится прежде, чем нам придется вмешаться.

— А где Бруно?! — вдруг вскрикнула Нана. — Бруно, иди сюда!

— Успокойся, Нана, Бруно здесь нет, — сказала мать.

— Бруно, иди сюда! — закричала Нана в сторону кухни. — Иди поешь с нами, у нас теперь все есть!

— Нана, успокойся, или нам придется отправить тебя в твою комнату, — строго заметил отец и повернулся к Пронеку: — Она иногда начинает буянить.

Пронек не знал английского слова “буянить”.

— Ничего, — сказал он, — все нормально.

1. Ричард Форд (р. 1944) — американский писатель, лауреат многих литературных премий.

После обеда Пронек обулся, и отец Андреа подал ему пальто.

— Надо бы отдать его в чистку, — заметил он.

Мать Андреа прижалась нежной и приятно пахнущей кокосом щекой к щеке Пронека и поцеловала воздух рядом с его ухом.

— Вы увидите Бруно? — спросила Нана.

— Нет, Нана, — ответил Пронек, — простите.

— Были рады с вами познакомиться, — сказал отец, пожимая ему руку, — уверен, вы здесь устроитесь, если останетесь. Это величайшая страна в мире. Надо только вкалывать.

Пронек ненавидел вкалывать, но ему нужна была работа. Однажды утром он встал и облачился в свой лучший наряд: серую шелковую рубашку с бесформенным жирным пятном на груди, нелегально ввезенную из Китая другом семьи, замызганные бежевые брюки, галстук с изображением Микки Мауса, принадлежавший Карвину, и оранжевую куртку, также позаимствованную у Карвина, который сроду не носил ее, поскольку она была мала ему на целый размер.

Улицы в центре Чикаго назывались именами покойных президентов, и Пронек представил, как эти президенты строят город, собравшись вокруг игрового поля "Монополии" в раю (или в аду). Он отправился на восток вниз по Джексон, затем на север, в сторону Мэдисон, пока не дошел до заведения Будэна.

Его ждала женщина, которую звали Дон Уайман, что следовало из таблички на ее груди. У нее были яркие голубые глаза и сережки в форме глазных яблок, которые сразу же уставились на Пронека.

— Откуда вы? — спросила Дон.

— Из Боснии, — ответил Пронек.

— Это в России, да?

— В бывшей Югославии.

— Ясно. А почему вы хотите работать именно у нас?

В углу сидел мужчина в белой ковбойской шляпе и ложкой доедал какую-то коричневую бурду, а над ним висела фотография первой булочной Будэна, открывшейся в Сан-Франциско еще в доисторические времена.

— Мне нравится, что здесь все по-европейски, — сказал Пронек.

— Верно подмечено, — ответила Дон и улыбнулась. На ее белых зубах остался след от помады. — Мы ориентируемся на клиентов с утонченным вкусом, которые много чего повидали.

— Понятно, — сказал Пронек.

— И что, по-вашему, вы можете предложить булочной Будэна?

— Я привык трудиться и люблю работать с людьми. Раньше я был журналистом, и мне приходилось много общаться. У меня большой жизненный опыт, — отчеканил он.

— Ясно, — сказала Дон, зевая и глядя в его анкету. — На какое жалованье рассчитываете?

— Не знаю, долларов десять в час.

— Мы можем предложить пять с перспективой роста. Здесь у всех равные возможности.

— Хорошо, — согласился Пронек.

В первый день он разрезал круассаны, выдавливал на них горчицу и передавал ответственному за сандвичи. ("Это ответственный за сандвичи, а это помощник по кухне", — так их друг другу представила Дон.) Пронек чуть не отрезал себе палец и окропил часть бутербродов своей кровью. Потом он резал помидоры тоненькими ломтиками, чтобы от-

ветственный за сандвичи положил их внутрь булок. Посыпал мини-пиццы тертым сыром, разливал в пластиковые тарелки обезжиренный суп из стручков бамии без соли и передавал их ответственному за супы. ("Маленькая тарелка — много супа, большая тарелка — супа до пу́па", — все время приговаривала Дон.) Пронек отрезал горбушки от батонов, вычищал их, выбрасывая пахнущий дрожжами мякиш в бак для мусора, после чего смазывал батон соусом чили с пониженным содержанием жира. В первый день, вместо того чтобы выкидывать хлеб в ведро, он съел бо́льшую его часть и в наказание получил спазмы желудка.

Когда он в первый раз отправился в большой, похожий на сейф холодильник, чтобы принести головку салата, дверь медленно закрылась за его спиной, и он оказался запертым в холодной, без умолку гудящей камере, тускло освещенной одинокой лампочкой. Он начал ломиться в дверь и звать на помощь, но никто его не слышал. В отчаянии он уперся головой в дверь, и его лоб примерз к ледяной поверхности. Он пытался отклеиться, но это было слишком больно — пришлось смириться со своей участью. Когда Дон открыла дверь, он вывалился из холодильника и предстал перед ней с красным пятном на лбу.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она.

— Меня закрыло, — ответил Пронек.

— Дверь открывается изнутри — надо просто ее толкнуть, — объяснила она.

— Да, понятно, — ответил он.

К концу первой недели Пронек уже заведовал выбросом мусора. Он очищал подносы от оставшихся батонов, раскрошенных булок и пустых тарелок, сваливал отходы в мешки для мусора и складывал их, словно безжизненные тела, в углу кухни.

Пронек возвращался в квартиру Андреа в вагоне метро, как сельдями в бочке набитом усталыми, взмокшими от пота людьми. Андреа уехала на Украину.

— Мне необходимо пространство для размышлений, — сказала она ему, — но ты можешь остаться.

Квартиру ремонтировали — родители Андреа собирались затем ее продать. Карвин съехал и теперь жил рядом с парком Линкольна, поэтому, когда Пронек вернулся домой, он застал там только четверых рабочих из Польши, которые соскабливали со стен краску, отдирали дверные косяки и плитку с пола. В комнату Андреа вела дорожка из полиэтилена, на которой стояли банки с краской и лежали какие-то непонятные инструменты.

Спальня была похожа на монашескую келью: кровать, маленькая стопка книг, его пустые чемоданы, телевизор и гора грязной, вонючей одежды. Пронек вошел в комнату, будто ступил на борт подводной лодки, которой предстояло опустить его на мирное морское дно с мерцающим планктоном и простейшими микроорганизмами, проплывающими мимо его иллюминатора в завораживающей тишине. Он лежал там, пока рабочие не ушли, а затем прямо в постели съел томатный суп, следя за теленовостями: в осажденном Сараеве было нечего есть, ходили слухи о сербских лагерях смерти. Он смотрел на экран в надежде увидеть знакомое лицо. В какой-то момент ему показалось, что там мелькнул его отец: он бежал по аллее Снайперов[1], прикрывая голову газетой.

1. Аллея Снайперов — участок шоссе, ведущий из аэропорта в центр Сараева.

В тот день, когда Пронека уволили, он увидел на обложке журнала "Тайм" фотографию человека в сербском лагере смерти, стоявшего за тремя рядами колючей проволоки: ребра у него выпирали из-под кожи, и он явно старался не смотреть в объектив камеры, вероятно не зная, поможет ему этот снимок сохранить жизнь или, наоборот, принесет гибель. Пронек в горячем пульсирующем тумане с трудом доплелся до своего шкафчика в булочной Будэна. Нацепил фирменный вишневый передник и такого же цвета берет и отправился очищать подносы.

Пока он складывал их рядом с мусорным ведром, его подозвал мужчина в ярко-зеленой рубашке, на которой был изображен гольфист, замахивающийся клюшкой.

Пронек подошел к столику, за которым сидел мужчина, и выжидающе остановился. Светлые волосы посетителя были тщательно прилизаны, на мизинце красовался огромный золотой перстень. Показав на булку, лежавшую на тарелке, он сказал:

— Я заказывал индюшачий сандвич с салатом "Ромейн", а это салат-латук.

Пронек ничего не ответил.

— Ну так что вы на это скажете?

Пронек уже было собрался пойти и сообщить об этом ответственному за сандвичи, но почему-то передумал.

— Ничего, — ответил он.

— Я хочу индюшачий сандвич с салатом "Ромейн", — сказал мужчина.

— А какая разница? — поинтересовался Пронек.

— Что, простите? — мужчина повысил голос, и его двойной подбородок даже затрясся от удивления.

— Салат "Ромейн", салат-латук — какая разница? — сказал Пронек.

— Я могу поговорить с кем-нибудь, кто понимает по-английски? — спросил мужчина и с негодованием отодвинул от себя поднос.

Пронек почувствовал, как странная боль поднялась по ногам, прошла через таз и судорогой сковала живот. Он хотел ответить, сказать что-нибудь умное и уничижительное, но не мог подобрать подходящих английских слов, которые выразили бы всю абсурдность происходящего. В голове крутилось только: "Салат 'Ромейн', салат-латук — какая разница?" Продолжая повторять эту фразу, он побрел прочь в напрасной надежде, что мужчина махнет на все рукой. Но тот рукой не махнул, и, когда к нему подошла Дон еще с одним служащим, Пронеку пришлось выслушать его возмущенную тираду. Когда мужчина закончил, Пронек только и смог выдохнуть: "'Ромейн', латук — не все ли равно".

— Мне жаль, — сказала Дон, — но тебе придется уйти.

— Я уйти, — сказал Пронек, — не проблема, я уйти.

Весной 1993 года, благодаря сложной цепочке, звеньями которой стали сотрудник Красного Креста из Сараева, телефонистка, двоюродный брат Пронека, живущий во Франции, и один из польских рабочих Збышек, ответивший на телефонный звонок, Пронек узнал, что его родители попали в список людей, которых вот-вот должны вывезти из города с автоколонной.

— Когда? — спросил Пронек у Збышека, чьи голубые глаза, испещренные мелкими кровеносными сосудами, были полны славянского сострадания.

— Он не сказал, — ответил Збышек.

Только тогда Пронек начал беспокоиться за жизнь своих родителей. Внезапно он осознал, что смерть — это конец жизни. Он смотрел Си-эн-эн и видел людей с такими родными лицами, барахтающихся в собственной крови, они молили камеру о помощи, а их культи кровоточили. Иногда те, кто пытался им помочь, падали, сраженные снайперской пулей. Пронек понял: все, что было у этих людей в жизни раньше, не будет иметь продолжения. Даже их страдания закончатся навсегда.

Он объедался "Сникерсами" и "Бейби Рут", пакетами поглощал "Чириос" и "Доритос" и толстел. Он пришел в ужас, когда однажды, идя по улице, понял, что не знает, как по-английски называются деревья и цветы, мимо которых он проходил изо дня в день, — все они были как чистые страницы фотоальбома, из которого убрали фотографии. Он заставил себя смотреть на землю: трещины в асфальте, окурки, сломанные ветки... Он жалел, что не слепой. Его изводил бесконечный насморк, он начал замечать, что постоянно бубнит что-то себе под нос, хихикает и ворчит в ответ собственным мыслям.

Он спал среди банок с краской, вдыхая ядовитые испарения. Поляки решили, что он свихнулся, сбросились и дали ему тридцать три доллара. Он работал помощником парковщика около "Ригли филд"[1], вращая руками, как крыльями мельницы, в день игры, пока однажды не наступило прозрение: он осознал всю бессмысленность своей работы и уволился. Он начал придумывать себе новые образы — был то персонажем мультфильма, то собакой, то сыщиком... Его перестали волновать женщины, и он свел свою личную жизнь к безрадостной мастурбации, даже не утруждая себя фантазиями. После этого он подолгу стоял под душем, пытаясь отдраить себя, но однажды прекратил мыться вообще, вспомнив о перебоях с водой в Сараеве. Он был уверен, что от него несет потом и что люди стараются обходить его на улице стороной и избегают садиться рядом в метро.

В сентябре приехал отец Андреа и торжественно объявил Пронеку, что тому скоро придется съехать с квартиры, поскольку они уже продали ее агенту по недвижимости и ремонт нужно закончить как можно быстрее. Пронек видел, что поляки сочувственно пожимают плечами за спиной отца Андреа, и, с трудом ворочая языком, сообщил, что сейчас он безработный. Отец Андреа сказал, что его жене принадлежит агентство по уборке, которое называется "Дом, чистый дом", и предложил помочь устроиться на работу.

Пронек чудесно поговорил с матерью Андреа. "Я знаю, что вы умеете работать, — сказала она, — такие, как вы, и сделали эту страну великой". Она похлопала его по спине и послала к менеджеру — Стивену Ри, бывшему морскому пехотинцу, который доходчиво объяснил Пронеку, что дуракаваляние с ним не пройдет. У него была бритая голова и волосатая родинка на щеке, издалека похожая на пулевое ранение.

— Пыль — наш смертельный враг, а пылесосы — наши "АК-47", — заявил он, показывая Пронеку его шкафчик, пропахший чьим-то потом.

Как новичка, Пронека поставили чистильщиком туалетов — "главным по дерьму". Он работал неторопливо, беспощадно истребляя любые следы человека. В результате это дело начало ему даже нравиться: работа отгоняла все лишние мысли. Он лишь сосредоточивался на пятнах и волосах, получая удовольствие от их неизбежного исчезновения.

1. Бейсбольный стадион Чикаго.

Весь его мир свелся к пятнышку на зеркале размером с прыщик, которое можно было легко смыть. Закончив уборку, он выходил из сияющей ванной другим человеком, будто сам прошел через какое-то очищение.

В результате он сделался настоящим профессионалом, и его жалованье возросло с шести долларов в час до шести пятидесяти. Вскоре он стал зарабатывать достаточно, чтобы перебраться в квартирку без мебели в Вест-Роджерс- парк[1]. Жизнь проходила словно в каком-то забытье, изредка прерывающемся невольными воспоминаниями. Запах хлорки будил отголоски тех дней, когда он чистил сортиры в армии. Отскребая застывший жир с кухонной плиты, он вспоминал, как шел по Баскарсии[2], а из забегаловок вокруг доносился запах шашлыка. Пыль, поднятая пылесосом, оживляла воспоминания о том, как по субботам мама заставляла его залезать под кровать, чтобы дотянуться до хлопьев пыли, скопившихся вдоль стены. Запах графитово-деревянной стружки от карандашей в мусорной корзине напоминал ему, как еще в начальной школе он делился карандашами с лучшим другом Мирзой.

В конце концов Ри позволил ему работать самостоятельно и отправлял убирать квартиры в парке Линкольна и в "Голд коуст"[3]. Ему нравилось приходить в эти апартаменты, где в воздухе висел запах гелей для душа и дезодорантов, и вытирать пыль с фотографий серых и безжизненных пустынь Анселя Адамса[4] и семейных фото на пианино, пылесосить ковры, растянувшиеся на полу, словно ленивые кошки, и разглядывать на полках книги с названиями вроде "Семь законов духовного развития", "А что внутри? Путеводитель по человеческой душе", "Инвестирование в наши дни", "Клиент"... Он поддерживал здоровье людей, которые никогда его не видели, но регулярно оставляли ему чаевые под вазой для фруктов или на кофейном столике.

Иногда, закончив уборку, Пронек садился в кресло и представлял, будто живет в этом доме. Он видел, как входит в дверь, просматривает сегодняшнюю почту, затем берет большую бутылку шотландского виски и наливает себе щедрую порцию; проверяет сообщения на автоответчике: "Привет! М-м, это Андреа, ты просил перезвонить... М-м, думаю, мы сможем поужинать вместе во вторник... Хорошо бы сходить в итальянский ресторанчик". Затем, отхлебывая виски, он идет к шкафу и вешает на плечики свой синий блейзер, потом включает телевизор, чтобы посмотреть концовку очередного матча "Буллс", и вдруг решает поехать в Уайт-Пиджон[5], штат Мичиган, навестить родителей, хотя и знает, что они довольно быстро начнут его раздражать; после чего он ставит какой-нибудь блюз ("Я лучше ослепну, чем отпущу тебя"[6]) и попивает виски, пока постепенно не проваливается в сон.

Каждое утро Пронек садился на свой единственный стул, ставил на колени миску с кукурузными хлопьями и ел, наблюдая, как солнечный луч карабкается по окну, словно любопытная белка. Каждый день в одно и то же время он отправлялся на работу, захватив бутерброд с копченой

1. Пригород Чикаго.
2. Баскарсия — турецкий квартал в Сараеве.
3. "Голд коуст" — золотой берег (*англ.*), центр города, где расположены самые дорогие квартиры.
4. Ансель Адамс (1902–1984) — известный американский фотограф.
5. Уайт-Пиджон — городок на границе с Индианой, одно из первых поселений в штате. В переводе с английского — белый голубь; назван по имени индейского вождя, чье племя обитало в этих местах.
6. "I'd rather go blind" — песня американской блюзовой певицы Этты Джеймс (р. в середине 30-х годов прошлого века).

колбасой, а потом одним и тем же поездом возвращался домой. Каждый вечер он входил в квартиру и ждал несколько секунд, прежде чем включить свет, давая возможность тараканам разбежаться по темным углам. Осматривал ловушку, где был вчерашний, уже засохший таракан и новенький, тот, что попался сегодня и был еще жив. "Милая, — говорил он, — вот я и дома".

Месяцами он смотрел одни и те же кадры, перемежающиеся жизнерадостной рекламой автомобилей: вот Караджич и Милошевич обмениваются рукопожатием; вот длинными и мрачными колоннами бредут люди с обритыми головами, а их сопровождают солдаты в черных масках с винтовками наперевес; а вот мужчина машет рукой автобусу, в котором женщина, прильнув лицом к грязному стеклу, машет ему в ответ. В конце концов Пронек выключал телевизор, ложился и наблюдал за медленно вращающимся вентилятором на потолке, чьи лопасти напоминали крылья обессилевшей стрекозы.

И пока каждый новый день был похож на предыдущий — его жизнь не кончалась. Родители все еще были живы; они ждали, когда придет автоколонна, с которой они уедут из города и будут двигаться вперед без остановки, пока не достигнут назначенного места.

Томас Ривера

Саламандры

Рассказ

Перевод С. Силаковой

МРАК, грязь, склизкие тела саламандр — вот что осталось в моей памяти от той ночи. Но, чтобы вам было яснее, я лучше начну с самого начала и расскажу, как эти ощущения помогли мне кое-что понять. То, что я постиг тогда, живет во мне до сих пор. Живет не как воспоминание, а как не покидающее меня чувство.

Все получилось из-за того, что три недели шел дождь и работы для нас не было. Значит, собирай вещи и уезжай. Тогда мы жили у одного фермера в Миннесоте — дожидались, пока прекратится дождь, но он все лил и лил. В конце концов пришел фермер и сказал, что в наших же интересах освободить его сарай — все равно свекла уже начала гнить. Мы с отцом поняли, что на самом деле он нас боится. Боится, что мы примемся у него воровать. Или заболеет кто-нибудь, а за лечение придется платить ему, ведь у нас-то денег нет. Мы сказали ему, что денег у нас нет, продуктов тоже и обратно в Техас нам ни за что не добраться. В лучшем случае наших денег хватит на бензин до Оклахомы, но не южнее. А он тут же сказал, что очень нам сочувствует, но все равно просит нас уехать. И мы стали собираться. Когда мы уже выезжали со двора, он расщедрился и дал нам две палатки, все заросшие паутиной, — они лежали у него в сарае на чердаке. Еще дал лампу и немного керосина. И сказал отцу, что если мы поедем через Кристал-Лейк в северной Айове, то на тамошних фермах, может, и найдется работа — вдруг там не было таких сильных дождей и свекла не сгнила. И мы поехали.

В глазах отца и матери я увидел то, чего еще никогда не видел. Какое-то неведомое мне чувство, не оставлявшее места никаким другим. Похо-

© Arte Publico Press, 1993
© С. Силáкова. Перевод, 2003

жее на нежность, но очень печальное. Мы ехали по проселочным дорогам, почти не разговаривая. Казалось, дождь говорит за нас. За несколько миль до Кристал-Лейка мы начали раскаиваться, что отправились этой дорогой. Дождь продолжался, монотонно твердя, что здесь мы работу ни за что не найдем. И был прав. Куда бы мы ни заезжали, фермеры, не открывая нам дверь, только головами качали. Нет работы, никто не нужен. Тогда-то, глядя, как они качают головами, я впервые в жизни почувствовал какую-то стенку между собой и родителями. В мыслях у меня было только одно: а вдруг на следующей ферме все-таки...

В наш первый день в городке Кристал-Лейк все пошло наперекосяк. Когда мы переезжали через глубокую лужу, провода подмокли и мотор заглох. Пытаясь его завести, отец посадил аккумулятор. В конце концов нам из милости зарядили аккумулятор в гараже. Мы расспрашивали насчет работы в разных концах городка, но на нас натравили полицию. Отец объяснил, что мы просто ищем работу, но полицейский сказал, что бродяги ему в городе ни к чему, и велел нам уезжать. Пришлось повиноваться, хотя денег у нас почти не оставалось. Выехали мы в сумерки, а милях в трех от города съехали на обочину и остановили машину. Там нас и застала ночь.

Дождь то переставал, то снова припускал. Мы сидели в машине на обочине, у самого кювета, и почти не разговаривали. Нас мучили усталость, голод и одиночество. Росло ощущение, что мы на свете совсем одни. Глаза отца и матери выражали все то же неведомое мне чувство, не оставляющее места для всех прочих. Целый день мы почти ничего не ели, чтобы сберечь деньги на завтра. Отец пригорюнился и вообще как-то сдал. Он не верил, что мы найдем работу. Так мы и сидели в машине, дожидаясь завтрашнего дня. За всю ночь по этому проселку мимо нас проехали лишь два-три автомобиля.

На рассвете я проснулся. Все спали, и я мог их спокойно рассматривать. Я глядел на мать и отца, на братьев и сестер — тихих, безмолвных. Отлитые из воска лица и тела. Мне вспомнилось лицо деда в гробу. И я испугался, но все же не так сильно, как в тот миг, когда нашел его в грузовике мертвым. Тут я знал: они живые, а не мертвые. Наконец рассвело окончательно.

В тот день мы допоздна искали работу, но так и не нашли. Опять ночевали на обочине, и опять я проснулся спозаранку. И опять увидел всех моих спящими. И в это утро мне наконец стало жутко, но не потому, что они походили на мертвецов, — просто ко мне вернулось чувство, что теперь я им чужой.

На следующий день мы опять допоздна искали работу — и опять напрасно. Ночевали на обочине. И опять я проснулся рано, и опять увидел моих спящими. Но в это утро, мое третье утро здесь, мне захотелось бросить их и уйти — я чувствовал, что стал им совсем чужой.

В тот день около полудня дождь прекратился, выглянуло солнце, и у нас появилась надежда. Через два часа мы повстречали фермера, который был почти уверен, что дождю не удалось погубить его свеклу. Но никаких построек, где мы могли бы ночевать, у него на ферме не было. Он показал нам свекольное поле в несколько акров, все еще затопленное водой, и спросил, согласны ли мы подождать. Когда вода спадет, станет ясно, что там со свеклой, и, если она не сгнила, он заплатит нам за столько акров, сколько мы обработаем, и хорошо заплатит. Вот только жить у него негде, сказал он. Мы сказали, что у нас с собой есть палатки, и, если он позволит, мы поставим их у него во дворе. Но он не позволил. Бы-

ло видно, что он нас побаивается. Нам почти ничего не требовалось, была бы под боком питьевая вода — без воды никак нельзя, а еще мы очень устали спать в машине сидя и, конечно, предпочли бы разбить лагерь под фонарем, который имелся у него на дворе. Но он не желал, чтобы мы маячили у него перед носом. Он сказал: если мы хотим здесь работать, нам придется поставить палатки на дальнем краю поля и там дожидаться, пока вода спадет. И мы поставили палатки на дальнем краю поля и стали ждать. Когда стемнело, мы зажгли в одной из палаток лампу и решили, что уляжемся спать все вместе, а в другую палатку не пойдем. Хорошо помню, как приятно было наконец-то расправить затекшие руки и ноги. Заснули мы вмиг. А потом меня что-то разбудило. Мою руку, как я решил сквозь сон, начал ощупывать кто-то из младших братьев — и вдруг я услышал свой собственный вопль. Отдернув руку, я проснулся и обнаружил, что сжимаю в пальцах саламандру. Я заорал и тут увидел, что все мы прямо покрыты саламандрами, которые пришли с затопленных полей. Все мы закричали благим матом и стали стряхивать с себя саламандр. А потом, светя лампой, начали их убивать. Сначала нас мутило, потому что, когда мы давили их подошвами, из них сочилось молоко. Нам чудилось, что это нашествие, что саламандры решили захватить палатку и отвоевать у нас край поля. Не знаю, почему в ту ночь мы перебили столько саламандр. Гораздо проще было бы поскорее перебраться в машину и там отсидеться. Теперь, спустя много лет, я понимаю, что в нас вспыхнула ярость: мы не желали отдавать эту землю без боя, отвоевывали ее для себя. Отлично помню, как мы начали искать других саламандр, чтобы и их убить. Найти как можно больше и убить как можно больше. Помню, с каким удовольствием я, высоко держа лампу, выслеживал их и убивал медленно-медленно. Наверно, я был зол на них за то, что они меня напугали. В ту ночь я перестал ощущать себя чужим среди братьев, сестер и родителей.

От той ночи в моей памяти остались прежде всего мрак, грязь и склизкие тела саламандр, которые почему-то становились ужасно твердыми, когда я силился выдавить из них жизнь. И во мне всегда живо то, что я увидел и постиг, когда убил последнюю саламандру, — потому, наверно, и не забываю ту ночь. Поймав саламандру, я поднес ее к лампе и внимательно рассмотрел. И, прежде чем убить, долго-долго смотрел ей в глаза. То, что я увидел в этих глазах, до сих пор со мной. Это было чувство, не оставляющее места для всех прочих, — чувство близости смерти.

Хулия Альварес

Йо!

Главы из романа

Перевод и вступление С. Силаковой

Роман Хулии Альварес "Йо!" состоит из коротких главок-новелл, в каждой из которых свой повествователь. Люди это совершенно разные, но объединяет их одно — знакомство или родство с главной героиней Йоландой, которую все называют американизированным уменьшительным именем "Йо". Мать, двоюродная сестра, лучшая подруга, квартирная хозяйка и даже неизбежный персонаж современной американской литературы — заочно влюбившийся в героиню маньяк — как бы пишут сочинения на тему "Йо в моей жизни". Разумеется, каждый видит ее по-своему. Самой героине писательница так и не предоставляет слова, и это, на мой взгляд, далеко не случайно. На родном языке писательницы и героини — испанском — "yo" означает "я", что недвусмысленно указывает на автобиографичность книги. Можно вспомнить в этой связи и известный философский каламбур-парадокс: "Can the eye see itself?". Слова "eye" ("глаз") и "I" ("я") по-английски звучат совершенно одинаково. Соответственно, каламбур можно перевести двояко: "Может ли глаз увидеть себя со стороны?" либо "Может ли "я" увидеть себя со стороны?". Так и Хулия Альварес предпочитает описывать — порой жестко и нелицеприятно — свою alter ego с чужой точки зрения.

Мы выбрали для публикации две главы — одну из начальных и заключительную. В первых главах книги Йо — девочка, увезенная родителями из Доминиканской Республики в США. Она выросла, долго искала свое место в жизни: поступала в аспирантуру и бросала, влюблялась и рвала отношения, а еще занималась тем, что любила с самого детства: рассказывала истории, только теперь уже на бумаге, в форме литературных произведений. После всех метаний и мытарств Йо обретает счастье в браке, а затем, после публикации романа, основанного на истории ее

© Julia Alvarez, 1997
© С. Силакова. Вступление, перевод. 2003

рода, к ней приходит и писательская известность. Правда, мать и сестры ужасно на нее обиделись за разглашение фамильных тайн...

Моему Papi

Мать

СКАЖУ вам все как есть. Когда мы сюда приехали, труднее всего оказалось привыкнуть не к зиме, которой меня дома все запугивали, а к английскому. Если тебе вдруг понадобится вконец сломать себе язык, попробуй сказать самую простую вещь — "Я тебя люблю" или "Карл у Клары украл кораллы" — по-английски. Очень долго я думала, что американцы умнее нас, латинов, — иначе как бы они могли объясняться на таком заковыристом языке? Но потом я поменяла мнение и теперь считаю: если выбирать изо всего множества языков, какие есть на свете, только дурак сам согласится на английский.

Но, наверно, у каждого в нашей семье была какая-то своя всем трудностям трудность. Карлосу пришлось в сорок пять лет начинать с нуля — добиваться лицензии, завоевывать доверие пациентов в незнакомом городе. Моя старшая, Карла, на стенку лезла оттого, что перестала быть всезнайкой: американцы-то, само собой, знали свою страну лучше. Санди поумнела и похорошела, а думаете, легко обнаружить, что ты — принцесса, когда ты только что лишилась своего королевства, своего родного острова? Маленькая Фифи пришлась тут ко двору, как песчинка на пляже; если ей что и было трудно, так это выслушивать, как остальные ноют и жалуются. Ну а Йо? Честно сказать, для нее не было ничего тяжелее, чем поневоле торчать у меня на глазах.

На острове наша семья не была, как здесь говорят, "нуклеарной": это когда всей семьи — папа, мама да дети. Кстати, слово очень меткое. "Нуклеарная" — это же от "нуклео" — "ядро". Ядерная семья — и верно, ничего хорошего не выйдет, когда куча похожих, как капли воды, норовов заперта в тесной взрывной камере. Нет, мы жили целым кланом. У девочек была своя шайка двоюродных братьев и сестер, и они обычно носились между домами под присмотром — если это можно так назвать — целой стаи тетушек и нянек, они же горничные, которые подтирали нам попки, когда мы пешком под стол ходили, а теперь утирали старческие слюни старикам и старухам, которые наняли их полвека назад. Поводов с кем-то сцепляться никогда не возникало. Не ладишь с матерью? У тебя еще есть две сестры, один зять, трое братьев и их жены, тринадцать племянников и племянниц, твои собственные муж и дети, две сестры твоей бабушки, отец, дядя — старый холостяк, тугая на ухо бедная родственница и маленькая армия прислуги — и все помогают тебе отвлечься и служат буфером между вами. И если у тебя все-таки вырвется: "Ах ты стерва!", то пока эти слова доберутся до твоей матери, они превратятся во что-нибудь вроде: "Надо бы добавить еще щепотку перца".

Так оно было со мной и Йо.

Там эту девицу воспитывали в основном горничные с няньками. Похоже, с прислугой ей нравилось якшаться больше, чем с родней, и, будь у Йо кожа потемнее, я бы решила, что мое дитятко подменили в колыбели. Правда, иногда у нас с ней до стычек все-таки доходило — столкнове-

нию двух таких сильных характеров не всегда могут помешать даже три-четыре десятка человек.

Но тогда у меня была в запасе одна уловка, которую я применяла не только к Йо, но и ко всем моим девочкам, чтобы призвать их к порядку. У меня это называлось "надевать медведя". Если честно, ко времени нашего отъезда эта уловка перестала срабатывать, а здесь удалась всего раз, и то по чистому недоразумению.

Началось все с самой невинной затеи. Мама отдала мне норковую шубу, в которой обычно ездила в Америку – когда-то они с отцом частенько вырывались в Нью-Йорк отдохнуть от диктатуры. Я хранила ее в дальнем углу кладовки, надеясь, что когда-нибудь мы сбежим из ада, в котором живем, и я в этой шубе буду гулять на воле. Часто я подумывала ее продать – я же вышла замуж не за богача, и денег нам вечно не хватало.

Но всякий раз, когда я уже решалась ее продать... не могу передать, что со мной делалось: я зарывалась носом в этот щекочущий мех, который еще хранил запах маминых духов. Воображала, как иду по Пятой авеню, а в витринах магазинов мерцают огоньки и летят снежинки, красивые-красивые, – и просто не могла расстаться с шубой. Вновь натягивала на нее пластиковый чехол и думала: "Погожу еще немного".

Как-то под Рождество я подумала, что хорошо бы нарядиться для всей нашей уймы детей. Я набросила шубу себе на голову, так, чтобы немножко было видно лицо, – в остальном же мех закрывал меня по самые щиколотки. Придумала сказку: Санта-Клаус, видите ли, не смог вырваться к нам с Северного полюса и прислал вместо себя одного из своих медведей.

Едва мои девочки и племяшки меня увидели, как устроили настоящий бедлам. Завизжали и врассыпную. Никто ни за что не соглашался подойти ко мне за подарком. Наконец, Карлос изобразил, будто выгоняет меня шваброй, и, убегая, я уронила свою наволочку с гостинцами. Спустя несколько минут, когда я вернулась назад, уже в праздничном платье из красного органди, девочки бросились ко мне: "Mami! Mami! El cuco приходил!". El cuco – это такое гаитянское чудище; я им говорила: "Будете плохо себя вести – придет el cuco и вас утащит".

– Правда? – спрашиваю и делаю удивленное лицо. – А вы что сделали?

Девочки переглянулись. Глаза у них были огромные-огромные. Что они могли сделать – только удирать от чудища, которое слопало бы их вместе с игрушками. Но тут Йо пропищала:

– Я его побила и прогнала!

Теперь понимаете? Прямо божье наказание, а не ребенок. Часто я лила на этот язычок соус "Табаско", надеясь выжечь ложь, которая текла изо рта этой девицы просто-таки бесконечным потоком. Для Йо "разговаривать" значило "проверять, какие еще выдумки сойдут безнаказанными". Но на дворе был сочельник, и диктатура, казалось, отошла очень-очень далеко, в книжку сказок о чудищах, и Карлос был такой красивый в своей белой гуайавере, вылитый богатый плантатор с американской рекламы сигар или кофе. Да и своей маленькой выдумкой я была довольна.

С тех пор, особенно когда я слышала, что дети ссорятся, я набрасывала ту шубу себе на голову и с уханьем выбегала в коридор. Врывалась в их комнату, размахивая руками, выкрикивая их имена, – а они с визгом прижимались друг к дружке, тут же забыв про ссору. Я приближалась к ним шаг за шагом, пока они не оказывались на грани истерики. Мордаш-

ки у них бледнели, глаза широко раскрывались от ужаса. Тогда я сбрасывала с себя шубу и воздевала кверху руки:

— Это я, ваша mami!

Но еще с минуту, отлично видя, что это я, они не решались подойти.

Не знаю, может, нехорошо было это делать. На третий или четвертый раз я добивалась уже другого — хотела проверить, есть ли у моих девочек хоть капля соображения. Должны же они разгадать мой обман, думала я. Но нет, всякий раз они попадались на удочку. Меня уже начало бесить, что мои дочки такие тупые.

И вот наконец до Йо дошло. Ей было, наверно, лет пять или шесть — точно не скажу, все эти годы перемешались, как кусочки старого паззла, и теперь я даже не могу определить, что за картинка должна была из них получиться. Как обычно, я с ревом вбежала в спальню девочек. Но на этот раз Йо оторвалась от общей кучи, подошла прямиком ко мне и потянула шубу с моей головы. "Вот видите, — сообщила она, обернувшись к остальным. — Я же вам говорила: это просто mami".

Меня ничуть не удивило, что именно она додумалась первой.

Вернувшись в свою комнату, я стала было убирать шубу в кладовку — и вдруг заметила, что там кто-то рылся. Мои туфли были разбросаны по полу, одна шляпная коробка перевернута. А кладовка у нас была не совсем обычная. Раньше это был короткий коридор между нашей спальней и кабинетом Карлоса, но мы заделали его с обеих сторон так, чтобы получилась кладовка, в которую можно попасть из обеих комнат. Почти всегда она была на замке, ведь там мы хранили все, что имели ценного. Наверно, в глубине души мы с Карлосом всегда знали, что однажды нам придется срочно бежать с острова, а значит, деньги и ценности надо держать под рукой. Потому-то я и страшно разнервничалась, когда заметила, что в нашем тайнике кто-то копался.

Но тут меня осенило, кто этот взломщик — Йо! Утром я видела ее в кабинете Карлоса — она листала медицинские книги, с которыми отец позволял ей играть. Верно, оттуда она и прокралась в кладовку, а там выяснила, что шуба — это просто шуба. Я уже собралась позвать ее и хорошенько приласкать по попе, но тут обратила внимание, что половицы со стороны кабинета, видимо, кто-то поднимал, а затем неаккуратно вставил обратно. Включив фонарик, я проползла под висящей одеждой, потянула одну из этих половиц на себя... Пришла моя очередь бледнеть: под ней, завернутое в мое лучшее полотенце, лежало внушительного вида ружье.

Сами понимаете, когда Карлос вернулся, я пригрозила уйти от него немедленно и в чем стою, если он не расскажет мне, что затеял. И узнала больше, чем желала бы.

— Ничего страшного, — твердил Карлос. — Сегодня же переправлю его в другое место, вот и все.

И переправил: завернул в мою шубу и положил на заднее сиденье бьюика, точно все-таки собрался эту злосчастную норку продать. Поздно ночью он вернулся с перекинутой через руку шубой, и только на следующее утро, вешая ее в шкаф, я обнаружила на подкладке масляные пятна — точь-в-точь засохшая кровь.

После этого я натурально спятила. На ночь глушила по четыре таблетки снотворного, чтобы на несколько часов забыться тревожным сном. С утра унимала дрожь валиумом. Наша жизнь с Карлосом превратилась в сущий ад, ведь я была вся на нервах. И самое ужасное, буквально каждый день после обеда меня начинала мучить мигрень. Приходилось лежать с мокрым полотенцем на лбу в нашей тесной, душной

спальне с закрытыми жалюзи. Из далекого далека, из детской, слышались вопли, и я прямо убивалась, что больше не могу одеться медведем и запугать их до полного онемения.

В те дни мою бедную, изнывающую от боли голову посещали самые разные тревожные мысли. Одна из них неотвязно стучала молотком в висках: Йо рылась в той кладовке, Йо рылась в той кладовке. Если она видела спрятанное ружье, то непременно кому-нибудь расскажет — вопрос только когда. Мне уже представлялось, как симовцы[1] врываются в наш дом и тащат нас к машине. Однажды, когда мне стало совсем невмоготу, я вскочила с кровати, высунулась в коридор и крикнула: "Йо! Немедленно сюда!"

Она, верно, решила, что ей сейчас всыплют за все эти шумные свары, которые они устраивали у себя в спальне. Спеша ко мне по коридору, она уже начала оправдываться, что оторвала Фифиному пупсику голову только потому, что Фифи сама об этом попросила. "Помолчи-ка, — сказала я, — у меня к тебе другое дело!" Она так и замерла. Застыла на пороге, оглядывая мою спальню так, словно заподозрила: медведь — это не просто мама в шубе.

Я прочла ей маленькую лекцию сладким голосом — так разговариваешь с младенцами, а сама их поглаживаешь, пока глазки не сомкнутся. Я сказала, что Papa Dios видит с неба душу каждого из нас насквозь. Он знает, когда мы поступаем хорошо и когда плохо. Когда мы врем и когда говорим правду. Я сказала, что Он мог бы попросить нас делать все, что только ему будет угодно, но из ста миллионов разных правил выбрал всего десять священных заповедей, которым мы должны повиноваться. И одна из этих заповедей: "Почитай отца твоего и мать твою", а значит она, что им нельзя врать.

— Так что всегда-всегда-всегда говори своей mami правду, — и я подарила ей широченную улыбку, на которую она ответила улыбкой кривенькой и узенькой.

Она знала, что я к чему-то веду, и сидела на кровати, уставившись на меня. Как она увидела сквозь мех свою мать, точно так же теперь она смотрела сквозь свою мать и видела перепуганную женщину внутри. Глубоко вздохнув, я сказала:

— А теперь, cuca[2], золотко мое, mami попросит тебя рассказать, что ты видела, когда на днях лазила в кладовку.

— В большую кладовку? — спросила она, указывая на бывший проход между нашей спальней и кабинетом Карлоса.

— Точно, — подтвердила я. В голове у меня стучала молотками мигрень, возводя свой огромный дом боли.

Она поглядела на меня так, будто не сомневалась: признание, что она копалась без спросу в родительских вещах, навлечет на нее целую кладовку и еще маленькую тележку неприятностей. Пришлось мне поклясться, что, если она на сей раз скажет правду, мы с Господом Богом ее щедро наградим.

— Я видела твое пальто, — сказала она.

— Очень хорошо, — сказала я. — Об этом и идет речь. Что еще ты видела в кладовке у mami?

1. Сотрудники СИМ — так в Доминиканской Республике в годы диктатуры Трухильо называлась тайная полиция. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Зд.: милая, дорогая (*исп.*).

— Твои смешные туфли, — продолжала она. Так она называла мои кожаные туфли, украшенные крохотными дырочками.

— Отлично! — сказала я. — Умница ты моя. А еще что?

И так она перебрала всю кладовку — составила полную опись моего гардероба. Господи, подумала я, еще лет десять, и ее в СИМ работать возьмут. Я лежала и слушала — что мне еще оставалось? Если она и вправду ничего не заметила, зачем наводить ее на лишние мысли? Язык у этой девицы был отсюда и до Китая, да не прямиком, а в обход, дорóгой Колумба.

— А пол? — спросила я как дура. — *В полу* ты что-нибудь видела?

Она помотала головой, но я почувствовала: она что-то скрывает. Я опять стала втолковывать ей про десять заповедей и про "не солги матери твоей", но так и не выжала из нее никаких дополнительных сведений, разве что про мои носовые платки с монограммами ну и конечно же про мои чулки в пластмассовой шкатулке с ребристой крышкой. В конце концов я взяла с нее обещание, что если она вспомнит что-нибудь еще, то пусть придет и скажет только mami — больше никому. "Это будет наша маленькая тайна", — шепнула я ей на ухо.

Перед тем как выскользнуть за дверь, она обернулась и сказала занятную вещь:

— Mami, медведь больше не придет.

Словно выдвигала свое условие нашей сделки.

— Cuca моя, золотко, — сказала я. — Помни, это твоя мама играла в медведя. Это была просто глупая шутка. Но медведь больше не вернется, правда-правда. Договорились?

Она согласно кивнула.

Как только в двери лязгнула защелка, я уткнулась лицом в подушку и заревела. Голова разрывалась от боли. Как горько не иметь ни красивых вещей, ни денег, ни свободы. Как противно быть заложницей собственного ребенка — но с того дня все обитатели нашего дома стали заложниками ее молчания.

Когда рассказываешь истории, становишься немножко волшебником. Просто скажи: "А потом мы оказались в Соединенных Штатах", и благодаря этому "а потом" вы разом перепрыгнете еще через четыре года бесследных исчезновений друзей, бессонных ночей, домашнего ареста, чудом удавшегося побега, "а потом" вы имеете двоих взрослых и четырех маленьких ревушек в тесной сумрачной квартирке недалеко от Колумбийского университета. Наверно, Йо удержала язык за зубами, иначе никакое волшебство не помогло бы нам избежать застенков, о которых мы талдычили чиновникам иммиграционной службы, чтобы нас не выслали обратно.

Полной уверенности, что нам разрешат остаться, не было — и это вначале было тяжелее всего. Даже проблемы с английским тогда казались каплей в дырявом ведре. Только позже я рассудила, что для меня лично нет ничего труднее, чем английский язык. Но поверьте, тогда, в первые дни, у меня и так забот был полон рот, не хватало еще разбираться, какие среди наших невзгод самые тяжкие.

Карлос ходил мрачный. У него из головы не шли compañeros, оставшиеся на родине. А я его все время спрашивала, что еще он мог сделать — остаться погибать вместе с ними? Еще он зубрил до белого каления — готовился к экзаменам на врача. Жили мы как мыши на мели, обходились остатками наших скромных сбережений, а никаких новых поступлений не предвиделось. Меня тревожили приближающиеся холода: детям понадобится теплая одежда, а как я ее куплю?

А девочки ссорились и ныли — только этого мне и не хватало. Каждый день один и тот же вопрос: "Когда мы вернемся домой?" Теперь, когда мы были уже далеко и я не боялась, что они проболтаются, я пыталась объяснять. Но они, похоже, решили, что я им зубы заговариваю, чтобы заставить слушаться. Дают мне договорить, а как только умолкну, заводят прежнюю песню. Им хотелось вернуться к своим подружкам, дядюшкам, тетушкам и горничным. Я надеялась, что, когда начнутся уроки в школе, они придут в норму. Но миновали сентябрь и октябрь, ноябрь и декабрь, а они все еще видели кошмарные сны и целыми днями канючили, что хотят домой. Домой. Домой. Поедем домой.

Мне оставалось одно: запирать их в кладовках. Квартира была старомодная, вся в кладовках — глубоких, со стеклянными ручками и замочными скважинами на дверях; через такие скважины в мультфильмах всегда сыщики подсматривают. В скважины вставлялись ключи: огромные, железные, с рукоятками в форме лилий. Темницами всегда служили одни и те же четыре кладовки: маленькая в спальне девочек и большая в нашей, третья в коридоре — там хранились швабры — и четвертая, с одеждой, в гостиной. Я хватала первую попавшуюся девицу за плечи, загоняла в первую попавшуюся кладовку и там оставляла.

Клянусь, подолгу я их там не держала. Ходила от двери к двери, точно священник на исповеди, суля выпустить их, как только успокоятся и пообещают жить в мире и согласии. Не знаю уж, как вышло, что Йо не попадала в кладовку с одеждой до того раза, о котором я сожалею до сих пор.

Я посадила их всех под замок и начала обход. Первой выпустила младшую, потом старшую — та, как всегда, вышла, оскорбленно задрав нос. Потом Санди. Подхожу к двери Йо — а она не отзывается. Тут я перепугалась и мигом распахнула дверь. Она стояла, вся белая от страха. И — ай, как мне стало совестно! — в обмоченных штанишках.

В той кладовке висела проклятая норковая шуба — в дальнем углу, но конечно же, Йо, несмотря на темноту, взялась и тут шарить-рыскать. Должно быть, ощутила под рукой мех — и с перепугу ума лишилась. Иди пойми почему: она уже вроде бы знала, что ничего ужасного этот мех не означает, шуба и шуба. Может быть, она связывала шубу со мной, а тут такое дело: я за дверью, снаружи, а Йо внутри, наедине с чудищем, которое, оказывается, увязалось за нами из самой Доминиканской Республики.

Я поскорее выволокла ее из кладовки и повела в ванную. Она не плакала. Нет — просто тихо стонала. Так стонут дети, уходящие глубоко-глубоко в себя в поисках матери, которой ты не сумела для них стать. Пока я пыталась ее отмыть, она повторяла только одно:

— Ты же обещала, что медведь больше не вернется.

У меня у самой слезы навернулись на глаза.

— Вы, девочки, и есть медведи на мою голову! Зря я думала, что все наши беды кончатся, когда мы сюда попадем. — Я навалилась грудью на бортик ванны, уперлась в него лбом и зарыдала.

— Ау, mami, ау, — подхватили три мои остальные дочери: они заглянули в ванную посмотреть, что случилось. — Мы будем хорошо себя вести, правда-правда.

А Йо, думаете, что? Она выпрямилась, схватила полотенце и с обиженным лицом выскочила из ванны. Отбежала от меня на безопасное расстояние и выкрикнула:

— Не хочу я жить в вашей чокнутой семье!

Даже тогда она всегда норовила оставить последнее слово за собой.

Не прошло и недели, как мне звонит школьный соцработник, Салли О'Брайен ее звали, и просит разрешения посетить наш дом. Едва положив трубку, я принялась допрашивать моих девиц: что они такого сказали этой даме? Но они все поклялись, что ничем не провинились. Я их предупредила: если соцработник даст нам плохую характеристику, нас вышлют назад на остров, и тогда-то el cuco и медведи покажутся плюшевыми игрушками по сравнению со зверями из СИМ, которые растерзают нас там на части. Потом я их отправила нарядиться в одинаковые платьица в горошек, которые я им сшила ради переезда в Штаты. А сама сделала то, чего еще ни разу не делала за все наши шесть месяцев здесь, — выпила таблетку валиума, чтобы произвести хорошее впечатление на гостью.

Вот она входит, высокая дама с длинной светлой косой, в немодном костюме и черных туфлях с перепонкой на плоской подошве — школьница, наряженная старушкой. Лицо у нее милое, ненакрашенное, а глаза такие голубые и честные, что сразу ясно — худших сторон этого мира они еще не видывали. В руках портфель, украшенный узором из сердечек. Из него она достает узкий желтый блокнот, на первой странице которого уже написана наша фамилия. "Вы не против, если я иногда буду делать записи?"

— Нет, конечно, миссис О'Брайен. — Замужем она или нет, я не знаю, но прикидываю: лучше к ней подольститься и предположить наличие мужа, даже если его нет.

— А ваш супруг к нам присоединится? — спрашивает она, оглядывая комнату.

Я примечаю, на что направлен ее взгляд: наверняка она проверяет, чисто ли у нас, есть ли условия для того, чтобы растить здесь четырех девочек. За дверью кладовки-гардероба, которую я забыла прикрыть, чернеет зловещая тьма — прямо застенок.

— Мой муж только что получил лицензию врача. Поэтому он работает больше, чем Бог, каждый день, даже в воскресенье, — добавляю я, а она записывает все в блокнот. — Для нас это было трудное время.

Я решила не прикидываться, будто в Америке мы как сыр в масле катаемся, хотя, верьте не верьте, таков был мой первоначальный план — чтобы показаться попатриотичнее.

— Наверное, это для вас большое облегчение! — говорит она, кивая головой и глядя на меня. Когда она говорит, то словно бы вкладывает ребенку в руку погремушку и смотрит: что ребенок теперь будет делать?

Я трясу погремушку, сильно трясу, добросовестно.

— Мы наконец-то свободны, — говорю я ей. — Благодаря великой стране, которая предоставила нам грин-карту. Назад нам возвращаться нельзя, — добавляю я. — Это обязательно будет смерть.

Панически заморгав, она что-то записывает.

— Я читала в газетах, — говорит она и перекидывает косу со спины на грудь. На вид она женщина не очень нервная, но косе своей просто покоя не дает — теребит постоянно, словно деньги за это получает. — Но неужели все и вправду так плохо?

А я, не сходя с места и на своем ломаном английском, который обычно разламывает мои великие мысли на мелкие кусочки, вываливаю на нее все детали происходящего на острове: в дома врываются, людей уводят, застенки, пытки электрошоком, травля собаками, вырывание ногтей. Слегка увлекшись, сама изобретаю несколько пыток — но симовцы до них и без меня наверняка додумались. Слушая меня, она все сильнее

морщится и наконец прижимает ладони ко лбу, будто заразилась моими мигренями. И говорит шепотом:

— Какой ужас. Наверное, вы страшно переживаете за остальных своих родственников.

Не полагаясь на свой голос, я только киваю.

— Но вот чего я не понимаю: почему девочки все время говорят, что хотят вернуться? Что, там было лучше?

— У них тоска от дома... — поясняю я, но чувствую: говорю что-то не то.

— Тоска по дому, да, — поправляет она.

Я киваю.

— Они дети. Они не видят леса под деревьями.

— Понимаю, — она произносит это так сердечно, что я уже не сомневаюсь: она и впрямь понимает, хотя глаза у нее голубые и неискушенные. — Они не могут знать, какие ужасы пережили вы с мужем.

Я пытаюсь удержаться от слез, но, конечно, они льются сами собой. И ни за что не догадаться этой даме, что плачу я не просто из-за разлуки с родиной, не только о том, что мы уже потеряли, но и о том, что можем утратить в будущем. Лишь теперь, когда из-под нас, как фундамент из-под дома, выдернули наш клан, я впервые испугалась, что наша маленькая семья из шести человек тоже развалится.

— Понимаю, понимаю, — повторяет она, пока я вновь не овладеваю собой. — Нас просто очень тревожит, что девочки так тоскуют. Особенно Йоланда.

Так я и знала!

— Она рассказывала какие-нибудь байки?

Дама медленно кивает.

— Ее учительница говорит, что она обожает рассказывать. Но кое-какие вещи, которые она рассказывает, э-э-э... — Дама вздыхает. Забрасывает за спину косу, будто хочет избавить ее от этих неприятных известий. — Сказать по чести, они несколько настораживают.

— Настораживают? — переспрашиваю я. Я знаю, что значит это слово, но в устах миссис О'Брайен оно звучит еще хуже.

— О, она упоминала о вещах... — дама делает неопределенный жест рукой. — О вещах в духе тех, о которых вы рассказали. О том, как детей запирают в кладовках и обжигают им рты щелоком. О медведях, которые раздирают младенцев на части.

Тут она на миг замолкает — наверно, увидела, какое у меня стало лицо.

— Меня это совершенно не удивляет, — поясняет дама. — Точнее, я даже рада, что она выговаривается, освобождается от своих страхов.

— Да, — говорю я. И внезапно начинаю завидовать своей дочери, у которой хватает духу говорить о том, что ее пугает. Сама я не могу найти для этого слов в испанском языке, а не то что в английском. Мои чувства передает — и то не до конца — только рев медведя, за которого я себя выдавала.

— Йо — это всегда сплошные истории, — произношу я как обвинение.

— Ну что вы, вам следует ею гордиться, — говорит дама, выставляя вперед косу — точно оружие для защиты Йо от меня.

— Гордиться? — переспрашиваю я, не веря своим ушам, и уже готовлюсь обрушить на нее все детали паззла "Я и моя семья", ознакомить ее с полной картиной. Но тут же одергиваю себя: зачем зря стараться?

Разве этой дамочке с детскими глазами и милой улыбкой понять, кто я такая и каково мне пришлось в жизни? И вообще-то слава богу, что не

понять. Слава богу, что люди знают нас только частично, знают только то, что мы сами пожелаем им о себе рассказать. Поглядите на миссис О'Брайен. Внутри этой немолодой женщины сидит нервная, теребящая косу девочка. Но как эта девочка там застряла и где ключ, чтобы выпустить ее наружу, — вряд ли даже она сама сможет ответить...

— Кто знает, откуда у Йо эта потребность сочинять, — говорю я наконец, потому что не знаю, что еще сказать.

— Вы мне очень помогли, Лаура, — говорит дама, поднимаясь из-за стола. — И знайте: если мы сможем для вас что-нибудь сделать, понимаете, чтобы вам легче было освоиться, вы не стесняйтесь, пожалуйста, звоните. — И дает мне маленькую визитку, совсем не такую, как у нас на родине. На наших визитках изысканным золотым шрифтом печатают полные имена — считай, всю нашу славную родословную. А это просто белая картонка с черными буквами: фамилия, должность, название школы и телефон.

— Разрешите, я позову девочек сказать вам "до свидания".

Она улыбается, когда они выходят в своих красивых отутюженных платьях, приседая, как я их научила. И пока она наклоняется, чтобы пожать каждой из них руку, я скашиваю глаза на ее блокнот на журнальном столике и читаю, что она там написала: "Травма—диктатура—крепкие семейные узы—самоотверженная мать".

На миг мне кажется, будто я получила отпущение грехов, будто все наши прошлые и грядущие страдания — на совести диктатуры. Я знаю, что в будущем стану рассказывать об этих трудных годах именно так: как мы жили, дрожа от страха, как это отразилось на психике моих девочек, как по ночам я вставала проверить, хорошо ли они укрыты, а они вскрикивали от одного моего прикосновения.

Но вы за нас не переживайте. Не пройдет и года, как товарищи моего мужа по подполью расстреляют диктатора. Девочки начнут тараторить по-английски так, словно знают этот язык с рождения. Что до норки, то я обменяю ее в секонд-хенде на Пятой авеню на четыре детских пальтишка. По крайней мере, в свою первую зиму здесь мои дети не замерзнут — а, как меня все пугали, в этой стране нет ничего страшнее зимы.

Отец

Из моих четырех дочерей мне всех ближе Йо — и так было с ее рождения. Жена говорит, это потому, что мы с Йо два сапога пара, и при этом постукивает себя по лбу. Но дело совсем в другом.

Йо смотрит на меня, и я понимаю, что ее взгляд проникает далеко-далеко в прошлое, добирается до того мальчишки в коротких штанах — меня, — который тянул руку в хибарке из пальмовых стволов — нашей школе. "Какого цвета волосы у Бога?", "Вычти из суммы ее тень, а затем помножь на ее отражение — что получится?" Это сыплет своими безумными вопросами наш учитель, именующий себя профессором Христиано Просвещенным. Вскоре после того как я перешел в школу третьей ступени, учителя забрали в дом умалишенных, где он питался размятыми бананами, спал на соломе и упражнялся в математике, считая звезды. Но я хочу подчеркнуть другое: изо всего класса один я поднимал руку, вызываясь ответить на эти невозможные вопросы.

И Йо видит эту вытянутую руку, когда смотрит в мои глаза. Так что судьба меня наградила — а отчасти и покарала — ребенком, которому от-

крыты все тайники моего сердца. Впрочем, пора бы и перестать звать ее "ребенком", ведь она взрослая женщина и уже начинает внутренне готовиться: глядя на меня, все отчетливее видит свежую яму на горном кладбище неподалеку от города, где я родился, и блеск реки за кронами деревьев.

Она пишет мне одно-два письма в неделю. Иногда вкладывает в конверт какую-нибудь старую черно-белую фотографию с фестончатыми краями — можно подумать, воспоминания заслуживают того, чтобы их покрывали кружевными салфетками. Шестьдесят лет назад молодой красавец и его барышня сидят в баре за столиком с целой толпой друзей. Йо лепит к оборотной стороне фотографий цветные бумажки, которые, похоже, изобретены специально для нее — они и называются-то "Листки для заметок", а эта вострушка вечно все замечает, — и пишет на них: "Где сделан снимок? Что это за девушка с тобой рядом? Ты ее вправду любил?" Разит этого молодого красавца не в бровь, а в глаз!

Я рассказываю ей почти все, о чем она просит. Просеиваю прошлое у себя в голове через сито здравомыслия и, если ничего опасного не нахожу, вручаю ей полную чашу своей жизни — пусть пьет на здоровье. Кое-какие мелочи остаются на частой сетке моего сита, и я их опускаю или упоминаю вскользь. Но вот приходит следующее письмо — форменный допрос: "Papi, ты пишешь, что был вынужден бежать с острова из-за своего участия в революции 1939 года, а в книге об этом событии нет ни слова. Ты описываешь больницу, где работал, — бревенчатый дом на озере Абитиби в провинции Квебек, но я посмотрела по карте: озеро Абитиби находится в провинции Онтарио. У тебя просто память шалит, или ты все выдумал, а если выдумал, то зачем?"

Приходится долго объясняться, просеивать все заново. И так до следующего письма. Опять начинаю разъяснять и постепенно вообще прекращаю контролировать свои слова. А когда спохватываюсь — я ей, оказывается, уже рассказал всю историю целиком, то, чем вообще не желал делиться ни с ней, ни с кем другим. "Ой ли? — спрашиваю я себя. — Неужели, Карлос, тебе не хочется, чтобы, пока ты еще жив, люди узнали доподлинную правду о тебе? Наверно, Йо видит это мое самое сокровенное — и самое сильное — желание, потому и не устает допытываться".

Вдруг письма перестают приходить. Сначала я решаю, что она очень занята — тут и писательство, и преподавание, и новый муж, очень милый человек. Но проходят две недели, потом третья, а писем с моими любимыми несусветными вопросами все нет и нет. Я спрашиваю у жены — она уже разговаривает с Йо, простила ее за ту последнюю книгу, — спрашиваю: "Как дела у нашей Йоли?" Из нас двоих девочкам всегда звонит жена — каждую минуту по всякой малости: узнать, удалось ли прикрыть окно, которое заклинило, не подгорел ли рисовый пудинг. Обычно жена передает мне трубку после того, как вдоволь наговорится, и мне остается только буркнуть: "Ну, мама уже все тебе рассказала, так что я просто попрощаюсь". Но в случае Йо — из-за этой нашей переписки — я всегда мотаю головой, когда жена указывает мне на телефон.

— Дуг говорит, она загрустила, — сообщает жена. — Вроде бы она ходила в колледже на лекцию какого-то знаменитого критика, и тот сказал, что шестидесятники, которые так и не обзавелись детьми, совершают генетическое самоубийство.

— Зачем на такие лекции ходить? — спрашиваю я. Иногда мне кажется, что мои дочки никогда не используют свои мозги по назначению — чтобы отличать вредное от полезного, — а только для пустых умствований.

— Papi, не могла же она заранее знать, что этот человек скажет. В общем, Дуг говорит, у нее депрессия. Наверно, оттого, что Санди родила, — мысли всякие одолели. Она все твердит Дугу: "Про нерожавших женщин в Библии сказано, что на них лежит проклятие".

Покачав головой, я произношу:

— Ну, это преувеличение.

Вот самая безопасная отговорка в беседе с человеком, ссылающимся в оправдание своих слов на Библию. Но затем, поразмыслив, я понимаю: будь я женщиной, будь я на месте Йо, я испытывал бы те же самые чувства. Агрегат имеется, а воспользоваться им ни разу не удалось — разве это не грустно? Все равно как допустить, чтобы часть твоего организма отсохла.

И я пишу ей письмо. "Дочка, твой отец тобой очень гордится. Ты создала книги для будущих поколений".

Я не выдаю ни словом, что знаю о ее переживаниях. Просто пытаюсь сформулировать похвалу так, чтобы она поняла: ее книги — это ее дети, а для меня внуки.

Днем она звонит мне в oficina — я туда все еще хожу на пару часов. "Ау, papi, только что получила твое письмо". В ее голосе пробиваются слезы. Я встаю и прикрываю дверь. Начинаю беспокоиться, что ее милый муж, возможно, не такой уж милый. У меня, как-никак, четыре дочери, сколько раз за все эти годы мне приходилось, зажав сердце в кулак, выслушивать дурные новости...

— Твои слова мне очень помогли, — говорит она. — Прости, что в последнее время я тебе не очень аккуратно пишу. Я что-то раскисла.

Тут она принимается плакать и рассказывать мне про Библию и про знаменитого критика — все смешивает в одну кучу, и, если бы жена меня заранее не ввела в курс дела, я бы решил, что критик — это какой-то знаменитый герой Библии. Я пытаюсь ее утешить — предлагаю решить проблему так, как положено у нас на родине, то есть вызываюсь взять дубинку и перебить этому типу ноги. Но она только сильнее расстраивается.

— Ау, papi, что ты говоришь. Он тут ни при чем. Я просто начала сомневаться, понимаешь, по верному ли пути пошла. Может быть, я совершила ужасную ошибку?

— У каждого из нас свое призвание, — говорю я ей. И она мгновенно замирает, затаив дыхание: слышит в моем голосе то, что мы различаем, когда люди говорят от самого сердца, говорят о том, что вправду знают. — Вспомни, как твой отец в тридцать девятом поневоле сбежал в Нью-Йорк без гроша в кармане.

— Я думала, ты сбежал в Канаду. Я думала, у тебя были сбережения — двести пятьдесят долларов.

— Тут другое важно: я считал, что больше никогда уже не буду врачом. Все образование пошло прахом. Но медицина — mi destino[1]. На несколько лет она ушла из моей жизни — а потом вернулась и стала моей жизнью навсегда. Что до тебя, дочка, — добавляю я, пока она так внимательно слушает, — твое destino — рассказывать истории. Это удача — суметь воплотить в жизнь свое destino.

1. Мое призвание, моя судьба (*исп.*).

– Но многие и пишут, и детей растят одновременно.

Тут я говорю то, что мы всегда говорим своим детям.

– Ты – не "многие".

– Но как я могу быть уверена, что это мое destino? Тебе легко – жизнь тебя убедила, что ты не ошибся в себе. Но, знаешь, люди часто впадают в самообман.

Ох уж эти депрессивные "но", сшибающие своими рожками все то, за что мы хватаемся, пытаясь себя приободрить.

Если эти "но" набирают силу, поделать уже ничего нельзя – как хорошо понимал мой старый учитель – и остается только одно: подсказать магический выход, против которого не может быть возражений. И я говорю Йо, что, когда мы увидимся в День Благодарения, она получит от меня мое отцовское благословение.

– Это тоже из Библии, – напоминаю я ей. – Родительское благословение – вот что снимает проклятие сомнений.

– Ты меня хочешь благословить? – восхищенно вскрикивает она. Эта моя дочь предпочтет получить в наследство благословение вместо дома в Сантьяго. Вместо акций "Кока-колы".

Я ее поправляю:

– Все вы, девочки мои, получите мое благословение. Но тебя я хочу благословить особо.

– Возложением рук мне на голову, да? – голос у нее повеселел. – И разверзнутся небеса, и будет свыше глас: "Се моя возлюбленная Йо, угодившая моему сердцу"?

– Что-то в этом роде, – поддакиваю.

И повесив трубку, начинаю мысленно репетировать сцену благословения. Чтобы Йо в него поверила, его нужно претворить в историю. Значит, я расскажу ей историю о том, как мне впервые открылось, что ее destino – рассказывать истории. Ей было тогда пять лет. Эту историю я держал в тайне, потому что она легла неизгладимым пятном на мою совесть. Мы жили в страхе, и я поступил так, как поступил, со страху. Я выпорол ее. Я велел ей больше никогда не рассказывать историй. Наверное, из-за этого она так и не поверила в свое призвание, и поэтому я должен вернуться в прошлое, швырнуть ремень на пол и просто положить руки ей на макушку. Я должен сказать ей, что поступил неправильно. Снять с нее тот давний запрет.

С матерью моих девочек я познакомился на одиннадцатом году своей эмигрантской жизни в Штатах. И это тоже было моим destino. Двоюродный брат пригласил меня на ужин, который давал один его знакомый в "Уолдорф-Астории". Сначала мне не очень-то туда хотелось. Что делать мне, политэмигранту, на ужине в шикарном отеле среди моих соотечественников-толстосумов, прикативших прошвырнуться по нью-йоркским магазинам? Но я все-таки пошел. Десять лет вдали от дома, знаете ли! Я истосковался по звукам нашего креольского испанского, по вкусу ромового пунша и коктейля "Умереть с мечтой", по красоте наших женщин. Видно, мои принципы притупились, наткнувшись на каменную стену одиночества. В общем, я пошел, а там, пересиживая все танцы, сморкаясь в чужой носовой платок, скучала прелестная сеньорита – о, оазис среди пустыни! – а у меня был как-никак не один, а целых два диплома врача. Хотя диагноз я мог поставить и без диплома: острый катар верхних дыхательных путей. Весь вечер мы проговорили о ее симптомах, и я позволил себе наглость под предлогом составления анамнеза выяснить о ней все, что только возможно.

Тут я умолкаю — жена не хочет, чтобы я о ней рассказывал. Говорит, что стоит мне выболтать эту историю, как Йо тут же ее запишет. Итак, я ничего не скажу обо всех записочках, которыми мы обменивались, о том, как крепла наша любовь, как я называл ее "mon petit chou"[1] — так зовут своих милых французы; как ее мать меня не одобряла — ведь я не из хорошей семьи; зато отца я вполне устраивал: он считал, что мой характер — лучшая родословная; как моя будущая жена вернулась в Доминиканскую Республику из своей безбожно затянувшейся поездки по магазинам; как разлука источила сердца нам обоим; как ее мать наконец смилостивилась и согласилась на наш брак; как мы поженились и я вернулся на остров, чтобы жить под крылом ее могущественной семьи; как у нас родились четыре дочки.

Всё — теперь можно выполнить желание моей жены и позволить ей скрыться за завесой анонимности. Время от времени мне придется выводить жену на сцену — кто еще будет произносить ее реплики? — но, щадя ее чувства, я постараюсь делать это пореже. Вообще-то я пытался ее переубедить, повторял ей то, что Йо пишет мне во всех письмах: "Какой смысл кутаться в молчание, точно в саван? В могиле все равно замолчишь навеки".

Но такие разговоры у нас всегда выливаются в ссору. Жена кричит, что я заодно с Йо. А потом заявляет: "На моей могиле, кроме имени и дат жизни, напишите только одно: 'Мать четырех дочерей. Наконец-то покой'. В этих словах вся моя жизнь". По-моему, слова "Наконец-то покой" нехорошо высекать на надгробии. Не к лицу такие слова усопшим. Не тот тон. Но она настаивает. Правда, про эту эпитафию жена заговаривает только тогда, когда мы спорим о Йо и ее историях. Надеюсь, когда пробьет час, жена согласится на другую, чуть более лестную для нее самой и всех нас: "Возлюбленная супруга, обожаемая мать, дорогая бабушка, отзывчивое сердце".

Вскоре после нашего переезда на остров я вновь наладил связи с подпольщиками. Несмотря на показную демократизацию, благодаря которой меня и амнистировали, на деле ничего не изменилось. Говоря по чести, если и изменилось, то к худшему. Была создана тайная полиция — СИМ: по самым пустяшным поводам людей гребли направо и налево, и больше их живыми никто не видел. Один наш сосед обронил при свидетелях: "Эти чертовы бобы все дорожают, надо что-то делать". Не прошло и дня, как его подняли со дна реки Осама — с тряпичным кляпом во рту и бетонной плитой, привязанной к ногам.

Иногда я сам сомневаюсь насчет своих воспоминаний — не перепутал ли чего? Наверно, тут не только в старости дело — просто я много раз читал об этих годах у Йо и наверняка кое-где подменяю факты ее художественным вымыслом. Нередко я замечаю подмены только тогда, когда встречаюсь со старыми товарищами по подполью. Я кого-нибудь спрашиваю: "Максимо, hombre[2], помнишь тот потайной шкаф, который ты мне помог соорудить в нашем новом доме?" А Максимо смотрит на меня косо и бурчит: "Карлос, ты давно свой уровень холестерина проверял?"

Но я действительно стал подпольщиком. И втянул в это дело кое-кого из родственников жены. И в меру своих скромных сил боролся с режимом. Но я был очень-очень осторожен, ведь я знал, что за мной, за амнистированным эмигрантом, следят. Я не вызывался участвовать в

1. Душенька (*франц.*).
2. Зд.: приятель, старина (*исп.*).

крупных операциях. Но если кому-то, пробирающемуся к западной границе, требовалось где-то переждать ночь, я предлагал свой дом. Когда нужно было распространить изданные за границей брошюры, я проделывал это через больницы, где работал. Я регулярно встречался с приятелями в баре на Малеконе, и мы обсуждали планы решающего удара. А еще я незаконно хранил оружие. Правда, врать не буду: я прятал ружье не для того, чтобы застрелить диктатора. Нет. Просто мне нравилось охотиться на гвинейских курочек в горах близ Харабакоа. Крестьяне, которых я бесплатно лечил в сельских больницах, из благодарности указывали мне лучшие места. Но охотиться с пневматическим пугачом, какими только и разрешалось пользоваться при тогдашнем режиме, — небольшое удовольствие. Так что я держал свое ружье 22-го калибра, хорошо смазанное и полностью готовое к стрельбе, в тайнике под половицей в моей части кладовки.

Я говорю "в моей части", потому что кладовка имела две двери — в нашу спальню и в мой кабинет. Это было надежное хранилище, поскольку в мой кабинет не допускался никто — даже прислуга. Жена сама там прибиралась под тем предлогом, что дон Карлос не любит, когда копаются в его вещах. Именно в кабинете мы уединялись, чтобы поговорить о семейных проблемах. За всем домом я уследить не мог, но эту комнату осматривал постоянно и мог быть уверенным: в ней полицейских "жучков" нет.

Туда-то и забредала моя маленькая Йо. Часто я обнаруживал ее под столом с какой-нибудь моей медицинской книгой. Ей нравилось перелистывать полупрозрачные страницы анатомических атласов, раздевая человека до кости: снимала с него сначала кожу, потом кровеносную систему, потом мышцы, а затем, когда оставался один скелет, проделывала все в обратном порядке, вновь облекая его плотью. Ее занимали фотографии больных с редкими болезнями, и она гордилась, что ее papi может вылечить человека от всех бед, которые только поджидают на свете. "Мой papi может все! — хвасталась она двоюродным братьям. — Он может вставлять глаза! Он может сделать так, чтобы дети вылезали из животика!" Это было наивное, трогательное благоговение — одна из самых прелестных черт, свойственных нашим детям, пока они не превращаются в подростков — а подростки не могут стать взрослыми людьми, пока нас не уничтожат.

Как-то я спросил ее, почему она так интересуется больными.

— Зачем такая красивая девочка здесь скучает? Иди-ка лучше на улицу, поиграй с ребятами.

Она подняла на меня глаза, и даже тогда я почувствовал, что она видит все тайные закоулки моей души.

— Я тут не скучаю, — сказала она серьезно.

— А что ты говоришь? — Я заметил, что, перелистывая страницы, она шевелит губами, что-то нескончаемо бормочет.

— Я рассказываю больным дядям и тетям истории, чтобы они выздоровели.

Мое лицо просияло: я понял, что мой ребенок унаследовал веру в чудеса, которой я заразился от своего старого учителя.

— И какие же истории ты рассказываешь пациентам papi?

— Да те, из книжки.

Сестра моей жены привезла девочкам из Нью-Йорка книгу сказок и время от времени читала им ее вслух. Речь там шла о девице в маленькой шапочке, бриллиантовом лифчике и широченных штанах, которая была заточена в спальне султана и рассказывала ему истории, чтобы оттянуть

свою смерть. Я знал, что должно случиться перед тем, как ей отрубят голову, и не считал эту книгу подходящим чтением для моих малюток. Я пожаловался жене на ее сестру, но жена сказала, что это знаменитое литературное произведение и что образование еще никому не повредило. Я мог бы ей назвать три или четыре десятка наших знакомых, которые пропали без вести оттого, что слишком много знали, но в те годы моя жена и так была вся на нервах. Пока мы спустя пять лет не эмигрировали в Штаты, она не могла сомкнуть глаз без двух-трех таблеток снотворного.

Всякий раз, когда мы заставали Йоли в моем кабинете, жена рвалась наказать ее за непослушание, но я, против своего обыкновения, за нее вступался. "Может быть, — говорил я, — destino нашей девочки в том, чтобы стать врачом, нужно ее поддерживать". И мы разрешили ей заходить в мой кабинет и смотреть книги, но брать не больше одной зараз и с моего одобрения. Том о заболеваниях половых органов я засунул на верхнюю полку, до которой Йо не доставала, даже стоя на цыпочках на столе.

Но, как всегда бывает, когда запретный плод перестает быть запретным, Йо стало неинтересно исследовать мою библиотеку. Правда, была еще одна причина — новое увлечение. В доме нашего соседа по кварталу, генерала, появился маленький черно-белый телевизор. До того я видел телевизор раз в жизни — много лет назад на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке. Теперь они поступили в продажу. Точнее, наши власти разрешили ввезти в страну около ста телевизоров, которые разошлись среди разных важных шишек.

У нас телевизора не было. Родители жены — люди вполне состоятельные — могли бы его купить, но не захотели тратиться на бесполезную игрушку, ведь смотреть было почти нечего: телеканал один, да и то государственный, жестко контролируемый властями. Каждый день шли часовые новости из Национального Дворца — в основном, как мне говорили, речи El Jefe. Сам-то я видел этот ящик только один раз, когда заходил за девочками к генералу. Генерал и его жена — оба люди пожилые — были сама любезность. Своих детей они никогда не имели, и моих четырех девиц баловали почем зря. Но я знал от товарищей по подполью, на что способен генерал Молино, и потому, когда он дружески обнял меня, я почувствовал, что волосы у меня на загривке встают дыбом, как у насторожившейся собаки.

Больше всего мои девочки любили смотреть американские ковбойские фильмы, дублированные, надо полагать, совершенно глухими переводчиками. Спустя много лет, посмотрев фильм о героическом псе Рин-Тин-Тине в испанском варианте, я чуть не лопнул от смеха. Актеры шевелили губами невпопад. Лай раздавался спустя несколько секунд после того, как Рин-Тин-Тин закрывал пасть. То же самое с выстрелами: злодей хватался за окровавленный бок и оседал на землю, взметая облако пыли, и только потом вы слышали: "Пиф-паф". Но мои девочки обожали ковбоев и каждую субботу ходили к генералу смотреть эти дурацкие фильмы.

Подробности того, что приключилось в доме генерала в одну из суббот, перемешались в моей голове. Как я уже говорил, воспоминания для меня вроде постыдной тайны, а в историях, которые отказываешься рассказывать, все путается. В общем, всякий раз, как я начинаю припоминать факты, они располагаются в новом порядке. Иногда в памяти всплывает вечернее платье моей жены из красного органди — именно оно было на ней в тот субботний вечер, когда нянька Милагрос привела девочек от генерала. А иногда — доносы и аресты, на которые тот год не

скупился, ведь власти предоставили симовцам полную свободу рук. А иногда я вновь вижу слегка выпирающие половицы — такие, какими я их увидел в одно субботнее утро, когда, готовясь к воскресной охоте, полез за своим противозаконным ружьем.

Коробка с медицинскими книгами, прижимавшая ту самую половицу, была сдвинута в сторону. Книги в ней лежали большие, не помещавшиеся на полках, и, поскольку в них было много картинок, я предположил, что в коробке рылась Йо. Половицу подняли, а потом не слишком аккуратно — я бы такой неряшливости никогда не допустил — вставили на место. Но сверток с ружьем лежал, как нетронутый, и, хватая ртом воздух, чтобы унять бешеный стук в висках, я сумел убедить себя, что мне ничто не угрожает. Моя тайна не раскрыта. Однако для верности ружье нужно куда-то сплавить: а вдруг симовцы все же придут с обыском?

Жена как-то дозналась о ружье — или я ей сам сказал? Как бы то ни было, она сделала вывод, что я опять связался с подпольщиками. И потеряла покой. Целыми днями, мучаясь от предчувствий и ужасной мигрени, лежала пластом. С нами вот-вот расправятся! СИМ уже у дверей! К утру мы будем на дне реки! Она была на грани истерики, и это в первую очередь сказывалось на детях. Похоже, особенно часто доставалось Йо — ей приказывали переодеться в пижаму и не высовывать носа из детской за прегрешения, которые мне казались совсем пустяшными.

Чаще всего она расплачивалась за свой язычок, с которого так и слетали всякие истории. Однажды — теперь-то я могу над этим смеяться — ее дедушка и бабушка поехали в Нью-Йорк. Они часто туда ездили под предлогом какой-нибудь болезни, которую могут вылечить только американские доктора. И вот моя Йо раззвонила прислуге, что дедушку с бабушкой забрали, чтобы отрубить им головы. Пока мы всех убедили, что это не так, кухарка сбежала, боясь поплатиться жизнью за то, что готовила для изменников.

— Больше не смей такое болтать! — кричала жена, дергая Йо за руку.

Теперь-то и жена поняла, сколько вреда от той книги с дурацкими сказками. Дело было даже не в самих историях, а в привычке их рассказывать, которую наша маленькая Йо переняла от девицы в лифчике и широких штанах.

Но вскоре после той дикой выдумки Йо выкинула всем фортелям фортель. Был субботний вечер. Мы собирались на вечеринку к нашему родственнику и соседу Мундо. Вечеринка у Мундо — значит, будут музыканты, еды до отвала, танцы до упаду, и как минимум один гость спьяну прыгнет в бассейн, пытаясь доказать, что умеет ходить по воде. Мы одевались, а девочки тем временем досматривали ковбойский фильм у генерала. Жена надела платье из красного органди, которое не доставала со дней "Уолдорф-Астории", и вдруг вновь обернулась той простуженной сеньоритой. Впервые за долгое время она расслабилась и расшалилась. Сказать по чести, мы воспользовались тем, что дома пусто, мирно и спокойно, — забрались под одеяло и познакомились заново. А когда уже собирались выходить, услышали, что к дому подходят девочки с Милагрос.

Они с топотом влетели в спальню, прежде тихонько постучавшись — мы их научили, что так поступают воспитанные люди. Только они, конечно, всегда забывали про второй этап: после стука надо дождаться разрешения войти. Лишь Йо — сразу бросилось мне в глаза — замялась в дверях.

— Как дела, моя маленькая doctora? — поддразнил я ее, ведь настроение у меня было отличное и я был доволен всеми моими девочками-красавицами.

Тут-то Карла и выпалила:

— Ау, papi, ты бы слышал, что Йо сегодня выдала!

— Ага, — подтвердила Санди. — Генерал Молино ей сказал, чтобы она никогда-никогда таких вещей не говорила!

У моей жены вся кровь отхлынула от лица, и пятна румян неестественно запылали на щеках. Поразительно ровным голосом она произнесла:

— Иди скажи своей mami, что ты сказала генералу Молино.

Тут в дверях возникла Милагрос с дико выпученными глазами и, покосившись на Йо, нервно затрясла головой:

— Донья Лаура, что же это за ребенок такой! Ну я вам скажу: сама не пойму, что за бес у нее во рту сидит. Dios Santo[1], сохрани нас и помилуй, с этой девчонкой нас всех к стенке поставят.

Йо изумленно уставилась на нас — похоже, до нее наконец-то дошло, что рассказом можно не только вылечить, но и убить.

Долго нам пришлось успокаивать перепуганную старуху, прежде чем мы вытянули из нее, что случилось. Дело было, видимо, так: генерал с женой, Милагрос и девочки смотрели ковбойский фильм. Йо сидела на коленях у генерала — это меня удивило, ведь Йо в отличие от сестер всегда его сторонилась. Вернувшись домой, она вечно говорила, что у генерала слишком много колец на пальцах, и они царапаются, что он ее слишком много щекочет и делает ей больно, подкидывая на колене. Как бы то ни было, в эту субботу, когда ковбой вскинул к плечу винтовку, чтобы перестрелять бандитов, генерал начал приговаривать: "Ай, посмотри, какое большое ружье!" — а сам тыкал Йо указательным пальцем в разные места. Тут-то Йо и похвасталась по-детски: "А у моего papi ружье больше!" "Да?" — переспросил генерал.

Тут Милагрос, если ей верить, сделала страшные глаза и даже попыталась взглядом затолкать Йо эти слова обратно в рот. Но не тут-то было. Стоит Йо вжиться в очередную историю, как ее уже не остановишь. "Да, у моего papi много-много больших ружей, они спрятаны там, где их никто не найдет". — "Да?" — еще раз переспросил генерал.

— Дон Карлос, лицо у него стало белое, как вон та простыня у вас на кровати.

— Хорошо, Милагрос, продолжай.

— И тут эта девчонка говорит: мой papi, говорит, поубивает из этих ружей всех плохих людей. А генерал говорит: каких это плохих людей, а эта говорит: плохого султана, который правит страной, и всех стражников, которые охраняют его в большом дворце. Тогда генерал говорит: Йо, это ты так шутишь. А эта так поглядела — сами знаете, как она может глянуть, — и кивнула так серьезно, как только вруны кивают, и говорит: нет, поубивает, и El Jefe тоже, и, может, даже вас, если вы от меня не отстанете со своей щекоткой.

Моя жена испустила вопль, каких я в жизни не слыхал. В глазах моих детей молнией блеснул ужас. Три безвинные жертвы заревели. Виновница попыталась выбежать за дверь.

Но Милагрос схватила ее за руку и подвела ко мне.

— Милагрос, — сказал я, — отведи, пожалуйста, остальных детей помыться.

Девочки, однако, прижались к матери, которая сидела на краю кровати и рыдала, прикрыв лицо руками. Поскуливая, они твердили, что не

1. Зд.: Господи Боже (*исп.*).

хотят никуда идти с Милагрос. Под конец мне пришлось встать, снять ремень и пригрозить им всыпать, если они не перестанут плакать и не отправятся мыться. Надо сказать, что угрозу всыпать я никогда не выполнял – дальше слов не заходило.

Когда дверь за ними захлопнулась, мы взялись за Йо, точно бригада следователей. Что именно она сказала генералу? "Ничего", – вопила она, обливаясь слезами. Ничего она ему не говорила. "Давай начнем сначала, – сказала жена голосом, в котором смешались гнев и страх. – Или ты хочешь, чтобы papi тебе всыпал так, что никогда не забудешь?"

Но, сами понимаете, ребенок есть ребенок; как только Йо дали понять, что она сделала что-то ужасно нехорошее, она слишком перепугалась, чтобы говорить правду, и лишь повторяла с нашего голоса, что мы ей подсказывали.

А мы и сами очень испугались. Нам уже слышался сиплый кашель мотора "фольксвагена", удары рукоятками револьверов в дверь, крики банды громил, которые, заполонив дом, расшвыривают вещи пинками. Мы даже продумали все последствия – решили не ходить к соседям на вечеринку, чтобы не впутывать родных жены. Мы уже видели, как нас – меня и жену в платье из красного органди, которое вдохновит этих подонков на бог весть какие зверства, – вталкивают в черный "фольксваген", как надрываются от крика дети, взятые в заложники, чтобы добиться от меня показаний.

И все из-за выдуманной ребенком сказки, черт подери!

По-моему, тогда-то я и понял, что ребенка придется проучить.

Мы отвели ее в ванную и включили душ, чтобы заглушить крики. "Ау, papi, mami, пожалуйста, не надо", – рыдала она. Жена держала ее, а я все хлестал и хлестал ремнем, сдерживая себя – а то бы я ее вообще убил, – но достаточно сильно, чтобы на попке и ногах остались следы. Я словно забыл, что она ребенок, мой ребенок, и думал лишь об одном: предательницу нужно заставить замолчать. "Попомни, – повторял я, – чтобы больше у меня не смела истории рассказывать!"

Она уткнулась в колени матери, готовясь к очередному удару ремня. Она всхлипывала, ее узкие плечики тряслись. Мне тоже хотелось плакать.

Но страх пересилил во мне стыд. Я помчался из ванной в свой кабинет, где хранилась та самая улика – ружье. Сделав вид, будто меня срочно вызывают в больницу, сел в машину и отвез ружье домой к одному compañero. Имени этого человека я по сей день не разглашаю – наверно, по сохранившейся со времен диктатуры привычке, когда мы сами себе были цензорами. Вот что я, кстати, все время втолковываю моей Йо – она должна понять мать и меня. Когда Йо пишет книгу, то ничего страшнее ругательных рецензий ей ждать не приходится. А нам слышатся вопли избиваемых людей, мерещится тормозящий у дома симовский черный "фольксваген" и вся семья под конвоем...

Та ночь была, наверно, самой длинной в моей жизни. Вернувшись, я застал жену сидящей на краешке кровати и раскачивающейся взад-вперед. Шли часы, а мы ждали в темной спальне, приподнимая жалюзи всякий раз, как с дороги доносился шум проезжающей машины. У соседей заиграл ансамбль, раздались ликующие крики и плеск воды в бассейне. Около одиннадцати явилась соседская горничная: дон Мундо спрашивает, куда мы провалились. Жена придумала какую-то отговорку: у нее болит горло, я на срочном вызове. Глаз мы не смыкали. Когда рассвело и стало ясно, что симовцы вряд ли придут, жена задремала. Должно быть,

старый генерал решил счесть услышанное просто глупой выдумкой ребенка.

Когда страх немного отступил, у меня проснулась совесть. Я прошел по коридору в спальню девочек, где в своей кровати лежала спящая Йо, посасывая палец. Волосы у нее слиплись в колтун на макушке. Ночь была душная, она сбросила с себя простыни, и на ее ногах виднелись уродливые отметины. Я присел на край ее кроватки и попытался заговорить, но так и не смог. Казалось, наложив на нее запрет открывать рот, я и на себя его наложил.

Наверно, она почуяла во сне, что рядом кто-то есть, потому что зашевелилась — проснулась. Приподняв голову, присмотрелась ко мне — и на ее лице не радость выразилась, а ужас. Когда я протянул к ней руку, она отпрянула, а когда я силой усадил ее к себе на колени, начала плакать.

Возможно, я еще тогда сказал ей, что papi ужасно стыдно за все содеянное. Не знаю. В моем воспоминании об этих минутах слова отсутствуют. Я прижимаю ее к себе, а она плачет, потом ослепительная вспышка — и сорок лет пролетели, и она на другом конце провода, срываясь на плач, спрашивает: "Это точно, что рассказывать истории — мое destino?"

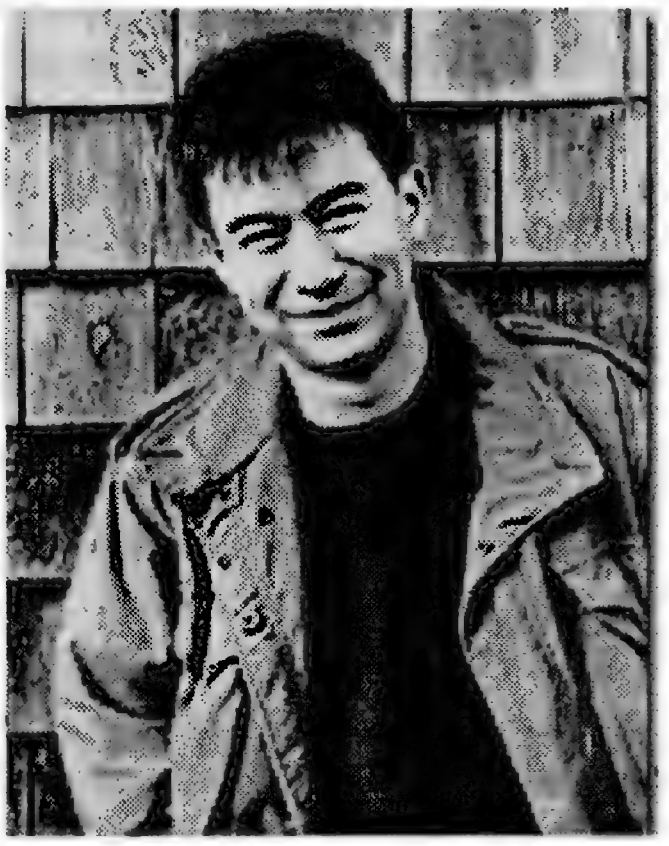
Я обещал благословить ее, чтобы рассеять сомнения. Рассказать историю, которая ничем не грешит против фактов, историю, в которой нельзя ничего переиначить. Но я могу дополнить эту историю своим собственным вымыслом — чему-чему, а этому я у Йо научился. Новым концом, продиктованным всем тем, что я знаю теперь.

Давайте вернемся в тот день. Войдем в маленькую облицованную зеленым кафелем ванную, где в будущих историях появится вымышленный потайной шкафчик позади унитаза. Я включаю душ. Жена садится на унитаз, чтобы подержать Йо. Знакомая картина: связанный Исаак на камне и отец его Авраам, заносящий острый нож. Я замахиваюсь ремнем, но тут, как я уже говорил, пролетают сорок лет, и моя рука нежно опускается на седеющую голову моей девочки.

И я говорю:

— Дочка, будущее наступило, а мы в него так торопились! Мы все бросили, мы столько всего перезабыли. Теперь наша семья без роду без племени. Не зная ее истории, мои внуки и правнуки так и не отыщут дороги назад. Расскажи им о нашем пути. Расскажи им о тайнах души своего отца во искупление грехов давно минувших лет. Моя Йо, прими свое destino. Прими мое благословение и передай потомкам.

Питер Хо Дэвис



Загробная жизнь

Рассказ

Перевод А. Соколинской

В ночь перед похоронами отца плакальщики сидели за столом из красного дерева и играли в покер. Лим выигрывал.

Играть они стали, чтобы не заснуть во время бдения у гроба. Еще в начале вечера Панг вытащил из кармана белого траурного костюма новенькую колоду и спросил у Лима позволения. "И духу развлечение, — он показал на гроб, — будет заглядывать в наши карты".

Лим начал выигрывать, когда за окном стало светать, и выигрывал час или больше подряд. Ему было неловко. Первое время игроки тихонько переговаривались между собой, затем умолкли. Лиму хотелось встать и уйти, но не хватало духу. Только он говорил себе, что пора, как, открыв карты, обнаруживал два туза, либо джокер, либо четыре карты одной масти — что-нибудь чересчур хорошее, чтобы так просто выйти из-за стола. Он принялся блефовать, вздувая ставки, в надежде, что противники раскусят его маневр, но те, видимо, уже боялись его везения. Даже если кто-то из них продолжал торговлю, Лим все равно брал банк.

Он глядел в карты, развернутые веером, и думал о гробе, стоявшем за спиной. Похороны Лим решил устроить по высшему разряду. Отец был владельцем китайской газеты, самой старой на Западном побережье. На следующий день после его смерти (старик Лим скончался от повторного инсульта) Лим на роскошном "кадиллаке" медленно пробирался по улочкам Чайна-тауна, направляясь к пересечению Джэксон и Поуэлл, где располагалась похоронная лавка мистера Панга.

Магазин помещался на втором этаже кирпичного здания складского типа напротив старинного храма Кун-цзы. На верхней площадке лестницы в ярко освещенном стеклянном шкафу сверкали погребальные деньги — красные с золотом бумажки, сложенные в тугие аккуратные пачки.

© 2000 by Peter Ho Davies
© А. Соколинская. Перевод, 2003

Через неплотно прикрытую дверь за шкафом Лим увидел белую бумажную мебель, за ней — развешенные по стенам бумажные костюмы; они понадобятся для погребального костра. Обратившись в дым и золу, все это поднимется на небеса, и отец в загробной жизни будет обеспечен не хуже, чем в земной.

Хозяин магазина мистер Панг сидел за длинным столом и мастерил из тонких бамбуковых реечек каркас для дома. Позади него стоял чан с кипятком, в котором мокла связка бамбука. С проволочных крюков над столом свешивались листы рисовой бумаги, слегка шевелящиеся на сквозняке, которым тянуло из дверей. В магазине было жарко. Панг был в одних шортах и майке, бритый череп над очками-полумесяцами поблескивал в ярком серебристом свете лампы. При виде входящего Лима он поднялся из-за стола, вытер руки о тряпку и извинился за духоту. "Включил обогреватель, чтобы бумага просохла, — сказал он, соскребая клей с кончиков ногтей. — Работать, конечно, тяжело".

Он провел Лима в заднюю комнату, служившую одновременно и складом, и демонстрационным залом. Она была вся заставлена белыми бумажными домами и машинами, в глубине белели мебельные гарнитуры. Предметы плохо сочетались друг с другом: мебель вряд ли прошла бы в дверь, автомобили почти доставали до крыш домов. Во всем этом было что-то игрушечное, напоминающее Лиму детство — он расхаживал среди вещей словно великан. Вот так, думал он, выглядит загробный мир.

При помощи Панга он выбрал самый красивый дом, с балконом и верандой, затем бумажный автомобиль чуть ли не в натуральную величину с кузовом типа "седан" и эмблемой "мерседеса" из соломинок. Панг одобрительно кивнул и вышел на лестницу, чтобы позвать помощника, — вещи нужно было перетащить в другой конец магазина. Дверь распахнулась, послышались приглушенные звуки ударов и бормотанье — по телевизору шел какой-то боевик, — и на пороге возник здоровенный парень. Панг сделал нетерпеливый жест, показал подбородком на то, что выбрал Лим, раздраженно шикнул, когда парень потянулся не за той вещью. Лим наблюдал, как дом, а затем и машина взмыли под самый потолок и поплыли к выходу. Возле дверей бумага затрепыхалась и затрещала; молодой человек расставил ноги пошире и под недовольное шипение Панга ловко протиснулся в дверной проем.

Потом они пошли к мебели. Лим выбрал самые лучшие столы и стулья, не забыл и про телевизор с видеомагнитофоном. Он отобрал едва ли не половину склада, и Панг отправился оформлять заказ. Оставшись один, Лим стал бродить между домами для покойников. Взглянув поверх плоских крыш, он заметил подростка — нет, это уже молодой человек, решил Лим, — который закуривал сигарету. Спичка медленно догорала в его руке, а он все смотрел на желтое пламя, пока не обжег себе пальцы. Почувствовав, что за ним наблюдают, юноша окинул Лима безучастным взглядом и жестом предложил сигарету. Лим помотал головой. Послышались приближающиеся шаги Панга, и Лим двинулся ему навстречу.

— Это все ваша работа? — спросил он, просматривая перечень, который ему протянул старик. — Или что-то сделал ваш ученик?

— Все мое, — ответил Панг. — Сын у меня больше по типографской части. Печатает бумажные деньги.

Лим купил несколько миллионов долларов, отобрав самые красивые золотые купюры.

Пока Панг считал на счетах, Лим хвалил его изделия. Темные костяшки мерно постукивали в белизне лавки. Во всей этой процедуре и нето-

ропливой деловитости хозяина было что-то умиротворяющее. "Грустно, должно быть, видеть, как твои труды гибнут в огне?"- спросил Лим. Панг кивнул, не поднимая головы. Он дважды перепроверил цифры, затем назвал цену. Сумма получилась солидная, но Лим, не торгуясь, вытащил бумажник и стал отсчитывать купюры. Всякий раз, когда банкнота касалась стола, Панг моргал. Затем, аккуратно собрав деньги, сунул пачку в карман.

— Примите мои соболезнования, — произнес он. — Ваш отец был выдающимся человеком.

Лим сказал, когда нужно будет доставить покупки на кладбище, и поблагодарил хозяина. Он было собрался уходить, но задержался в дверях:

— Не подскажете, где можно нанять профессиональных плакальщиков?

Панг задумался.

— Это очень древний обычай, — сказал он.

Лим следил, как Панг легонько барабанит по счетам; костяшки бесшумно съехали на один край, уничтожив следы подсчетов.

— Я был бы весьма признателен... — начал Лим.

— Когда-то этим занимались мои родственники, — медленно проговорил Панг. — Ладно, попытаюсь кого-нибудь для вас подыскать.

Лим поблагодарил Панга за заботу.

Накануне похорон в дом на Даймонд-хилл, где в одной из комнат, отгороженный ширмами, стоял гроб, съехались друзья и родные. Гроб был закрыт, и мать Лима положила на крышку фотографию покойного в золотой рамке. Это был старый снимок из фотоателье, на котором был запечатлен цветущий юноша в черном костюме и узком галстуке, с блестящими, как у кинозвезды, волосами. Фотография была сделана еще до рождения Лима, и тот с трудом узнал отца.

— Совершенно на себя не похож, — посетовал он.

— Как это не похож? — возмутилась мать. — Вылитый ты сейчас.

Еще до прихода гостей явился мистер Панг и с ним трое мужчин: двое стариков, его двоюродных братьев — один прежде держал бакалейную лавку, другой работал мясником, — и его здоровяк сын. Сын Панга помог перенести любимый стул покойного ближе к гробу; старики тем временем накрывали на стол: они выставили любимые фужеры старого Лима, достали его любимые сигареты марки "Лаки" и бутылку "Курвуазье". Панг наполнил коньяком рюмку, зажег сигарету и положил ее куриться в нефритовую пепельницу — пусть духу будет приятно. Лим показал, где отец хранил спиртное и блоки сигарет, которые привозил, когда по делам летал на Тайвань. "Дьюти фри", — пояснил он сыну Панга, тихонько присвистнувшему при виде такого изобилия. Плакальщики пообещали, что будут зажигать новую сигарету примерно раз в полчаса.

Повар уже закончил готовить любимые блюда старого Лима — их принесли в комнату и расставили возле гроба. Лим заметил красноперого окуня, пойманного и замороженного еще при жизни отца. На старости лет тот неожиданно увлекся рыбалкой. Лиму вспомнилось, как однажды они вместе ездили на риф Даксбури — хотели наловить полосатых окуней, но попадались одни ерши. Отец бросал их обратно в воду, а они опять заглатывали наживку. Погода стала портиться, сгущался туман, но без окуня отец ни за что не хотел возвращаться домой. А клевали по-прежнему ерши. Тогда, словно в каком-то затмении, отец достал перочинный нож и принялся ослеплять ершей — вырезал им глаза и швырял за борт. "Неповадно будет жрать мою приманку". Лим отвер-

нулся, но не сказал ни слова. Он перегнулся через борт и устремил взгляд на темную воду, притворившись, будто его укачало. Даже став совсем взрослым, он чувствовал, что боится отца.

Панг втянул носом запах пищи. "Дух почувствует, что вкусно пахнет, и прилетит в комнату". Лиму вспомнились слепые рыбы, плавающие в черноте.

Наконец к дому подъехал первый гость — сын Панга завопил и запричитал, а старики опустили головы. Когда они их подняли, в глазах у них стояли слезы. Лим был поражен. В какой-то момент он засомневался, стоило ли тратиться на плакальщиков, однако сейчас, идя навстречу гостям, испытывал полнейшее удовлетворение. Эти люди помогут родным справиться с горем. Ему было приятно слышать слова похвалы от деловых партнеров отца и пожилых родственников. Он почувствовал, что они даже стали иначе к нему относиться. Среди журналистов и редакторов были его ровесники, но до сегодняшнего дня они едва кивали ему, встречая в отцовском офисе или гольф-клубе, либо вежливо улыбались, не прерывая разговора с отцом. Теперь, перехватив взгляд Лима, они спешили сказать ему что-нибудь лестное. Его отец — титан; он — достойный сын своего отца. Газету, безусловно, ожидает процветание. Отец всегда им очень гордился. Лим кивал в ответ.

У старика было обыкновение подводить своих компаньонов к столу, за которым работал Лим, и задавать ему всякие каверзные вопросы либо заставлять его бегать с бумагами к себе в кабинет, когда там сидят посетители и пьют чай. Отец любил похвастаться, что Лим у него магистр, выпускник Беркли, и охотно острил по поводу "наук", которым не обучают в университете: алчности, пробивной силе, умению перегрызть конкуренту глотку. Предполагалось, что Лима это должно коробить, но возмущался он только для виду. Он никогда не оспаривал того, что думал о нем отец.

Лим то и дело оставлял гостей и выходил распорядиться насчет напитков. Он заметил, что лица мистера Панга и пожилых плакальщиков все еще мокры от слез. Поразительно, как долго способны плакать эти высохшие старики. Сын Панга не плакал, а громко причитал, и Лиму подумалось, что у молодого человека, должно быть, очень сильные легкие и Панг правильно сделал, что привел его с собой. Кто-то из гостей сказал, что причитания слышны на улице. Даже мать Лима растрогалась, хотя поначалу ворчала: мол, отец не любил швыряться деньгами и подобное расточительство ему бы не понравилось. Однако лишь взгляда на плакальщиков оказалось достаточным, чтобы у нее полились слезы. Это было так неожиданно, что она поскорее закрыла лицо руками.

Вечером, когда расходились последние гости, случилось маленькое происшествие. На миг в доме установилась тишина — сын Панга внезапно перестал причитать. Лим в это время стоял у порога, провожая гостей. Когда, попрощавшись, он вернулся обратно, молодой человек подошел к нему, держа помятую сигаретную пачку.

Ни слова не говоря, он протянул ее Лиму.

— Он просит его извинить,- сказал Панг упавшим голосом, — взял без спроса.

Лим тупо вертел пачку в руках. Она казалась почти невесомой. Молодой человек понуро стоял перед ним, словно ожидая удара: голова втянута в плечи, руки за спиной. Лим понимал, чего Панг от него ждет, но от смущения пробормотал "спасибо".

— Ничего страшного, — добавил он. — Пустяки.

Едва ли не силой он впихнул юноше сигареты. Краем глаза увидел, как побагровели лысина и лицо Панга, и стыдливо отвел глаза. Старик явно на него рассердился, но Лим не знал, что еще сказать. Он сослался на то, что ему пора укладывать мать, и вышел.

Мать тяжело навалилась на подставленную руку. "Отец бы тебя за такое выпорол", — произнесла она шепотом, когда они поднимались по лестнице. Лим кивнул. Он не был уверен, что поступил правильно, но был доволен, что не рассердился. Во время похорон не полагалось злиться.

Возле дверей мать повернулась к нему.

— Папочка был бы тебе благодарен за сегодняшний вечер, — сказала она. — Он всегда был суеверным. Помнишь? Когда ты был маленький, он давал тебе всякие обидные клички. Поросенок. Шелудивый пес. Ты плакал, — она печально улыбнулась, — потому что не понимал. На самом деле он тобой очень гордился, но боялся хвалить, чтобы демоны не догадались, насколько ты ему дорог.

— Знаю, — ответил Лим. — Это такая примета.

— Все прошло замечательно, — сказала мать, сжимая его руку. — Вот уж не подозревала, что ты так сильно его любишь.

Лим стоял возле дверей в свою комнату, и в голове у него, точно блестящая монетка, вертелась мысль об отце. Возможно, он его и любил, думал он. Уважение, послушание — вот что было главным в их отношениях, любовь казалась блажью. Однако чем дольше Лим размышлял, тем сильнее верил, что любил отца, пока полностью себя в этом не убедил.

Он бросил взгляд на кровать и впервые за весь вечер ощутил не усталость, а покой. И решил спуститься вниз, навестить плакальщиков, которые сидели возле гроба, скрашивая духу одиночество.

Плакальщики играли в карты. Если раньше у Лима и мелькнули какие-то сомнения, он их отогнал, сочтя, что Панг не сделает ничего неуместного. Все-таки профессионал. Панг даже попросил плату вперед, чтобы им было на что играть. Сейчас, при виде Лима, он произнес несколько банальностей и после минутной заминки предложил присоединиться и быть пятым.

— Последний раз я играл, когда был студентом, — ответил Лим.

Тем не менее он пододвинул к столу табурет; Панг сдал карты. Лим считал себя хорошим игроком, правда, в колледже они играли по маленькой, и он растерялся, услышав, что ставки — десять, а то и двадцать долларов. Он внимательно следил за игроками, но те ничем не выдавали своих эмоций. Сын Панга уткнулся взглядом в карты, на неподвижных лицах стариков читался покой. Лим проигрывал одну партию за другой.

— Не везет, — сказал ему Панг скорее одобрительно, чем с сочувствием. — Бывает.

Лиму никак не удавалось сосредоточиться. Он думал о том, как все теперь будет в отцовской газете, о гигантских рулонах белой бумаги, соскучившихся без типографской краски. Проигрыш его не слишком расстраивал. Он даже испытывал нечто вроде гордости. Плакальщики отлично поработали, пусть эти деньги будут им вместо чаевых. Но вскоре Лим заскучал. Карта никак не шла, и он потерял интерес к игре. В очередной раз спасовав, поднялся, чтобы размять ноги.

Остальные продолжали играть. Панг повышал ставки и выигрывал, в основном за счет сына. Лим тем временем неспешно прохаживался возле гроба. Провел пальцем по дорогому тику, присел на стул, слушая, как торгуются игроки. Красноперый окунь остыл и затвердел. Лим взял со столика позади себя отцовские очки и, совсем как в детстве, нацепил их себе на

нос. Через толстые стекла все виделось мутным и расплывчатым, голова у Лима закружилась, и он часто заморгал. Глянув поверх очков, он заметил, что нефритовая пепельница пуста. Щелчком достал сигарету из пачки, сунул ее в рот и закурил. Отец курил до последнего дня — Лим бросил давным-давно. Он глубоко затянулся и задержал дым в легких. Потом положил сигарету в пепельницу. Запах табака напомнил ему об отце. Он глядел на струйку дыма, поднимающуюся к потолку, и воображал, как старый Лим вдыхает дым на небесах. Взял рюмку и стал медленно поворачивать, наблюдая, как коньяк плещется о край. Затем поднес ее к лицу — в ноздри ударил приятный сладковатый запах. Он набрал полные легкие воздуха, словно собирался нырнуть, и машинально поднес рюмку к губам. Отхлебнув немного, секунду подержал напиток во рту и проглотил. Коньяк был хороший. Он поставил рюмку на место, наполнил ее и вернулся к столу.

Плакальщики как раз начинали новую партию. Лим сделал ставку. Карта ему досталась довольно слабая, но ради приличия он решил поторговаться. Взял прикуп, получился "флеш", и он выиграл — впервые за вечер. Плакальщики, похоже, удивились. Они внимательно смотрели на раскрытые карты. Лим, чуть замешкавшись, придвинул к себе банк.

— Повезло, — сказал он, пожимая плечами.

Он стал играть внимательнее, и карта пошла. Лим даже выиграл два или три раза подряд. Стопка банкнот перед ним начала расти. Он был доволен, но несколько смущен. Ведь плакальщики проигрывали то, что он им заплатил. Теперь, когда он брал банк, бакалейщик и мясник отводили глаза, избегая встречаться с ним взглядом. Вскоре за столом повисло молчание, и, дабы разрядить обстановку, он стал расспрашивать плакальщиков об их ремесле.

— Сложно, должно быть, оплакивать незнакомых людей.

— Кое-чему меня обучил отец, — сказал Панг. — В детстве он запрещал мне плакать. Иногда поколачивал. Заставлял смеяться, когда умирала любимая зверушка или ломалась игрушечная машина. Так плакальщики накапливают в себе слезы.

— И есть какой-то толк? — спросил Лим. Он с трудом мог представить себе Панга ребенком, которого наказывает отец.

Лим прикупил две карты. Получится "стрит" — он выиграет, не получится — плакальщики отыграют часть своих денег.

— Мне тоже, — сказал Панг и взял одну карту. — Я знавал детей, которых учили причитать и стенать, чтобы развить силу воли. Ваш ход. — Он пожал плечами, и Лим подумал, едва ли не с облегчением, что у Панга либо "флеш", либо "фулл".

Лим доложил деньги в банк. Когда очередь дошла до Панга, он показал жестом, что повышает ставку. Опустив голову, он изучал карты, в его очках отражался свет ламп. Сын Панга взглянул на истаявшую кучку мятых купюр — он проиграл почти весь свой сегодняшний заработок — и пододвинул ее к середине стола. Однако на следующем кругу он спасовал.

Панг запыхтел и поставил пятьдесят долларов.

Лим посмотрел на деньги и не раздумывая поднял ставку. Не все ли равно, подумал он. Отец мертв. Пусть он даже проиграет — ничего страшного. Даже к лучшему. Над пальмами за окном занималась заря, просыпались чайки, рядком сидевшие на высокой ограде.

Торг шел, пока Панг еще раз не поднял ставку. Лим украдкой оглядел стол, старики поочередно устало сложили карты, остался один Лим. Ему хотелось — даже нужно было — спасовать, но вместо этого он опять под-

нял ставку. Панг пристально на него посмотрел; Лим, сконфузившись, впился глазами в свои карты.

— По-моему, вы зря потеряете деньги, — сказал Панг. Он опять увеличил ставку.

Лим перевел взгляд на пачку банкнот рядом со своим локтем, но в голове у него крутилось только одно: почему Панг произнес слово "зря" с таким нажимом? Что-то подтолкнуло его, и он положил деньги в центр стола. И немедленно пожалел об этом, ссутулился и прикрыл карты ладонями, но, заметив на лице Панга выражение ужаса, ощутил неодолимый азарт.

Панг собрал оставшиеся у него деньги, медленно их пересчитал, перекладывая из одной руки в другую, затем сложил в аккуратную пачку.

— Играю, — протянул он. — Вот, — он подвинул деньги вперед, — а еще я верну вам то, что вы уплатили за похоронные принадлежности, не возражаете?

Лим взглянул на него с удивлением, Панг затряс головой.

— Похороны, — произнес он почти беззвучно, — будут бесплатными.

Лим прижал свои карты к краю стола, щелкнул по ним и открыл. У него был "стрит". Белые карты казались какими-то нематериальными. У одной был слегка загнут уголок. В конце концов, это обычная бумага, подумал он. На столе лежало, наверное, около девяти сотен долларов. Лим поежился от утреннего холодка.

Напротив него неподвижно сидел сын Панга. А сам Панг, еще раз тряхнув головой, рассмеялся.

— Забирайте, — сказал он, скривив рот. — Берите-берите. Это все ваше.

Лим улыбнулся в ответ. На лицах старых плакальщиков мелькнула неприязнь. Лиму почему-то стало весело. С улыбкой он взял деньги, словно заключил их в объятия.

Похороны состоялись на старом китайском кладбище в Колма. Лим смутно вспоминал церемонию, на которой присутствовал много лет назад, вспомнил, как белый пепел, точно снег, кружил над темным кладбищем.

Горел бумажный "мерседес". Лим глядел на подпрыгивающее и приплясывающее пламя, пока в глазах у него не защипало. По словам Панга, на то, чтобы сделать одну такую машину, уходит тридцать часов, на дом — двадцать, на каждый предмет мебели — по меньшей мере часа три или четыре. Лим смотрел, как предметы пожирает огонь, — какое-то время они светились изнутри, словно праздничные фонарики, а затем бумага отделялась от бамбукового каркаса. Лим подобрал бумажный костюм и положил на кучу тлеющих углей, но костюм заколыхался в струе дыма, и пришлось придерживать его руками, пока бумага не занялась. Лим почувствовал, как шевелятся волоски на суставах пальцев. От жара образовалась сильная тяга, и дым с пеплом поднимались к небу почти вертикальным столбом. Послышались причитания плакальщиков, их голоса разорвали горячий воздух, и Лим в очередной раз поразился их мастерству.

Лим поймал на себе взгляд Панга — старик сделал передышку, чтобы набрать в легкие воздуха. Лим нагнулся и подбросил еще одну пачку бумажных денег в жаровню, стоявшую в ногах могилы. Он смотрел, как банкноты белели и рассыпались на ветру. Подул ветерок, и Лима обдало жаром, горячий воздух наполнил рукава, забрался за отвороты одежды, вырвавшись, закружил вместе с пеплом, медленно поднимающимся к небесам. На миг Лим и себя почувствовал парящим в небе, легким, как бумага, невесомым, как детский шарик, — и вопли плакальщиков остались далеко внизу.

Роберто Фернандес

Рассказы

Перевод С. Силаковой

Вспоминая Варадеро

НЕДЕЛЯ за неделей, месяц за месяцем с неба беспрерывно лилась вода, и Элой добросовестно истреблял очумевших от дождя пальмовых жучков, москитов и мошек, которые, сшибая друг друга, выпархивали из луж и тут же устремлялись в дебри медных кудрей на голове Мирты. Элой уже два месяца верно служил Мирте в обмен на обломки прошлого. Он жаждал узнать все что можно о крытых золотом городах родного зачарованного острова — местах столь легендарных и священных, что его тетка вообще не желала о них говорить.

— Живее! Они меня с ума сейчас сведут. Живее! Да шевелись же, или ты совсем слабосильный? Живее меня обмахивай. Сходи в ванную и возьми там в шкафу страусовое перо. Может быть, поможет. Но смотри, поосторожнее с ним обращайся. Это все, что у меня осталось от матери.

Вечера с Миртой начались еще до потопа. Как-то раз Элой складывал выстиранную теткой одежду — она брала стирку на дом — и печалился, что из тетки слова не выжмешь. Утомившись, он приник ухом к стене, отделявшей их половину дома от соседской. И страшно изумился, услышав спор — спор между Миртой и радио:

— Ну сколько можно врать, не понимаю. Каждый ребенок знает, что Варадеро был самым красивым пляжем мало что на свете — во всей вселенной! Вода без конца меняла цвет, песок был на ощупь как детская присыпка, ветер дул только теплый, но никогда не обжигал. А вы смеете говорить, что Канкун с Санибелом лучше и красивее. Брехня! Коммунисты! И всё долдонят, долдонят. Один бы раз сказали, и ладно. Я от вас

© Arte Público Press, 1993
© С. Силакова. Перевод, 2003

умом тронусь. Взяла бы да выключила вашу передачу, только вы знаете, что я жду последнего хита Хулио с Херманом Гарсией. Но терпение у меня вот-вот лопнет! Клянусь могилой моей мамочки, вы мне надоели. Вы у меня навек замолчите. Брехуны! Сами напросились.

Элой услышал, как что-то с грохотом разбилось; поддавшись любопытству, он незаметно выскользнул на улицу и постучался в дверь Мирты. Та открывать не стала, а просто кряхтя высунулась в кухонное окно и испустила панический вопль:

— Вам чего? — Она боялась насильников или, что еще хуже, инспекторов, которые взимают долги по "Мастеркард". — Она в Диснейленде в Орландо. Очень, очень далеко уехала, — выпалила Мирта, от волнения даже не узнав соседского мальчика, племянника прачки.

Когда Элой растолковал ей, кто он такой, Мирта отперла дверь и, не очень понимая, зачем он пожаловал, протянула ему пригоршню оставшихся от Хэллоуина леденцов. После этой первой встречи у Элоя возникла потребность беседовать с ней каждый вечер, когда он приходил из школы, а Мирта возвращалась после утомительного рабочего дня на фабрике. Вскоре Мирта совсем заморочила ему голову колдовской мешаниной своих воспоминаний.

— Да, правда, вода вечно меняла цвет, как в калейдоскопе. Едва ветер менял направление, сразу менялась и вода. При штормовом становилась темно-фиолетовая, а в штиль — зеленая, как Ирландия.

— Что такое Ирландия?

— Мыло-дезодорант. Не важно. Наш океан был такой сладкий, что даже Аристотель — очень культурный джентльмен, только здесь он лечить людей не может, ему лицензию не дают, — когда попробовал одну каплю нашей воды, сразу забросил всю свою ученость и начал миловаться с Лопедавегой. Лопедавегой звали великаншу негритянку, которая торговала фигурками из резных кокосов. Они изображали Марию Магдалину, но с лицом самой Лопедавеги. Лица она лепила из хлебного мякиша.

— А песок? Он был как в Клируотере?

— Шутишь?!! На всех пляжах Кубы песок был сделан из толченого серебра. Правда, на Варадеро к нему еще примешивали брильянтовую пыль. И был он точно еще мельче, чем детская присыпка "Менненс", ну, такая, с ребеночком в бутоне розы. Я тебе скажу одну вещь, которой тебе еще никто не говорил, и ты станешь особым человеком, потому что это знают только избранные. Готов?

— Да, мэм.

— Солнце вставало на севере и заходило на юге.

И так дни растянулись до недель, а недели — до месяцев, и каждый вечер, как только смеркалось, Элой приходил благоговейно слушать Мирту. Далеко не сразу, но все же до нее дошло, что слова ее действуют на мальчишку как наркотик. Тогда она решила облегчить себе жизнь и впредь выменивать воспоминания на его практическую помощь. Она посылала Элоя в "Бакалею Пепе" за бутылкой "Севен-ап" или в аптеку Кабреры покупать без рецепта либриум или бенадрил для облегчения постоянного зуда, мучившего ее с тех самых пор, когда у нее впервые начались месячные.

Как-то вечером Элой под проливным дождем добежал до двери Мирты и, как всегда, вытер о коврик заляпанные грязью ботинки. Вместо приветствия Мирта сунула ему список поручений: купить баночку крема "Белла Аурора"; сходить к букмекеру Гвоздю и поставить пять долларов

на 5-9-80[1]; зайти в банк и сказать им, что они неправильно заполнили мою чековую книжку, что мое имя — мисс Мирта Мария Вергара, а не миссис Миртл Верга; и заполнить бумаги на страховку — ничего в них не понимаю. Пока Элой читал список, Мирта сулила ему новые рассказы из своего, кажется, неисчерпаемого запаса. Вдруг Мирта чихнула, и Элой поспешил вытереть ей нос.

— Спасибо, детка. Ты вылитый святой архангел Гавриил, ведь ты красивее всех остальных ангелов, вместе взятых. А теперь иди выбей еще разок диванную подушку, она все равно грязная, а потом поди в мою комнату и пропылесось как следует... а ветерки дули только теплые, но никогда не обжигали, и крем от загара нам не требовался, потому что ветер имел свойства алоэ и даже прочищал нос, одновременно увлажняя кожу. А теперь я тебе скажу очень важную вещь. Я за всем наблюдала с террасы. Оттуда открывался лучший вид на пляж. Да и мать мне никогда не разрешала спускаться на пляж, говорила, я замараюсь, если буду водиться со всякой шелупонью. Помню, иногда, когда гремел гром, Лопедавега раздевалась и — ее огромные груди так и приплясывали в воздухе — раскидывала руки наподобие распятого мученика, и кричала: "Мария Магдалина, Пресвятая Дева. Упаси нас от грома и молнии". Тогда гром умолкал, и приходила мать, и закрывала мне глаза рукой, чтобы я не видела голую Лопедавегу.

— Элой, Элой, ты здесь? В бейсбол играть будешь? Выходи.

— Не могу. Занят. Мисс Мирта, вы мне не расскажете еще что-нибудь? Спорим, мои друзья и имени такого не слышали — Лопедавега.

— По пляжу гуляли гигантские пингвины и белые тюлени...

— Извините, мисс Мирта. Кажется, меня тетя зовет. Я пойду, ладно? Надо ей помочь.

— Останься еще на немножко, а я тебе расскажу о Фоки, тюлене с изумрудными глазами. Останься, а?

— Ладно, только совсем ненадолго.

— Но сначала выдави эти угри у меня на спине, хорошо? И вот эти прыщики тоже, очень уж зудят. Помоги, а то я их сама не вижу.

Пока Элой проводил косметические процедуры, Мирта, сама недоумевая почему, чувствовала, что с каждым выдавленным угрем, с каждым лопнувшим прыщиком по ее телу разливается блаженство.

— ... а белые тюлени приплыли из-за мыса Горн только потому, что прослышали про прелесть Варадеро, самого красивого пляжа на свете. Когда они добрались туда, то совсем спятили от сотни водопадов, которые окружали пляж, стали кататься на волнах, играть с купальщиками, нырять за рыбкой и жемчугом в обмен на бананы и папайи, помажь-ка мне спину борной кислотой и еще возьми влажное полотенце и положи точно на лопатку, а заодно разотри бедро "Бен-Геем", что-то оно ноет.

— Знаете, мэм, мне правда пора идти. Тетя зовет, я должен ей помочь сложить простыни, а потом сделать уроки, а то в прошлом году я провалился по всем предметам за седьмой класс.

— Пока ты еще здесь, вымой-ка меня, ладно? Я так устала на фабрике от всех этих сверхурочных, что даже мыло из рук валится. Маленький-маленький душ, хорошо?

— Но, мисс Мирта...

1. Имеется в виду распространенная среди небогатых американцев "игра в номера" — нелегальная лотерея, где ставки делаются на комбинации цифр, взятых из какой-либо газеты. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Миленький, пожалуйста. Будь хорошим мальчиком. Хочешь, я тебе стану даже не матерью, а кем-то поважнее. Перестань дурить и достань губку, мыло "Авокадо" и одеколон. Из шкафа.

— Хорошо, мисс Мирта, но расскажите мне побольше. Побольше. Вы что-нибудь знаете про ферму моей тети-книгочейки, где вместо ворот была радуга?

Мирта могла думать только о том, как Элой будет ее мыть, о сладостных прикосновениях его рук; она задрожала, сообразив, что ей придется повернуться к нему лицом, чтобы достать висящее на двери полотенце. При одной мысли об этом у нее потекли слюнки — буквально, прямо по подбородку. Пока Мирта раздевалась, чтобы нырнуть в свою исцарапанную ванну, Элой принялся намыливать губку, не подозревая, что много лет спустя будет запрещать своей жене пользоваться губкой для мытья посуды, не говоря уж о купании детей. С этой странной губкофобией он проживет всю жизнь, и даже доктор Кинг не сможет излечить эту болезнь никакими зельями, бальзамами и заговорами. Элой подошел к ванне и опять начал выпрашивать у Мирты истории о давнем прошлом.

— На пляже Варадеро я познакомилась с моим единственным женихом. Это было через неделю после бури 1943 года, за два дня до моего пятнадцатилетия. Он загорал, но так и не догадался, что я его возлюбленная. Я хранила нашу любовь в самом заветном уголке души. Волосы у него были как черное дерево, вроде твоих, но волнистее, и, когда я сюда переехала, три раза в неделю посылала ему любовные письма в бутылках. Я всегда писала одно и то же: "Я тебя люблю. Твоя навеки, М. В."... М. В. — это я, Мирта Вергара... а ветерки были теплые...чуть правее, там, справа намыль... но ветерки никогда не обжигали, и крем от загара нам не требовался, и белые тюлени весело играли с купальщиками, кувырком скатывались по водопадам, окружавшим Варадеро, а дождь если и шел, то был он из патоки и риса, хочешь поесть — открой рот и ешь на здоровье, а хочешь еще — просто скажи: "Морские создания, я голодна", и рыбы с моллюсками прыгали из воды тебе на сковородку, а песок был мягкий, как детская присыпка, а ветерки были теплые, но...

— Мисс Мирта, о ветерках и песке вы уже говорили, — обиженно оборвал ее Элой и, выудив губку из ванны, вытер ей пот со лба. — Я устал, мисс Мирта, я устал, — повторял он.

Мирта впервые сообразила, что колодец воспоминаний, который она нещадно опустошала, вот-вот иссякнет — и как раз в тот момент, когда ее кожа срочно нуждается в прикосновениях всех этих великолепных кораллов, что отдали свою жизнь за ее счастье, за то, чтобы их скелетики превратились в эту восхитительную губку.

— Да, детка, и тут еще намыль, — произнесла Мирта и тут же повернулась, улыбаясь, как старая крольчиха, демонстрируя два своих вымени, провисшие под тяжестью девственности чуть ли не до ее рыжеватого лобка. Но Элой, впервые поглядев на нее без интереса, лишь повторил:

— Расскажите мне побольше! А перестанете, так и я перестану.

Мирта, всполошившись, попыталась вновь обворожить его своими почти иссякшими воспоминаниями.

— Тогда приплыли белые тюлени, а с ними певцы йодлей[1], выделывая голосом свои йо-йо-и-и-ип. На пляже певцов встречали женщины в

1. Йодль — жанр народных песен у альпийских горцев. Не имеет никакого отношения к Латинской Америке.

соломенных юбках, они без передышки виляли бедрами и играли на укулеле[1], а сами пели: "Ууха, ууха, трум-трум, ууха, ууха, трум-трум". А у мужчин были широкие бронзовые плечи, и они все время дудели в громадные такие морские раковины. Дудели они, чтобы ублажить вулкан, который величественно вздымался поодаль и выпускал облачко дыма в знак благодарности за музыку раковин, которая ему так нравилась. Вулкан назывался "Pan de Matanzas", Хлеб-Убийца[2]. Его так прозвали потому, что с его вершины бросилось очень много булочников. Кокосовые фигурки Лопедавеги с хлебными лицами вселяли в булочников безумную любовь: они жаждали овладеть необъятной девой, которая не допускала их к своему телу. Между морем и лагуной была гора, вся покрытая снегом. Мама, убравшись у сеньоры Нелии, плавала к горе, чтобы набрать снега и приготовить себе ромовое мороженое. Она умерла, вспоминая эту гору и шепча имя моего отца. Он был страшно богатый венецианский купец, я его никогда в жизни не видела, и... а-ах, а-а-ах.

— Что с вами, мэм? Что с вами, мисс Мирта? Вы вспотели! Вам плохо? Может, тетю позвать?

— Ничего страшного. Просто я очень волнуюсь, когда вспоминаю столько красивых воспоминаний. Но ты, пожалуйста, пожалуйста, три мне спину, не переставай, теперь чуточку левее... пожалуйста.

— Но, мисс Мирта, я очень устал, и тетя...

— Я тебе еще много всего расскажу, любовь моя. Столько всего расскажу... а когда приезжал гость, женщины вешали ему на шею лей[3] и шептали на ухо: "Тиаре, тиаре хаере май, хаере май", — и еще безумнее вращали бедрами, и вели его в райский отель, весь из слоновой кости, золота и кораллов, а назывался он "Эль Оазис". Там женщины снимали юбки, и из одежды на них оставались только гибискусы[4] в волосах, и ныряли в морскую пену, чтобы отнести бананы тюленям, певцам йодлей и пингвинам. Потри мне еще спину, ну пожалуйста, не переставай, и я расскажу тебе, как белые тюлени выходили на пляж и ели у нас с ладоней, и как мама увязалась за сеньорой Нелией, когда та уехала в Майами, и мама обняла каждую комнату в доме и сказала им, что любила их больше, чем кровную родню, и выдернула на память страусовое перо из шляпки, которую сеньора забыла в своей спальне на кровати, и песок был мельче детской присыпки, а кожа покрывалась загаром от одного дуновения ветра, а вода была — сплошной "Техниколор", и Аристотель с Лопедавегой боролись голые на песке. Вообще-то ты можешь остаться и поспать тут у меня, хочешь?

Элой не отвечал. Мирта вылезла из ванны, готовая, если понадобится, насильно оставить его у себя. И тут целая туча пальмовых жучков облепила ее тело, не хуже халата прикрыв наготу. На этот раз Элой даже не пытался отогнать полчища мошек, забивающихся ей в ноздри. Смертельно усталый, он взял складной стул и уселся, молча разглядывая и слушая Мирту — а та, срываясь на дикий визг, сообщила, что его мать была гулящая, что его тетки спали вместе с дядей в одной постели, что его отца посадили, потому что он торговец наркотиками и рогач несчастный,

1. Укулеле — гавайская гитара.
2. Мирта понимает географическое название "Матансас" (город и провинция на Кубе) в буквальном смысле. В провинции Матансас, где расположен курорт Варадеро, действительно есть гора Пан (Хлеб), но, разумеется, приведенное Миртой истолкование совершенно фантастическое.
3. Лей — цветочная гирлянда, которую по обычаю дарят гостям на Гавайях. Мирта постоянно примешивает к своим кубинским фантазиям образы, которые традиционно ассоциируются с Гавайскими островами.
4. Гибискус — цветок, являющийся символом Гавайев.

а сам Элой, ко всему прочему, неблагодарный мальчишка — если бы не она, он так бы ничего о прошлом и не узнал.

Недоумевающий Элой опять вытер губкой, которую все еще держал в руках, свое потное лицо. У Мирты, неправильно истолковавшей его жест, вновь потекли слюнки. Встав на колени, она сказала ему, что будет без передышки рассказывать ему о прошлом и о пляже, что он все еще очень многого не знает, например о своей тете-книгочейке (так Элой называл свою вторую тетю), у которой были яхта из серебра и ферма из радуги, о поющих пальмах и королеве ящериц. Она умоляла его остаться, обещала купить его тете сушилку для белья, а отца устроить на хорошую работу.

Элой только улыбнулся, поглаживая правой рукой персиковый пушок над верхней губой, а левой — пряча за спиной губку, и кивнул. А затем протянул вполголоса:

— Расскажи мне побольше, Мирта. Расскажи мне побольше, крошка.

Чудо на углу Восьмой и Двенадцатой

Значит, так: идем это мы с Маноло назад к перекрестку Восьмой и Двенадцатой[1] — а ходили мы в "Бакалею Пепе", надо было кой-чего взять для внуков, они к нам по воскресеньям приезжают. Знаю-знаю, что вы подумали, но эта тележка — моя, покупная. Я не воровка, чтобы тележки из супермаркета красть. И вот веду я моего Манни, а сама все думаю, до чего же нам тяжко стало жить после того, как он зажег нашу старую керосинку и ослеп. Я его предупреждала: "Не зажигай!" — но он у меня упрямый. Кофейку выпьете? Это вам не американский кофе. Не эта ихняя водичка. В общем, керосинка взорвалась прямо у него перед носом, и мой бедный Манни чуть ли не месяц прикидывался, будто глаза у него все равно видят, даже за руль сел и снес крыльцо мистера Ольсена. Еще хорошо, мистер Ольсен тогда отдыхал в Джорджии и не узнал, что это был Манни. В общем, невеселая была у нас тогда жизнь: не было счастья, а несчастье помогать не желало.

И вот идем мы, а дело-то было в Страстную пятницу. Погодите, кажется, с кухни паленым тянет. Манни, это ты, сердечко мое? Что это он на кухне делает, а? На той неделе запалил все горелки — чуть дом не сжег. Теперь-то он опять видит, но его хлебом не корми — дай прикинуться слепым. Наверно, любит, чтоб с ним нянчились. Я о нем всегда пеклась, он в этом доме как король. Значит, идем мы по Восьмой, а день-то праздничный — Страстная пятница. Время — без четверти шесть или около того: уже стемнело, и ветер поднялся. Иду я, молюсь Пресвятой Деве; просто так, от нечего делать, любуюсь деревьями — там такое здоровое дерево манго растет — и тут замечаю: рядом с манго, у ограды, кокколоба мистера Ольсена плачет. То есть она, конечно, не плакала, но из веток у нее сочилась смола. Тут вдруг меня осенило, я помогла Манни перепрыгнуть через ограду и перепрыгнула сама. Честно сказать, не так-то легко это нам далось — его причиндалы застряли между прутьями, пришлось отцеплять. Помню, он еще орал: "Барбарита, от него все равно толку нет. Оборви его, пусть тут останется".

1. Вероятно, указание на то, что действие происходит в американском городе Майами, а конкретнее — в районе Маленькая Гавана.

Я сразу к дереву, смолы набрала и натерла моему Манни его бедненькие незрячие глазки. Поначалу он меня ругал в хвост и в гриву, а потом упал на колени, поднял руки и завопил: "Coño[1], я прозрел. Барбарита, я прозрел!" Я подумала, он шутки шутит, и спрашиваю: "Какого цвета на мне блузка?" А он говорит: "Красная с белым и с синим". Это меня не убедило, и я ему другой вопрос задала: какого цвета, говорю, твои ботинки? А он ухмыльнулся и говорит: "Синие кроссовки". Я скорей тоже на колени и стала колотить себя в грудь и благодарить Пресвятую, но тут вышел мистер Ольсен с дробовиком и пригрозил нас перестрелять за вторжение в частные владения. Я пробовала ему объяснить, что тут вышло, но разве его проймешь.

В общем, пришлось откупиться от него пачкой жвачки. Сами знаете, американцы от жвачки и всяких таких штук без ума. И он нас отпустил, только все кричал, что от этих паршивых иностранцев его один только Супермен спасет, больше никто. Пока он кричал, я пыталась набрать еще немножко святой смолы — вдруг к Манни болезнь вернется, — но он заметил, сунул мне дуло ружья прямо под нос и говорит: "Леди, положите эту смолу, где она была.... Ах ты... ты... мартышка тропическая... я сейчас тебе голову снесу".

Хоть мистер Ольсен и нагнал на нас страху, но мы очень благодарны за прозрение Манни и теперь каждый день без четверти шесть ходим молиться. Останавливаемся на той стороне улицы, напротив дерева, а мистер Ольсен, вот ведь бдительный старый хрен, держит нас на мушке. Извините-ка, минуточку. Манни, это ты, сердечко мое? Точно, он. Каждый раз, когда ходит в туалет, жмурится, точно слепой, и промахивается. Вечно за ним подтираю. Вы уж будьте так добры, поклянитесь на гробу вашей покойной матери, что всем, кого знаете, расскажете об этом божественном чуде: пусть неверующие уверуют. Только насчет того самого, про причиндалы Манни, не распространяйтесь, ладно? — это я только вам.

ВНИМАНИЕ. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАНИЕ. ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ. ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕСТАНЬТЕ ЗДЕСЬ ТОЛПИТЬСЯ И РАЗОЙДИТЕСЬ ПО ДОМАМ. ИДИТЕ CASA! ПО ПРИКАЗУ ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭТОТ УЧАСТОК БУДЕТ ОЦЕПЛЕН. POR FAVOR, РАСХОДИТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО. PRONTO!

Ишь ты, вертолет-то какой здоровенный! Мэм, я бы попросила! Мэм, я бы попросила, не напирайте. Вы меня совсем задавили. Прошу вас, не напирайте, или не видите — у меня больной ребенок на руках! Кто меня за задницу щиплет? Мима-а-а, ты где-е-е? Пресвятая Дева всемилостивая, эй-эй, джентльмен в зеленой рубашке, дайте пройти! Позвольте, пожалуйста. Дудки, милочка. Я отсюда никуда не двинусь. Я первый увидел. Все вон, убирайтесь вон, вон! Это частное владение, эль владение привадо. Хот-доги! Хот-доги! А вот кому хот-доги и билеты на петушиный бой! Ох, мое дерево! Ох, Джулия, видела бы ты, что они творят с моей кокколобой. Милое мое красивое деревце! Кто меня щиплет? Какой козел щиплет меня за задницу? Пресвятая Дева Защитница, пиво холодное, "Будвайзер" со льда, налетай! Отвали, это мой чинарик! Ой-ё! Только тронь еще мое дерево — убью на месте! Заткнись, дедуля. Лоис, Лоис, звони в полицию! Еще чего. Да тут не соскучишься, ой! Клянусь моим

1. Грубое ругательство (*исп.*).

малышом, я все-все своими глазами видела, из окна, из ванной! Она толкала тележку с мужчиной. С безногим. Смотрю: перепрыгнула через изгородь, чего-то набрала с дерева, помазала ему культи, и тут же, на моих глазах, у него проклюнулись новые ноги. Клянусь могилой матери, я все видела из ванной! Потому сюда и пришла. Говоришь английский? Да, немного. Что говорит полиция из вертолета? Сказали, к нам вот-вот снизойдет Пресвятая Дева. А им почем знать? Парень, это ж гринго, они всё знают. Господи, только бы связаться с Суперменом, но рация — в часах, зачем я только часы дома оставил... Кто закажет маленькую пиццу и кружку "Буда", тому подарок — освященная открытка "Папа Римский благословляет священное дерево". "Кока-кола" и не только, нюхайте... извиняюсь, пейте без отрыва от очереди. Ну давай же, Манни, намажь на свою пипиську капельку смолы — вдруг заработает! Ради меня, Манни. Хорошо, Барбарита, но только самую капельку! Пустите поближе, у меня артрит. Конни, не зевай, отколупни себе кусочек. Чтобы Билли налево не ходил. Сейчас я распечатаю конверт, и мы узнаем имя Ее Величества победительницы фестиваля "Королева Calle Ocho[1]"! Итак, это Лави Мартинес, студентка школы фотомоделей. Эй, что ж ты целую ветку ломаешь! Заткнись, viejo[2]. О, о тебе-е-е, страна моя-а-а, свободы, радости земля-а-а...[3] И тут у него отросли две ноги и одна рука. Владычица наша премилосердная спускается. Летит, летит — головой вниз и прямо на дерево! Какой козел меня щиплет? Ой, Манни, прямо не верится. Такой большой и твердый!!!

1. Восьмая улица (*исп.*).
2. Зд.: старикашка (*исп.*).
3. Первые строки популярного в США гимна "Америка", сочиненного С. Смитом в 1832 г.

Эва Хоффман

Искусство потерь, или Опыт жизни в новом языке

Фрагменты книги

Перевод и вступление А. Борисенко

От переводчика

Эва Хоффман — американская писательница польско-еврейского происхождения. Ее перу принадлежит несколько книг публицистического жанра — о странах Восточной Европы, о судьбах польских евреев, об эмиграции и культурных стереотипах. Когда Эве было тринадцать лет, ее родители приняли решение эмигрировать из Польши в Канаду. Для Эвы началась новая жизнь — Ванкувер по сравнению с Краковом казался другой планетой.

Эва Хоффман окончила университет Райса в Хьюстоне, защитила диссертацию в Гарварде, успешно работала журналистом в "Нью-Йорк таймс"... Но прошло много времени, прежде чем она смогла вновь обрести душевную цельность и гармонию, восстановить разорванные эмиграцией внутренние связи. В настоящее время Эва Хоффман живет в Лондоне — "на полпути между Манхэттеном и Краковом", — не оставляя при этом преподавания в США. Скоро выйдет в свет ее новая книга — роман под названием "Секрет".

"Искусство потерь" — первая и, пожалуй, самая известная книга Эвы Хоффман, затрагивающая насущные, болезненные для автора вопросы: жизнь в новом языке, обретение нового голоса, новой личности; потеря прошлого, мучительная ностальгия... Поражает контраст "польских" и "американских" фрагментов книги (вся книга представляет собой цикл мелких очерков, что существенно облегчило данную публикацию). Кажется, что "польская" и "американская" Эва по-разному мыслят, по-разному видят мир. Мы все знаем, что язык определяет мышление и восприятие, но в данном случае перед нами не просто декларация этой истины — но иллюстрация, яркая и наглядная. Описания Польши, детской жизни в Кракове полны красок, звуков, ароматов; здесь царит деталь. В повествовании об эмигрантском опыте автор обращается к абстрактным категориям; в бытовые зарисовки внезапно вторгаются такие слова, как "архетип" и "метарассказ"... Конечно, вся книга написана по-английски, но, погружаясь в детские воспоминания, Эва Хоффман как будто возвращается к прежнему, "польскому", доэмигрантскому восприятию. Сама писательница чутко отслеживает все эти метаморфозы, с тонкой иронией открывает перед нами переплетения языков и культур внутри человеческого сознания.

Английское заглавие книги — *Lost in Translation* — предполагает двойное толкование. Слово *lost* можно понять как "заблудившийся" или как "потерянный". (Мы позволили себе вольность, опустив слово "перевод" — оно присутствует имплицитно, поскольку именно перевод называют "искусством потерь"). Од-

© Eva Hoffman, 1989
© А. Борисенко. Перевод, вступление, 2003

нако история потерь и блужданий оказывается неожиданно полной юмора, тепла и любви. Как бы ни был сложен лабиринт, Эва Хоффман не теряется в нем. Она находит дорогу.

Апрель 1959 года. Я стою у поручней верхней палубы "Батория" и чувствую, что жизнь моя подходит к концу. Я смотрю на толпу на берегу, наблюдающую отплытие корабля из Гдыни, — толпу, которая вдруг оказывается *по другую сторону* безвозвратно, — мне хочется вырваться, побежать обратно, туда, где бурлит знакомое волнение, раздаются восклицания, машут руки... Не может быть, чтобы мы уезжали от всего этого — но мы уезжаем. Мне тринадцать лет. Мы эмигрируем. В этом слове заключена такая сокрушительная, необратимая окончательность — для меня оно означает конец света.

Сестренка, которая на четыре года моложе меня, молча сжимает мне руку. Едва ли она понимает, где мы находимся и что происходит. Родители взвинчены: только что на таможне они прошли личный досмотр, который восприняли как прощальный привет антисемитизма. Однако таможенники оказались недостаточно сметливы или недостаточно подозрительны, чтобы обыскать нас с сестрой, — и это хорошо, потому что у нас обеих на юбках пришиты специальные карманы, прикрытые мешковатыми свитерами, и в них спрятаны серебряные вещи, которые не дозволяется вывозить из Польши. Вот на берегу заиграл духовой оркестр, грянул лихой мазурочный мотив польского гимна... Меня пронзает тоска такой силы, что я перестаю плакать и пытаюсь молча выдержать боль. Я отчаянно хочу остановить время, удержать корабль усилием воли. Я переживаю свой первый, сильнейший приступ ностальгии — польское слово tęsknota несет в себе дополнительные обертоны печали и отчаянья. Это чувство потом станет мне известно до мелочей, во всех его оттенках и степенях, но когда оно впервые нахлынуло на меня — это было как видение из совершенно неведомых краев, как провозвестник новой боли — боли разлуки. Или предчувствия разлуки, ибо на этой разделительной черте я до краев наполнена тем, что мне предстоит потерять: образами Кракова, который я любила так, как любят человека, и опаленных солнцем деревень, куда мы ездили на лето; воспоминаниями о часах, проведенных за роялем с моей учительницей, о разговорах и встречах с друзьями. Впереди же лишь холодная, огромная пустота — затмение души, как будто закрыли крышкой объектив фотоаппарата, как будто опустили тяжелый занавес над будущим. Я ничего не знаю о Канаде, стране, куда мы едем. Туманные очертания континента, огромные, малонаселенные пространства... Когда во время войны мои родители прятались в лесу, в прикрытой ветками землянке, у отца была книга "Канада, пахнущая смолой"[1], и в этом страшном заключении отец читал о величественной первозданной природе, о диких животных, гуляющих на воле, о свободной жизни. Отчасти поэтому мы уезжаем в Канаду, а не в Израиль, как большинство наших еврейских друзей. Но для меня слово "Канада" звучит зловеще, как "Сахара". Нет, моя душа противится этому путешествию, я не

1. Книга польского писателя и путешественника Аркадия Фидлера (1894—1985), который в 1935 году совершил путешествие по Канаде на каноэ и пешком. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

хочу, чтобы меня вырывали из детства, из радости и уюта, из музыки. Корабль отчаливает, раздается низкий, словно издаваемый шофаром[1] звук сирены, но всем своим существом я упрямо стараюсь остаться на месте. Родители кладут мне руки на плечи утешающим жестом, как будто признавая, что в этом желанном для них отъезде все-таки есть боль.

Много лет спустя на элитарной вечеринке в Нью-Йорке одна женщина стала рассказывать мне о своем сказочном детстве. Ее отец был высокопоставленным дипломатом в азиатской стране, где она жила в окружении утонченной роскоши, предупредительных слуг, деликатного внимания старших мужчин... Неудивительно, заключила она, что, когда в тринадцать лет ей пришлось со всем этим расстаться, она почувствовала себя изгнанной из рая и с тех пор безнадежно ищет дорогу обратно.

Неудивительно. Удивительно другое — из чего только мы не создаем себе рай! Я сказала ей, что выросла на окраине Кракова, в трех крошечных комнатках (где, кроме меня, жили еще четыре человека). Ежедневная борьба за существование, атмосфера ссор и мрачных политических прогнозов, воспоминания о недавних горестях войны... Но когда мне пришлось оставить все это, я тоже почувствовала себя вырванной из счастливых, безопасных пределов Эдема.

Я лежу в постели и рассматриваю медленно движущиеся тени на потолке — тени от слегка колышущихся штор, отсвет фар случайно проехавшей машины. Я очень стараюсь не уснуть. Бодрствовать так приятно, что я пытаюсь оттянуть момент отключения сознания. Я лежу под огромным одеялом из гагачьего пуха, вдетым в шелковый пододеяльник с ручной вышивкой. Неподалеку стоит колыбель с сестренкой. В другой, "первой", комнате слышится дыхание родителей. Прислуга — одна из череды сменяющих друг друга деревенских женщин — спит на кухне. Все это происходит в Кракове в 1949 году; мне четыре года, и я не знаю еще, что мое безмятежное счастье располагается в стране, недавно разрушенной войной, в стране, где отцу приходится пускаться в махинации, чтобы добыть для нас чуть больше прожиточного минимума мяса и сахара. Я только знаю, что я у себя в комнате, которая для меня целый мир, и что мне вполне достаточно теней на потолке для ощущения покоя, потому что... потому что я не сплю, потому что мир существует и ласково плещется в моей душе. Иногда за несколько кварталов от нас я слышу треньканье трамвая, и от этого звука становится еще уютнее. Я люблю ездить на трамвае, люблю его энергичное, но не слишком быстрое покачивание, и мне приятно, лежа в кровати, представлять себе улицу, по которой он идет; я повторяю про себя, что я в Кракове — в Кракове, который одновременно и дом, и вселенная. Завтра я пойду гулять с мамой и узнаю, как пройти с улицы Казимира Великого, где мы живем, на улицу Ужендничу, где живет Крыся, — мы пойдем к ней в гости; и ожидание прогулки, мысли о знакомых местах, в то же время таящих в себе столько сюрпризов, наполняют меня радостью.

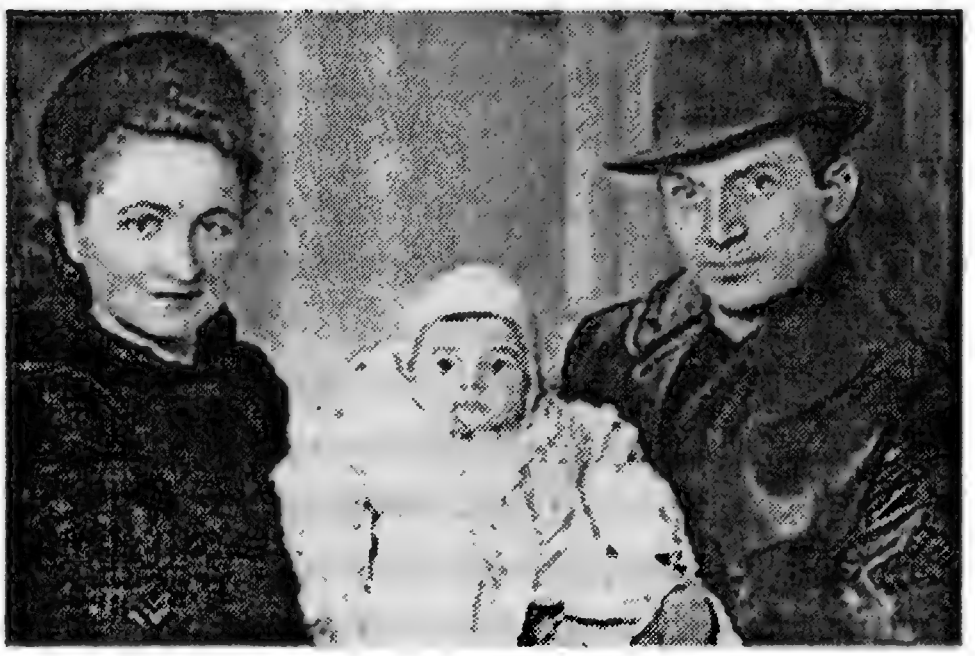
Медленно образы и звуки отступают, слова, которыми я называю их, спутываются, и я осознаю, пока это возможно, чудесный процесс засыпания. И ощущение перехода в другое состояние — тоже счастье.

1. Шофар — бараний рог, в который древние евреи трубили, подавая сигнал к битве; в настоящее время шофар используется в синагоге во время некоторых религиозных праздников.

Стоит яркий, солнечный день, мама замешивает тесто — или, может быть, штопает дыру на локте моего свитера — и вдруг начинает тихо плакать. "Сегодня день ее смерти, — говорит мама, глядя на меня с жалостью, как будто скорбит и обо мне тоже. — Я все время о ней думаю".

Я знаю, кто "она", — мне кажется, я всегда это знала. Младшая сестра моей матери, которую убили во время войны. Вся остальная мамина семья тоже погибла — мать, отец, тетки, двоюродные братья и сестры. Но именно эта смерть причиняет маме самую острую боль. Она была совсем юной, лет восемнадцати-девятнадцати, "она еще не начинала жить", говорит моя мать, и так ужасно погибла. Один человек видел, как она шла в газовую камеру — она оказалась среди тех, кому пришлось копать себе могилу, и перед смертью волосы ее поседели. Мне кажется, что все это сказка, только страшнее, чем у братьев Гримм. Но это правда. Правда ли? В ней нет вещественной достоверности, как, например, в краковском трамвае. Может быть, этого все-таки не было на самом деле, может быть, это просто история и ее можно рассказать иначе, изменить. В конце концов, тот человек — единственный свидетель происшедшего. Он мог ошибиться. Может быть, он перепутал с кем-то сестру моей мамы... Я решаю про себя, что, когда вырасту, обойду весь мир вдоль и поперек и найду эту пропавшую тетю. Может быть, она выжила и уехала в одно из тех мест, о которых я слыхала, — в Нью-Йорк, например, или в Венесуэлу. Может быть, я отыщу ее, привезу к маме, и это смягчит ее горе.

Мой отец — невысокий, крепко скроенный мужчина; мне он, конечно, кажется гигантом; в молодости про него говорили, что он "силен как бык". Позже я слышала, что плакал он чуть ли не единственный раз в жизни — когда я родилась. Что ж, моя жизнь тоже была вырвана у смерти; я появилась на свет спустя два месяца после окончания войны. Когда мама была уже на сносях, родителям пришлось пробираться из Львова — который без церемоний был передан России — в Краков, ближайший крупный польский город. Они ехали туда на тряском грузовике, набитом мешками с картошкой, вместе с беженцами, которые тоже стремились как можно скорее пересечь границу, чтобы остаться в своей стране, пусть даже ради этого придется лишиться крова. Поэтому, когда после всех этих перипетий я родилась в безопасности — в стенах городской больницы, почти в нормальной жизни после всех ужасов войны, — я, должно быть, помимо всего прочего, олицетворяла собой новое начало, а мои родители так отчаянно хотели начать сначала, снова *жить*.



Эва с родителями в младенчестве

Дом номер 79 по улице Казимира Великого находится на окраине города, там, где городские дома сменяются маленькими деревенскими домиками, садиками, заросшими бурьяном пустырями. Как и наше жилище, мы тоже пребываем где-то на призрачном пограничье среднего класса, в земноводном, промежуточном состоянии. Моих родителей это вполне устраивает. Они прекрасно разбираются в нюансах классовых различий,

но такое положение дел не уязвляет их. По меркам послевоенной Польши они многого достигли и продолжают с жаром налаживать свою жизнь. Мой отец предпочитает авантюризм индивидуального предпринимательства — пускай незаконного! — монотонному ежедневному труду. У него есть постоянное место в магазине "Импорт — экспорт", но по-настоящему его ум и энергия находят выход в рискованных способах заработка: в покупке запрещенных долларов, контрабанде серебра из Восточной Германии. Он один из многих, кто играет в эти игры, а точнее, все в ту же Игру, составляющую существенную часть польской жизни. Цель игры — перехитрить "систему". Учитывая отношение людей к этой самой системе, игра считается почетной, рискованной, дерзкой. Каждый — все это знают — так или иначе нарушает закон: люди работают в нескольких местах, производят на заводском оборудовании неучтенные товары, которые после продают; ездят в Венгрию спекулировать тем, что там стоит дороже, чем у нас: постельным бельем, пластмассовыми расческами (пластмасса неожиданно пользуется ажиотажным спросом), — и получают все те же запрещенные, драгоценные доллары. Как можно прожить без такого рода уловок — загадка; обычной зарплаты едва ли хватило бы на то, чтобы прокормить семью, не то что одеть.

Поэтому на протяжении всего моего детства отец то и дело исчезает на несколько дней и так же неожиданно возвращается, принося с собой в квартиру восхитительный аромат сигарет, запах своей просторной кожаной куртки, большого мира. Обычно по его возвращении они с матерью ведут серьезные беседы на идише — языке денег и секретов. И только накануне отплытия в Канаду отец показывает мне хитроумный тайник в паркетном полу, где он все эти годы держал валюту.

Как выясняется, все это довольно опасно — одного из приятелей отца приговаривают к заключению в сибирских лагерях, — но отец с упоением продолжает играть с огнем, так же как продолжает гонять с огромной скоростью на мотоцикле по ухабистым польским дорогам. Именно его незаконная деятельность позволяет нам удержаться в границах респектабельного среднего класса, а это означает, что мы примерно раз в месяц ходим в ресторан, отдыхаем летом, держим живущую в доме прислугу и иногда можем себе позволить купить что-нибудь импортное, например туфли на высоких каблуках для мамы или нейлоновую блузку для меня.

Мама, на свой скромный лад, считает себя настоящей дамой, жизнь ее полна приятных хлопот. Она ведет дом с помощью прислуги, общается с подругами в парке, где ежедневно гуляет со мной и сестренкой, читает книги, берет меня с собой есть мороженое в прелестные краковские кафе и на правах советника участвует в отцовских авантюрах. Мы ходим в театр, в оперу, в кино — все это доступно нам — и постоянно наносим визиты. На некоторое время мои родители удовлетворены: им приятно жить в большом городе — средоточии культуры, оживленных разговоров, новостей со всех концов света.

Конечно, для детей они оба хотят "лучшей жизни". Их амбиции довольно велики, особенно в отношении меня, их первенца, явно способного и развитого ребенка. Но ни отец, ни мать не представляют, что именно нужно сделать, чтобы приблизиться к этой самой "лучшей жизни" — сколько для этого нужно работать, какой дисциплины это потребует. Какими бы атрибутами среднего класса ни окружали себя мои родители, они так и не постигли этики труда. Столь иррациональна была их жизнь, что они привыкли верить в случай — удачу, игру, риск — больше, чем в планомерное продвижение к цели. Впрочем, в Польской На-

родной Республике и не может быть планомерного продвижения. Всем ясно, что на старании далеко не уедешь. "Активно трудиться на избранном поприще", когда поприще чаще всего избрано не тобой, когда труд не окупается и нет возможности улучшить свою жизнь, когда завтра может случиться все что угодно, — нет, это для дураков и растяп. Система — помноженная на вечный польский скептицизм по отношению к любой системе — порождает поколение циников и игроков.

Но кроме приспособленности к условиям, у родителей есть и другая, глубокая, унаследованная от предков убежденность (взращенная веками непосильного, подневольного труда) — убежденность в том, что идеальный образ жизни — это отдых. Моя мать питает плохо скрываемое уважение к праздным женщинам. Праздность эротична, это умение наслаждаться, потакать своим желаниям. "Представляешь, Ормянская зовет прислугу из кухни, чтобы ей подали спички, которые лежат в десяти сантиметрах от нее!" — говорит мать отчасти с издевкой, отчасти с восхищением. Такой эгоизм — самая суть женственности, умения заставить других баловать и нежить тебя. Моя мать не одинока в убеждении, что эгоизм притягателен, что он сродни царственности. Впоследствии ее будет удивлять, что я готова прикладывать столько усилий для удовлетворения своего честолюбия. Она будет непрестанно недоумевать — и кто ее осудит? — куда же я так спешу, чего стремлюсь достичь.

В каком-то смысле мои родители сохранили архаичное отношение к миру, не укладывающееся в категории индустриальной эпохи. И в то же время война — их вторая родина — перебросила их в современность, одним мощным рывком протащив над пропастью. Большая часть их предрассудков и убеждений, разъеденная щелоком непереносимых страданий, сменилась вполне современным нигилизмом. У них осталось мало почтения к закону, политике, идеологии. Они лишились религиозной веры, а с ней и остатков викторианского и ортодоксального пуританства[1]. Ничто уже не могло их шокировать; они утратили невинность незыблемой, врожденной морали. Им остался лишь глубокий скептицизм по отношению к человеческой природе и доморощенный экзистенциализм — философия, рожденная войной: уж если все абсурдно, то нужно ловить мгновение. Они лихорадочно стремились к счастью и заклинали своих детей быть счастливыми, счастливыми во что бы то ни стало. Как выяснилось со временем, это был весьма парадоксальный рецепт.

Я сижу в детской ванночке, поставленной на стол в гостиной, тетя Броня моет меня шершавыми, большими руками. Прикосновение этих рук приятно, и мне нравится, как она заворачивает меня в полотенце — будто я маленький пушистый зверек. Потом она сушит мои волосы и укладывает их волнами, чтобы я была "красивой, как цветочек".

Я знаю, что на самом деле тетя Броня нам не родственница, ее положение в нашем доме неоднозначно. На социальной лестнице она стоит ниже, чем мы; я хорошо это понимаю, но у моих родителей она на особом положении. В войну она не дала им умереть с голоду, может быть даже спасла жизнь.

Родители познакомились с тетей Броней в доме, где прятались в последний год войны, после того как их землянку обнаружили украинцы.

1. Здесь автор, видимо, примеряет на родителей — польских евреев — западно-европейское наследие "викторианского и ортодоксального пуританства", ретроспективно помещая их в несколько иной контекст.

Хотя те и уверяли, что не выдадут их, родители поняли, что пора сниматься с места. Слишком многие украинцы переходили на сторону немцев. Предчувствия их не обманули — тогда предчувствия такого рода обычно оправдывались. Через несколько дней гестапо принялось тщательно прочесывать местность, но к тому времени родители нашли человека, который согласился их спрятать. Мать часто описывала того крестьянина, который спас их, — это был горбун, косноязычный, почти немой. Двое его рослых сыновей примкнули к бандеровцам, фашистской партизанской группировке, работавшей на немцев. Но этот угрюмый и по видимости бесчувственный человек искренне привязался к моим родителям и с болью расставался с ними, когда пришло время. "Никогда не знаешь, что скрыто в человеке", — говорит мама раздумчиво, и в глазах ее стоят слезы.

Целый год мои родители провели в заточении у него на сеновале — замерзшие, завшивевшие, голодные. Как-то отец увидел приближающихся немцев — они явно шли обыскивать дом. Недолго думая, он решил прыгнуть в окно. Он хотел, чтобы мать тоже прыгнула, но она отказалась. "Мне уже было все равно, жить или умереть, — рассказывала она мне. — К тому времени это уже казалось неважным. Но твой отец так хотел жить... Это нас и спасло". В тот раз немцы ушли.

Там же родители познакомились с тетей Броней. Она была, по-видимому, прислугой, работавшей у сравнительно зажиточного крестьянина; но однажды она им открылась — оказалось, что она тоже еврейка. Она пришла издалека, никто в деревне не знал ее, а внешне — крупная, широколицая — она легко могла сойти за польку.

С тех пор она всегда приносила родителям немного хлеба, супа. Украинец так и не узнал, что прятал в доме еще одну еврейку.

После войны и у моих родителей, и у тети Брони никого не осталось, и они держались друг друга. Проведя несколько месяцев во Львове, они вместе приехали в Краков. У всех у них было ощущение — еще одно предчувствие! — что лучше оказаться в Польше, чем в России.

И вот тетя Броня живет с нами (за ней потянется череда других женщин, но все они будут просто прислугой) и спит на узкой кровати в нашей узкой кухне. Она единственное, что связывает моих родителей с довоенным прошлым, с довоенной местечковой иерархией. Да, почти родственница, но моя мама происходит из зажиточных купцов — "из хорошей семьи"; а тетя Броня — бедная еврейка, почти крестьянка. Моя мать много читает, иногда, когда я притворяюсь спящей во "второй" комнате, я слышу, как родители и их друзья допоздна обсуждают какую-нибудь книгу или фильм. Я не знаю, что делает во время этих разговоров тетя Броня — должно быть, в отличие от меня, и впрямь спит у себя на кухне. Броня не читает и не ходит в кино. Мама старается одеваться по моде, иногда даже — о, это целое событие! — к нам каким-то образом попадают американские журналы. Мы пристально изучаем яркие страницы, не отличая рекламу от модных картинок, вникаем во все детали воротничков, складок, регланов, потом показываем выбранные фасоны нашей портнихе — и она изо всех сил старается сшить так же.

Броня не пользуется косметикой, все ее платья из ситца в цветочек сидят на ней мешком; она не сумела бы натянуть нейлоновые чулки. Броня в руки не берет газет, а речь ее пересыпана междометиями. "Она немного примитивна, — заговорщически шепчет мама. — Такая суеверная! Не моется во время менструаций". Но когда оказывается, что мама беременна, тетя Броня гадает на картах, кто родится — мальчик или девочка,

и мама ждет ее вердикта с горящими от волнения глазами. Я же верю ей абсолютно, хотя теперь уж не помню, сбылось ли предсказание.

Я вообще очень доверяю тете Броне: мне нравятся платья, которые она шьет моим куклам, и хлеб, обмокнутый в кофе с молоком, которым она кормит меня по утрам. Но я знаю, что ее необязательно слушаться, как маму, что я для нее — высшее существо и уже сейчас она относится ко мне с почтением. "Котеночек мой, принцесса моя золотая", — приговаривает она, и я чувствую себя особенной, избранной; я вся окутана нежной, бескорыстной любовью, которая как будто рождается из меня самой.

Когда мне исполняется семь лет, тетя Броня выходит замуж за человека, который мне не нравится, и уезжает во Вроцлав. <...>

Тетя Броня сохраняла преданность нашей семье, даже оказавшись на невообразимом расстоянии от нас шириной в Атлантику. В Канаде мы получаем от нее письма с орфографическими ошибками, в которых она спрашивает о своей "дорогой Эве", но я не отвечаю ей. Я знаю, что не смогу рассказать ей о моей новой жизни, и кроме того, она — одна из многих моих привязанностей, рождающих острое чувство ностальгии, и я стараюсь заглушить его, точно угрызения совести, а то и вовсе выдернуть, как занозу из пальца.

Мой отец почти не говорит о войне, для него достоинство — в молчании. По прошествии времени ему трудно говорить об очень многом, и только когда события окончательно отходят в прошлое, он рассказывает некоторые истории тех лет — теперь уже таких далеких, что его рассказы кажутся выдуманными, как приключения Джеймса Бонда. Как поймать ускользающую реальность, как понять, что на самом деле произошло с моими родителями? Я родом из войны, в ней мои корни. Но как это часто бывает, мне трудно постичь свое происхождение. Может быть, мы никогда не знаем, откуда мы взялись, в каком-то смысле мы все начинаем с нуля.

Прежде чем родители стали прятаться в лесной землянке, отец едва ускользнул из рук фашистов. В их городе участились облавы на евреев, и братья Выдра — их было трое — стали особенно желанной добычей, поскольку им так долго удавалось водить за нос гестапо. И вот однажды, когда немецкий грузовик с евреями, направлявшийся в ближайший концлагерь, проезжал мимо отца, кто-то из арестованных, не сдержавшись, по глупости выкрикнул: "Вон Выдра!" Немец, сопровождавший грузовик, остановился и велел отцу полезать внутрь. Никто из пассажиров того грузовика не вернулся живым. Кроме отца. Когда немцы остановили грузовик, чтобы разместить людей на ночь в каком-то доме, отец заметил приоткрытую дверь и проскользнул в нее, а затем, выбравшись из дому с другой стороны, бросился бежать к лесу. Вскоре позади послышался лай собак, но он бежал что есть мочи, и в лесу ему удалось сбить собак со следа. Местность была незнакомой, и он пробирался по снегу до самого рассвета, пока не достиг другого края леса и не увидел, что к нему приближается фигура крестьянина. Отец не знал, означает ли это спасение или гибель, но идти уже все равно не мог. Крестьянин оказался приличным человеком, он взял отца к себе в дом, расположенный по соседству с концлагерем, куда направлялся тот грузовик. Потом моей матери дали знать о местонахождении мужа, и она приехала за ним на повозке. После чего, рассказывала она, отец слег с сильной простудой.

Когда родители прятались в своем самодельном бункере, отец каждую ночь выходил, чтобы добыть пищу. Иногда он пробирался в деревенский костел, где ксендз давал ему немного хлеба. Но однажды на обратном пути его поймали молодые украинцы — двое дюжих пьяных мужиков. Они пригрозили сдать его в гестапо и уже было повели, с двух сторон схватив за руки. Однако на мосту мой отец — ведь он был "силен как бык" — так яростно стряхнул их, что они отлетели к перилам (рассказывая об этом, он делал резкий жест своими мощными руками), а сам прыгнул в реку, хотя в это время года она была полузамерзшей. Он оставался в ледяной воде около часа, то и дело подныривая под лед, пока не убедился, что его преследователи ушли. "Ай", — говорит отец и заканчивает рассказ, делая нетерпеливое движение, будто стряхивает воспоминания. О чем говорить? Что было, то было...

Мама хочет, чтобы я знала обо всем, и я храню в памяти каждую деталь ее рассказов, словно черные жемчужинки. Помнить — это дело чести, так же как признавать свое еврейство. Но я не понимаю того, что помню. Чтобы изжить все, что было, нужно вместе с ней снова пройти через прошлое, и я стараюсь... Нет, неправда. Я не могу подойти к этой боли так близко, как должна бы. Но не могу и уйти от нее.

Когда я стану гораздо старше, я попытаюсь отдалиться от этих воспоминаний. Какой смысл удваивать страдание, прибавлять к маминой боли мою? Чему может научить меня этот опыт? Он неприложим к моей жизни, он сбивает меня с пути, внушает страх и пессимизм. Так говорю я себе, стараясь упрятать подальше, в глубь сознания рассказы моей матери. Но однажды, много лет спустя, в шумном нью-йоркском кафе я встречаюсь с женщиной, которая знала моих родителей до войны. Это единственное свидетельство со стороны; ей удалось разыскать моих родителей здесь, на другом континенте, благодаря ряду случайностей, и теперь она решила поговорить со мной. И впервые история моих родителей — для меня своего рода архетип — обрела индивидуальность, пусть внутри метарассказа. Эта женщина не похожа на мою мать: она жестче, разведена, работает. Ее дочь еще больше отличается от меня — деловая женщина, которая берет уроки танцев и ничуть не задумывается о своей предыстории, — и это тоже по-своему удивительно. Мы должны больше походить друг на друга, ведь нас вылепило одно и то же Прошлое. Женщина принесла с собой фотографию — группа девушек, среди них сестра моей матери. Они стоят на крошечном мосточке на фоне зимнего пейзажа, в пальто с меховыми воротниками, выглядят старше своих лет, смотрят невинно-кокетливо. Значит, вот какая она была: да, немного похожа на Алинку. Но как мало можно узнать, глядя на это изображение, оно не помогает приоткрыть завесу. Здесь, в кафе на Юнион-сквер, я слышу историю, которой не знала раньше. Когда мои родители бежали в свою землянку, мама после выкидыша была слишком слаба, чтобы идти по бесконечному снегу. И отец нес ее на спине, километр за километром. Еще один образ, который мне предстоит сохранить, еще одна черная жемчужина в мою низку. Я слушаю, опустив голову, и понимаю, что эта боль и есть моя родина, и никуда от нее не уйти.

Когда я была маленькой, отец дразнил меня иногда, спрашивая, кого бы я выбрала, его или маму, если бы они развелись. Потом, видя ужас на моем лице — они часто ссорились, и угроза казалась реальной, — он говорил: "Не бойся, после того, что мы пережили, наш брак надежен, как китайская стена. Ничто его не разрушит". Но даже тогда сердце мое сжималось от ощущения сложности этого узла.

Прекрасный, солнечный день в Кракове. Я иду с мамой за руку мимо нашего любимого парка — Краковского. Но вдруг посреди этой безмятежной прогулки тон ее голоса меняется, как будто она хочет сказать мне что-то важное. "Ты уже достаточно взрослая, чтоб понимать, — говорит мама. — Не нужно креститься на костелы. Мы евреи, мы так не делаем". В сущности, я совсем не удивлена. Конечно, я знаю о том, что мы евреи, сколько себя помню. Поэтому всех наших родственников убили во время войны. Но это неясное, зыбкое знание; я не вполне понимаю, что оно значит. И официальное подтверждение моего еврейства приносит мне облегчение. <...>

Вопрос антисемитизма обсуждается довольно часто, но когда мои родители говорят об этом — говорит в основном мама, — то в их голосах слышится гнев, а не стыд. "После всего, что мы пережили, они продолжают нас ненавидеть! — говорит мать с горечью. — Надо же быть такими примитивными! Они впитывают это с молоком матери". "Примитивный" гораздо худшее ругательство, чем "безнравственный" или "злой". Примитивный значит "вульгарный, невежественный" — никто не захочет быть таким. Антисемитизм — темный предрассудок неразвитого ума, а не отклонение от нравственных принципов. Принципы не имеют особой власти над польским воображением. Польская культура — франкофильская, и окружающие меня люди ценят стиль, остроту ума ("тупость" — самый частый и самый уничижительный приговор), элегантность, шарм (в противовес неуклюжести и посредственности), а вовсе не твердость моральных устоев.

Антисемитизм проходит по категории варварской тупости, и это рождает во мне чувство превосходства. Однако тупость эта встречается повсюду. Однажды отец рассказывает, как только что полез в драку на улице, услышав от кого-то из прохожих: "Лучшее, что сделал Гитлер, — уничтожил евреев"; это классический комментарий поляка, стремящегося выплеснуть самую ядовитую ненависть. В другой раз мама приходит домой, горя возмущением. Пани Орловская, мать моей подруги Крыси, "из хорошей семьи", жена врача, с высшим образованием, спрашивала ее по секрету как близкую подругу, правда ли, что евреи на Пасху подмешивают в мацу кровь христиан. "И это интеллигентная женщина?!" — восклицает мама. Однако она не так сердита, чтоб перестать общаться с пани Орловской или хотя бы охладеть к ней. В конце концов, у той есть свои достоинства, как и у других, впитавших предрассудки с молоком матери, но мы все-таки живем среди них и дружим с ними — приязнь и раздражение причудливо переплетаются между собой.

Я постепенно начинаю понимать, что признавать свою принадлежность к евреям — дело чести, и я утверждаю свое еврейство с высоко поднятой головой. Это и значит быть евреем — выказывать пренебрежение ко всем темным, варварским чувствам. Из этого пренебрежения рождается чувство человеческого достоинства. Конечно, это не Сартров сознательный выбор, а просто выплеск глубинной естественной гордости, так сильно развитой у детей. Это всего лишь чувство справедливости, правоты, уверенности, что евреи такие же люди, как и все остальные. Я верю только тому, что вижу своими глазами; я достаточно мала, чтобы воскликнуть: "А король-то голый!" Кроме того, мне жаль отрываться от своих нееврейских друзей — я еще не готова к этому. Мне не хочется подозревать в них худшее, быть постоянно настороже, ожи-

дать издевки. Мама предупреждает меня: в каждом поляке сидит антисемит, будь осторожна, даже самые образованные подвержены предрассудкам, даже лучшие из них предадут тебя. Но тут я перестаю ее слушать. Я чувствую, что должна сохранить достоинство: я не желаю быть подозрительной, ожидать подвоха, даже если разочарование неизбежно. Да я и не верю в эту неизбежность. Я не могу представить, что мои друзья, с которыми мы так весело играем, видят во мне опасного чужака.

Остальной Краков, город моей повседневной жизни, полон не тайн, а секретов. Тайна только сгущается по мере приближения к ней, секреты же раскрываются навстречу свету. Для меня Краков — игра света и тени, и тень лишь подчеркивает яркость световых пятен, создаваемых солнцем и ветром. Я задумчиво брожу по улицам с сиюминутным ощущением счастья и в предвкушении новой радости. Узкие переулочки, гулкие дворы, изящные интерьеры, мелькающие в окнах, — все это здесь для меня, чтобы я увидела и насладилась. Улица, куда меня приводят на уроки музыки, — почти всегда пустынная, странная в своей безлюдности. Кажется, что здесь никто не живет: время остановилось здесь в полной безмятежности, в незнании суеты; но вдруг, разгоняя облака, дунет ветер, и улицу окутает теплом...

В парке, где я играю со своими друзьями, множество дорожек вьются и выводят на более широкие аллеи, и у пруда растет плакучая ива — я не видела ничего прекрасней: она так печальна, и ее печаль кажется синонимом красоты. Мы играем у этого дерева, прыгаем через скакалку, возимся в песке...

Зимой улицы покрыты снегом и льдом, и, пока я еще достаточно мала, мама возит меня в школу на санках. Позже уже я вожу на санках сестру, закутанную в столько одежек, что она напоминает какую-то неведомую зверюшку. Когда мы обе становимся старше, мы берем с собой эти санки на горку рядом с домом, всю усеянную детьми — они карабкаются вверх и съезжают вниз; домой мы возвращаемся только в сумерках, в полном изнеможении.

Город наполнен историей, хотя я и не ощущаю этого. Мне кажется естественным, что город должен быть очень старым, что там должно быть множество пещерообразных кафе с мраморными столиками; что повсюду должны быть видны средневековые церковные шпили и барочные низкие аркады. Старина создает ощущение уюта; Краков был всегда, он вечен и почти не меняется. Здесь один на другом лежат слои жизни. Рыночная площадь словно магнитное поле удерживает вокруг себя остальные части города. Она кажется тяжелой от этих силовых линий; в середине она пришпилена длинным зданием эпохи Ренессанса, в древние времена называвшимся Сукенницы[1]: его каменный, гулкий внутренний дворик несколько веков служил торговой площадью, и теперь это своего рода рынок, где в галереях продают изделия польских народных промыслов и дамские шляпы. Но мое любимое место — огромная, вымощенная булыжником площадь перед Сукенницами; она расходится вширь диагональными линиями ренессансной перспективы. Обычно здесь стоят музыканты и играют на скрипках и аккордеонах какие-нибудь сентиментальные мелодии; и еще сюда всегда слетаются голуби — сотни птиц спускаются на площадь за крошками; многие приходят сюда

1. Букв.: суконные ряды.

специально покормить голубей или просто спокойно посидеть на скамеечке. Здесь бьется сердце города. Ряды зданий пастельных тонов, книжная лавка; обшитая деревянными панелями, пахнущая лекарствами аптека, множество кафе; узкие улочки расходятся лучами и хранят свои многовековые секреты.

Папа обычно ходит в одно и то же кафе — "Варшавяк", и иногда я тоже иду с ним и слушаю его оживленные беседы с приятелями. Это в основном мужчины, они собираются здесь в течение дня. Когда бы ты ни зашел сюда, всегда кого-нибудь да встретишь. Чашка крепкого черного кофе, неспешная беседа — что еще нужно для счастья? Мама водит меня в другие, более старые кафе, где мы едим вкуснейшее мороженое из элегантных высоких бокалов. Иногда мы берем такси до дома, и мама просит меня не рассказывать отцу об этом расточительстве. <...>

Планты[1] — еще один источник безмятежного счастья. Там я однажды переживаю нечто необыкновенное, волшебное... Солнечный день, время за полдень. Я занята любимым делом — собираю каштаны. Я играю в одиночестве под огромным раскидистым деревом. Мама сидит неподалеку на скамейке, покачивая коляску, в которой спит сестренка. Где-то за кружевной зеленью листвы привычно шумит город. Солнце только что перевалило через зенит, и я греюсь в его ярких косых лучах. Я подымаю с земли красновато-коричневый каштан и внезапно сквозь тонкую теплую кожицу как будто слышу биенье сердца. Но это биенье не только внутри каштана — оно повсюду; все вокруг пульсирует и мерцает, как будто бьется пульс самой жизни. Я стою под деревом и держу в руках жизнь, я — в самом центре прозрачной, дышащей гармонии. В эту минуту я знаю все, что сто́ит знать. Я случайно попала в средоточие мира и стою, замерев в ощущении полноты и совершенства, пока знание об этом знании не ускользает от меня.

Недоверие ко всем формам политической жизни само собой разумеется, тут и говорить не о чем. Политика, как и религия, считается игрой, и никто, во всяком случае никто из наших знакомых, в нее не верит. Полякам не нужно прибегать к разоблачающим философиям, чтобы ставить под сомнение всякую власть, любой авторитет. Водить за нос систему — излюбленное национальное занятие, почти каждая уличная беседа — крамольна. Но даже в этой анархической стране мои родители среди самых ярых анархистов; мой отец не стал регистрироваться вместе с другими евреями во время войны, и уж конечно он не собирается вступать в партию и покупаться на дурацкие лозунги о пятилетке и "новом человеке". На майские праздники все обязаны участвовать в грандиозном параде, где танки и солдаты соседствуют с национальными костюмами и снопами пшеницы, символизирующими силу польского крестьянства, но отец одним из первых сбегает с мероприятия. В условленном месте он пробирается к нам через колонну, и, продираясь сквозь толпу зрителей, мы покидаем парад и отправляемся на прогулку по Плантам.

Мои родители ощущают свое отчуждение настолько сильно, что у них нет потребности создавать оппозиционную идеологию или присоединяться к патриотически-ностальгическим разговорам о "настоящей Польше", которую оплакивают наши друзья-поляки после нескольких рюмок водки. Родителям нечего вспомнить о подпольном сопротивле-

1. Кольцо парков вокруг Старого города в Кракове.

нии, в которое евреев, как правило, не принимали, или о яростной послевоенной схватке между националистами и коммунистами. Они ничего не значат на этой политической карте, они оказались никому не нужны. "Политика — грязное дело", — так всегда говорит моя мать. Политика всегда пыталась подмять их под себя, и Польша эта — тоже не совсем их Польша. Родители не хотят обрушивать все это на меня слишком рано, как и болезненную проблему еврейства, хотя и предупреждают, чтобы я не повторяла в школе антирусских анекдотов и не пересказывала домашние разговоры.

В школе я получаю двойное политическое образование, одно накладывается на другое, как два диапозитива, соединяемые в одну фотографию. Во-первых, изучение русского. С пятого класса оно становится обязательным. Это не считается большой нагрузкой, поскольку, согласно утверждениям официальных лиц, мы все горим желанием изучать язык мирового коммунизма. Единственная трудность заключается в том, что все как на подбор учителя, ведущие этот предмет, не отличаются особым энтузиазмом. На других уроках у нас весьма строгая дисциплина. Каждый день нас вызывают к доске пересказать или прочитать наизусть какой-нибудь отрывок — хотя, конечно, всегда можно рассчитывать на помощь товарищей, которые с готовностью подсказывают, если видят, что дело плохо. Но на уроках русского в этом нет необходимости: вяло объяснив какое-нибудь правило, учитель болтает с нами — по-польски — на посторонние темы.

На уроках истории мы читаем учебник, в котором история представлена как бесконечная череда классовых войн, как героическое полотно, где угнетенные торжествуют победу над угнетателями: бедные, разобщенные польские рыцари борются против прусских злодеев в XIV веке, крестьяне восстают против жестоких феодалов в XVIII, рабочие противостоят акульей хватке хозяев в XIX, а отсюда уж повествование авторов учебника идет по накатанному пути, поскольку история сводится к победоносной борьбе коммунистической партии Польши — непокорного, бесстрашного голоса совести: нет, коммунизм еще не наступил, мы способны к самокритике, но перед нами светлая цель — торжество всеобщей справедливости и правды. В седьмом классе все это достигает кульминации — заучиванию наизусть "Манифеста Коммунистической партии" Маркса.

Я не знаю, какие исторические и идеологические аргументы можно противопоставить этой исторической версии, но точно знаю, что наши учителя не верят ей. Сквозь решетку официальных концепций они показывают нам кусочки совсем другой картины. Например, король, которого учебник клеймит как тирана и угнетателя, на самом деле, сообщает нам учитель, был великим польским патриотом. При нем установили надежную канализационную систему; он выписал итальянских архитекторов, которые построили красивейшие в Европе здания. Его жена, королева Ядвига, была так набожна и так заботилась о бедных, что ее причислили к лику святых.

Из этого я делаю несколько выводов. По-видимому, у учителя есть какой-то свой учебник, и там написано, что быть патриотом и верить в бога — хорошо, и учитель хочет, чтобы мы это поняли. Когда он говорит об этом, голос его теплеет, он наклоняется к нам через стол, давая понять, что это разговор между своими. Другими словами, в наших книж-

ках по истории многое упущено. На них не нужно обращать внимание, правду нужно искать в другом месте.

Уроки фортепьяно воплощают честолюбивые мечты о "лучшей жизни", которую мои родители хотят дать своим детям. Музыканты в Польше всегда были на положении священных коров; великие пианисты и скрипачи соединяют в себе блеск звездности и престиж высокого искусства. Кроме того, умение играть на каком-либо музыкальном инструменте — знак хорошего воспитания, принадлежности к среднему классу, и люди нашего круга, особенно евреи, все одновременно решают, что их дети не могут обойтись без этой привилегии. И потом, кто знает? Может быть, среди нас есть вундеркинд? Музыкальный талант — дорога к успеху, открытая для каждого; если у кого-нибудь из нас окажется достаточно этого таланта, он может взлететь над обыденной жизнью, точно метеор, к славе и блеску, о которых втайне мечтает каждый. <...>

К концу первого года моих занятий пани Орловская, которая тоже в свое время училась музыке, объявляет, что у меня талант.

Учительница, по-видимому, тоже так считает, и "талант" понемногу обретает независимое существование, становится неким объективным предметом, который принадлежит мне, но существует и вне меня; это что-то вроде ценной собственности, перед которой у меня есть определенные обязательства, которую я должна старательно преумножать. "Ты всего лишь ребенок, но Бог дал тебе золотое яблоко, — говорит пани Орловская, строго глядя на меня холодными голубыми глазами. — Это значит, у тебя есть долг. Разбазаривать дар грешно. Дисциплина, прежде всего нужна дисциплина. Ты должна заниматься два часа в день. Кроме воскресенья". С тех пор мое представление о добродетели — полная реализация таланта, а самый страшный грех для меня — разбазарить свой дар. Мой ужас перед опасностью не реализоваться в полной мере так силен, что в последующей жизни часто парализует меня. Как страшно сделать ложный шаг, не выразить свою сущность, утратить свои способности, не развить их бездонный потенциал!

Однако какое-то время сомнения такого рода не беспокоят меня. Я полна квазимистической веры в свой "талант", полный и абсолютный. Иначе почему я играю так, словно музыка изливается из меня самой, а не только из инструмента? Решено, что впредь я буду заниматься у пани Витещак; эта преподавательница славится обучением юных дарований, она взрастила нескольких известных польских пианистов. Ее нельзя назвать красивой, но, хотя вначале я робею, оттого что мне придется играть перед такой знаменитой личностью, вскоре обнаруживаю, что на меня успокоительно действуют эти мягкие карие совиные глаза, эта понимающая улыбка. Во время уроков мать пани Витещак, очень старая и слабая, в прошлом тоже преподавательница музыки, лежит на диване у пианино под толстым ворохом одеял и иногда бросает какое-нибудь замечание. В той же квартире живет сын пани Витещак, а позже прибавляется невестка и младенец. Все в этом доме двигаются бесшумно, говорят тихо и обращаются друг с другом с какой-то уважительной нежностью. Позже я узнаю из книги ее сына, что пани Витещак чрезвычайно религиозна и что в войну она спасла нескольких евреев, рискуя жизнью.

Пани Витещак никогда не повышает голоса, она неизменно добра, но при этом имеет на меня огромное влияние. Она первая из моих учителей музыки, которым я обязана тем, что можно, наверное, назвать нравственным воспитанием. В этом камерном общении один на один,

общении посредством музыкальных образов, она учит меня чему-то важному — пониманию собственной внутренней жизни. Когда пани Витещак пытается объяснить, какой должен быть звук в инвенции Баха или точную модуляцию темы в мазурке, она опосредованно учит меня языку эмоций. "Музыка — риторика своего рода, — говорит она, — спроси себя: о чем здесь говорится? Видишь? Здесь как будто кто-то умоляет о чем-то, здесь кто-то сердится, все сильнее и сильнее, а потом пытается заставить другого что-то сделать, а этот другой не слушает".

Так пани Витещак старается — объясняя, упрашивая, ведя мою руку — добиться от меня главного. Как все тогдашние преподаватели в Польше, она подчеркивает важность интонации, и вскоре я понимаю почему: оказывается, интонация это то, в чем я не могу солгать. Если, играя, я не вижу, как вспыхивает костер, интонация выдаст меня своей холодностью; если я не чувствую капризной беспечности скерцо, интонация останется деревянной, как бы я ни старалась изобразить игривость. Каким-то необъяснимым образом мельчайшие оттенки моих чувств передаются через руку к кончикам пальцев, а от них к клавишам и так же точно отражаются в тончайших нюансах прикосновений и нажимов. Постепенно я обнаруживаю, что в моей музыкальной речи скрывается парадокс. Ведь если дух произведения передается от меня через руку и пальцы к клавишам, то он движется и в обратном направлении: от клавиш через руку в душу. Идеал пани Витещак — заставить музыку звучать так, как будто она играется сама по себе. Для этого нужно расслабиться, как только возможно, расслабить руку, расслабиться целиком, чтобы стать медиумом, через которого музыка течет сама, как тающий снег весной. "Расслабься, — повторяет она. — Надо просто позволить музыке быть собой". Но парадокс имеет продолжение: вся эта свобода, восприимчивость достигается только за счет холодной, четкой техники, когда можно уже не беспокоиться о том, как сыграть следующий пассаж, как перейти на другую страницу, удастся ли трель. Пальцы становятся послушными и бескостными проводниками, только если сначала наберут силу. Музыка может открывать глубочайшие истины, но только через посредство материального: чтобы выразить то, что хочется, нужно сначала подчинить своей воле телесное — кисти рук и пальцы. Вот почему пани Витещак стоит за строгую, ежедневную дисциплину. Мама должна вести журнал, отмечать, как долго я упражняюсь каждый день, и, если я не выполняю задания, меня горько упрекают. "Если ты хочешь стать пианисткой, — говорит моя учительница, — ты должна быть как монахиня, это требует полной отдачи. Ты должна научиться быть сильной". Я пытаюсь представить себе такое абсолютное рвение, но пока слишком верю в Богом данные способности и внутренний слух. В работу я верю меньше. Усилия, гаммы, часы, проведенные у инструмента, — я с трудом продираюсь сквозь эту рутину. Наверняка это придумано для лабухов, а не для такого таланта, как мой. Может быть, это самомнение отчасти внушено родителями, которые балуют меня изо всех сил.

А может быть, я руководствуюсь представлениями о природном чутье, изяществе, искрах вдохновения — этих извечных польских ценностях, которые в почете у моих ровесников и учителей, не говоря уж о поэтах-романтиках, которыми мы зачитываемся. Почти все мое образование имеет романтическую подоплеку. Любое школьное сочинение — будь то о последней экскурсии или о стихотворении Мицкевича — должно отличаться причудливым стилем и избытком чувства. Лучший комплимент такому школьному упражнению — признание, что

в нем есть *полет,* в этом слове сливаются порыв, вдохновение, крылатость. Каждому хочется, чтобы полет был и в его характере. Быть скучным и правильным — ужасное несчастье. В наших глазах все лучшее: непосредственность, дерзость, бесстрашие — не относится к нравственным категориям. По моему мнению, у моего друга Марека есть полет. И у польской кавалерии, которая вышла навстречу танкам во время нацисткого вторжения — нам часто об этом рассказывают, — тоже был полет. Звуки шопеновского полонеза ля-мажор, доносящиеся из репродукторов в последние героические минуты Варшавского восстания, когда летели пули и взрывались гранаты на улицах, — в этом самая сущность полета. И конечно, полет необходим в музыке; без него, без порыва, печали, искренности, опаляющих звуки огнем и нежностью, можно сколько угодно заниматься, но все равно никогда и близко не подойдешь к величию.

Как абсурдны бывают наши детские привязанности, как незначительны, непредсказуемы... Почему именно эта ива рождает во мне чувство красоты такое сильное, почти болезненное? Почему мне хочется броситься на этот зеленый пригорок, где сердце наполнялось такой радостью, огромной, всеобъемлющей, абсолютной? Потому что эта ива и этот пригорок были первыми, несравнимыми, единственными. Так, врастая в контуры нашего детства, застывает сплав, из которого сделана душа, — мы неотделимы от этих контуров.

Однажды в Нью-Йорке я встретила русского художника, который пытался объяснить, почему его соотечественники так теряются, попав в Америку. Как почти все уважающие себя русские художники-эмигранты, он был довольно активным диссидентом. И все же, сказал он мне, и глаза его сверкнули фанатичным огнем, он убежден, что Россия — величайшая, единственная в своем роде страна. "Мы победили немцев в войну, у нас величайшая в мире литература, и у нас была величайшая культура. Это наша гордость", — говорил он с жаром. Я вглядывалась в него, пытаясь понять. Национальная гордость? В нашем мире это чувство безнадежно устарело. Я, пожалуй, не знаю, что оно значит.

Нет, я не патриот, да мне никогда и не позволяли испытывать патриотизм. И все же страна моего детства живет во мне, ее первенство неоспоримо и сродни любви. Она живет во мне, несмотря на осознание нашей маргинальности, несмотря на примитивность подобных чувств. Что это: слепота, самообман — держаться за эту память? Я думаю, слепота и самообман — не держаться. Эта страна дала мне мир, разве этого мало? Она дала мне язык, восприятие, звук. Цвета́ и ощущение реальности, первые привязанности. Непреложность этих привязанностей неповторима: никакой другой пейзаж, аромат воздуха не будет так мил нам, как первый увиденный нами, которому мы отдались целиком, без остатка. Позже, конечно, мы научимся быть более сдержанными: мы научимся анализировать свои чувства, обретем объективность, умерим восторги. Но чтобы не впасть в другую крайность, чтобы не отдалиться от всего, что нас окружает, чтобы мир не показался нам плоским и неинтересным, мы должны сохранить память о тех детских, абсурдных привязанностях, возможность вновь испытать их. И пока мы сохраняем энергию желания, которая влечет нас к миру, заставляет хотеть в нем жить, мы всегда возвращаемся. Мы должны держаться этого горнила несравнивающей, первозданной любви, изначального жара и жажды мира во всех его проявлениях, жажды быть здесь и сейчас.

Пани Витещак последняя, с кем я прощаюсь перед отъездом. Впервые за все время нашего знакомства я прихожу к ней не на урок, а в гости — мы сидим за столом, пьем чай с тортом и разговариваем.

— По чему ты будешь больше всего скучать? — спрашивает она ласково.

— Наверное, по мелочам, — говорю я. — По пирожным "наполеон" из нашей кондитерской и по тому, как ждешь нового выпуска "Пшекруя".

Потом я задумываюсь над ее вопросом и вдруг понимаю, что есть вещи, о которых я буду скучать гораздо больше. И я говорю:

— Обо всем. О Кракове. О школе. О Басе. О вас. Обо всем.

Пани Витещак гладит меня по голове, а я замолкаю, потому что не могу сдержать слез. Оказывается, я не в силах расстаться именно с этим — с моей учительницей, с этой комнатой; ведь здесь меня по-настоящему понимали, здесь я с особой силой ощущала веру в будущее, здесь я обрела единственный подходящий мне идеал — идеал равновесия между усилием и удовлетворением, между разумом и чувством, между чуткостью и силой.

— Ты нежная, как мимоза, — говорит пани Витещак, глядя на меня добрыми, умными глазами. — Нежные растения труднее пересаживать. Какое-то время тебе будет казаться, что все твои корни обнажены. Тебе придется научиться себя защищать.

Мать пани Витещак пытается остановить ее, но та возражает:

— Почему? Она должна знать, что с ней происходит.

И тут все шлюзы открываются, и я начинаю безудержно рыдать. Когда наконец приходит пора уходить, я прижимаюсь к пани Витещак и говорю:

— Я вернусь, вот увидите!

— Ну конечно вернешься, — говорит она ласково, но мы обе в это не верим.

Каждый день я учу новые слова, новые фразы. Я извлекаю их из школьных упражнений, из разговоров, из книг, которые беру в библиотеке Ванкувера — ярко освещенном, веселом помещении. Некоторые выражения вызывают у меня странную аллергическую реакцию. Например, "you are welcome" в ответ на благодарность кажется мне бестактностью: получается, ты открыто признаешь, что человек у тебя в долгу, — по-польски это невежливо. Там, где язык низведен до повседневных речевых формул и используется почти автоматически, именно там я ощущаю укол фальши.

Есть слова, к которым я испытываю столь же иррациональную симпатию за то, как они звучат, или просто за то, что мне удалось понять их смысл. В основном это слова, которые я узнала из книг, такие как "таинственный" или "высокомерный" — слова, имеющие лишь литературную ценность, в основном существующие в письменном тексте.

Но главная моя трудность в том, что означающее оказывается безнадежно оторвано от означаемого. Слова, которые я учу сейчас, не имеют такой безусловной связи с вещами, как слова моего родного языка. По-польски "река" — живой звук, полный самой сущностью текущей воды, шумом моих рек, ощущением погружения в воду. Слово "river" по-английски холодное, мертвое — слово без ауры. В нем не толпятся ассоциации, вокруг него не сияет радужный нимб коннотаций. Я не откликаюсь на него.

Увы, процесс идет и в другую сторону: теперь, когда я вижу реку, она не имеет формы, заданной словом и усвоенной сознанием. Это слово де-

лало поток воды рекой, а не каким-то неизвестным веществом. Река теперь остается непознанной, чуждой, недоступной усилию разума.

Когда моя подруга Пенни говорит мне, что завидует кому-то, или что она счастлива, или что ей обидно, я изо всех сил стараюсь перевести — не с английского на польский, а пройти обратно от слова к его источнику, к чувству, из которого оно возникло. И в этот момент напряжения уходит вся непосредственность отклика. А перевод все равно не работает. Я не знаю, что чувствует Пенни, когда говорит о зависти. Слово повисает в платоновой стратосфере туманным прототипом зависти вообще, таким огромным, необъятным, что он вот-вот меня расплющит — так же как обида или счастье.

Я становлюсь живым алтарем структуралистской мудрости; я как никто знаю, что слова — это только слова. Но это ужасное знание, без утешения, какое обычно приносит мудрость. Это знание не означает, что я могу играть словами по своей прихоти — обнаженные остовы слов отнюдь не напоминают игрушки. Нет, разъединение слова и вещи — иссушающая алхимия, лишающая мир красок, неровностей, нюансов, самой жизни. Это утрата всех взаимосвязей.

Худшие потери обнаруживаются ночью. Когда я лежу на чужой кровати в чужом доме — мама работает кем-то вроде экономки у пожилого еврея, который позволяет нам жить в доме в обмен на ее работу, — я жду привычного потока внутренней речи, привычного ночного разговора с собой, когда ego узнает, что случилось с id в течение дня. Но ничего не происходит. Без употребления польский очень быстро атрофируется, съеживается. Польские слова не годятся для моих новых впечатлений, не согласуются с новыми предметами, лицами, с самим воздухом, которым я дышу днем. Английские же слова не проникают в те слои сознания, где происходят беседы с самим собой. Время перед сном раньше было периодом наибольшей восприимчивости, чуткости разума, когда слова и образы возвращались, повторяя происшедшее за день, добавляя новый опыт к прежнему, наматывая новую нить на клубок моей личной истории.

Теперь уже нет этого мелькания слов и картинок, нить порвалась. У меня больше нет внутреннего языка, и без него образы — те образы, через которые мы воспринимаем внешний мир, вбираем его в себя, любим его, обживаем его, — эти образы тоже становятся смазанными. Сегодня мы с мамой познакомились с канадской семьей, живущей по соседству. Они работали в саду, заговорили с нами ("Прекрасная погода, не правда ли?") и в конце концов пригласили к себе. Они чопорно сидели на диване, улыбались в длинных паузах между репликами и явно не знали, что нам сказать. Сейчас мой мозг мечется в поисках слов, чтобы описать их, но не находит ничего подходящего. Они не похожи ни на один человеческий тип, встречающийся в Польше, и польские слова соскальзывают, не прикрепляются. Английским словам тоже не за что уцепиться. Я все-таки стараюсь подобрать определения. Итак, они приятные люди или скучные? Добрые или, может быть, глупые? Слова неуверенно дрейфуют в невесомости. Они приходят из той части мозга, которая, вероятно, производит ярлыки, но никак не связана с моими инстинктами, спонтанными реакциями, опытом. Даже простые прилагательные ставят меня в тупик; за английским словом "kind" ("добрый") стоит целая ценностная система, и в этой системе доброта — безусловное достоинство. В польской доброте есть тончайший оттенок иронии. Кроме того, говоря по-английски, я начинаю чувствовать узду — запрет

на неодобрительные слова. По-польски можно обозвать кого-нибудь идиотом без особой на то причины, просто бравады ради. Да, пожалуй, по-польски эти люди были "глупые" и "скучные", но я заставляю себя склониться к "приятным и добрым". Культурное бессознательное начинает пробовать на мне свои силы.

Словесная расплывчатость как будто затягивает дымкой лица и фигуры тех людей. Я не могу *перевести* их в свой внутренний мир. Этот незначительный эпизод не пополняет мозаику памяти, а падает в какую-то черную дыру, и я вместе с ним. Что случилось со мной в этом новом мире? Я не знаю. Я не могу воссоздать увиденное, осознать происшедшее. Я больше не наполнена языком, у меня осталась лишь память об этой наполненности, и это заставляет меня ощущать беспомощный гнев: кажется, я и сама не существую больше в этой новой темной пустоте.

В "Других берегах" Набоков делает поэтическое, пожалуй даже игривое, предположение, что в России до революции — и до его изгнания — дети получали благословенный излишек чувственных впечатлений, который был предназначен помочь им пережить все последующее[1]. Конечно, судьба не играет в такие провидческие игры, но память может совершать ретроспективные маневры, чтобы компенсировать удары судьбы. Потеря — волшебный консервант. Время останавливается на линии отреза, и новые впечатления не могут уже замутить мысленную картину. Дом, сад, потерянная родина навеки остаются такими, какими их помнишь. Ностальгия — самое лирическое чувство — навеки кристаллизует эти образы, заключая их в себя, словно янтарь. Там, внутри, твой дом, твое прошлое сохраняется так живо, так ясно; оно кажется еще прекрасней в защитной оболочке неподвижности.

Ностальгия — источник поэзии, форма верности. Это еще и вид меланхолии, почти болезнь. Когда я иду по улицам Ванкувера, я беременна образами Польши, у меня токсикоз. Tęsknota затягивает все вокруг пеленой, обращает зрение вовнутрь. Самое отчетливое присутствие — это воронка отсутствия: то, что я потеряла.

В наще идеологизированное время даже ностальгия имеет свою политическую окраску. Консерваторы чувств верят, что возрождение их собственной забытой истории спасет их от поверхностности. Фанаты будущего считают, что приверженность прошлому — худшее из всех чудовищ, реакционный элемент, который нужно безжалостно изъять из души, чтобы он не стал помехой бодрому маршу к очередной утопии. Только некоторые восточноевропейские писатели, которых слишком часто заставляли "маршировать в будущее", знают опасности обеих крайностей — как чрезмерной забывчивости, так и приверженности прошлому. Но они ветераны скорби, поскольку утратили не археологическую, а живую историю. И потому прославляют достоинства долгой памяти. Набоков беззастенчиво возрождает и оживляет собственное детство, величественно окрашенное ностальгией. Милан Кундера утверждает, что овладевший искусством забвения — всего лишь Дон Жуан духа, нераз-

1. По-видимому, речь идет о следующем рассуждении: "И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга были одарены восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось" (В. Набоков. Другие берега).

борчивый и повторяющийся, страдающий от "невыносимой легкости бытия". Чеслав Милош вспоминает людей и места своей юности с особой нежностью, как бы говоря: "Никто не сможет любить вас так, как я".

"Дорогая Бася, — пишу я, — в мое окно виден сад: вишня, яблоня, розовый куст в цвету. Розы здесь меньше наших, более дикие, но — только представь себе! — все это растет прямо в городе. А завтра я иду на вечеринку. Здесь все время вечеринки, так что жизнь моя, можно сказать, протекает бурно..." Я повторяю ритуал бесчисленных эмигрантов, пишущих письма домой, чтобы убедить друзей и родных — а может быть, и самих себя, — что их жизнь изменилась к лучшему. Я лгу. Я пытаюсь защититься от ностальгии. Я не могу отречься от прошлого, даже если б хотела, но что мне делать здесь с этим прошлым, которого больше нет? Спустя какое-то время я начинаю загонять живые картины памяти глубже, чтобы они ушли из сознания, из эмоций. Сослав их в вечную темноту, я увеличиваю объем темноты в себе, и в темноте они возвращаются ко мне снами. Во сне мне всегда является Краков, и я кружу по знакомо-незнакомым улицам, ищу дорогу домой. Я почти нахожу ее, почти, но не совсем — я просыпаюсь, и город так близко, что можно вдохнуть его воздух.

Я не позволяю себе смотреть назад и не знаю, как посмотреть вперед. И там и тут меня подстерегает голова Горгоны — риск превратиться в камень. Я застряла в этом межвременье, и само время остановилось во мне. А прежде оно открывалось навстречу, безмятежное, полное обещаний. Если мне и хотелось остановить мгновенье, то лишь для того, чтоб продлить его, насладиться его полнотой. Теперь у времени нет объема, нет протяженности. Я законсервировала прошлое и сопротивляюсь будущему. Я хочу остановить поток. Я наказана тем, что живу в застывшем, непрерывном настоящем (оборотная сторона жизни "сегодняшним днем"), и это не вечность, а тюрьма. Я не могу перекинуть мост из настоящего в будущее, и потому время не движется.

Если бы ты осталась там, то носила бы прямые волосы и берет набекрень... А может быть, отрастила бы волосы и забирала их в хвост, как те обалденные девчонки на обложках журналов, которые ты любила листать.

Я не знаю. Мне — там, в Польше, — было бы теперешних пятнадцать, а не тогдашних тринадцать. Большая разница.

Ты бы ходила в кино со Збышеком, а потом, может быть, в кафе, а там вы встретили бы друзей и заболтались допоздна...

И может быть, мама с папой рассердились бы, что ты поздно возвращаешься.

Но это было бы так здорово! Так *нормально*. О боже, быть молодым, страдать от родительской опеки...

Но это не для тебя. Ты должна заботиться о родителях. И потом, с кем ты здесь будешь болтать допоздна? С этими тупыми мальчишками, которые играют в бутылочку? Ты теперь гораздо серьезней, чем была прежде.

Над чем смеются твои краковские друзья? Не могу себе представить. Что делает Бася? Может быть, начала играть на сцене. Делает то, чего всегда хотела. Должно быть, она счастлива.

Ты гораздо взрослей, чем могла бы быть там.

Возможно.

Там ты была бы другой, совсем другой.

Безусловно.

И тебе больше нравится та, краковская Эва.

Да, она нравится мне больше. Но я не могу быть ею. Я теряю ее след. Через несколько лет я не смогу представить, какую прическу она бы носила.

Но все равно она — настоящая.

Да. Настоящая — она.

На день рожденья Пенни дарит мне дневник с маленьким замочком и ключиком, чтобы уберечь написанное от посторонних глаз. Именно этот замочек — символ того, что дневник предназначен лишь для меня одной, — ставит меня перед дилеммой. Если я пишу только для себя, то какой язык мне выбрать? Несколько раз я открываю дневник и снова закрываю. Я не могу решить. Писать по-польски — теперь для меня примерно то же самое, что прибегнуть к латыни или древнегреческому, ведь предполагается, что я буду описывать свой непосредственный опыт, излагать свои мысли как придется, естественно и непринужденно. Польский становится для меня мертвым языком, языком непереводимого прошлого.

Но писать для самой себя по-английски? Это все равно что делать домашнее задание или устраивать представление для самой себя — в этом есть что-то извращенное, нарциссическое.

Но выбрать все-таки надо, и я выбираю английский. Если уж я пишу о настоящем, то приходится пользоваться языком моего настоящего, даже если это не мой родной язык. В результате дневник получается, вероятно, самым безличным из всех, что когда-либо вели девочки-подростки. Ни сентиментальных излияний по поводу отвергнутой любви, ни гневных описаний семейных ссор, ни умиротворяющих размышлений о смерти. Английский не годится для выражения подобных эмоций. Вместо этого я рассуждаю о том, как уродливо выглядит борьба, как много изящества в музыке Моцарта и чем Достоевский напоминает мне Эль Греко. Я записываю Мысли. Я Пишу.

В моем наивном снобизме есть пафос отчаянья: дневник для меня — попытка воссоздать важную часть собственной личности, той, которой, как мне кажется, я могла бы стать, если бы не уехала из Польши. В одиночестве этого интимного действа я пишу на неродном языке, пытаясь разглядеть развитие собственного второго “я”. Дневник обо мне и в то же время — о ком-то совсем другом. Но в одном смысле он дает мне точку опоры — я изучаю английский через письмо, и, в свою очередь, письменная речь формирует мое письменное “я”. Дважды преломившись: в чужом языке и письменной форме, — это “я”, мое английское “я”, обретает странную объективность, оно занято осознанием себя. Ему легче существовать в абстрактной сфере мыслей и рассуждений, чем в реальном мире. На какое-то время эта безличная личина, эта отрицательная способность к культурной адаптации становится единственной правдой обо мне. Когда я пишу, то обретаю существование, присущее самому акту письма, — существование между собственной личностью и сферой искусственности, искусства, чистого языка. Этот язык начинает “выдумывать” новую меня. И я делаю странное открытие. Оказывается, когда я пишу (или думаю) по-английски, то не могу вести речь от первого лица. Дело не доходит до шизофренического “она”, но меня непреодолимо влечет к двоящемуся, сиамскоблизнецовому “ты”.

Мама говорит, что я стала "такой английской". Меня ранят ее слова, потому что я знаю: она хочет сказать, что я стала холодной. Я не холоднее, чем была, но учусь сдерживать внешние проявления. Понаблюдав некоторое время за жестикуляцией, с помощью которой я описываю пищеварительную систему лягушки, учитель велит мне сесть на руки, а потом попробовать рассказать все заново. И я учусь. Учусь этой новой сдержанности у людей, которые отступают на шаг назад, разговаривая со мной, потому что я стою слишком близко и стесняю их. В разных культурах принята разная дистанция, расскажут мне позже на занятии по социологии. Но я уже знаю это. Я учусь обуздывать себя в общении с Пенни, которая обижается, когда я от волнения трясу ее за плечо, для нее это враждебный жест, а не дружеский. Я учусь у девочки, которая отпрянула от меня, когда, идя по улице, я взяла ее под руку: этот знак доверительной теплоты смущает ее.

Я учусь тому, что правда порой оказывается не в ладах с вежливостью. Нельзя критиковать человека, с которым разговариваешь, во всяком случае напрямую. Нельзя сказать: "Ты не прав", нужно: "Давай посмотрим на это с другой стороны". Нельзя сказать: "Тебе не идет это платье", нужно: "То, другое, мне нравится больше". Я учусь подавлять в себе резкость, приучаю себя к осмотрительности, к сложным разговорным менуэтам.

Может быть, мама все-таки права: я стала более холодной. Ведь, в конце концов, эмоции связаны со способом выражения, меняется жест, и вслед за ним эмоциональный отклик становится более или менее теплым. Я слежу за тем, что и как говорю, регулирую громкость смеха, стараюсь не давать выхода тоске. Буря эмоций, обычная в нашей семье, выходит за границы здешней нормы, и неписаные правила оказывают свое осмотическое действие.

Раз меня не слышно, мне кажется, что меня и не видно. Часто мои слова невнятны окружающим: они неуместны, вымученны, попросту непонятны. Люди смотрят озадаченно, бормочут что-то в ответ, и их слова тоже повисают в воздухе. Здесь вообще иначе ощущается возвратно-поступательное движение беседы. Люди не отвечают друг другу. Тусклый взгляд собеседника как будто отменяет мое лицо, стирает мои черты. Подвижность мимики проистекает из живости слов и чувств, когда мысль ловится на лету, вспыхивает ответным огнем чужого взгляда. Но теперь я знаю, что мое лицо не освещается изнутри; мои чувства не отражаются на лице собеседника. Когда я говорю, люди смотрят мимо. Какой я теперь кажусь? Незаметной, вероятно неосязаемой, нейтральной, безликой.

Эмигрантская энергия, хоть ею и принято восхищаться, не кажется мне таким уж положительным явлением. Я знаю, какой порыв отчаяния стоит за ней. И понимаю, почему так много эмигрантов, взлетающих, подобно героям Хорейшио Элджера[1], вверх по крутой социальной лестнице, сквозь все преграды и все слои общества, тем не менее не достигают цели. Снаружи все эти слои кажутся одинаково непробиваемыми; снизу все, что выше тебя, кажется одинаково далеким. Одно и то же бычье упорство нужно для того, чтобы утвердиться на самом скромном месте и проникнуть в самые священные, недоступные сферы. И это упорство, невежество, нежелание следовать правилам и учитывать обстоятельст-

1. Хорейшио Элджер (1832–1899) – американский писатель, автор многочисленных книг о стремительном восхождении бедняков к богатству и славе.

ва — не говоря уж о нежелании "знать свое место" — могут завести буквально куда угодно. У каждого, кто безнадежно маргинален, есть только две возможности: пасовать в любой ситуации, перед любым нажимом, либо противостоять всему и всегда, уравнивая все препятствия своей несгибаемой, упрямой волей.

Меня тоже подгоняет вперед двойной кнут: честолюбия и страха; и я черпаю странную силу, мощь и даже свирепость из чувства ответственности, из необходимости выживать. Я больше не ребенок, меня приземляет, взрослит серьезность моего — нашего — положения. Я знаю, что справлюсь с чем угодно. Я могла бы выпрыгнуть из окна второго этажа, как отец с сеновала, или убежать через случайно приоткрытую дверь. Чувство необходимости — этот двуликий хозяин — освобождает меня от мелких тревог, Великий Страх вытесняет мелкие подростковые страхи. Я готовлюсь к ожидающим меня битвам. Правда, впоследствии самой тяжкой окажется та, которую я веду сейчас в своем воображении. Я тоже страдаю классической эмигрантской близорукостью: не могу отличить обычный жизненный путь от тернистого, умеренное достижение — от высокого. Стать адвокатом, по моему мнению, так же трудно, как верховным судьей. Преподаватель, обучающий английскому начинающих, внушает мне такое же благоговейное почтение, как президент колледжа. Мне и в голову не приходит, что этих головокружительных высот можно достичь, идя обычным шагом, просто переставляя ноги. Нет, я должна гнать себя изо всех сил, не расслабляясь ни на мгновенье.

Единственная трудность заключается в том, что в этой яростной скачке я, в сущности, не знаю, куда несусь. Все мои ориентиры смешались, я не могу найти прямого пути в образовавшемся хаосе. Одно дело — постепенное движение внутри одного контекста; совсем другое — изменение всей системы координат. Например, "быть пианисткой" в этой новой культурной матрице означает совсем не то, что в Польше. Это больше не вершина славы и не средоточие красоты. "Красивая мелодия", — говорят мои друзья, когда я играю бетховенскую сонату, но я вижу, что им совершенно все равно. Более того, миссис Стайнер и другие объясняют мне, что это "несерьезная профессия", она меня не прокормит. "Где ты возьмешь деньги на уроки музыки в Нью-Йорке? — спрашивают меня. — В твоем положении нужно рассуждать практично". "Ты слишком умна, чтобы быть пианисткой", — говорят другие. Но ничто на свете не требует такого напряжения ума, такой одухотворенности всего твоего существа! — хочется ответить мне.

Однако я начинаю замечать, что мое предназначение уже не стремит меня вперед так, будто я сижу в колеснице, влекомой богами. Даже порывы наших страстей зависят от того, где мы живем, и мои пути еще не проложены окончательно. "Восковой слепок" можно еще изменить, переформировать, хоть он и застыл так, что изменение отливки не может не причинить боль. Единство и органичность стремлений сменились фрагментарностью, разорванностью. Цельность шла от простоты желаний, которая, быть может, дается нам только в детстве. Теперь я уже не знаю, чего хотеть. Польский романтизм — ту наивную его версию, что укоренилась в моем воображении, — нельзя совместить с трезвым прагматизмом, который требуется от меня здесь. Во время одиноких прогулок я веду долгие споры сама с собой о том, что я должна Богу, а что — кесарю. Вправду ли нужно пренебречь эмоциями, которые требуют выхода в музыке, моей естественной среде обитания? Нет, говорит мне внутренний голос, но я пытаюсь заставить его замолчать. Может

быть, это обманчивый зов сладкозвучной сирены, ведь следовать своим устремлениям — роскошь, доступная лишь тем, кто достиг какого-то уровня надежности, устойчивости — хотя бы внутренней. Я начинаю уважать власть обстоятельств — хоть мне и достает своеволия не сдаваться на их милость.

Мы едем в аэропорт, подавленные серьезностью происходящего. Я уезжаю в Хьюстон, штат Техас, учиться в колледже. "Ты многого добилась, ты молодец, родители должны гордиться тобой", — как часто в последние месяцы я слышала это! Ну что ж, говорят, в университете Райса, куда я еду, "очень высокий уровень образования" — эта фраза пронзает меня в самое сердце; кроме того, этот университет великодушно оплатил мое обучение. Когда на меня посыпался град писем, уведомляющих о получении различных стипендий, я бережно разворачивала их, словно боясь, что они сотканы из воздуха, что удача может рассыпаться от малейшей неосторожности...

Комната в студенческом общежитии обставлена просто, функционально: кровать, встроенный шкаф, письменный стол — однако меня не покидает ощущение благополучия, потому что комната такая же, как у всех, уравнивающая меня с другими. Здесь мне не приходится думать о социальных различиях — пожалуй, здесь никто о них не думает; здесь я могу быть собой. Через несколько часов после моего прибытия появляется Лиззи — моя соседка по комнате. Это высокая, худая девушка с ясными карими глазами и большим подвижным ртом. "Откуда ты?" — сразу же спрашивает она. Я отвечаю. "А ты?" Она из Кливленда, из семьи лютеран. Видимо, я выгляжу озадаченной, и она объясняет, что ее предки приехали из Германии, а американские лютеране — особенно строгое ответвление протестантства, и ее родители — люди твердых принципов.

Я обнаруживаю, что социальный ландшафт, казавшийся вначале таким однородным, начинает дробиться на сложные составные части, распознаваемые по неуловимым для меня признакам. Лиззи легко различает баптистов из маленьких южных городков (они все как на подбор математические гении), отпрысков старинных техасских семейств, уже на первом курсе планирующих политическую карьеру, надменных северных девушек с богемными замашками, кокетливых светских южанок, старающихся не казаться слишком умными, литературных снобов, начинающих религиозных лидеров. Мелькают клетчатая "шотландка", сандалии, белозубые улыбки... Ей-богу, Гулливеру пришлось легче!

Даже общаясь с таким относительно понятным существом, как Лиззи, я постоянно сталкиваюсь с проблемой перевода. Она — как и многие из тех, кто меня здесь окружает, — была бы так же немыслима в Польше, как грифоны или единороги. Безусловно, ее идеи, чувства, эмоции, то, как она держится, — все это выдает в ней американку. Если, например, сравнивать ее с Басей — то кто из них окажется умнее, решительнее, привлекательнее? Но нет, все эти качества не перенесешь через океан. Человеческая сущность определяется здесь совсем иначе; ум, дерзость, застенчивость оцениваются по другой шкале, изображаются другими диаграммами. Нельзя просто перенести человеческие качества из одной культуры в другую, так же как нельзя просто транслитерировать текст. Однако мы с Лиззи пытаемся достичь понимания усилием воли — и сталкиваемся в яростном удивлении, словно два барана на узком мосту. По вечерам мы часами разговариваем, сидя

на кроватях. Лиззи кажется, что ее убеждения естественны, самоочевидны, но мне-то очевидно прямо противоположное. Конечно, мы обсуждаем главным образом глобальные вопросы: свободен ли человек или его судьба предопределена, как реализовать свой потенциал, что значит быть счастливым. Есть вопросы, о которых я вообще никогда не задумывалась, но для Лиззи они главные. Что такое гражданский долг, как интерпретировать американскую конституцию, как достичь идеала независимости, self-sufficiency.

— Я думаю, прав Барри Голдуотер[1], — заявляет Лиззи однажды вечером, поглощая печенье, принесенное из кафетерия. — Пособие по безработице — ужасная вещь. Давать людям что бы то ни было даром — значит унижать их достоинство.

— А если человеку нужна помощь? — спрашиваю я. — В этой стране столько богатых людей. Несправедливо, чтобы у одних было все, а у других ничего. — Я не отличаю Барри Голдуотера от Эдлая Стивенсона[2], но, может быть, на меня влияют идеи равенства и распределения благ, которые в меня вдолбили в начальной школе, а может быть, меня все еще поражают знаменитые американские "контрасты".

— Если человеку что-то дают даром, это разрушает его индивидуальность, — настаивает Лиззи. — Человек сохраняет достоинство, только если он независим.

— Но почему людям не помочь друг другу? — спрашиваю я в искреннем недоумении. По-польски нет общеупотребительного слова, обозначающего материальную независимость, и мне кажется, что это — неуютный, жесткий, искусственный идеал.

— Зависимость дурно влияет на характер! — говорит Лиззи.

— Но мы все зависим друг от друга! — Мне это кажется очевидной истиной.

— Значит, ты не считаешь, что зависимость унизительна? — спрашивает она.

Это точка зрения человеческого существа, совсем иначе представляющего себе достоинство и счастье, но Лиззи, так же как и я, принимает близко к сердцу этот спор о главных принципах жизни.

— Нет, не считаю! А если с тобой что-то случится? Если ты потеряешь работу? Когда в обществе есть безработица, кто-то обязательно теряет работу! И что тогда? Никто не должен тебе помочь?

— Каждый получает по заслугам, — говорит Лиззи, плотно сжимая красивые губы; всем своим видом она показывает, что в моих рассуждениях есть что-то нездоровое, с чем она не желает иметь ничего общего. — Тот, у кого есть гордость, не просит милостыню.

И тут гнев бросается мне в голову.

— Ты думаешь, все начинают на равных? — говорю я сердито, и голос мой прерывается от ярости. — Думаешь, все равны? А если человек глупый, неспособный, больной? Пусть его вышвырнут вон, пусть подохнет в канаве?

У меня тоже есть гордость, и я не говорю: "Что, если ты эмигрант и вынужден начинать с нуля?" Но конечно, в этом споре я защищаю свою семью, мысли о родителях заставляют меня так горячиться.

1. Барри Голдуотер (р. 1909) — политический деятель США, в 1964 г. баллотировался в президенты от Республиканской партии; за свои политические взгляды получил прозвище Мистер Консерватор.
2. Эдлай Стивенсон (1900—1965) — один из лидеров Демократической партии США, дипломат.

— Если у тебя достаточно силы воли, всегда можно найти выход, — говорит Лиззи, и в голосе ее звенит металл. — Эта страна — лучшее тому доказательство, именно такая философия сделала Америку тем, что она есть.

— Это подлая, жестокая философия! — кричу я.

— А у тебя философия как у коммунистов! — выпаливает Лиззи и, обиженная, выбегает из комнаты, хлопнув дверью.

Я остаюсь в расстроенных чувствах, а Лиззи, как выясняется позже, бежит на крышу и там льет слезы обиды и гнева. На следующий день все начинается снова — мы говорим о том, что нам хочется испытать все и какими мы станем, когда вырастем. Лиззи считает, что зрелость — состояние, которого надо избегать любой ценой. "Все говорят: надо приспосабливаться. Но приспосабливаться к чему?" Взрослость в ее представлении — это однообразные будни ее матери, ряд одинаковых домов в пригороде, где никогда не происходит ничего интересного и где правила и условности не дают человеку жить полной жизнью. Взрослость в этой системе координат противоположна опыту: это состояние, в котором душа съеживается, отмирает. Лиззи говорит, что ее мать не представляет себе, что значит быть очень счастливой или очень несчастной, не знает жажды приключений; она как будто принадлежит к иному, не совсем даже человеческому виду, и больше всего Лиззи боится стать такой, как мать или другие знакомые взрослые. Я же всеми фибрами души стремлюсь к взрослению и пытаюсь донести до Лиззи свою мечту о мастерстве, самообладании, реализации. Я хочу нарисовать ей тот образ, который так ясно вижу мысленным взором: пани Витещак играет на рояле, ее пальцы прикасаются к клавишам с нежностью и силой... Я втолковываю Лиззи, что моя мать не какая-нибудь пластмассовая кукла, я видела, как она страдает, плачет, гневается. "Мы все — люди", — говорю я, повторяя мамины слова. Я пытаюсь объяснить, что для меня повзрослеть — значит войти в мощный поток жизненного опыта, приобщиться к вечному человеческому знанию. Лиззи смотрит на меня задумчиво, но она — в прямом смысле слова — не видит того, что вижу я; в ее голове роятся другие образы, и я точно так же не вижу картин ее детства. Она не может выйти за пределы своего опыта, вообразить то, чего не знает. Взросление будет мучительно трудным для нее, как и для большинства представителей ее — и моего — поколения.

Труд знает легкость танца и цветенья,
Где знает сердце песни, а не стоны,
Где красота растет из вдохновенья,
А не из мрака меры и закона.
Каштан могучий в розовом кипенье —
Твоих корней не отделить от кроны.
О, гибкость стана, о лучистость взора!
Как отличить нам танец от танцора?[1]

Я сижу на бодряще неудобном стуле в университетской библиотеке Райса и читаю — медленно, с усилием. Каштан, упомянутый в стихотворении, заставляет припомнить другое, памятное мне дерево. Последняя строка трогает меня сама по себе, потому что это в точности как игра на

1. Стихотворение ирландского поэта У. Б. Йейтса (1865—1939) "Среди школьников" из сборника "Башня".

пианино, когда уже не знаешь, ты играешь музыку или она играет тебя... Но что означает *кипенье, стан, лучистость?* У меня возникают лишь смутные образы, и к тому времени как я посмотрю в словаре все слова и подставлю их значения в текст, мне трудно будет воссоздать летучесть строк, бесшовную плавность музыкального смысла. Я слишком напряженно вглядываюсь в текст — на мою долю остаются лишь прямые линии строчек и ощущение, что где-то на волосок от меня прошла их красота. И я снова стараюсь проникнуть в смысл строфы, как несчастный влюбленный, сжигаемый неутолимой страстью к своему недоступному — хоть и такому близкому! — предмету.

Многое из того, что я читаю, не доходит до меня, теряясь в пенных водах неточно понятых слов. Но как бы меня ни огорчало такое положение вещей, я вскоре обнаруживаю, что оно не сказывается на успеваемости. Мне кажется, я достигаю успехов не вопреки, а благодаря своему дефекту: именно потому, что мне не хватает языка. Любое увечье порождает компенсаторные механизмы, и мой разум, лишенный многих необходимых слов, превращается в тонкий инструмент абстрактного мышления. В моей голове не звучит непрерывный, ежедневный монолог — ничто не отвлекает меня. Мне не приходится обдирать словесную плоть, чтобы обнажить скелет рассуждения. Лишенная ощущения фактуры, геометрия моего восприятия открыта, словно балки недостроенного здания. Какой бы предмет я ни изучала, мне легче проникнуть в логику архитектурного плана, чем оценить детали интерьера.

И именно потому, что я знаю, как разрежен воздух абстракции, я научаюсь ценить шершавую поверхность, конкретную деталь. Однако случилось так, что моя невольная склонность к абстракции как нельзя лучше вписалась в современную образовательную систему. Образование, которое я получаю в университете Райса, почти целиком формалистическое, и тот анализ, которому мы должны подвергать прочитанное, как нельзя лучше соответствует моим усеченным возможностям. Когда мы изучаем труды средневековых религиозных философов и французских экзистенциалистов, нас не спрашивают, верно ли доказательство бытия Божьего, а спрашивают, как оно сконструировано. В курсе Возрождения от нас не требуют понимать, какие события привели к Реформации; вместо этого мы должны размышлять о природе ретроспективного знания и о том, возможна ли точная интерпретация прошлого. Я легко составляю логические схемы из блоков абстрактных идей, не рискуя напороться на коварные рифы конкретного.

Я не сразу понимаю, что эта моя способность — бесценна. Сначала я учусь неохотно, боясь, что у меня вообще ничего не выйдет. Потом на занятии по философии преподаватель, объясняя нам такие платоновские категории, как "большой" и "малый", спрашивает, хотим ли мы говорить о большом или маленьком апельсине; и на мой дерзкий вопрос "Как насчет среднего?" дружески бросает в меня мелок. На занятии по английской литературе мое сочинение о сонете Джона Донна зачитывают вслух, и я решаю, что учиться все-таки стоит.

Не то чтобы мои усилия были слишком последовательны. Слишком систематические или слишком усердные занятия противоречат польскому кодексу чести, который гласит, что каждый, к какой бы системе он ни принадлежал, должен нарушать как можно больше правил, и в эту игру играть следует с блеском, так, чтобы все сходило тебе с рук. Но я подозреваю, что здесь играют в другую игру — интеллектуального свойства, и я хорошо в нее играю. Я впитываю академический жаргон с

подозрительной легкостью; для меня это скорее элементарный, нежели усложненный язык — язык моего "англоязычного детства". Мне не приходится продираться сквозь слои другой лексики, я жонглирую терминами непринужденно, словно они не имеют веса.

Мои друзья уверяют, что, приехав сюда, на Восточное побережье, я наконец-то оказалась в настоящей Америке. "Быть американцем значит ощущать, что ты и есть норма, — объяснил мне один мой знакомый, — а Северо-Восток сам устанавливает нормы". В этом замечании — поразительная ирония, поскольку как раз в то время все мои друзья пытаются развенчать, опровергнуть, уничтожить любые нормы, доставшиеся им от родителей, навязываемые культурой. Они еще долго будут пользоваться своими прирожденными правами для того лишь, чтобы утвердиться в одном единственном праве — с наслаждением вышвырнуть прочь собственные привилегии. На какое-то время они откажутся наследовать мир.

Я же все лихорадочней пытаюсь определить, где мое место в этой самой Америке, в которой так много разных Америк. Я не хочу больше эксплуатировать свою принадлежность Старому Свету, не хочу больше слышать, что "экзотика — это эротика", не хочу ничего знать про свою восточноевропейскую прямоту и "задумчивый взгляд галичанки". Я не желаю, чтобы меня подстегивали храбрость отчаянья, эмигрантская хватка или узурпаторские амбиции. Я не хочу больше жить с этим раздражающим, беспокойным ощущением, что я особое культурное явление. Пора свернуть холст и увидеть мир, как он есть, — просто мир. Я хочу снова войти — пускай через зазеркалье — в обычную жизнь.

Я помню Краков по своим снам. Обычно в этих снах мне не удается пройти туда, куда я стремлюсь, — в некий иллюзорный дом, находящийся за гранью сновидения. Наяву, в настоящем Кракове, оказывается, что сны, снившиеся мне годами, теперь указывают мне путь. Я уверенно нахожу дорогу на краковских улицах, ориентируясь не по карте, а по своим снам — мои ночные прогулки прочно отложились в памяти. Я узнаю места — здания, улицы, которых я вроде бы не помнила, кафе в подвальчике, где все стены увешаны карикатурами, статую в парке, просто зеленый газон. Это и жутковато и волнующе — узнавание того, что казалось забытым: как будто, проснувшись, обнаруживаешь, что твой сон материализовался.

В 1968 году меня не пустили в Польшу. Я выбрала не самый удачный год — год, когда большинство евреев, оставшихся в стране, были вынуждены эмигрировать под давлением официального и бытового антисемитизма, раздуваемого властями. Я провела почти все лето добиваясь визы в польских посольствах: в Лондоне, Париже, Вене, Праге, — и везде получала отказы, которые тамошние "аппаратчики" даже не трудились мотивировать. "Зачем вообще мадам туда ехать?" — спросил чиновник в Праге, глядя на меня сквозь темные очки, и в голосе его было столько знакомой, леденящей подозрительности, что я подумала: и впрямь, зачем?

"Зачем тебе туда ехать? Что тебя туда тянет?" — неодобрительно повторяли родители. Может быть, мне нужно разобраться в этом раз и навсегда, отвечала я. Посмотреть, что было бы, если бы... Когда я предприняла новую попытку в 1977 году, визу получить оказалось легко — правила в Польше меняются чаще, чем что-либо иное; но сразу по при-

бытии начались проблемы иного рода. По дороге из варшавского аэропорта таксист отрывисто сообщил: "Они убили студента. В Кракове". Он говорил с грубоватой фамильярностью, одновременно подчеркивая серьезность события и непримиримую ненависть к "ним".

Я приехала в Польшу в один из тех периодов, когда давление политической ситуации приводит к кипению страстей — кажется, котел вот-вот взорвется. Убитый студент был участником одной из демонстраций, в последнее время участившихся; дом, где он жил, превратился в своего рода мавзолей — все лестницы, весь двор были усыпаны цветами. Телефонное сообщение между Краковом и Варшавой прервано, продолжает таксист, поезда не ходят, самолеты не летают. Я немедленно ловлю себя на прежней, инстинктивной реакции: сосредоточенно, взволнованно внемлю каждому слову. Следующие несколько лет в Варшаве я повсюду ловлю этот знакомый настрой: люди сплачиваются — мать и сын, хозяйка и служанка; все говорят вполголоса, в комнатах душно от сигаретного дыма, водки, разговоров за полночь, бесконечных пересудов и рассуждений. В воздухе веет опасностью, сладостно, безошибочно угадывается привкус риска. <...>

Краковский вокзал скудно освещен, но, как только я выхожу из поезда, ко мне тут же устремляется группа людей. Может быть, ситцевое платье с широким поясом и кожаные сандалии — качественная, простая одежда — выдают во мне иностранку. Как бы то ни было, эти люди узнают меня без колебаний. Кто-то протягивает мне цветы, кто-то говорит: "Наша Эва". Я сразу узнаю пани Орловскую — ее волосы совсем побелели, но красивое лицо все так же строго, все та же прямая осанка. Я медлю перед женщиной средних лет, расплывшейся, с тонкими светлыми волосами. "Крыся", — застенчиво представляется она, и мы обнимаемся. Высокий худой мужчина в джинсах и футболке с надписью "Университет Небраски" сообщает мне, что он Яцек, младший брат Дануты. "Как там Алинка? Еще не замужем?" — спрашивает он с улыбкой (в детстве они были неравнодушны друг к другу). Я отвечаю: нет, не замужем, пишет докторскую по психологии, очень хорошенькая, почти разучилась говорить по-польски.

Мы все набиваемся в польский "фиат" Яцека, которым тот чрезвычайно гордится, и через несколько минут пани Домбарская открывает нам дверь своей квартиры на третьем этаже дома номер 72 на улице Казимира Великого — этот дом стоит прямо рядом с нашим. Меня немедленно окутывает резкий, сладковатый запах сигарет, духов, одежды; в детстве это была атмосфера самой женственности, эротичности. Пани Домбарская выпускает сигаретный дым, оценивающе оглядывает меня; она все еще слегка напоминает Марлен Дитрих, губы ее обведены ярко-красным карандашом, брови — две тонкие нарисованные дуги... "Ну вот, так мы и живем, — говорит она с интонацией иронического смирения, заводя нас в дом. — Ничего не меняется". <...>

На следующий день Данута возвращается с конференции и сразу же приходит к матери. "Ну-ка, покажись! Посмотрим, превратилась ли ты в американку!" Она тщательно изучает меня. "Так, серединка на поло-

винку, – заключает Данута с озорной улыбкой. – А я, как ты скоро увидишь, превратилась в обычную домашнюю квочку". Но мне совсем так не кажется: от ее женственной фигуры веет энергией, глаза подведены черным карандашом, на шее деревянные бусы в несколько рядов... Из благовоспитанной жизнерадостной девочки она превратилась в уверенную, жизнерадостную женщину. Ее лицо подвижно, изменчиво: на нем можно прочесть сменяющиеся мысли и настроения. И если она видит во мне что-то американское, то, быть может, это как раз бóльшая неподвижность черт, бóльшая собранность и самоконтроль, чем у здешних женщин. И двигаюсь я тоже по-американски – более свободным, решительным шагом. Моему телу дозволена бóльшая раскованность, самоуверенность, в то время как лицу отказано в капризной, спонтанной смене выражений, которая здесь является признаком женственности. Наши с Данутой черты несут в себе разные представления о женственности, разные ограничения и свободы.

На другой день я переезжаю к Дануте. "Тебе нравится?" – спрашивает она радостно, показывая квартиру, и я говорю: "Потрясающе!" Я говорю искренне, хотя еще несколько дней назад это жилище показалось бы мне довольно скромным. Мои критерии мгновенно меняются, и теперь я отмечаю отдельную комнату для двенадцатилетней дочери, посудомоечную машину на кухне, старый диван с бархатной обивкой, многочисленные безделушки в качестве признаков роскоши и уюта, каковыми они и являются. <...>

Следующие несколько дней я провожу "в поисках утраченного времени", испытывая при этом смешанные чувства. На Рыночную площадь больше не слетаются голуби, зато здесь появилось множество цветочных ларьков с немыслимо дорогими гвоздиками и розами. Сукенницы все еще придают площади ренессансный вид, но я знаю, что это здание, как и многие древние здания Кракова, страдает от очень современного недуга – загрязнения окружающей среды. В основном зараза идет из Новой Гуты – огромного стального новообразования на окраине Кракова, одного из монументов социализма. В Польше практически не контролируют промышленные отходы, и рабочие Гуты беспрестанно болеют.

Мы все привыкли к этим современным бедствиям, но я все равно горюю: здесь загрязнение кажется святотатственным, как совращение невинности. Мой Краков, древний, вечный, разъедаемый изнутри этим невидимым врагом! Однако невооруженному глазу город даже в период политических передряг кажется все тем же, неизменным. Престарелые франты проводят досуг в кафе за чтением толстых журналов; в Краковском парке матери сидят на скамеечках и покачивают коляски, а дети скачут на одной ножке по плитам, уложенным на песке. В театре имени Словацкого – стиль рококо, плюшевая обивка – публика, одетая с несколько старомодной элегантностью, смотрит сатирическую пьесу гонимого автора...

В квартире пани Витещак пианино все так же стоит в углу, у окна; и прелестная миниатюра, которую я всегда разглядывала в перерыве между упражнениями, все еще висит на стене напротив. Пани Витещак теперь проводит свои дни под пуховым стеганым одеялом на диване в гостиной, там, где раньше лежала ее мать. Она лежит, откинувшись на подушку, и выглядит хрупкой, но глаза у нее все такие же ясные и живые. Ее сын и невестка тихо ходят по квартире в тапочках, мягко улыбаются, приносят ей чай. "Значит, ты бросила музыку, – говорит пани Витещак, глядя мне прямо в глаза. – Ты была талантливым ребенком, но я увере-

на, что все к лучшему. Ты талантлива и в другом тоже — я знаю, ты напишешь что-нибудь интересное. Помнишь Лидию Сулик? Постарше тебя, тоже очень талантливая. Она написала несколько рассказов, немного сюрреалистических, о жизни в Англии...” О, это отпущение грехов! Значит, я была лишь одним талантливым ребенком из многих; я не выронила золотое яблоко, не предала священную веру! Пожалуй, только пани Витещак могла несколькими простыми словами распутать сложный клубок моих сомнений; наверное, только она, хранитель золотого яблока, могла освободить меня из этого плена.

Я медленно иду по Плантам и, дойдя до раскидистого каштана, останавливаюсь. Здесь, под его оберегающими ветвями, я сидела однажды, пораженная внезапным детским прозрением. Нет, это ощущение нельзя восстановить никакими мнемоническими приемами; но оно продолжает мерцать во мне, как пульсирующий сгусток света. <...>

Покончив со своим одиноким паломничеством, я заболеваю — высокая температура, полубред. С туристами в Кракове это часто случается, говорит вызванный Данутой врач. Здесь нигде не достанешь фруктовых соков или салфеток “Клинекс”, время от времени в роскошном жилище Дануты отключают газ и электричество. Но врач приходит каждый день, и Данута преданно ухаживает за мной. Знакомый уют, знакомые неудобства.

“Ты когда-нибудь жалеешь, что уехала?” — спрашивает однажды Данута, вынимая у меня изо рта градусник. Сейчас, когда вопрос задан вслух, значение его расплывается. Я уже не знаю ту, что жила бы здесь, если б осталась. Можно, конечно, воссоздать основные блоки воображаемой жизни: если бы мы не уехали, я стала бы пианисткой, возможно, достигла бы известных успехов; я вышла бы замуж и страстно, по-польски ссорилась бы с мужем, зимой отдыхала бы в Закопане. Все это происходило бы постепенно, в естественной последовательности. Соотношение изменчивости и стабильности было бы иным: стабильные элементы — квартира пани Витещак, Планты, привычный гололед польских зим — создавали бы ровное остинато, на фоне которого модуляции перемен звучали бы мягче, гармоничнее. Я участвовала бы в студенческих волнениях, живо интересовалась политикой, как это бывает, когда речь идет о вещах, непосредственно касающихся тебя. Я была бы полна жизнеутверждающей нравственной цельности, когда точно знаешь, что правильно, а что нет, где истина и где ложь, — той самой цельности, что сообщает польской беседе и образу мыслей уверенность и остроумие. Культурные рамки здесь крепче, и они твердо удерживают человека на своем месте. Есть вещи, о которых я знаю со стороны, но я уже не знаю, что значит жить внутри них. В 1968 году, когда после студенческих восстаний усилились гонения на евреев, мне бы, возможно, все равно пришлось эмигрировать, как и большинству еще остававшихся в Польше евреев. Я уезжала бы с сожалением, может быть с тоской, но сознательно: такой отъезд разительно отличался бы от подросткового слепого, беспомощного горя — от насильственного вырывания из родной почвы. Куда бы я поехала? В Израиль, Америку, Западную Германию, Швецию? Здесь размышления становятся совсем размытыми, поскольку я не знаю ту женщину, которой пришлось бы принимать это решение. Я не знаю, как сложилась бы ее жизнь, в какой момент ей довелось бы делать выбор: находилась ли она тогда на волне успеха или в пучине отчаянья, жаждала ли перемен, была ли ко всему безразлична? Я не знаю событий, которые могли бы оставить невидимые шрамы на ее коже, наслоения го-

рестей и радостей в ее душе. Никто не может вообразить реальность сослагательного наклонения, по сравнению с простой декларативной реальностью сущего "если бы" теряет онтологический статус. "Если бы" не считается, хотя без этого не было бы воображения и мы были бы настоящими узниками своего существования. Но цель этой условной истории ложится на мою жизнь не сожалением, но знанием (с которым мы все должны смириться), что человеку дана только одна жизнь, одна из многих возможных.

— С тех пор столько всего случилось, — отвечаю я наконец на вопрос Дануты.

— Конечно, твоя тамошняя жизнь намного интереснее, — говорит она.

— Нет, дело не в этом, — отзываюсь я. Я и вправду не знаю, как сравнить "интересность" наших жизней. — Просто так вышло, что я живу именно этой жизнью, а не другой.

— Ах, дорогая, — вздыхает Данута. Конечно, она понимает всю мучительность, неизбежность единственной, вот этой, версии жизни, которую нужно прожить от первого лица.

— Пришли американского аспирина, — просит она на прощанье. — И еще какао. Иногда мне снится хорошее какао...

Яцек везет меня в Варшаву, куда ему нужно по делам, в своем "фиате", и я первый раз выезжаю за город. Стога сена, старые деревянные дома и среди них уродливые одноэтажные бетонные постройки; крестьянки в длинных юбках разгибаются и провожают машину равнодушным взглядом. Я заболела как раз в те дни, когда собиралась съездить в деревню. Ничего, в следующий раз. Всего лишь длинный перелет отделяет Польшу от Восточного побережья. Безмерное, непреодолимое, потустороннее расстояние было создано неизмеримой глубиной тоски и утраты — дистанцией воображения.

Нет возврата к истокам, нельзя восстановить цельность, присущую детству. Опыт формирует стиль, стиль, в свою очередь, создает новую женщину. Польский для меня уже не тот единственный, настоящий язык, относительно которого другие языки ведут зависимую, второстепенную жизнь. Польские озарения не могут быть восстановлены во всей своей чистоте; теперь я знаю что-то и по-английски тоже. К непреложности детских истин примешивается взрослое, подтачивающее сомнение. Теперь, когда я говорю по-польски, в мою речь просачивается отрава затаившегося в сознании английского. Языки влияют друг на друга, скрещиваются, подвергаются перекрестному опылению. Каждый язык утверждает относительность другого. Я, как и каждый, сумма многих языков: языка семьи и детства, языка учебы и дружбы, и любви, и всего остального большого мира. Может быть, я больше других ощущаю зазор между всеми этими языками, отдельность строительных блоков. Трещины между ними порой причиняют мне боль, но благодаря этой боли я знаю, что я жива. Наши страдания — лучшее доказательство существования души; что у нас болит, когда мы сыты, согреты, защищены от дождя? Что, если не загадочная субстанция с ее собственными странными, нелогичными, невыполнимыми желаниями?

Я лечусь переводом, курсируя по разрывам и трещинам, не для того чтобы срастить их, нет — для того чтобы убедиться, что я (в первом лице единственного числа) могу находиться по обе стороны пропасти. Я терпеливо прорываю в своем английском подземный ход в прошлое, до

самого детства, почти до самого начала. Я учусь говорить первые, насущные слова на языке отстраненности, иронии, абстракции и начинаю видеть взаимосвязь языков: теперь я больше не рвусь на части, переходя от одного к другому.

Разрыв нельзя преодолеть, но теперь я могу доверить английскому языку свое детство, которое так долго было от него сокрыто; я могу дотронуться до самых болевых точек. Может быть, если упорно продвигаться вперед, все языки сойдутся в одной точке. Моя переводческая терапия дает мне инструментарий, словарь для понимания себя и в то же время оказывается дорогой к той потере, которая для меня — прототип всех потерь, и к истинной печали, которой не боятся дети. По-английски я прокладываю себе путь к своей прежней, польской меланхолии. Когда я нахожу ее, то возвращаюсь к себе — вновь уютно располагаюсь в своей собственной шкуре. Я излечиваюсь от боязни трансцендентного пространства. Наверное, копнув достаточно глубоко, мы всегда находим печаль, поскольку осознание себя неразрывно связано с осознанием собственной эфемерности, с ощущением хода времени. Но только в этом знании — а не в отрицании его — вещи обретают свой истинный масштаб, и мы понимаем, как это просто: жить, быть живым. Это знание достаточно велико, чтобы вместить нежность ко всему, что нам суждено потерять, — к каждому мгновению бытия, к людям, к миру.

Мадина Тлостанова

Эра Агасфера, или Как сделать читателей менее счастливыми

Принадлежность к той или иной национальной художественной традиции в последние два столетия прочно связывалась в европейском сознании с выбором языка, поскольку та или иная национальная культура рассматривалась непременно через призму определенной территориальности, языкового и этнического факторов. Отсюда распространенные теории прочной органической связи территории, государства и народа. Своим происхождением это представление о национальной культуре обязано, в частности, немецкому фольклористу, просветителю, филологу И. Г. Гердеру, сформулировавшему в конце XVIII века знаменитую теорию "духа нации" — Volksgeist. Она была основана на идее культурного разнообразия и отмечена критическим отношением к европоцентрической цивилизации, которой Гердер противопоставлял национальную культуру, основанную на этно-территориальной общности.

Гердеровское понимание национальной литературной традиции повлияло главным образом на развитие национальных движений и восприятие культуры и литературных канонов тех стран, которые в Новое время оказались как бы на вторых ролях (например, Центральная и Восточная Европа, Россия), уступив место так называемым великим империям современности и прежде всего, конечно, Великобритании, Франции (в XX веке — США), где и сформировалась либеральная модель нации-государства. В сознании "победителей" идея национальной традиции оказалась несколько иной, поскольку гражданский аспект в целом превалировал над этнокультурным, но как только дело касалось литературного творчества, в силу вступали испытанные модели, в определенной мере близкие к гердеровским. В случае с англосакссонской культурой, диктат которой во всем мире неоспорим, проблема национальной традиции оказалась к тому же окрашена прагматическими обертонами и достаточно рано приобрела завуалированно имперское измерение, что особенно заметно сегодня в США, где идея национальной культуры в силу объективных причин всегда имела ряд уникальных черт. Несмотря на эгалитаристские социально-политические принципы устройства и такие общеизвестные лозунги, как "из многих одно", на которых, казалось бы, строились идеи американизма, принадлежность к национальной культуре в этом "оплоте демократии", лишь в конце XIX века начавшем серьезно освобождаться от своих колониальных комплексов (в области культуры это произошло еще позднее), долгое время определялась на основе испытанных европейских моделей, а значит, была связана с этнорасовым аспектом, с религиозной принадлежностью и, конечно, с языковым фактором не в меньшей мере, нежели с гражданскими и политическими элементами принадлежности национальной. Сама идея американской цивилизации отвечает скорее глобалистским, а не национальным принципам, потому что потенциал универсализации при

© М. Тлостанова, 2003

повсеместном насаждении либерально-демократических и рыночных законов поистине безграничен.

Несмотря на децентрацию и умножение разнообразия, глобализация на деле ведет пока к усилению однополюсности современного мира, которая далеко не всегда может быть осмыслена в рамках устаревших геополитических делений, но при этом не снимает существующих властных иерархий. Только теперь было бы близоруко интерпретировать их лишь в рамках национальных границ, поскольку в силу вступают более глобальные закономерности, требующие глобальных же решений. Система наций-государств с отдельными ячейками национальных культурных традиций, предложенная западноевропейским просвещенческим и романтическим сознанием, сравнительно недолгая по времени бытования и ограниченная в геокультурном смысле, сегодня уступает место глобальному мировому пространству (наиболее яркой его метафорой выступает паучий образ Интернета). При этом глобализация не ограничивается очевидными унифицирующими тенденциями, связанными со стремительным захватом пространства мировой культуры американизированной массовой продукцией. Нельзя игнорировать и транскультурные элементы глобализации, обусловленные усилением и усложнением процессов культурного взаимодействия.

Известный американский антрополог Клиффорд Гирц попытался освободить понятие нации от этнотерриториальной привязки, назвав ее метафорически "окончательной общностью судьбы". Американский исследователь Бенедикт Андерсон пошел еще дальше, окрестив нацию "воображаемым сообществом" и справедливо утверждая, что национальные традиции выдумывались, конструировались, проецировались в прошлое, а затем начинали восприниматься в коллективном бессознательном так, словно существовали испокон веков. Однако после того как "случился" постмодернизм, привлекший внимание к проблеме деконструкции всяческих метаповествований, в том числе и национальных, проблема выбора языка и культуры обрела иной, нередко вненациональный смысл. Не случайно в последние годы все чаще можно услышать рассуждения не только о транснациональных корпорациях, но и о транснациональной литературе, о полиязыковости и поликультурности, которые стали, возможно, самыми яркими знаками конца XX века. Внутри этой вненациональной модели наиболее интересная группа авторов, на мой взгляд, это культурные мигранты, Агасферы постиндустриального мира, делёзовские "номады", многие из которых закономерно нашли пристанище в США и Великобритании.

Транскультурная чувствительность выражается ярче всего именно в проблематике миграций, промежуточности, переходности, точно определяющих экзистенциальную ситуацию субъекта этого мира — вырванного из почвы, обескровленного человека. При этом его неизбывное изгнанничество и самоощущение нового жителя "космополиса" не стирают до конца чувствительности к определенному пространству, месту, позволяют ощущать эмоциональную основу — этническую, национальную, космополитическую, сексуальную, классовую и так далее — человеческой деятельности. Западный постмодернизм в лице Ж. Делёза и Ф. Гваттари уже касался этой темы, но в весьма отвлеченном духе, а вперые придать ей законченный и выстраданный смысл, при этом не скатившись к непримиримому этноцентризму, удалось, пожалуй, лишь нескольким теоретикам, чья собственная позиция отвечает модели промежуточности. В США это Эдвард Саид, с чьей работой читатель "ИЛ" может познакомиться в этом номере, а также Хоми Баба и Вальтер Миньоло. Ранний опыт интеллектуала — изгнанника и мигранта в глобальной наднациональной общности — сформировал промежуточную критическую позицию палестинского по происхождению культуролога и литературоведа Саида и способствовал выработке им концепции нового

"секулярного" междисциплинарного литературоведения, которое он связывает с категорией "всемирности" или переосмысленного космополитизма. Саид противостоит при этом не столько религиозным формам коллективного сознания, сколько этнонациональному и националистическому мировосприятию. В самой известной своей книге "Ориентализм" (1978) ученый проанализировал западные представления о культурном, философском и языковом каноне, раскрыв сущность идеологии "экзотизации", сводящей образ "иной" культуры к примитивному набору стереотипов.

Хоми Баба — представитель национального меньшинства парсов, поселившихся в Индии в незапамятные времена, то есть "иной" в индийской культуре, которая и сама являлась культурой колониальной. Он сделал головокружительную карьеру в американской академической среде, но его также отличает позиция культурного скитальца, существующего вне категории национального. Баба стремится к выработке открытой теории, трактующей частное и универсальное не посредством бинарных оппозиций, а с помощью странствующей критической методологии, основанной на расшатывании границы между оригиналом и копией — культурой метрополии и культурой колонии. Предлагая рассматривать мировую литературу не в ячейках национальных традиций, а через призму "всеобщих культурных, политических, психологических влияний, закономерностей, понятий и тем — таких как историческая травма, рабство, геноцид, революция, террор, изгнание, потеря культурной идентичности", Баба привлекает внимание к тем, кто проскальзывал прежде между ячеек привычных логоцентрических интерпретаций, — иммигрантам, беженцам, поликультурным и полиязыковым авторам. В центре теории Бабы, оказавшей влияние на очень многих современных писателей, которые нашли в его формулировках отклик на волнующие их трудноразрешимые в рамках привычных представлений проблемы идентификации, лежит идея продуктивной культурной "гибридности", третьего времени-пространства, в котором существует индивид эпохи глобализации, особой "вне-домности", как ее называет ученый. Состояние "вне-домности" отмечают почти все современные писатели-иммигранты. По словам доминиканки Хулии Альварес, ее настоящий дом — не в реальном пространстве и среди определенной группы людей, а лишь в "воображаемом сообществе слов". Мучительное врастание в новый топос, отмеченное ощущениями неприкаянности, тоски, отторжения, оставляет героинь карибско-американской писательницы Джамейки Кинкейд, как и ее саму, в промежуточном состоянии непринадлежности: изгнание из Вест-Индии оказывается неполным, не обрубает все концы, но и врастание в Америку тоже не абсолютно — золотой сон Нового Света становится раем не для всех, оборачиваясь самодовольной и невежественной Америкой, во многом лишь продолжающей уже знакомую логику колониализма.

Опыт изгнанничества сообщает особую перспективу книгам иммигрантов из колониальных стран — это всегда сохраняющаяся дистанция между третьим и первым мирами и стремление (вос)создать воображаемое пространство между ними и поселить в нем своих героев. Следуя метафоре другой представительницы бывшей Британской колонии, а ныне одного из самых популярных индоканадских авторов — Барати Мухерджи, можно сказать, что все они пишут о неразберихе, о незастывшей магме между двумя культурными мирами, в которой нет понятий центра и периферии. Это неустойчивое время-пространство, говоря словами мексиканско-американской феминистки Глории Ансальдуа, — "место, где третий и первый мир трутся друг о друга и постоянно кровоточат, пока не родится нечто новое", означенное дефисом, который будет не границей абсолютного разделения, но воображаемым мостом, а значит, образом объединяющим. Именно поэтому истории Джампы Лахири из "Бостона,

Бенгалии и других мест" происходят на самом деле не в Индии и не в США, а в текучем магматическом межкультурном пространстве, где Индия перетекает в Манхэттен и наоборот. Именно поэтому Эсперанса — героиня романа "Дом на улице Манго" (1984) Сандры Сиснерос существует в зазоре между Чикаго и Мехико, а мексиканка Анна Кастильо помещает свою воображаемую страну пограничья Сапогонию между современными США, Центральной и Южной Америкой и Европой, "откуда родом все культурные гибриды, вне зависимости от их этнорасовой принадлежности".

Вальтер Миньоло — аргентинский по происхождению культуролог, семиотик, один из основателей научного направления по изучению культурной глобализации — добавляет к ориентально отмеченным штудиям Саида и Бабы латиноамериканскую струю, предлагая дополнить саидовское понятие ориентализма концепцией постоксидентального (постевропоцентристского) мышления, основанной на понятии "колониального различ(ен)ия" и переосмыслении геополитики знания в их взаимодействии с процессами глобализации. Именно эти элементы, по его мнению, лежат в основе всех культурных моделей современности — от цивилизаторских миссий XIX века до идеологии развивающихся стран после Второй мировой войны и культурно-экономической глобализации в 90-е годы XX века. Привлекая внимание к контекстуальности западной теории познания с ее универсалистскими претензиями, ученый стремится показать ущербность современного представления о знаниях, согласно которому "понятия связаны не с локальными историями, а с глобальными замыслами, а глобальные замыслы всегда контролируются определенными локальными историями". Отсюда акцент на межкультурных взаимодействиях и деколонизации сознания, что нашло наиболее яркое выражение в теории "пограничного мышления", полемизирующей с позицией Ж. Деррида в трактовке "другого", а также с "номадологией" Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Саид, Баба, Миньоло, как и целый ряд других постсовременных теоретиков, предлагают создать новую филологию, не связанную жестко с национальными языком, культурой и литературой, с западноевропейским пространством, с просветительскими и позитивистскими идеологиями, социополитической системой нации-государства, но основанную на полиязыковых, межкультурных и трансимперских тенденциях современности.

Поскольку принципы осмысления собственной национальной принадлежности того или иного автора меняются — некоторые из них подчеркнуто локальны, другие, как, например, постколониальная литература, напротив, не имеют строгой национальной привязки, — снимается сама необходимость обязательной национальной классификации писателя. При этом важно не только чтобы автор не рассматривался в категории экзотического, но и чтобы не происходило его полной унификации под грифом той же американской литературы без берегов. Эту дилемму хорошо сформулировал в свое время В. Набоков, утверждавший, что писателя надо оценивать по его книгам, а не по паспорту. Через несколько десятилетий ему вторил Сальман Рушди, рассуждавший о "мировом сообществе перемещенных писателей" и "незаконнорожденной" литературе, которую они создают.

Одним из проявлений того, что на первый план выходят не вертикальные, а горизонтальные связи, которые и характеризуют современный сдвиг в мировой культуре, в том числе и в литературном творчестве, стали феномены мультикультуральности, то есть культурного разнообразия, и мультикультурализма как свода теорий и практик для осмысления новой ситуации. Изменения эти затронули все регионы земного шара, но в наиболее законченном виде они были сформулированы, оценены, узаконены и переведены в область массового потребления конечно в США.

В американской истории существовало несколько моделей осмысле-

ния культурной многосоставности, всегда являвшейся важным элементом для США, где как в зеркале отражались менявшиеся представления, закономерности, парадоксы культурной динамики страны-эксперимента. Несмотря на то, что Декларация независимости, как известно, провозглашала равенство, свободу, демократию и право на счастье для всех американцев, далеко не каждый, живущий в США, мог претендовать на это звание. Его нужно было еще заслужить, стать американцем. При этом англосаксонский компонент здесь доминировал вплоть до первой половины XX века. Страна иммигрантов уже в последней трети XIX века начала вводить квоты, направленные на ограничение растущей иммиграции, и прежде всего это было связано с языковым, религиозным и этническим факторами. Англоговорящие иммигранты из Западной Европы не представляли особой опасности для молодой американской нации. А вот хлынувшие туда в конце XIX века потоки иммигрантов из Центральной, Восточной и Южной Европы — не англоговорящих, не протестантов, чья расовая принадлежность не всегда легко вписывалась в существовавшие американские представления о расе и этносе, — напротив, породили боязнь англосаксонской элиты раствориться среди все более доминирующего "иного". Не случайно знаменитая ассимиляционная теория "плавильного котла" актуализировалась на рубеже XIX и XX веков, в период господства либеральной модели общественно-политического устройства США, и касалась поначалу лишь выходцев из Европы. Ассимиляционные модели, соответствовавшие метафоре "плавильного котла", были связаны с публичным отказом от собственной этнокультурной и языковой индивидуальности и одновременно ее сохранением в частной, личностной сфере. Это вело к особому двойственному существованию или "криптоэтничности" — зашифрованной этнокультурной идентификации, связанной с желанием сойти за нормального белого англоязычного американца и часто приводившей к смене образа жизни, фамилий и даже внешности. Ассимиляционная модель на протяжении XX века была постепенно перенесена по аналогии на более широкий в этнокультурном смысле пласт, включив в себя не только представителей европейской иммиграции, но и афроамериканцев, индейцев, а затем и другие неевропейские народы, хлынувшие в США с падением колониальной системы. Однако многие транскультурные интеллектуалы ощущали особую раздвоенность, о которой написал еще в 1903 году Уильям Дюбуа в формообразующей для будущей афроамериканской традиции книге "Души черных людей". Раздвоенность "американца-через-дефис", сознающего свою изначальную второсортность, выключенность из нормативной культуры, оставалась и характерной чертой иммигрантского опыта, находившей отражение в литературном творчестве.

Для писателя-иммигранта в этих условиях ассимиляция означала необходимую пропаганду ценностей американизма, типично американских тем материального успеха, осуществленной мечты, создавшего самого себя человека, пусть и окрашенных в особые тона, выбор преимущественно европейских эстетических моделей и, конечно, прежде всего английского языка. Однако даже в первые десятилетия XX века в США не смолкали споры по поводу правомерности включения того или иного автора в национальный канон или даже простого причисления его к американской словесности, если он не был англосаксом.

Между собственно мультикультурализмом и логикой "плавильного котла" находится переходная модель интеграции, сформулированная в 60-х годах XX века, в период бурного развития движений за гражданские права, которые несомненно способствовали мультиэтническому возрождению в литературе. Но организованная групповая маргинальность, рассуждения о плюрализме и встречной культурной циркуляции не посягали на сохранявшиеся нетронутыми представления об общем культурном ядре — основе или центре американ-

ской культуры, да и касалась интеграция в основном лишь экономических и правовых аспектов. В литературе США существовали на протяжении длительного времени различные этнонациональные субтрадиции, остававшиеся невидимыми для доминирующей культуры. Сегодня многие из них отчаянно стремятся к видимости, реконструируя свой путь развития нередко с перегибами и стремлением "создать" традицию задним числом. Часть этих невидимых традиций постепенно входила в форме разрушительной для себя экзотизации в корпус национальной словесности, и уже к середине XX века стало принято говорить об афро-американском и индейском компонентах в культуре США, позднее — о различных локальных этнических "возрождениях", о женском "вкладе", наконец о различных контркультурных явлениях — от битничества и литературы хиппи до Поколения Икс. Но в целом принцип добавления экзотических компонентов не был призван изменить устоявшийся имидж американской литературы и культуры.

Можно сказать, несколько упрощая, что "плавильная" метафора соответствовала либеральной фазе развития американского общества, а неолиберальная фаза, наступившая во второй половине XX века, потребовала иной модели осмысления этнорасовой, поликультурной и полиязыковой проблематики, которая и выразилась в противоречивой концепции мультикультурализма. Толчком к бурному расцвету мультикультурных моделей с конца 70-х годов XX века послужило несколько обстоятельств: в области культурно-политической реальности это были невиданные по своим масштабам миграции из стран так называемого третьего мира в США и Западную Европу — глобальный исход третьего мира в первый. Этот сдвиг был связан с окончательной сменой индустриальной модели на постиндустриальную, с новой формулировкой властных позиций и иерархий, сменивших цивилизаторский пафос на модернизационный с его высшей целью — созданием мирового рынка, а идеологию ре-формации — на транс-формацию. В области мировоззренческой толчком к мультикультурному буму послужил критический вирус сначала западного постмодернизма, а затем незападных, альтернативных ему теорий. Так сформировался современный этнорасовый "пятиугольник", характерный для североамериканского мультикультурализма, он включает белых европейцев (по происхождению), индейцев, афроамериканцев — с более старыми и устоявшимися традициями внутренней инакости — и представителей латиноамериканской и азиатоамериканской групп, которые добавились последними. Правда, подобные обобщения всегда грешат излишней абстрактностью, ведь каждая из этих условных групп внутри себя отличается большим разнообразием, имеет свою локальную историю и свою логику развития, "врастания" в Америку. Ведь никому не придет в голову приравнять опыт иммигрантов японского, китайского и индийского происхождения, несмотря на то, что все они формально относятся к азиатоамериканской группе. То же касается и европейских иммигрантов: история американцев еврейского происхождения несравнима с историей выходцев из Италии, не говоря уж о восточноевропейской струе, которая вновь актуализировалась в последние годы. У каждой из этнорасовых литературных субтрадиций существуют при этом свои характерные темы и художественные модели. К примеру, наиболее интересную, на мой взгляд, латиноамериканскую традицию в литературе США отличает в последнее время панамериканский пафос, потеснивший прежние этноцентристские настроения, а также более органичная связь с элементами "магического реализма". Последнее отличает, впрочем, и карибскую субтрадицию, где также действует пластичный, "текучий" герой, участвующий в разного рода бесконечных метаморфозах и фантастическо-гротескных превращениях.

В последние три десятилетия мультикультурализм и связанная с ним модель общества разнообразия,

а именно так предпочитает представлять себя Северная Америка сегодня, кардинально изменили лицо страны и оказали сильнейшее влияние как на современную литературу США, так и на меняющиеся представления о национальном каноне и традиции. Для уставшего от советской моноидеологии сознания наших отечественных интеллектуалов, которые с подозрением и снисходительностью относятся едва ли не к любым политически заряженным и тем более освободительным проектам, мультикультурализм остается зачастую примитивной и агрессивной борьбой национальных и этнических меньшинств и прочих "иных" за свои права на репрезентацию. На самом деле это явление гораздо более сложное, противоречивое и охватывающее практически все стороны культурной динамики. Манифесты "афроцентристов" и взгляды поборников восстановления наследия "доколумбовой" Америки, выступления "чиканос" и пуэрториканский поэтический ренессанс в Нью-Йорке, усилия ниспровергателей канона национальной словесности и попытки гомосексуалистов выстроить свою собственную литературную традицию имеют столь же непосредственное отношение к мультикультурной проблематике, сколь и этнореклама магазинов "Бенеттон", этнотуризм, адаптированная для любителей гамбургеров мексиканская кухня или политика ведущих американских издательств и комитетов по присуждению крупных литературных премий. Иными словами, пафос бесконечно плодящегося разнообразия, вокруг которого строится мультикультурализм, вовсе не обязательно является освободительным или революционным. В большой мере мультикультурализм можно назвать прямым следствием и одним из инструментов глобализации, пластично используемым доминирующей культурой и легко к ней адаптируемым. И в сфере литературного творчества, как и потребления готового продукта — книг, этот коммерческий, или рыночный, момент особенно заметен. Идеал разнообразия как бы сыграл злую шутку с самим разнообразием: "иное" оказалось модным, но для того, чтобы быть действительно принятым в мейнстрим, оно должно быть не просто формально узаконено, а получить удобную упаковку, быть готово к употреблению среднестатистическим обывателем. Оно должно быть предсказуемо и не опасно "иным". Освобождая и давая голос, мультикультурализм все равно требует взамен от интеллектуала, которому дается билет в свободное общество, соответствия определенным правилам, как и во времена "плавильного котла".

Бросим беглый взгляд на финалистов национальных литературных премий в США за последние десять лет. Политика в этой области как нельзя лучше демонстрирует внешне изменившиеся культурные модели и пока оставшиеся неизменными внутренние пружины, определяющие выбор номинантов. Привычные всем англосаксонские имена, прежде только и ассоциировавшиеся с национальной американской литературной традицией, постепенно отошли в область "(живой) классики", сиротливо занимающей верхние, труднодоступные книжные полки магазинов и университетских библиотек. А их место среди лауреатов, как и наибольшие тиражи, достаются все чаще людям, чьи фамилии и происхождение еще недавно помешали бы причислить их к подлинно американским авторам. Среди лауреатов престижных американских литературных премий нам встретится имя кубинско-американского прозаика Оскара Ихуэлоса, карибской писательницы Джамейки Кинкейд, индоканадского автора Барати Мухерджи и родившейся в Лондоне индианки Джампы Лахири, японки Синтии Кадохаты, доминиканцев Хулии Альварес и Хунота Диаса, мексиканца Рона Ариаса, совсем недавнего иммигранта из Китая Ха Цзиня, боснийского беженца Александра Хемона и многих других. Вместе с тем сами принципы отбора меняются гораздо медленнее. Поэтому предпочтение отдается все же авторам, работающим в стилистике литературного минимализма

или, в крайнем случае, ставшего привычным "магического реализма" в его наиболее доступных среднему читателю формах. Характерные для иммигрантской литературы темы ассимиляции, вхождения в инокультурную реальность и адаптации к ней часто выражаются в виде типичных для западной традиции романов воспитания, становления и (авто)биографий.

Так, центральный лейтмотив в творчестве Джамейки Кинкейд — исследование сложных взаимоотношений матери и дочери — легче всего оказалось воплотить в разных вариантах романа становления — жанровой формы, с которой обычно экспериментирует писательница. Этот лейтмотив может быть интерпретирован не только в традиционных психоаналитических терминах, как это обычно делается в отношении ее лучшей книги "Автобиография моей матери" (1996), но и в рамках постколониальных исследований. Тогда освобождение от власти матери в сочетании с детской жаждой материнской любви и признания сопоставимо со взаимоотношениями колонизатора (матери) и колонизированного субъекта (ребенка). Такая трактовка образа ребенка как одного из многочисленных "подавляемых" в этом несовершенном мире свойственна практически всем транскультурным писателям. К примеру, это любимая из тем талантливого мастера малой формы Питера Хо Дэвиса, а также упомянутого выше Ха Цзиня.

При этом чаще всего сохраняется или намеренно воссоздается и элемент экзотизации материала самим автором, что нередко уплощает его, сводит к стереотипам. Наконец, сама эстетика, к которой обращаются принимаемые и поощряемые официальной культурой писатели, отмеченные этнокультурной спецификой, очень редко выходит за рамки западноевропейских моделей. Характерные и далеко не худшие примеры в этом смысле — творчество Джамейки Кинкейд и Ха Цзиня.

Джамейка Кинкейд (настоящее имя Элейн Поттер Ричардсон) — одна из самых известных и популярных во всем мире современных карибских писательниц. Ее собственная история девушки из бедной семьи с острова Антигуа, попавшей в семнадцатилетнем возрасте в США в качестве прислуги и почти по мановению волшебной палочки ставшей там известным автором, — казалось бы, типичный рассказ об американском успехе, который она воплотила в художественной форме в своей повести "Люси" (1990). Рецепт ее славы довольно прост — это пост-, анти-, неоколониальная проблематика, фокусирующаяся всегда на резких обвинениях в адрес британской колониальной политики на Карибах, в сочетании с рискованной экзотичностью образов островной культуры и довольно изысканной, написанной явно в подражание английскому модернизму прозой, с узнаваемыми фрейдистскими мотивами, с интертекстуальностью, базирующейся в основном опять-таки на английской литературной и культурной традиции — от Библии до Мильтона, от викторианского романа до В. Вулф, от Шекспира до романтической поэзии. Кинкейд прекрасно чувствует, что именно может понравиться среднему англоязычному читателю, что будет им легко узнано, и сознательно работает в этом направлении. Вместе с тем, первые рассказы Кинкейд, опубликованные в знаменитом "Нью-Йоркере" — журнале, куда ей посчастливилось попасть почти случайно в середине 1970-х годов и где она проработала более 20 лет, были в большей мере связаны с карибской мифологией, фольклором, с мифопоэтикой карибской литературы, менее обременены привычной сюжетностью, композиционно рыхлы. Соответственно мало кто из читателей "Нью-Йоркера" был способен их оценить по достоинству. Поэтому дальнейшее движение Кинкейд навстречу читателю вполне объяснимо. Не случайно радикальная критика обвиняет ее в "найполизации" — то есть сознательном приближении своих произведений к западноевропейской эстетической норме, а также в косвенном утверждении культурной власти метрополии. Думается, это все же слишком суровое обвинение. Ком-

пактная лирическая проза Кинкейд обманчиво проста и прозрачна. Ее произведения лишены откровенной политической ангажированности, черно-белых интерпретаций, жестких этико-эстетических норм, связанных с определенной традицией — будь то традиция западная или карибская. Поэтому, вероятно, Кинкейд привлекают модели экспериментального письма, которые строятся в той или иной мере на этико-эстетической зыбкости. Отказываясь от бинарных оппозиций западной культуры, Кинкейд вместе с тем не может принять до конца и саморазрушительной ярости многих своих персонажей, их своеобразной жестокости, мстительности, негативной свободы, которые рождены невероятной бедностью, унижениями, нередко комплексом вечной жертвы — словом, теми явлениями, что и составляют сущность имперско-колониального различия. О ненависти к себе и юношеском самоотторжении вспоминает и доминиканец Хунот Диас, размышляя об ассимиляционных моделях рейгановской Америки. Кинкейд же отказывается от прямого обличения "культурного империализма" и переводит эту проблему в области, казалось бы далекие от политики, — язык, телесность, сексуальность, взаимоотношения детей и родителей, мужчин и женщин. Причем гендерное, расовое и культурное измерения сосуществуют в ее произведениях в нерасторжимом единстве. Писательница утверждает, что ее задача как автора — сделать читателей "немного менее счастливыми". Поэтому она и не любит традиционных американских хеппи-эндов, отрицающих открытые, двойственные финалы. Жизнь, по мнению автора, слишком сложна, а истина редко соотносится со счастливым концом.

Бывший офицер китайской народной армии, а ныне лауреат Национальной книжной и ряда других престижных литературных премий США, автор трех романов и нескольких сборников рассказов и стихотворений Ха Цзинь (настоящее имя — Ксуйфей Цзинь) занялся художественным творчеством на английском языке всего около десяти лет назад. Он и теперь говорит по-английски с трудом, да и в его произведениях чувствуется некоторая лингвистическая вымученность, есть и ощущение того, что автор прилежно и старательно овладел основными техническими приемами европейского повествования. Писатель отмечает, что его любимым автором является Уильям Фолкнер, но вдохновение он черпает у Толстого и Чехова. Стремительная карьера Ха Цзиня предстает в интерпретации критического истеблишмента как типичная история американского успеха, только согласно новой мультикультурной модели это история представителя идеального этнического меньшинства. Для коммерческой мультикультурной идеологии сегодня характерно определенное стремление противопоставлять одни этнокультурные группы другим по принципу "разделяй и властвуй", и китайская струя неизменно ставится в пример латиноамериканской. В восприятии критикой и читателями произведений Ха Цзиня попрежнему ощущается момент экзотизации, который психологически действует на американского потребителя как успокоительное, убеждая его лишний раз в том, что его мир — самый лучший из возможных. Произведения Ха Цзиня тем самым легко и бездумно подвергаются стереотипизации и упрощению, а опыт героев писателя обобщается как олицетворение коммунистического мира вообще, хотя, надо отдать ему должное, писатель вовсе не стремится к плоским пропагандистским обвинениям, но пытается, в скромных рамках отпущенного ему таланта, воссоздать в принципах правдоподобия и добротного бытописательства жизнь самых обычных китайцев второй половины XX века. Поэтому часто проводимая параллель между его творчеством и диссидентской прозой СССР и Восточной Европы, на мой взгляд, вряд ли правомерна. Вместе с тем, Ха Цзинь очень четко осознает, для кого он пишет. И центральный хронотоп его произведений — Китай времен культурной революции — неизменно предстает как мир, диамет-

ральноо противоположный американской действительности, хотя лишь немногие из его рассказов специально посвящены теме столкновения двух систем ценностей — традиционалистской модели китайского общества, лишь изуродованной коммунистическим диктатом, и вынесенных чаще всего за скобки, но тем не менее легко прочитываемых основ американского индивидуализма и демократии. Проблематика культурного столкновения старого и нового, мира модернизации и мира архаики — не нова в китайско-американской субтрадиции. Она разрабатывалась такими ее талантливыми представителями, как уже известная читателям "ИЛ" М. Х. Кингстон, автор воображаемой биографии "Воительница" (1976), китайско-американский драматург и активист Фрэнк Чин, а также автор бестселлеров, пользующихся большим успехом у белой аудитории, Эми Тан. Однако Ха Цзинь — пока единственный китайский иммигрант в первом поколении, добившийся столь головокружительного успеха. Эстетика китайско-американской литературы строится на обыгрывании столкновения современной американской действительности и традиционной китайской мифопоэтики, символики, метафорики, часто стилизованных или реконструированных, поскольку они воспринимаются большинством авторов, родившихся уже в США, опосредованно. В результате возникает совершенно своеобразная повествовательная техника, балансирующая между документальным свидетельством, часто фальшивой автобиографичностью и мифологической фантастикой. Все это, однако, не характерно для Ха Цзиня. Традиционные элементы китайской культуры, как и органично связанный с ними тип художественного осмысления действительности, в его творчестве отходят на задний план, уступая место бесстрастному и немного блеклому письму, лишенному признаков определенной этнокультурной стилистической принадлежности и отмеченному подчеркнуто нейтральной авторской точкой зрения. Едва ли не единственным коллективным мифом здесь выступает идеология Председателя Мао. Впрочем, и она представлена вовсе не в кафкианском или оруэлловском фантастическо-гротескном духе, а всего лишь как глухой фон, общее ощущение бессмысленности каждодневной борьбы за выживание пресловутого маленького человека, лишенного какой бы то ни было способности или желания действовать и принимать решения. Ха Цзинь подчеркнуто отказывается проблематизировать свою промежуточную позицию, как это свойственно другим китайско-американским авторам. Не случайно у него отсутствуют лингвистические китайско-английские гибриды, сообщающие богатство и выразительность творческой палитре той же Кингстон.

Даже на примере только двух писателей — Джамейки Кинкейд и Ха Цзиня — можно явственно увидеть, как усиливается коммерческий аспект в подобной литературе. Исключений из правила не так много, и имен тех авторов мы не встретим среди финалистов и лауреатов литературных конкурсов. Это писатели, работающие в иной, непривычной европейскому и североамериканскому сознанию, зачастую пограничной эстетике и в сфере многоязычия, не заботящиеся о коммерческом успехе, о том, как бы выгоднее продать свою инакость, что вновь обрекает их на невидимость. Яркий пример подобной позиции — мексикано-американские писатели Глория Ансальдуа, Рональдо Инохоса, Рон Ариас и Гильермо Гомес-Пенья, афроамериканская поэтесса и активистка Одре Лорд, карибская писательница Мишель Клифф.

Несмотря на прозрачность мультикультуральной проблематики сегодня, положение писателя-иммигранта — или внутреннего "иного" — осталось во многом прежним: оно все равно основано на "мимикрии" и на том специфическом психологическом феномене, который нередко называют "негоциацией", постоянным культурным мерцанием, жонглированием. Теперь и сама промежуточность также стала товаром: ради вы-

соких тиражей авторы уже не маскируются под правоверных белых американцев, а используют свою модную инакость в целях рекламы. Еще в 70-х — начале 80-х годов многие писатели настойчиво требовали изъятия дефиса — вернее, первой части — из определений их национальной принадлежности, стремясь быть и считаться полноправными американцами, окончательно снять с себя уничижительный ярлык национального меньшинства. Для большинства иммигрантов в первом поколении сегодня уже не актуальна задача самоопределения как непременно американских авторов. Они уже не ищут земли обетованной, а лишь из двух зол выбирают меньшее. Отсюда и практически полное отсутствие откровенной апологетики, которая была раньше отличительным знаком иммигрантских произведений, как бы покупавших себе тем самым вход в большое пространство американской культуры, доказывая свою лояльность ей. Правда, следует признать, что по инерции критика мейнстрима продолжает классифицировать большинство иммигрантов последней мультикультурной волны как американских авторов несмотря на то, что даже сама тема ассимиляции все чаще рассматривается в их творчестве иронически и пародийно. Америка нередко предстает на страницах их книг, говоря словами мексиканско-американской писательницы Сандры Сиснерос, "землей автоматических прачечных" и техасских "принцев", только что сошедших с экрана мыльной оперы. Даже набоковское ироничное утверждение, что он стал "таким же американским, как апрель в Аризоне", теперь оказалось вроде бы ненужным. Американское место жительства, в сущности, не определяет творческой индивидуальности живущего в Нью-Йорке австралийца Питера Кэри или новоорлеанского румына Андрея Кодреску. Да и самая многочисленная группа новых иммигрантов — из бывших стран третьего мира — вряд ли может быть отнесена безоговорочно к разряду американских авторов. Четыре якоря души, о которых рассуждает Рушди в одном из своих лучших романов "Прощальный вздох мавра" (1995) — место, язык, люди и обычаи, — не способны более их удержать. Не случайно Джамейка Кинкейд не устает повторять, что ее все меньше интересует мнение и одобрение первого мира, и что она никогда не чувствовала поддержки со стороны мира, из которого пришла, и что она вновь поместила себя в состояние изгнанника, только теперь уже вполне сознательно.

Выбор языка при этом остается важным символическим шагом, хотя и здесь акценты в значительной мере смещаются. Большинство авторов пишет по-английски не с тем, чтобы стать американцами, а просто потому, что так их книги станут доступны более широкой аудитории, отнюдь не только американской. Здесь английский как бы теряет свою национальную принадлежность, выступая поистине языком глобализации, lingua franca современного мира. В первой половине XIX века еще очень колониальная американская словесность не отделяла себя от британской, и такие писатели, как Вашингтон Ирвинг, стремились публиковать свои произведения сначала именно в Европе — тем самым стиралась грань между английским и американским. Сегодня все происходит с точностью до наоборот. Для многих авторов англоязычное сообщество — и прежде всего США, а затем уже Великобритания с их многочисленными "колониями" — выступает неким нерасчлененным континуумом, на просторах которого можно добиться известности, если писать на английском. Именно внутри такого англоязычного американо-британского континуума существует, например, Питер Хо Дэвис. Следует отметить, что для культуры США как XIX, так и особенно XX века характерен и уникальный феномен литературного творчества не на английском языке, причем не только в герметичной форме, свойственной иммигрантской диаспоре. Это могла быть и литература, находившаяся объективно в диалоге с американской системой ценностей, мироощущением, но сохранявшая

при этом языковую, а значит и иное мироощущение, особость. Назовем лишь В. Набокова, И. Бродского, И. Башевиса Зингера. В современной мультикультурной прозе этот феномен обретает несколько иной смысл в творчестве латиноамериканских писателей-билингвов, сочетающих английский и испанский в различных гибридных формах "спенглиша" и "кало", а также нередко чередующих два языка в рамках одного произведения.

Важность языкового выбора, связанного в данном случае в большей мере не с национальной традицией, а именно с более глобальной колониально-имперской проблематикой, отмечают очень многие авторы — недавние иммигранты из стран третьего мира. Талантливая ямайская писательница и поэтесса Мишель Клифф, ныне живущая в Калифорнии, в автобиографическом эссе "Путешествие в речь" противопоставляет "идеальный словесный мир" и линейную цветистую прозу научной речи (ее диссертации об итальянском Ренессансе) искореженному, нелинейному, зашифрованному до уподобления стенографии и борющемуся с немотой письму о собственном опыте, в процессе которого рождается ее авторский голос. При этом в случае с Клифф европейское и американское наследия переплелись с культурой и языком Ямайки ее детства: нормативный британский английский — с наречиями, диалектами, языковыми вариантами островной культуры, так что Ямайка существует как бы в рамке, внутри рассеченного сознания и воображения автора. Временны́е, пространственные "смешения", формальные гибриды и алогичные герои, мучимые неотвратимостью возвращения к культурным призракам и константам прежней, во многом утерянной или неузнаваемо изменившейся традиции, становятся отличительными знаками подобной нелинейной прозы. На первый план в ней выходит сам феномен культурной непереводимости, постоянное переключение культурных, понятийных, языковых кодов, что выражается в активном пересоздании языка ("языковых вывихах", "переломах", взрывчатых экспрессивных метафорах), в полилингвизме, в почти повсеместной стилевой избыточности и диалоге повествовательных форм и моделей, взятых из разнородных и, на первый взгляд, взаимоисключающих традиций. Очень часто транскультурные писатели-иммигранты прибегают и к технике коллажа. Так, Хунот Диас даже называет свой творческий метод коллажем, составленным из осколков разорванного и уродливого целого, но в этих фрагментах читатель прозревает осколки и своего индивидуального прошлого. В этом смысле карибский писатель неожиданно, хотя, наверное, в чем-то и предсказуемо — ведь иммигрантский опыт имеет несомненно и универсальное измерение — перекликается с ностальгическим стихотворением литовского диссидента Томаса Венцловы о воображаемом визите домой спустя много лет, о полуразрушенном ирреальном доме, названном Венцловой "мертвым пространством". Это тоже пространство-коллаж старых фотографий и порванных обоев, полуразрушенных лестниц и забытых комнат, это "пустая ячейка в лабиринте тропинок", где безразличие или боль странным образом соотносятся.

Автобиографическое начало также является важнейшим для всех писателей-иммигрантов, хотя в целом оно достаточно далеко от документальности. Скорее можно говорить о сотворении некоего мифа о себе и своем прошлом, и в этом мифе дают себя почувствовать, с одной стороны, ностальгия, а с другой стороны, непреодолимые ярость и горечь. В результате формируется своего рода "иная" культура, существующая между западной традицией индивидуализма и культурно-групповым опытом, между английским и различными языковыми "вариантами" — включая жаргон, арго, диалект. Для недавних иммигрантов написание такого автобиографического повествования обретает символический смысл потому, что означает еще и

врастание в новый язык — осознание себя в новом культурном пространстве, в новой системе мышления.

Кубинский литературовед и писатель Густаво Перес-Фирмат отмечает в автобиографии: "Тот факт, что я пишу по-английски, уже заведомо искажает то, что я хочу сказать. Об этом я, собственно, и пишу, о том, что я не принадлежу ни английскому, ни испанскому всецело... Много раз английский казался мне недостаточным, как словарь с отсутствующими буквами, но все же я не смог бы писать по-испански — по культурным, а не лингвистическим причинам".

Представителям бывших британских колоний (Д. Кинкейд, Д. Лахири) это свойственно в меньшей мере, ведь им не пришлось менять язык в США, их языковая раздвоенность в этом смысле гораздо старше, она начала формироваться уже с самого детства — в причудливом переплетении и чередовании местных языков и диалектов и нормативного английского. А вот для иммигрантов из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Восточной Европы проблема смены языка, а также культурного и языкового перевода и непереводимости более актуальна и неразрешима. Особенно это касается тех, кто происходит из абсолютно иных языковых пространств. Эти авторы в недостаточной мере знакомы с английским как языком-колонизатором или сегодня — языком глобализации, и для них вживание в новый язык еще более болезненно.

Так называемые национальные языки одновременно являлись чаще всего имперскими языками современности (испанский, французский, английский, русский и так далее) и соответственно формировали некое абстрактное представление о языковой личности, предполагающее, что овладение тем же нормативным английским должно по мановению волшебной палочки превратить бывшего жителя колонии в образцового коричневокожего англичанина или американца. По словам В. Беньямина, существует определенная неразрешимость, некое сопротивление в процессе культурно-языковой трансформации, определенный остаток, который не поддается переводу. Именно это пространство непереводимости привлекает внимание писателей, живущих в нем постоянно. Юрий Лотман в "Семиосфере" также назвал амбивалентные полилингвистические границы "своеобразными переводящими механизмами": чужие тексты трансформируются, чтобы они могли быть поняты в нормативном языке определенной культуры и, вместе с тем, остались бы в достаточной мере "чужими". Отмеченная Лотманом логика во многом отвечает современной культурно-языковой ситуации. Именно поиск иного, а не сходства привлекает в конечном счете культуры и людей друг к другу.

Согласно европоцентристской линейной культурологической модели принято условно делить поликультурные художественные явления на архаические, ассимиляционные и промежуточные. Недостаточность такой классификации очевидна. Практически все писатели-иммигранты сегодня принадлежат к промежуточной, гибридной модели, однако это не делает творчество кубинско-американских прозаиков идентичным книгам китайско-американских авторов. Охватывая практически все стороны идентификации, от национальной, которую он во многом опрокидывает, до этнорасовой и этнокультурной, от гендерной проблематики до региональных различий, от экологических движений до попыток сформулировать основы постгуманистического существования, мультикультурализм фокусируется на генеалогии колониальных и имперских различий, внутри которых формировались конкретные локальные истории, определившие художественный мир того или иного автора. В этом смысле писатель из бывшей британской колонии опирается на локальную историю, отличную от имперско-колониальной проблематики Латинской Америки, писатель-иммигрант из третьего мира практически не соотносим с не абсолютно "иным" автором из мира второго — Восточной или Юго-Восточной Европы. Вместе с тем, практиче-

ски все новые иммигранты в США существуют в зазоре между по меньшей мере двумя имперскими традициями, они как бы вынуждены быть двуликими Янусами, и этот момент необходимо учитывать. Характерный пример — карибская литература, одной из первых подавшая свой постколониальный голос в середине XX века — сначала в Великобритании, а затем в США. Новое поколение карибских писателей, живущих в Северной Америке, осознает себя чаще всего именно в рамках этой сложной имперско-колониальной модели — на колониальный опыт их детства, связанный с культурным противостоянием Британской империи, накладывается новый опыт существования в суперимперии глобализации — США, сообщая дополнительное измерение их художественным исканиям. Карибская традиция, кроме того, сформировала в наиболее законченной форме гибридные модели транскультурации, суть которых точно выразил писатель и философ Эдуард Глиссант в своих размышлениях о глубоких последствиях языковой креолизации. Она неизбежно ведет к креолизации сознания. Отсюда и его метафора, отрицающая привычное представление о чистоте и однозначности языка, ясно отражающего, как в зеркале, познаваемый объект. Глиссант говорит не только о "праве на различие, но и о праве на непрозрачность, понимаемую не как закрытость внутри непроницаемой автократической культуры, но как утверждение своей особой сущности в рамках неуничтожимой уникальности. Непрозрачности могут взаимодействовать, сосуществовать, сплетаться в разные узоры. Чтобы понять это явление, надо сосредоточиться на фактуре сплетения, а не на природе его компонентов".

Произведения, представленные в этом номере "ИЛ", позволят читателю познакомиться поближе с пока не получившей исчерпывающей интерпретации в отечественном культурном пространстве, но весьма перспективной стороной мирового литературного процесса. Они не похожи одно на другое, как различны сформировавшие художественные миры их авторов локальные культурные контексты и литературные традиции. Объединяет их, пожалуй, лишь неизбежная принадлежность определенным месту и времени — мультикультурному пространству глобализации и эре Агасфера, в которых существуем все мы сегодня.

Эдвард Саид
Мысли об изгнании

Отвлеченные размышления об изгнании странно затягивают — испытать же его на себе ужасно. Это насильственное и необратимое отсечение человека от родных мест, человеческого "я" — от его подлинного дома; тоска изгнанника неисцелима. Да, история и литература сообщают о многочисленных героических поступках, романтических приключениях, возвышенных переживаниях и даже триумфальных победах изгнанников, но за всеми этими свершениями стоит одно — стремление как-то совладать с иссушающей печалью разлуки. К успехам изгнанника всегда примешана ложка дегтя — сознание, что оставленное на родине потеряно для тебя навсегда.

Но если настоящее изгнание — это мука невосполнимой утраты, почему же сегодня оно с такой легкостью превращается в могучую и, более того, весьма продуктивную движущую силу культуры? Для нас уже почти само собой разумеется, что вся наша эпоха — время отчуждения и духовного сиротства, век разобщенности и тревог. Ницше научил нас тяготиться традициями, а Фрейд — считать привязанность к родным всего лишь благопристойной маской, под которой скрываются отцеубийственные и инцестуальные страсти. Современная западная культура во многом творение изгнанников, эмигрантов, беженцев. Нынешний облик научной, интеллектуальной и эстетической мысли США сформировали те, кто бежал от фашизма, коммунизма и прочих режимов, практиковавших репрессии и высылку инакомыслящих. Критик Джордж Стайнер проницательно заметил, что в западной литературе XX века имеется отдельный "внетерриториальный" жанр — литература изгнанников и об изгнанниках, символ эпохи беженцев. Развивая свою мысль, Стайнер замечает: "По-видимому, вполне логично, что в полуварварской цивилизации, сделавшей бездомными огромное множество людей, искусством занимаются именно поэты без определенного места жительства и скитальцы, кочующие от языка к языку. Чудаковатые и гордые отшельники, тоскующие по родине, сознательно отказывающиеся адаптироваться к своей эпохе..."

Правда, изгнанники всех времен смотрели на мир с межкультурных, наднациональных позиций, терзались одной и той же тоской и отчаянием, брали на себя одни и те же просветительские и критические функции (кстати, блестяще и убедительно проанализированные Э. Х. Карром в его классической работе "Романтические изгнанники" о Герцене и других русских интеллигентах его круга). Но — и это непременно нужно учесть — у изгнанников нашего времени есть одно важное отличие. Изменился сам масштаб явления: наш век — время империализма и высокотехнологичных вооружений, время метящих в боги тоталитарных вождей — воистину век беженцев, перемещенных лиц, массовой иммиграции.

Это обезличенное, поставленное на поток изгнание никоим образом не может пробудить в человеке человечность. Изгнание в тех масштабах, которые оно приобрело в XX веке, непознаваемо ни средствами искусства, ни средствами наук о человеке; литература изгнания в лучшем случае придает зримую форму тем страданиям и лишениям, кото-

© 2000 by Edward W. Said
© С. Силакова. Перевод, 2003

рых большинство людей не изведало на личном опыте; но считать, будто изгнание, породившее эту литературу, способствует пробуждению гуманности — значит утешаться банальностями, сбросив со счета все утраты его жертв, все искалеченные судьбы и то молчание, которым оно реагирует на любую попытку отыскать в нем нечто "конструктивное". Кто осмелится отрицать, что господствующая в литературе и тем более в религии трактовка изгнания затушевывает его самые ужасающие стороны? Перечислим их: во-первых, изгнание — это нечто до безобразия земное, обусловленное, как это ни больно сознавать, не мистическими, а грубо прозаическими историческими предпосылками. Во-вторых, на изгнание людей обрекают только люди — и никто иной. В-третьих, изгнание — та же смерть, только менее милосердная: вырвав уже миллионы, по последним подсчетам, людей из плодородной почвы родных мест, оно обрекает их на затяжную агонию вдали от привычного климата и традиций, вдали от близких.

Об изгнании можно прочитать в стихах, но куда поучительнее увидеть своими глазами их автора, поэта-изгнанника. Поэт глубже всех переживает и ярче воплощает в себе все противоречия изгнания. Одно время я общался с Фаизом Ахмадом Фаизом[1] — величайшим из современных поэтов, пишущих на языке урду. Высланный из родного Пакистана военным режимом Зия-уль-Хака, он нашел вполне гостеприимное прибежище в раздираемом межнациональными конфликтами Бейруте. Разумеется, ближайших друзей он обрел среди палестинцев, но я чувствовал, что, несмотря на духовную близость, Фаиз никак не может сблизиться с ними по-настоящему: язык, поэтические приемы, жизненный опыт — все почти "то же", да не совсем "то". И лишь однажды, когда в Бейрут приехал его пакистанский друг и собрат по изгнанию Экбаль Ахмад, мне показалось, что Фаиз вдруг пробудился от своей обычной отрешенности. Както ночью мы сидели втроем в одном дешевом бейрутском ресторане, и Фаиз читал нам стихи. Сначала они с Экбалем переводили мне, потом бросили — в ту необыкновенную ночь мне и так все было ясно.

Происходящее в переводе не нуждалось: они разыгрывали сцену возвращения домой, полную скорби и отваги, — словно окликали Зия-уль-Хака: "Эй, мы опять здесь!" В жизни, разумеется, дело обстояло совсем наоборот: это Зия-уль-Хак, а не они находился на родине, и их ликующие возгласы не доносились до Пакистана.

Палестинец Рашид Хусейн переводил на арабский Бялика — одного из лучших еврейских поэтов современности; после образования Израиля в 1948 году Хусейн, благодаря своему красноречию, прославился как несравненный оратор, трибун национализма. Первое время он работал журналистом в ивритоязычных изданиях Тель-Авива и, несмотря на свою преданность идеям насеризма и арабского национализма, сумел добиться того, чтобы между еврейскими и арабскими литераторами завязался диалог. Но в итоге, устав жить в постоянном напряжении, Хусейн уехал в Нью-Йорк. Там он женился на еврейке и поступил на службу в представительство ООП при ООН, где, однако, регулярно доводил начальство до белого каления своими оригинальными идеями и утопическими призывами. В 1972-м он решил перебраться в какую-нибудь арабскую страну, но спустя несколько месяцев вновь вернулся в США: в Сирии и Ливане он чувствовал себя чужаком, Каир его разочаровал. Нью-Йорк вновь принял его под свое крыло — но Хусейн, увы, нашел утешение в безделье и беспробудном пьянстве. Его жизнь полетела под откос, при этом он оставался гостеприимнейшим человеком на свете. Погиб он при следующих обстоятельствах: пропьянствовав всю ночь, задремал в постели с сигаретой; пламя перекинулось на его маленькую коллекцию магнитофонных кассет — по большей части это были записи стихов в авторском

1. Фаиз Ахмад Фаиз (1911—1984) — пакистанский поэт. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

исполнении. Хусейн задохнулся в ядовитом дыму. Тело репатриировали — отправили для погребения в маленькую деревню Мусмус на территории Израиля, где в то время еще проживали родственники Хусейна.

Такие литераторы-изгнанники и их многочисленные собратья по несчастью возвращают некий ореол статусу беженца — статусу, специально придуманному для того, чтобы унижать людей, отказывая им в национальной принадлежности. На примере Фаиза и Хусейна очевидно: чтобы постичь специфику изгнания как карательной меры, принятой в современной политике, придется нанести на карту те "территории изгнания", которые не упомянуты даже в самой литературе изгнания. Для начала вам придется отвлечься от Джойса с Набоковым и задуматься о бессчетных полчищах людей, ради которых созданы специальные органы ООН. Подумайте о беженцах-крестьянах, лишенных возможности вернуться домой, не имеющих ничего, кроме выданных сотрудниками ООН учетного номера и продуктовой карточки. Париж знаменит как приют изгнанников-космополитов, но это и город, где в невыносимом одиночестве годами прозябают люди совсем безвестные: вьетнамцы и алжирцы, камбоджийцы и ливанцы, сенегальцы и перуанцы. Подумайте о Каире, Бейруте, Мадагаскаре, Бангкоке, Мехико. Чем дальше от берегов Атлантики, тем шире становится страшная, забытая остальным миром пустыня: бедствующих столько, что угасает всякая надежда на лучшее; вдвойне тяжек удел "не состоящих на официальном учете" этносов, словно исчезнувших с карты мира, этносов, чья история больше не поддается связному описанию. Рассматривая проблему на уровне частных случаев, мы кое-как сохраняем душевное спокойствие, но вот перед нами изгнанные из Индии мусульмане, гаитяне в Америке, бывшие жители Бикини, расселившиеся по Океании, палестинцы, рассеянные по арабскому миру, — об их судьбе приходится мыслить в беспощадных абстрактных категориях большой политики, для которой людские массы лишь передвигаемые туда-сюда фишки. Тяжбы о судьбах народов на переговорах, национально-освободительные войны, насильственные переселения, когда людей пинками выгоняют из их домов и в лучшем случае отвозят на автобусах — а в худшем заставляют идти пешком — в далекие анклавы; любая попытка описать, обобщить личные переживания и мытарства жертв обречена на провал. Этот материал словно сопротивляется перу летописца.

В таком контексте встает проблема национального самосознания и его глубинной связи с изгнанием. Национальное самосознание — это притязание на принадлежность к некоему народу и некоей культуре, на право считаться где-то "своим". Его ключевое понятие — Родина, понимаемая как общность языка, культуры и обычаев; тем самым оно сопротивляется изгнанию, противодействуя его губительному натиску. На деле же национальное самосознание и изгнание — это, как господин и слуга из гегелевского сравнения, пара взаимопроникающих, взаимообусловленных диалектических противоположностей. Все разновидности национализма возникают и начинают развиваться на почве ущемления национальных прав. Борьба за независимость североамериканских колоний в XVIII веке, за объединение раздробленных на мелкие государства Германии и Италии в XIX, за свободу Алжира в XX, — все это была борьба этносов, отлученных от ("изгнанных из") всего того, что они ассоциировали с "достойным" образом жизни. На следующем этапе победившее, торжествующее национальное самосознание создает и распространяет — не стесняясь ни переписывать прошлое, ни предсказывать будущее — свою тщательно обоснованную версию истории. Ее специально отобранные эпизоды соединяются так, чтобы получился связный рассказ. Таким путем национализм, к какой бы разновидности он ни относился, обретает своих отцов-основателей, свои опорные, квазисвященные тексты, риторику "исконного" и "чужого", свои исторические

и географические достопримечательности, своих официальных врагов и героев. Так вырабатывается то, что французский социолог Пьер Бурдье назвал "габитусом": система взаимосогласованных действий, отождествляющая особенности развития данной группы людей с ее постоянным местом жительства. Со временем национализм, если ему удалось прочно укорениться, провозглашает себя носителем абсолютной истины, а такие черты, как способность ошибаться и неполноценность, объявляет свойствами инородцев, обитателей внешнего мира (примером тому — риторика противопоставления коммунизма капитализму или "европеизма" "азиатчине").

В непосредственной близости от рубежа, отделяющего "нас", то есть "своих", от "чужих", пролегает опасная полоса изгойства: это туда выгоняли людей в первобытные времена, это там в нашу эпоху бесцельно слоняются огромные толпы — целая армия беженцев и перемещенных лиц.

Национальное самосознание заведомо предполагает общность. А мучительность изгнания проистекает как раз из того, что вне сообщества человек обречен на одиночество и страдания — он лишен крова и, что хуже, "общинного дома". Как же спастись в изгнании от одиночества и при этом все-таки не поддаться соблазну — не перейти на самовластный и грозный язык национального высокомерия, коллективных чувств, общих страстей? Как же спастись в изгнании от националистических, часто кровожадных лозунгов — найти какую-то "золотую середину", какие-то иные, достойные принципы? Есть ли коренные отличия между национализмом и образом мысли изгнанника? Или оба этих явления — лишь две самостоятельные, взаимоисключающие разновидности паранойи?

На эти вопросы никогда не будет дан исчерпывающий ответ, ведь они исходят из предположения, будто изгнание и национальное самосознание можно анализировать по отдельности, абстрагировавшись от их взаимосвязи. Но такой анализ невозможен. Поскольку смысл обоих терминов крайне широк — от самого коллективного из коллективных чувств до самого заветного из самых сокровенных личных переживаний, адекватное выражение всего этого спектра значений превышает возможности человеческого языка. Однако очевидно, что публичные и всеохватные притязания национализма не имеют никаких точек соприкосновения с тем, что лежит в основе страданий изгнанника.

Дело в том, что изгнание по сути своей исключает стабильность. Жизнь изгнанника разбита на не связанные между собой периоды: ведь он оторван от своих корней, своей страны, своего прошлого. Обычно у изгнанников нет ни государств, ни армий (но они, впрочем, часто мечтают их обрести). Поэтому изгнанник остро нуждается в том, чтобы срочно восстановить свою жизнь из осколков, и выражается это, как правило, в потребности ощутить себя частью возрожденной нации или носителем жизнестойкой идеологии. И вот самое главное: изгнанник, не имеющий такой жизнестойкой идеологии, призванной сложить осколки его разбитой жизни в новую целостную картину, в современном мире просто не сумеет вынести лишений. Более того, в действительности изгнанников без такой идеологии вообще не бывает. Рассмотрим судьбу евреев, палестинцев и армян.

Нубар — армянин-скиталец и мой друг. В 1915-м, после резни, не пощадившей и их семьи (так, деду Нубара с материнской стороны отрубили голову), его родители были вынуждены покинуть Восточную Турцию. Отец и мать Нубара отправились в Алеппо, а оттуда в Каир. К середине 60-х в Египте усилились притеснения национальных меньшинств, и одна международная благотворительная организация помогла семье Нубара — родителям с четырьмя детьми — добраться до Бейрута. Некоторое время они прожили в пансионе; потом пристроились в двух каморках какого-то маленького дома за городом. Итак, они сидели в Ливане без денег и ждали; спустя восемь месяцев им выдали авиабилеты до Глазго. Оттуда они по-

пали на Ньюфаундленд, в город Гандер. Оттуда в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка рейсовым автобусом доехали до Сиэтла — такое место жительства им назначила организация по делам беженцев. Когда я переспросил: "Сиэтл?", Нубар смиренно улыбнулся, словно говоря: "Лучше уж Сиэтл, чем Армения (которой он никогда в жизни не видел), или Турция (где было перерезано столько армян), или Ливан", где жизнь Нубара и его родственников почти наверняка оказалась бы в опасности. Иногда отправиться в бесповоротное изгнание лучше, чем остаться на родине или осесть в какой-то пограничной зоне, надеясь на возвращение. Но лишь иногда.

Ибо в изгнании ты идешь без страховки. Тебе ровно *ничего* не гарантировано. Изгнание воспитывает в тебе скаредность. Ты приучаешься держаться за свое имущество и завоеванное место под солнцем, из принципа ни толики не уделяя "чужим"; когда же ты замыкаешься в кругу "своих", в кругу соотечественников, обнажаются самые неприглядные стороны жизни в изгнании: гипертрофированное чувство групповой солидарности и страстная неприязнь к чужакам, даже к таким же изгнанникам, чье положение вряд ли легче твоего. Возможно ли более острое проявление нетерпимости, чем конфликт между евреями-сионистами и палестинскими арабами? Палестинцы убеждены, что сделались изгнанниками по воле народа, который в мировой культуре сам символизирует изгнание, — евреев. Но одновременно палестинцы знают, что их собственное чувство национальной идентичности вскормлено почвой изгнания, где врагом считается любой, кто не приходится тебе братом или сестрой по крови, где всякий, кто проявляет к тебе сочувствие, наверняка работает на какую-то недружественную державу, а малейшее отклонение от общепринятой линии есть гнусное предательство и измена.

Вот, должно быть, самая фантасмагорическая страница всемирной истории изгнания: палестинцы изгнаны, выдворены с родной земли таким же народом изгнанников! Летом 1982 года все палестинцы ломали голову, почему, по каким неизъяснимым мотивам Израиль, уже вытеснивший палестинцев с их земель в 1948 году, стремится беспощадно изгнать их из лагерей беженцев в Ливане? Казалось, реконструированный коллективный опыт еврейского народа, воплощенный в Израиле и современном сионизме, не может смириться с тем, что по соседству существует еще одна история обездоленности и утраты, и эта нетерпимость беспрерывно распаляется нежеланием израильтян признать существование палестинского народа — народа, который сорок шесть лет мучительно восстанавливал в изгнании себя как нацию.

Эта потребность заново соткать свое "я" из образов и нитей, искаженных и оборванных изгнанием, ощущается в ранних стихах Махмуда Дарвиша. Дарвиш, очень интересный поэт, переплавляет лирику утраты в драму отложенного на неопределенный срок возвращения. Так, свое чувство бездомности он описывает через мотив нарушенной целостности:

Но я изгнанник.
Поставь на меня штамп своим
взглядом.
Забери меня, где бы ты ни был —
забери меня, кто бы ты ни был.
Верни мне цвет лица
и тепло тела,
свет сердца и глаз,
соль хлеба и ритма,
вкус земли... Отчизны.
Прикрой меня, как щитом, своими
глазами.
Забери меня с собой, как берут на
память какую-то вещь
из обители скорби.
Забери меня, как строчку из моей
трагедии;
забери меня, как игрушку,
как кирпич снесенного дома,
чтобы наши дети вспомнили —
и смогли вернуться.

Пафос изгнания в том, что даже сама земля — эта прочная, дающая надежду опора — уходит у тебя из-под ног; домой путь заказан.

История литературы вряд ли знает более бескомпромиссное описа-

ние изгнания, чем рассказ Джозефа Конрада "Эми Фостер". Конрад считал себя поляком в изгнании, и почти на всех его произведениях (как и на биографии) оставили несомненный отпечаток маниакальная, характерная для хрупкой психики эмигранта сосредоточенность на своих невзгодах и исступленное, но тщетное стремление к контакту с новым окружением. Рассказ "Эми Фостер" в определенном смысле замкнут на проблемах изгнания — и, возможно, именно потому не так известен, как многие другие произведения Конрада. Посмотрим, как в нем описаны, например, переживания главного героя Янко Гураля, крестьянина из Восточной Европы. Судно, на котором он плывет в Америку, терпит кораблекрушение у берегов Великобритании:

"Воистину, тяжело человеку в каком-нибудь богом забытом уголке земли оказаться в положении заблудившегося чужака — беспомощного, говорящего на языке, который никто не понимает, неизвестно откуда взявшегося. Однако из всех путешественников, терпевших кораблекрушения в самых разных диких местностях, мало кому, на мой взгляд, выпадала такая безмерно трагическая судьба, как человеку, о котором я хочу рассказать, самому невинному из искателей приключений, извергнутых на берег морем".

Беспросветная нищета заставила Янко покинуть родину. Его влечет Америка, обещающая золотые горы, но вместо Америки судьба забрасывает Янко в Англию. Там он кое-как налаживает свою жизнь, несмотря на незнание языка, несмотря на то, что местные его не понимают и побаиваются. Одна только нескладная Эми Фостер, трудолюбивая крестьянская девушка, пытается с ним объясняться. Они женятся, у них рождается ребенок, но когда Янко заболевает, Эми, охваченная страхом и отвращением, отказывается за ним ухаживать; она забирает ребенка и уходит. Ее предательство ускоряет мучительную смерть Янко. Как и в сценах смерти некоторых других своих персонажей, Конрад дает понять, что Янко погубило безразличие окружающих, помноженное на чувство фатальной изолированности от всего мира. Судьба Янко названа "полным крахом, вызванным одиночеством и отчаянием".

Положение Янко — иностранца, вечно мятущегося и одинокого в обществе, которое не желает его понимать, — не может не вызывать сочувствия у читателя. Но Конрад — сам изгнанник, и это заставляет его намеренно, почти нарочито усиливать контраст между Янко и Эми. Янко — стремительный, легкий, с горящими глазами, а Эми — грузная, скучная, похожая на корову; когда Янко умирает, возникает впечатление, будто первоначальная доброта Эми была лишь уловкой, лишь приманкой в смертоносном капкане. Смерть Янко романтична; мир груб и черств; никто, даже единственный близкий человек, Эми, не понимает Янко. Конрад эстетизирует невротические страхи изгнанника. В его мире нет ни единого человека, который был бы способен на понимание другого или хотя бы на общение, но увы, тем мучительнее эти ущербные люди пытаются объясниться между собой на своем жалком, неадекватном языке. Все рассказы Конрада — об одиноких людях, которые много говорят (и вообще, кто еще из великих писателей той эпохи так многоречив?); его герои, силясь произвести *благоприятное впечатление* на окружающих, обнаруживают, что чувство изоляции от этого лишь обостряется. Всякий из конрадовских изгнанников обречен, содрогаясь от ужаса, постоянно воображать сцену своей грядущей смерти в одиночестве — сцену, где, так сказать, софитами служат чьи-то безразличные, глядящие мимо глаза.

Изгнанники наблюдают за неизгнанниками с черной завистью. "Они" в своей стихии, а ты всюду лишний. Изгнаннику неведомо, каково это — постоянно жить в стране, где родился, знать, что никогда не перестанешь быть тут своим.

Изгнанником, бесспорно, является любой, кто в силу внешних обстоятельств не в состоянии вернуться домой; можно, однако, провести некоторые различия между изгнан-

никами, беженцами, экспатриатами и эмигрантами. Изгнанники — порождение старой как мир практики высылки за границу. Высланный с родины человек как бы носит на лбу клеймо "чужак" и влачит унылое существование в инородной стихии. Беженцы, напротив, порождение государственных систем XX века. Слово "беженец" стало политическим термином и ассоциируется с бесчисленными полчищами безвинных растерянных людей, нуждающихся в срочной помощи международного сообщества, а слово "изгнанник", по-моему, скорее принадлежит к высокому стилю и связано с идеей одиночества.

Экспатриаты поселяются в чужих странах добровольно, обычно по личным или социальным причинам. Хемингуэя с Фицджеральдом никто не принуждал жить во Франции. Возможно, экспатриаты тоже знают чувство одиночества и оторванности от родины — изгнание есть изгнание, но их положение все же значительно легче, чем опала. Статус эмигранта как-то двусмыслен. В формальном плане эмигрантом является любой, кто переезжает на постоянное жительство в другую страну; это определение, несомненно, предполагает относительную свободу выбора. Жизнь служащих колониальной администрации, миссионеров, технических специалистов, наемников, а также военных советников, "одолженных" союзниками, вероятно, можно в каком-то смысле считать изгнанием, но их никто ниоткуда не изгонял. Белые колонисты в Африке, Австралии и некоторых регионах Азии когда-то, должно быть, являлись изгнанниками, но сменили этот ярлык на имя пионеров, отцов новых наций.

В жизни изгнанника много места отдано стараниям вновь обрести ориентиры — сотворить взамен всего утраченного новый мир и занять там высокое положение. Неудивительно, что среди изгнанников так много писателей, шахматистов, политических деятелей и людей свободных профессий. Ни одно из этих занятий не требует долгого обустройства на выбранном месте и вложений в материальные "орудия труда", зато щедро вознаграждает за мастерство и гибкость. Но, как и следует ожидать, новый мир изгнанника получается не слишком-то органичным, каким-то "сочиненным", смахивающим на художественное произведение. В "Теории романа" Дёрдь Лукач настойчиво проводил мысль, что роман — литературный жанр, порожденный далекими от реальности фантазиями и устремлениями, — является *единственным* жанром, способным выразить "трансцендентальную бездомность". Классические эпосы, писал Лукач, ведут начало от оседлых культур, где идеалы четко сформулированы, социальный статус стабилен, жизнь неизменна. Корни же европейского романа — в принципиально ином опыте, опыте быстро меняющегося общества, где странствующий, вынужденный полагаться только на себя герой, представитель третьего сословия, стремится построить новый мир, который был бы отчасти похож на безвозвратно покинутый старый. Для эпоса нет никакого *другого* мира, а есть лишь непреложность мира сего. Одиссей после многолетних странствий возвращается на Итаку; Ахилл обречен на смерть, поскольку от судьбы не уйдешь. А вот роман существует потому, что существуют, *возможно*, и другие миры, альтернативные варианты для выходцев из третьего сословия — авантюристов, скитальцев, изгнанников.

Изгнанники, даже весьма преуспевшие в жизни, — всегда чудаки, переживающие свою непохожесть как что-то вроде сиротства (но это не мешает им порой ее эксплуатировать). Кстати, если ты действительно бездомен, то нынешний обычай выискивать мотивы отчужденности в любом феномене современной культуры покажется тебе лишь пустой модой. Превратив свою непохожесть в несокрушимое оружие, изгнанник ревностно отстаивает право не подлаживаться под новую среду.

Как правило, такая позиция перерастает в неуживчивость, с которой мало кто в силах мириться. Непримиримость, экзальтированность,

склонность к преувеличениям — вот чем живет изгнанник, вот методы, при помощи которых он старается навязать миру свою точку зрения (излагаемую нередко в самой эпатирующей форме, поскольку на самом деле изгнанник вовсе не жаждет обрести сторонников. Это же как-никак его личная точка зрения, а он — "не все"). Что никак не ассоциируется с творениями изгнанников, так это уравновешенность и успокоенность. Художник в изгнании — личность, безусловно, неприятная, его упрямая категоричность исподволь проникает даже в самые возвышенные произведения. "Божественная комедия" Данте — поразительное по своей универсальности и богатству деталей полотно, но даже обретенный в "Раю" благостный покой омрачен тенью максимализма и мстительности, воплотившихся в "Аду". Кто, кроме изгнанника, кроме выдворенного из Флоренции Данте, превратил бы загробный мир в место сведения счетов со старыми врагами?

Джеймс Джойс отправился в изгнание *добровольно*, стремясь, чтобы огонь его писательского дара разгорелся как можно ярче. Как доказал его биограф Ричард Эллман, Джойс намеренно, на редкость успешно рассорился с Ирландией и из год в год прилежно растравлял свои раны, точно чувствуя жизненную потребность оставаться в яростнейшей оппозиции ко всему ирландскому. Эллман отмечает: "Как только его отношения с родиной оказывались под угрозой налаживания, он находил новый повод, укрепляющий в нем непримиримость, новый веский аргумент в пользу своей добровольной ссылки". Произведения Джойса — о том, что он в письмах назвал состоянием человека, который "один и без друзей". Конечно, Джойс стоит особняком — мало кто, подобно ему, превращает изгойство в образ жизни, но великий ирландец отлично сознавал, на какие испытания оно обрекает человека.

Однако успех Джойса на поприще изгнанника с новой остротой ставит перед нами ключевой вопрос: может быть, изгнание — нечто слишком личное и экстремальное, чтобы обслуживать задачи искусства? И если так, то, используя изгнание таким образом, мы его неизбежно опошляем? Как вышло, что литература изгнания заняла место в ряду "моделей осмысления" человеческого опыта рядом с приключенческим романом, романом воспитания, романом о первооткрывателях и т. п.? Неужели это *то же самое* изгнание, которое в буквальнейшем смысле погубило Янко Гураля и стало питательной средой для изгнанического национализма XX века, превратившего стольких людей в зверей и так дорого стоившего нашей планете? Или изгнание как литературное явление все-таки не столь опасно?

Современный интерес к проблеме изгнания отчасти можно объяснить распространенным убеждением в том, что страдания не бывают напрасны: у изгнания, дескать, есть и положительные последствия, и они распространяются даже на тех, кто не является изгнанниками. Нельзя не признать, что эта мысль звучит вполне убедительно и даже содержит в себе долю истины. Подобно странствующим ученым Средневековья или греческим рабам-наставникам в Римской империи, изгнанники (те из них, кто обладает выдающимися способностями) и впрямь выполняют в новой среде функцию своеобразных "дрожжей", стимулируя рост и развитие. А "нам", разумеется, куда приятнее рассуждать об этом просветительском аспекте "их" присутствия среди нас, чем вслушиваться в их претензии и требования... Но сегодня, на мрачном фоне массовых исходов, понять, что каждый изгнанник есть индивидуальность, — значит осознать особую трагичность бездомности в мире, который стал бессердечен поневоле.

Поколением раньше Симона Вайль с редкой лаконичностью сформулировала дилемму изгнанника. "Иметь корни, — написала она, — это, возможно, наиболее важная и наименее осознанная из потребностей человеческой души". Однако Вайль понимала, что в нашу эпоху мировых войн, депортаций и геноцида лекар-

ство от утраты корней бывает не менее опасно, чем сама болезнь. Из этих "лекарств" самым коварным является государство, точнее этатизм, ведь культ государства обычно предполагает подавление всех прочих привязанностей человека.

Вайль заставляет нас взглянуть свежим взглядом на сложную систему запретов, которая управляет судьбой изгнанника и превращает ее в трагедию — трагедию в первоначальном, античном смысле этого понятия. Объективно говоря, сам факт одинокой жизни на чужбине порождает нарциссический мазохизм, не дающий человеку освоиться на новом месте, встать на ноги, сделаться членом общества. Дойдя до этой крайности, изгнанник может превратить свое изгойство в фетиш и тем самым перечеркнуть любые связи и обязательства. Жить в этом мире точно в жалкой времянке — значит заболеть сварливым цинизмом, превратиться в ворчуна, сетующего, что никто-то его не любит. Чаще случается, что жизнь давит на изгнанника, принуждая встать под чье-то знамя — какой-то партии, националистического движения, государства. Изгнаннику предлагается новый комплект уз и связей, он клянется в верности новым кумирам. Но одновременно что-то утрачивает — критический взгляд на вещи, мудрую сдержанность, нравственную смелость.

Не забывайте также, что национализм изгнанников — их защитный механизм — часто питает не только самопознание, но и довольно неприглядные формы самоутверждения. Процесс воссоединения рассеянного народа — например, национальное строительство в изгнании (в нашем веке осуществленное евреями и палестинцами) — предполагает написание канонической национальной истории, воскрешение древнего языка, создание таких опор национального самосознания, как библиотеки и университеты. Последние, хотя они порой воспитывают в студентах этноцентризм, одновременно дают толчок процессу самоанализа, который в своем неудержимом стремлении к глубинам уже не довольствуется примитивными понятиями типа "этнической принадлежности". Вообразим, к примеру, внутреннюю жизнь человека, который задумался о том, почему в истории палестинцев и евреев прослеживаются сходные закономерности, почему, несмотря на гнет и угрозу вымирания, некоторые этносы выживают в изгнании...

Именно поэтому я, вовсе не считая изгнание привилегией избранных, заявляю: оно представляет собой *альтернативу* тому традиционному массовому сознанию, которое во многом определяет жизнь современного общества. Правда, само изгнание не дело выбора: в нем оказываешься либо от рождения, либо уже взрослым, по воле обстоятельств. Но выбор у изгнанника все же есть — или сидеть на обочине, растравляя обиды, или кое-что приобрести: развить в себе здравый (не грешащий, однако, мизантропией или снисходительным презрением к людям), своеобычный взгляд на жизнь.

Возможно, самый яркий пример такого мироощущения можно найти в работах Теодора Адорно, немецкого философа и критика еврейского происхождения. Глубокий труд Адорно "Minima moralia" — написанная в изгнании автобиография — имеет подзаголовок "Reflexionen aus dem beschadigten Leben" ("Мысли из искалеченной жизни"). Яростный противник того, что он называл "управляемым" миром, Адорно видел, как все живое насильно втискивается в типовые "дома", поневоле застывает в готовых, штампованных формах. Он утверждал: что бы ни сказал человек, что бы ни подумал — это, как и любая из принадлежащих ему вещей, в конечном счете лишь товары. Язык — профессиональный жаргон купцов, все сущее выставлено на продажу. А интеллектуальная миссия изгнанника — противостоять такому положению дел.

Размышления Адорно проникнуты убеждением, что современный человек может обрести свой единственный дом — пусть недолговечный и шаткий — только в литературе. В остальных же сферах "дом устарел". "Бомбардировки европейских горо-

дов, а также трудовые и концентрационные лагеря — лишь предвестья грядущей судьбы дома как такового, давно уже предрешенной имманентным развитием науки и техники. Отныне все, что можно сделать с домом, — это отправить его на свалку, точно консервную банку с истекшим сроком годности". И Адорно подытоживает с мрачным юмором: "Один из принципов морали — не быть дома у себя дома".

Последовать примеру Адорно — значит отойти подальше от "дома", чтобы окинуть его отстраненным взглядом изгнанника. Полезно обращать внимание на расхождения между понятиями и их реальными воплощениями. Свои язык и дом мы принимаем как должное; они становятся нашей натурой, и положенные в их основу аксиомы оборачиваются жесткими догмами. Изгнанник знает, что в земном, зависящем от воли случая мире дом — это всегда нечто временное. Границы и стены, которые окружают нас на безопасной и привычной территории, способны стать и тюремными решетками; часто необходимость их существования отстаивают вопреки здравому смыслу и практической пользе. Изгнанники нарушают границы, их мысли и чувства вырываются за традиционные рубежи.

Вот изумительный по красоте отрывок из труда Гуго Сен-Викторского, монаха XII века:

"Следовательно, источник великой добродетели для умудренного разума в том, чтобы помалу учиться и для начала изменить свой взгляд на вещи незримые и преходящие, для того чтобы потом разум сумел вовсе оставить их позади. Человек, которому мила его родина, покамест незрелый новичок; тот, кому любая земля как родная, уже силен; но совершенен лишь тот, кому весь мир — чужбина. Незрелая душа уцепилась своей любовью за один-единственный уголок мира; сильный человек объял своей любовью все места; а совершенный человек свою любовь умертвил".

Великий литературовед XX века Эрих Ауэрбах, тоже изгнанник (военные годы он провел в Турции), процитировал этот отрывок в назидание всякому, кто хочет выйти за пределы провинций, государств, наций. Только под таким углом историк должен смотреть на опыт человечества, зафиксированный в письменных источниках, — лишь тогда этот опыт раскроется во всем своем разнообразии и конкретике. Иначе историк окажется рабом предвзятости — будет переживать за "своих" и делать для них неоправданные исключения из правил, — меж тем как он призван служить истинной спутнице знания, свободе. Обратите внимание, что Гуго дважды прямо заявляет: "сильный" или "совершенный" человек обретает независимость и беспристрастность отнюдь не путем безоговорочного отказа от привязанностей — нет, он прежде должен "переболеть" ими. С точки зрения формальной логики, изгнание не будет изгнанием, если нет родины — если изгнанник не считает какую-то землю родной, не любит ее, не ощущает связи с ней; изгнание ни в коей мере не означает, что дом и любовь к дому утрачены, напротив, именно чувство утраты свидетельствует: они для тебя существуют.

Воспринимайте свои переживания и впечатления так, словно от них вскоре может не остаться и следа. Что укореняет их в реальности? Какие из них вы хотели бы уберечь в памяти? С какими предпочтете распроститься? На эти вопросы может ответить только тот, кто обрел независимость и беспристрастность, тот, кому родина мила, но в силу обстоятельств недоступна. (Такой человек, кстати, не сможет довольствоваться и суррогатной "родиной", порождением догм или иллюзий.)

Наверно, кому-то покажется, что такая позиция обрекает на безысходную мрачность, заставляет кривиться от любых проявлений энтузиазма или бодрости духа. Необязательно. Как бы странно ни звучали рассуждения о преимуществах изгнания, но положительная оценка некоторых его сторон все-таки возможна. Глядеть на "весь мир словно на чужбину" — залог оригинальности воззрений. Для большинства людей опыт непосредственного восприятия огра-

ничивается только одной культурой, одной средой, одним домом; изгнанник знает по опыту как минимум две культуры, и благодаря этому ему открыты параллельные миры, то есть его сознание на языке музыки можно назвать контрапунктическим.

Уклад жизни, манера выражаться и вести себя в новой среде обитания — все это для изгнанника неизбежно соотносится с воспоминаниями о среде старой. Таким образом, обе среды — новая и старая — ярки и актуальны, обе сосуществуют в контрапунктическом единстве. Воспринимать мир таким образом — своего рода удовольствие, особенно когда отмечаешь для себя контрапунктические наложения: они умеряют категоричность оценок, воспитывают способность к сопереживанию. Кроме того, чувствуя себя как дома везде, где бы ни оказался, испытываешь особую гордость.

Однако изгнание связано с неослабевающим риском: привычка приспосабливаться и подстраиваться утомляет, выматывает нервы. Изгнанник не знает, что такое чувство удовлетворенности, умиротворенности, защищенности. Изгнание, говоря словами Уоллеса Стивенса[1], — это "дух зимы", когда воодушевление лета и осени, надежды весны где-то рядом, но недостижимы. Возможно, Стивенс иносказательно намекал, что в изгнании жизнь идет по другому календарю, не такому, как на родине: она меньше привязана к смене времен года и к привычной географической точке. Изгнание — это жизнь, протекающая за пределами привычного порядка. Ни центра, ни периферии. Кочевье. Вечный контрапункт; но стоит человеку свыкнуться с такой жизнью, как силы судьбы, словно опомнившись, опять подхватывают его и куда-то влекут.

Перевод С. Силаковой

1. Уоллес Стивенс (1879–1955) — американский поэт.

Джоан Фон Джин Ли

Азиатоамериканцы рассказывают о себе

Фрагменты книги

Выходцы из Азии — самая большая и быстро растущая группа эмигрантов в США. Несмотря на то, что они представляют множество разных стран и национальностей: Китай, Японию, Корею, Вьетнам, Индию, Филиппины и др., — на новой родине их воспринимают как некую расовую общность. Сами они, конечно, остро сознают свою этническую особость, да и для каждого человека важнее всего его собственная история и история его семьи. И все же азиатоамериканцев многое объединяет. Чтобы составить общую картину, американский антрополог Джоан Фон Джин Ли проинтервьюировала множество выходцев из Азии — людей разного возраста, национальности, профессии, социального статуса, и больше всего ее поразило, как сильно определяется самоощущение и самосознание этих людей влиянием того нового, большого общества, в котором они живут, — кто давно, а кто недавно. Ниже мы приводим ряд интервью из ее книги "Азиатоамериканцы".

Что значит вырасти в Миссисипи

[Сэму Сью за тридцать. Он китаец, родившийся и выросший в штате Миссисипи. О своем детстве рассказывает с горечью. В настоящее время работает юристом в Нью-Йорке].

Детство

В фильме "Миссисипи в огне"[1] есть сцена с двумя фонтанами. Один — разбитый, с отколотыми краями и едва сочащейся водой. Другой — новенький и сверкающий. К тому, что получше, подходит белый парень, а к старому — чернокожий малыш. Помнится, когда я смотрел, я спросил себя: "Если бы ты был там, из какого фонтана ты бы напился?"

Вспоминаю, как ребенком ходил в театр и никогда не знал, куда сесть. В те времена чернокожих изолировали. Цветные должны были сидеть наверху, а белые — внизу. Я не знал, куда сесть, поэтому садился с белыми, и никто мне ничего не говорил. Все время, пока я рос, я то и дело сталкивался с подобными проблемами. Это был очень болезненный опыт.

Скорее всего, меня считали чужаком и белые, и черные, хотя общаться мне легче было с черными. Но настоящих друзей в детстве у меня не было. Я ни с кем не ощущал ничего общего. Нас словно разделял невидимый барьер. Бóльшую часть времени я проводил в семье — у меня было два старших брата и старшая сестра.

Я жил в городе, который назывался Кларксдейл. В середине 60-х там было двадцать-тридцать тысяч жителей и где-то сорок или пятьдесят китайских семей. Довольно много. Обыкновенно они устраивали китайские вечеринки и собрания, и самое забавное, что все они приехали из одной и той же деревни или, может, района.

Китайская церковь представляла собой скорее общественную, чем ре-

© Joann Faung Jean Lee

1. Фильм британского кинорежиссера Алана Паркера (р. 1944) о бесправном положении чернокожего населения на Юге США в 70-е годы XX века. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. ред.*)

лигиозную, организацию, а я всегда ненавидел собрания. Вообще, я стеснялся того, что я китаец. Думаю, что то же самое переживают многие американцы китайского происхождения — и на Восточном, и на Западном побережье... И думаю, многие себя ненавидят, потому что к этому их склоняет общество, культура, обстоятельства. Я терпеть не мог ходить на эти китайские вечеринки. К тому же ни одной китайской девушке нельзя назначить свидание, потому что все они приходятся тебе кузинами.

Мне повезло: в моей школе учились в основном белые, потому что наш магазин находился в центре города и школа была через дорогу. Но большинство китайских семей жили в "черных" районах, поэтому их дети ходили в школы для "черных", где происходили довольно серьезные стычки с местными подростками. Чернокожие сильно недолюбливали китайцев из-за того, что некоторые торговцы-китайцы обирали черных — такова была сама система предоставления кредита черным фермерам: с них взимали завышенные пени за просроченные платежи, а иногда заставляли платить за то, чего они не покупали.

С девушками я совсем не встречался, пока учился в школе. Это было просто нереально. Помню, как бывало неприятно, когда я предлагал белым девушкам встретиться, а они мямлили в ответ, что как раз сегодня вечером заняты, но я-то понимал что к чему. Моему двоюродному брату, например, пришлось отправиться на выпускной бал с двоюродной сестрой. Для меня это было неприемлемо, поэтому я и вовсе не пошел на выпускной вечер... Интересно, что мне никогда не приходило в голову пригласить черную девушку. Не думаю, что из-за расизма, просто у меня не было с ними ничего общего. Да и в то время, даже если к тебе не относились как к белому, все равно встречаться с белым выглядело как бы продвижением наверх — вот какие тогда были нравы. Думаю, китайским женщинам было еще сложнее. Считалось нормальным, что мужчина-китаец встречается с не-китаянкой, но китаянка не могла появиться на людях ни с кем, кроме китайца. Отчасти потому, что азиатских женщин считают экзотичными и покорными, и это стало стереотипом.

Для северян южный акцент — знак того, что ты расист, тупица и деревенщина, независимо от того, каков ты на самом деле. И я решил, что буду говорить по-другому. Если вы потолкуете с моим братом, то сразу определите, что он с Юга. А обо мне, помню, покупатели говорили моему отцу: "Ваш сын разговаривает, как настоящий янки". Думаю, у меня в речи сохранялась южная протяжность, но не слишком. Кроме того, я сознательно подражал северному произношению — до того чувствовал себя чужим среди южан. Возможно, эта глубочайшая отчужденность у меня с детства. Я всегда читал "Таймс". Смотрел по телевизору все подряд, вырос на "Деревенских парнях"[1] — телевидение и радио связывали меня с цивилизацией. Обычно я слонялся, дожидаясь восьми часов вечера, когда можно было поймать чикагскую или даже нью-йоркскую станцию. Для меня это было чем-то вроде радио "Свободная Европа".

Семья

В детстве образцом для подражания был для меня старший брат, потому что он готовился поступать в колледж, еще когда я учился в средней школе. Он одинаково свободно владел двумя языками и служил своеобразным мостиком между Китаем и Америкой.

Он поступил в университет Миссисипи и был первым китайцем в общежитии, которого приняли в сообщество, целиком состоявшее из белых. Он служил также в РОТК[2]. По иронии судьбы обучал чиновников американского правительства, при том, что всего несколько лет спустя у них с отцом отобрали гражданство.

1. "Деревенские парни" — американская телепередача.
2. Служба подготовки офицеров резерва (Reserve Officers Training Corps).

Он стал настоящим американцем, насколько такое вообще возможно, но этот случай раскрыл ему глаза. Лишение гражданства означало, что его могут выслать из страны, и им с отцом пришлось добиваться восстановления в правах и снова подавать на гражданство — вновь сдавать экзамен. Так что их натурализовали дважды. Одно время нелегалы, прибывавшие в страну, могли, не опасаясь дурных последствий, сделать официальное признание[1]. Многие китайцы так и поступали, и все было в порядке. Но как только мой отец признался, его тут же пригвоздили к позорному столбу. Он прибыл в Соединенные Штаты нелегально в 30-е годы, а позже привез из Китая мою мать и старшего брата. Правительство лишило его гражданства на том основании, что он приехал по фальшивым документам. У него отняли гражданство в 1965 году. Это означало: то, что правительство дает, оно может забрать назад. Сыо — не настоящая моя фамилия; наверное, настоящая — Чжу.

Семейный магазин

Отец сказал, что приехал в Миссисипи, потому что сюда приехало большинство китайцев из его деревни. Мы, подобно другим китайцам в Миссисипи, держали бакалейный магазинчик. Здесь было все, начиная от ружейной дроби и кончая свежим мясом, кукурузной сечкой и мелкими отрубями (сечкой кормили цыплят, а отрубями — свиней).

Отец обычно открывал лавку около половины десятого утра и закрывал в десять вечера. Мы ели после закрытия магазина. Вся семья работала в магазине семь дней в неделю. Только на Рождество мы закрывались на полдня. Магазин не закрылся даже в день свадьбы моего брата. Я не хотел ехать во Флориду на свадьбу брата, остался дома и дал тем самым возможность поехать отцу.

Наш район был в основном сельскохозяйственный, и многие китайцы тут неплохо зарабатывали. Они вполне соответствовали местной экономической ситуации — их клиентура состояла преимущественно из чернокожих сельхозрабочих. Думаю, черные фермеры не смогли бы брать товары в кредит у белых хозяев магазинов... Помню, отец годами вел учет задолженностей. Как и многие другие китайцы.

Наш магазин был местом встречи; люди, как правило, собирались по пятницам, в день получки. Обычно здесь околачивались черные посетители: пили пиво, закусывали сандвичами. Все было забито простым людом.

Отцу некогда было мной заниматься, и я подолгу болтал с посетителями. Обычно мы перешучивались. Я спрашивал их: "Почему ваша кожа стала такой черной?" И они рассказывали потехи ради разные истории. "Да это я покатился с крутого склона, и вся грязь, что там была, пристала ко мне, теперь от нее никак не отмоешься". В детстве я верил всему этому — думал, что черные и впрямь совсем другие. Большинство черных, посещавших наш магазин, жевали табак, так что можно было подумать, что у них даже слюна темнее, чем у белых. И все же в глубине души я чувствовал, что все дело в том, что к разным людям — разное отношение. С одной стороны, мои родители воспринимали как неизбежность то, что им приходится водить дружбу с огромным количеством черных; с другой — они часто высказывались в их адрес как настоящие расисты.

Раньше чернокожие бедняки жили тяжело. Их положение не идет ни в какое сравнение с нынешним, особенно в городах. У многих, например, либо не было водопровода в доме, либо он только-только появился. Отец продавал керосин, потому что люди пользовались керосиновыми лампами. Помню, что для дезинфек-

1. С 1882 г. проводилась целая серия мероприятий по ограничению въезда китайцев в США. Декретом от 11 сентября 1957 г. вводилась процедура добровольного признания — китайцы, въехавшие в страну незаконным путем и признавшиеся в этом, не подвергались депортации, если их супруг, супруга, дети или родители были гражданами США. (*Прим. автора.*)

ции воды использовалась хлорка — ее клали в воду, чтобы убить микробов. Черные находились в самом низу общественной иерархии, очень богатые и родовитые белые были наверху, а китайцы вроде как посредине, но на самом деле мы не вписывались... У китайцев на самом деле не было своего места в обществе. Экономически им было лучше, чем черным, но не удавалось подняться достаточно высоко по общественной лестнице. Думаю, черные смотрели на нас как на евреев. В городе мы занимали то же положение, что и евреи. Все мы были маргиналами с экономической точки зрения. Евреев было совсем немного — их не принимали ни черные, ни белые. Думаю, белые просто не знали, как к нам ко всем относиться.

Купить магазин в Калифорнии или еще где было дорого, а в Миссисипи — дешево, поэтому туда стекалось множество китайцев. Но нельзя забывать, что и там были свои расовые ограничения. Многие китайцы не могли купить недвижимость, а если и покупали, то с большим трудом. Когда отец до конца выплатил закладную за дом, владелец сказал: "И не подумаю передавать вам права на владение". Кажется, отец вынужден был пригрозить ему судом.

Жилье

Нам пришлось жить в задней части нашего магазина. Условия были как в общежитии, но мы тогда этого не понимали. Я не замечал, как мы бедны, до тех пор пока не уехал из Миссисипи. Все спали в одной большой комнате. В задней части дома была кухня, которую обычно использовали как склад, так что повсюду стояли коробки. В гостиной сидели на коробках из-под стирального порошка. Так мы жили вплоть до 1970 года, когда решили купить собственный дом. Мы подумывали о покупке дома и в 1966 году, но тогда ничего не получилось, потому что тот дом был рядом с белыми. Однажды перед закрытием магазина раздался звонок, и чей-то голос сказал: "Если вы купите этот дом, мы его сожжем". От одной китайской семьи мы узнали, что это звонил некий агент по продаже пепси-колы. Многие китайские семьи были настолько возмущены случившимся, что в течение долгого времени бойкотировали пепси-колу. А тот дом мы так и не купили. Мы считали: если нас там не хотят, незачем и въезжать. Поселиться рядом с белыми нечего было и думать, и у нас не оставалось выбора. Можно было либо купить дом где-нибудь в другом месте, если нашелся бы владелец, который бы его нам продал, либо купить землю на окраине города и строиться — многие, в конце концов, так и делали...

Родители

Мой отец приехал в Соединенные Штаты в 30-е годы из Хой Пина, района Кантона. Ему тогда было шестнадцать. Он научился английскому от покупателей, в основном неотесанных деревенских жителей — черных и белых. Школу он не кончил, всего три или четыре класса в Китае... Он очень плохо говорил по-английски, причем на диалекте черного Юга. Его было очень тяжело понять. Я-то отца понимал, но общаться с ним было трудно. Этот разрыв ощущался особенно сильно, когда нужно было обсудить что-то сложное, чего не выразишь на совсем примитивном языке. Мама говорила по-английски хуже всех в семье. Опасность, подстерегающая большинство азиатских семей, состоит в том, что родители все свое время тратят на обеспечение будущего детей, а до их эмоциональных потребностей дело не доходит. Либо родители работают и, значит, отсутствуют, либо они дома, но от усталости не способны вникать в переживания детей.

В жизни китайских семей есть специфическая трудность: в вас воспитывают чувство, будто вы обязаны родителям по гроб жизни — причем не только их, но и вашей. Моя мама умерла в 1977 году, когда я кончал колледж. Я очень мучился из-за отца — он хотел, чтобы после окончания колледжа я работал в магазине. У

них с мамой всегда была идея фикс: передать мне магазин, как это ни было глупо. И они знали, что это глупо. В 70-е годы китайские магазины пришли в упадок из-за механизации. Так, например, хлопок раньше собирали вручную, и мы продавали особые кожаные наколенники, чтобы люди, ползая, не стирали себе колени. Но появились хлопкоуборочные машины и большие супермаркеты — для владельцев китайских магазинчиков это было приговором. Ребята моего возраста, ясное дело, не хотели оставаться дома. Многие предпочли переехать в города, вроде Атланты.

Мой отец отошел от дел в 1978 году. Но за два месяца до официального закрытия магазина моя мать умерла. Для отца это было двойным ударом. Он потерял не только жену, но и привычный образ жизни. Тридцать лет он открывал магазин в девять утра и закрывал в десять вечера семь дней в неделю. Он никогда не путешествовал, просто работал в магазине. Ему казалось, что ничего другого не существует.

Мой отец по-прежнему живет в Миссисипи. Это его жизнь. Он живет там со времен Великой депрессии. Мы, правда, пытались увезти его, но он слишком привязан к месту — не потому, что любит его, а потому, что привык, — он чувствует, что это его дом. Там все еще живут китайцы, хотя очень многие умерли или уехали.

Китаец, не знающий китайского

Я не умел пользоваться палочками до тех пор, пока не уехал из Миссисипи, — дома мы никогда ими не ели. Я не имел ни малейшего представления о китайских ресторанах до поступления в колледж. Мое первое посещение китайского ресторана состоялось в Кливленде, штат Огайо. Там, где я рос, не было ни одного.

Я не говорил по-китайски и от этого чувствовал себя скованно в ресторанах. Вроде того как если бы вам приходилось все время заказывать одно и то же блюдо, потому что вы только его и знаете. Я страдал от того, что не умею — а должен бы уметь — говорить с теми, на кого так похож. Иногда со мной заговаривали, а я не понимал ни слова.

Я не считаю себя китайцем, нет. Я ощущаю себя азиатоамериканцем. До определенной степени я, конечно, китаец, но не настолько, чтобы чувствовать себя обязанным досконально знать китайскую культуру и традиции. В колледже я был знаком с китаистами и испытывал досаду оттого, что они знали и мой язык, и культуру, но *не понимали*, каково быть китайцем среди белых. Да, они превосходно разбирались в культуре и языке, но в то же время у меня было такое чувство, будто они экспроприировали нашу культуру; и, признаюсь, я до сих пор испытываю собственническое чувство по отношению к азиатским женщинам. Когда я появляюсь на людях, то знаю, что на меня будут смотреть не так, как на других. Не люблю об этом говорить. Дело даже не в политическом статусе. Дело просто в способе восприятия реальности. Не то чтобы я был слишком тонкокожим или зациклился на том, что ко мне относятся как к китайцу, а не как к белому. Но так оно и есть — даже здесь, в Нью-Йорке.

Любой адвокат это знает. Например, мне надо произнести речь перед судьей, а другой парень — белый, свой — тоже участвует в процессе. Для него появиться в зале — все равно как сказать судье или чиновникам: "Ну как тут у нас делишки?" Но когда вхожу я, проносится нечто вроде: "А это еще кто такой?" Я здесь чужак. У меня такое чувство, будто я зашел в чужой клуб — место, к которому я не имею никакого отношения.

Я никогда не работал в больших фирмах. И никогда не хотел. Это вопрос тактики — по-честному, мне не о чем с ними разговаривать. Там требуется менталитет стопроцентного американца. Сейчас я работаю в небольшой азиатской юридической фирме. Где бы я ни служил с того времени, как получил образование, я всегда работал среди азиатов.

Я не горю желанием учить китайский, хотя он бы мне пригодился и в работе, и в других сферах жизни.

Если я поеду в Китай, там меня сочтут американцем, кем я, собственно, и буду. Почти все мои взгляды — даже больше, чем мне бы хотелось, — американские. Окажись я в чужой стране, я буду страдать от ностальгии. Если говорить о восприятии культуры и ценностей, я — американец. Но если иметь в виду самоощущение... я по-прежнему азиат или китаец. Я чувствую по-другому. Если вы спросите, что именно я чувствую иначе, я и сказать-то как следует не сумею. Дело не в том, что люди относятся ко мне не по-другому. Дело в том, что я сам — другой.

Я уехал из Миссисипи в 1973 году. Там у меня не было будущего. Мне было так плохо, что даже если бы там появилось какое-то подходящее для меня дело, я бы не вернулся — уж очень неприятное чувство осталось у меня от тех мест. Быть китайцем в Миссисипи совершенно бесперспективно.

Куклы-японки

[Мери К. — одиннадцатилетняя японка из Нью-Джерси. Дома у нее говорят по-японски. Отец Мери работает в японской фирме в Соединенных Штатах.]

Я родилась в Америке, поэтому мне не нравится, когда люди показывают на меня пальцем и говорят: "Смотрите, японка". Мне хочется сказать им, что я американка, но они все равно будут спрашивать: "А как сказать по-японски то или это?" Я считаю себя японской американкой.

Мне никогда не рассказывали о борьбе за отмену "несправедливого решения"[1], и я не знаю, что это такое. И не знала, что во время Второй мировой войны японцев сажали. В школе мы этого не проходили. Я узнала только в пятом классе. Учитель в американской школе немного рассказывал о войне, и мне стало стыдно, потому что все уставились на меня — неприятно, конечно. У нас есть один мальчик, он спросил, что такое сделали японцы во время войны, но учитель не сказал ничего, что бы мне запомнилось, только что мы бомбили Пёрл-Харбор. Это не очень-то приятно было слышать. Наверное, потому что я японка. И наверное, я и раньше слышала краем уха о лагерях и обо всем таком, но по-настоящему не понимала.

Я никогда не думала: вот вырасту и вернусь в Японию. Мне нравится здесь, мне здесь хорошо. Когда я уезжаю, я скучаю по английскому языку.

По-японски я разговариваю с мамой. Она умеет читать и понимает по-английски, но говорит не очень хорошо. Дома мы обычно пользуемся палочками для еды, если только не едим мясо или что-нибудь такое — тогда берем вилки. Мне больше нравится есть вилкой, потому что, если я неправильно держу палочки, отец всегда делает мне замечания. Иногда мне тяжело справиться с палочками, не то что с вилкой. Больше всего из еды я люблю спагетти. Я могу есть итальянскую еду хоть каждый день. Мы всей семьей играем в разные игры: в карты или, завязав глаза, на нарисованное лицо наклеиваем глаза, уши, нос и рот... В свободное время мы читаем, играем перед домом или смотрим телевизор. Мама просто шьет. Когда у нас каникулы, мы куда-нибудь ездим, например, в Восточную Виргинию, любуемся природой, фотографируем.

У меня есть несколько японских игрушек. Мои любимые — две Барби-японки. У одной — светлые волосы, у другой — темные. Эти куклы поменьше американских, и глаза немножко другие — может, чуть уже. Волосы тоже другие... не вьющиеся, а гладкие, шелковистые. Одну мне купила бабушка, а другую подарил сосед в Японии. У меня нет любимых игрушек. Наверное, эти куклы — самые любимые.

Однажды бабушка прислала мне кимоно, сейчас оно уже мне мало. У мамы тоже есть кимоно красного цвета, но она не знает, куда в нем

1. Имеется в виду указ, изданный президентом Ф. Д. Рузвельтом в феврале 1942 г. после нападения на Пёрл-Харбор; в указе не говорилось о высылке японцев, но он был применен исключительно к японцам: более 12 000 японцев были эвакуированы с Западного побережья и заключены в лагеря для перемещенных лиц.

пойти. Свое кимоно я надевала два раза на Новый год и один раз на Хэллоуин. Вот и все. Оно довольно тяжелое, и я не особенно люблю его. Я ни разу не видела маму в кимоно, хотя у нас есть фотография, где она в кимоно, — наверное, на ее свадьбе. Дома она не надевает кимоно. Даже в Японии я не видела никого, кто бы носил кимоно, кроме моей прабабушки, но она почти все время дома.

Моя лучшая подруга и большинство моих друзей — американцы. Что касается родителей, я их очень уважаю. Иногда я спорю с ними и просто впадаю в бешенство, но потом все проходит, и я не могу не кинуться снова к ним на шею. Не знаю, есть ли в японском языке слово "уважение", но для меня оно значит любить и слушаться.

Нужно обязательно выучить японский, потому что бабушка совсем не говорит по-английски. Так что я должна знать японский, чтобы с ней разговаривать. Кроме того, знать два языка — здорово. Некоторые из моих друзей умеют говорить только на одном, а я — на двух, это классно.

Японская школа

Я начала учиться в японской школе тогда же, когда пошла в детский сад. Но американская школа мне больше нравится. У меня там собственный шкафчик и много друзей. И учителя веселые. В японской школе учителя строже. Все время спрашивают, с ними нудновато. На занятиях — каждую субботу с девяти до половины первого — они просто говорят по-японски.

Вот по этой книге мы учим новые слова. Иногда мне становится совсем скучно, потому что в субботу мои американские друзья играют, а я должна ходить в школу. Я бы лучше покаталась на велосипеде или поиграла на улице. Одна моя подружка из американской школы тоже по субботам ходила в японскую, но мама перевела ее в другую японскую, где учатся всю неделю: с понедельника по пятницу. А другая подружка уехала в Японию насовсем.

Иногда я спрашиваю себя: "Ну зачем я туда хожу?" Наверное, потому что мама заставляет... Я хорошо отношусь к учителям и в японской, и в американской школе. Не потому что родители велят: они считают, что уважать учителей — само собой разумеется. Родители хотят, чтобы я одинаково старалась в обеих школах, но мама говорит, чтобы я усерднее училась в японской. Она боится, что я могу отстать. Иногда мне до тошноты все надоедает, и весь следующий день я ничего не делаю. Кажется, японский придется учить еще четыре или пять лет. Считается, что к восьмому классу вы должны уже вполне прилично читать и писать. Не скажу, что горю желанием еще так долго там учиться. Но я никогда не говорю маме, что не хочу ходить в японскую школу, потому что она начнет на меня кричать... В японской школе мы записываем домашнее задание на такой специальной бумаге, там есть местечко, где расписываются родители — подтверждают, что ты выполнил домашнюю работу. Кроме того, есть еще список учеников, где — если ты забыл что-нибудь сделать — тебе ставят треугольник, а затем, если наберешь три треугольника, получаешь кружок. Так все добавляется и добавляется, пока не получишь "X". Это самая плохая оценка — "X"...

Япония

Я три раза была в Японии. В первом классе я приехала туда летом и два месяца ходила в японскую школу, и меня все время спрашивали, как живут в Соединенных Штатах и как у вас говорят это и то... Помню, мне каждый раз становилось плохо, потому что до школы было очень далеко, и так — каждый день. Все казалось таким странным. Приятно было только ходить в бассейн и в спортзал. Что касается учебы, то в Японии программа попроще, так что мне было легко. Но иногда я сбивалась на английский и было довольно-таки трудно переключиться на японский. Я привыкла говорить по-английски, но говорить можно было только с братом. А тогда бабушка не понимала,

что мы говорим, и нам приходилось все ей пересказывать по-японски.

Больше всего мне понравилась река у нашего дома и утки, которые каждое утро крякали, чтобы им покрошили хлеба, и мы крошили. Там ужасно много комаров. И еще постели... мне не очень-то понравилось спать на полу на матрасиках, мы не привыкли. А ванны и ванные комнаты... совсем никуда. Ванна вроде этой овальной штуки с дыркой, где нужно сидеть на корточках... нет, не унитаз, а другая штука, которая просто стоит на полу. Это было в такой будочке, пристроенной к дому, и там ползали всякие букашки, так что было неприятно... Такой у моей бабушки дом. Там нет никаких ковров... Но все-таки я чувствую, что я родом из Японии, потому что умею говорить по-японски. Наверное, никто бы не подумал, что я живу в Нортвейле, штат Нью-Джерси, если бы я сама не сказала...

Мама подумывает отправить меня в Японию, потому что боится, что здесь я не выучу как следует японский. Но мне это не по душе. Здесь мне больше нравится. Там у меня и друзей-то по-настоящему нет. Здесь гораздо приятнее, а там уж очень много спрашивают про Америку. Я рассказывала им про школу. Правда, у них там тоже есть "Макдоналдс". Иногда мы ходили в "Кентукки фрайд чикен" — заказывали цыплят и пирожные.

Он оказался не врачом и не евреем

[Джоди Санлер Хом двадцать три года; она уже год как замужем за Тони Хомом. Она выросла в Вудмире, Лонг-Айленд.]

Помню, когда мы с Тони только начали встречаться, я не думала, что когда-нибудь выйду за него замуж. Меня воспитали в убеждении, что мой муж должен быть евреем и врачом, вот и все. Ну еще куда ни шло — адвокатом, но врачом, конечно, лучше всего, и хорошо бы — чтобы он был из тех мест, где я жила в детстве и юности... Не то чтобы это мне внушали. Это просто витало в воздухе. Вроде того, как вы знаете, что после школы пойдете учиться в колледж. И я знала, что наступит день и я выйду замуж за еврея, и даже не ставила это под сомнение. Я никогда об этом не думала, и мне в голову не приходило, что может быть иначе.

Я встретила Тони в студенческом баре... Мне показалось, что он слишком много улыбается, но зато такой веселый, с хорошим чувством юмора — ему нравилось подшучивать над окружающими. Я тоже это люблю, так что мы прекрасно провели вечер... Я тогда была еще паинька, для меня это все было впервые.

После первого семестра все стало намного серьезнее, но я еще не задумывалась о браке. Мне было семнадцать. В таком возрасте не думают о подобных вещах...

Когда мы начали встречаться с Тони, я догадывалась, что мои родители будут не в восторге... Наша помолвка состоялась, когда мне было двадцать, а Тони — двадцать три. Мы были еще слишком молоды и не готовы к семейной жизни. Мои родители все время говорили, что в браке нам придется очень трудно. Они обсуждали предрассудки, с которыми нам предстоит столкнуться. А мы хотели убедиться в том, что наши отношения будут прочными. Сначала все было и впрямь очень трудно... В Вудмире, на Лонг-Айленде, где я выросла, девяносто девять и девять десятых процента — евреи. Одна семья — черная, одна — итальянцы и одна — ирландцы, остальные все — евреи. Нет, я вовсе не хочу вешать ярлыки на всю еврейскую нацию. Я встречала разных евреев... Но в тех пяти городках, где прошло мое детство... люди живут очень замкнуто. Детям там трудно, да и вообще там трудно жить. И туда очень трудно вернуться, если только ты не возвращаешься с этим самым пресловутым врачом-евреем...

В этих городках царят жестокие предрассудки. Когда Тони стал за мной ухаживать, я потеряла всех друзей. Некоторые люди не проявляют даже элементарной вежливости по отношению к не-евреям. Иные родители могли не пустить не-еврея на по-

рог своего дома. Порой доходило до такой дикости.

Евреи, вместе с которыми я росла, смотрели свысока на не-евреев. Когда я только начала встречаться с Тони, я объяснила ему, что, если в дом приходит не-еврей, атмосфера каким-то образом сгущается. Трудно объяснить, что это такое, но все чувствуют: пришел чужой. Тони от этого страшно злился и говорил: "Не могу поверить, что и ты так реагируешь, это же пустые выдумки". Конечно, больше я ничего такого не чувствую. Но я очень хорошо помню, что и сама так реагировала. Я выросла в этой обстановке. Кроме того, тебя воспитывают в убеждении, что все вокруг ненавидят евреев и хотят их сжить со свету. Евреи уверены, что надо всегда помнить Вторую мировую войну, и ведут себя так, будто на войне больше никого не убивали. Я, конечно, не хочу преуменьшать случившееся, но сколько можно? Это очень отражается на детях. Я думаю, что евреи сами настраивают других против себя. Мне неприятно, когда думают, что я с предубеждением отношусь к евреям, и, если мне говорят что-то вроде: "Ты совсем не похожа на еврейку", я просто свирепею. Хотя не знаю, имею ли на это право, раз сама говорю такое.

Мои друзья перестали со мной встречаться. Они не хотели иметь со мной ничего общего. Когда-то мы были очень-очень близки. Думаю, я зависела от них больше, чем они от меня. Я поняла это, когда все произошло. Не могла без слез листать старые альбомы. Надеюсь, время залечит раны. Тони, конечно, тоже было не по себе. Вы не можете не чувствовать, как на вас смотрят.

Эти люди просто не будут вас принимать, если вы носите "неправильные" джинсы, "неправильные" теннисные туфли или на каникулы ездите не туда, куда надо. Когда мы только познакомились с Тони, я думала, что у всех на свете есть садовники. И когда Тони сказал, что по субботам должен ездить домой, чтобы помогать отцу косить газон, я была в шоке. Почему у меня был такой узкий кругозор, легко понять, если вспомнить, где я выросла. Я не умела поменять лампочку — не знала, что ее ввинчивают в патрон. Мне не приходилось этого делать. У матери всегда была горничная. Если в нашем округе по улице шла черная женщина, это непременно чья-то экономка возвращалась домой. А если вечером проезжала машина с чернокожим водителем, то полиция непременно его останавливала. Евреи, жившие по соседству, вели себя высокомерно, и это не изменилось. Думаю, со мной случилось самое лучшее: я уехала в школу и оказалась далеко от этих людей; по сути, стала аутсайдером, который наблюдает издалека и видит, каким он мог стать и каким стал...

До самого дня свадьбы лучшие друзья моих родителей пытались меня отговорить... Я то и дело слышала: "Ну ничего, по крайней мере, он китаец, а не черный". Это было по-настоящему больно... Моя тетя Куки, любимая моя тетка — я ее очень-очень люблю, спросила у мамы: "Зачем Джоди выходит за него? Она могла бы найти кого получше", — а мама мне это пересказала. Тогда я взорвалась: "Что значит получше? Тони обращается со мной как с королевой. Он умеет не только говорить, но и слушать, он мне настоящий друг..." — и я стала перечислять его достоинства. Что значит "лучше"? Лучше его никого нет. И если дело в том, что он китаец, а тетя Куки думает, что еврей "лучше", то я хочу ей кое-что объяснить. Когда я слышу на работе, как мои сослуживицы честят своих мужей, я еще лучше понимаю, почему вышла за Тони. Мы с Тони как раз вчера обсуждали, как, на мой взгляд, делятся наши домашние обязанности, и я сразу сказала: 40 на 60. То есть он делает 60 процентов, а я — 40. А мои коллеги вечно жалуются, что их мужья пальцем о палец не ударят, только сидят перед телевизором и потягивают пивко. А мы с Тони делаем покупки вместе, и нам очень весело. Обожаем выбирать вместе вкусную еду... Мы все любим делать вместе. Потому-то он ни на кого и не похож. Он во многих отношениях особенный. Думаю, таких, как он, немного на свете.

Перед тем как познакомить родителей с Тони, я внушала себе, что

ненавижу их: так мне было бы легче, если бы они отвернулись от меня и порвали отношения... Такая была у меня жизнь, довольно трудная. Какое огромное облегчение я испытала, когда они согласились! Я не знала, как справиться со своими чувствами. Еще одно немалое препятствие, которое пришлось преодолеть, — это отношения с матерью Тони. Всего я даже не могу припомнить, но хорошо помню, что порой она вела себя просто жутко...

Мы очень опасались, что его семья не примет меня... Бóльшая часть оскорблений не дошла до меня — Тони не хотел ранить мои чувства... Но он был очень привязан к своей семье и любил ездить туда на выходные — помогать. Родители, в свою очередь, ждали его приездов и давили на него, чтоб приезжал почаще, — им хотелось его видеть. К этому было довольно трудно привыкнуть, потому что у меня родители совсем другие. Мы с ними в этом смысле похожи. Они всегда сами по себе. Я на лето уезжала в лагерь, и они могли ездить куда угодно вдвоем. Мои родители обычно уезжали в отпуск без меня. Они не принимали такого участия в моей жизни, как родители Тони — в его. Даже когда мы с ним уже жили вместе, Тони уезжал на выходные к родителям, а я сидела одна перед телевизором в нашей квартире. Он ездил домой, а мне с ним было нельзя. Это было очень тяжело. Но перед Рождеством, незадолго до свадьбы, дела пошли лучше. Хотя все трудности были еще впереди. Конечно, вы не выходите замуж за семью мужа и не женитесь на семье жены, но, если семья не поддерживает вас, ваши отношения не становятся от этого лучше...

Семья

Я люблю семью Тони. Я думаю, что они чудесные люди. Я чувствую себя ближе к родителям Тони, чем к своим. Я скорей принимаю их систему ценностей, чем своей семьи... Родители Тони живут ради детей. Они целиком посвятили себя детям. Для них прежде всего — дети, а они сами — потом. У моих родителей на первом месте они сами, а дети — на втором. Именно по этой причине мы с Тони решили остаться на Севере, а не переехали на Юг к моим родным. Я предпочитаю, чтобы мои дети росли в семье Тони, а не с моими родителями. Не сомневаюсь, из моих родителей выйдут прекрасные бабушка с дедушкой, но хочу, чтобы мои дети выросли в той же обстановке, что и Тони. Думаю, у Тони детство было гораздо счастливее моего. И я хочу того же для своих детей. Может быть, я не права и не понимаю, как все обстоит на самом деле. Я ведь не говорю по-китайски и никогда не знаю, когда они ссорятся. Китайцы всегда говорят громко. И вы не понимаете, сердятся они или довольны, потому что они всегда говорят одинаково. В моей семье ругались постоянно...

Прошло много времени, прежде чем я осознала, что порой говорю вещи, оскорбительные для семьи Тони. Например, у меня есть такое выражение "Умри", — конечно, я при этом не имею в виду реальную смерть. В его семье о смерти не говорят, считается, что это не к добру. А однажды я сказала: "Пойдем прогуляемся. Мне нужно сбежать из этого дома". Мать Тони обиделась до слез. Больше я себе этого не позволяю. Я никогда не задумывалась над тем, как серьезно могут быть восприняты мои слова... Иногда я чувствую себя в семье Тони как дочь, а иногда они по-прежнему относятся ко мне как к гостье. И все же теперь я ощущаю очень большую близость с матерью Тони. Чувствую, что могу ей доверять и что она — человек, к которому я могу обратиться за помощью. У меня никогда не было по-настоящему близких отношений с матерью. Моя мать всегда держала нас на расстоянии. Я бы сказала, что не она, а мать Тони относится ко мне как к дочери.

Дети

Когда мы только поженились, мне казалось, что я хочу воспитать детей в иудаизме. Наверное, мне будет непри-

ятно, если они получат христианское воспитание. Но я считаю, что детям необходима вера. Это дает им такое чувство защищенности, как ничто другое. Сама я не доверяю религии. Думаю, что она разобщает людей. Но хочу, чтобы дети чувствовали свою принадлежность к чему-то. Так что я, возможно, дам им еврейские имена и приучу праздновать три праздника: Рош-Хашана, Йом-Кипур[1] и Песах, в свое время меня тоже приучали к тому, что это семейные праздники... Я не вижу никакого смысла в том, чтобы таскать своих детей в синагогу. Но считаю, что важно принадлежать к чему-то и следовать чему-то как семейной традиции. Я дам им основы религии, но не буду на этом зацикливаться. В детстве мы праздновали Новый год, но не отмечали Рождество, я не знала, что Рождество — это праздник появления на свет Иисуса Христа, до тех пор пока не доросла до того, чтобы понять разницу между религиями... Чем больше у вас семейных праздников, тем, на мой взгляд, лучше. Но думаю, в основном мы будем воспитывать своих детей как американцев китайского происхождения...

Китайская кухня

По воскресеньям мои родители водили нас в китайские ресторанчики, и я считала это китайской едой — китайской кухней по-американски... Потребовалось время, чтобы я привыкла есть в Чайна-тауне... Постепенно я привыкла и со временем даже полюбила китайскую кухню... Хотя есть блюда, которые так выглядят, будто животное еще живо, или их готовят из таких частей туши, которые я не то что попробовать — я их даже видеть не могу... Мне нравится, как готовят китайцы, но есть блюда, к которым я никогда не смогу притронуться. Например, на нашем свадебном банкете подавали что-то такое нитеобразное и блестящее. Думаю, это была медуза. Многие из моих друзей знали, что это блюдо, возможно, стоит полкоролевства, но не могли заставить себя попробовать его...

1. Йом-Кипур — Судный день или День всепрощения; отмечается через десять дней после Рош-Хашаны, еврейского Нового года; Песах — еврейская Пасха.

Еще одна научная степень

[Валери Корпус родилась и выросла на Филиппинах; в США эмигрировала в 1979 году, ей двадцать пять лет.]

Я не считаю себя азиаткой — я филиппинка. Когда я говорю "азиаты", то имею в виду сингапурцев или малайцев, это вопрос культуры. Тагалог — язык, на котором я говорю и на котором меня воспитывали. Я говорю по-тагалогски и по-испански.

Когда я впервые приехала сюда, мне здесь совсем не понравилось. Стоял апрель, и было холодно. Мне только исполнилось шестнадцать, и я закончила среднюю школу. У меня не было ни одного друга. Мне не нравились бродяги на улицах, целующиеся парочки на эскалаторах, ребятишки, торгующие травкой.

На Филиппинах у нас были горничные. Мне не приходилось стирать, ходить по магазинам, готовить или мыть посуду. Когда я попала сюда, пришлось все это делать самой, и я по-настоящему это ненавидела. Я говорила матери, что она обращается со мной как с прислугой. Очень на нее злилась... Но мама больна. У нее рассеянный склероз, так что приходится о ней заботиться... Я ненавидела все вокруг... Однажды я ехала в метро и читала учебник по математике. И какая-то белая женщина подошла ко мне и сказала, чтобы я убиралась туда, откуда приехала. Сказала, что я не здешняя и не имею права тут сидеть, что это ее место. Я не знала, что делать. Просто сидела и молчала. Белый мужчина, стоявший рядом, стал ей объяснять, что не следует говорить подобные вещи... Со мной такого больше не случается, потому что теперь я, как правило, чувствую, когда что-то похожее может произойти. Обычно по лицу видно, что за человек, так что я держусь от таких подальше. В самом начале, когда я ездила в метро, я не знала, куда глаза

девать, поэтому обычно смотрела под ноги, чтоб не глядеть на окружающих, боялась, что они могут что-нибудь мне сказать, а по-английски я говорю не очень. К тому же я человек не агрессивный, так что не смогу наорать в ответ... Просто выскочу из поезда и зарыдаю: "Господи, помоги!" Теперь я знаю, что просто нужно понимать, куда идешь и что делаешь. И вообще я не хочу, чтобы ко мне приставали в метро или на улице.

Образование

У меня уже есть степень по математике, но я хочу стать магистром в области управления здравоохранением. На меня давят родственники, чтобы я получила вторую степень. У большинства моих кузенов есть магистерские степени... Моя тетка сейчас в Беркли, пишет докторскую диссертацию. У отца три степени в области инженерных наук... В моей семье у всех есть степени. Дядя говорит, что очень скоро диплом бакалавра будет вроде школьного аттестата, а степень магистра — как степень бакалавра, так что я тороплюсь. Хочу получить диплом магистра раньше, чем он обесценится.

Деньги — вот из-за чего многие филиппинцы хотят попасть в Соединенные Штаты. Все уезжают, все работают за пределами страны. Дома нет будущего. Многие филиппинки нанимаются в няньки, потому что знают, что получат визу с правом работы и смогут приехать сюда... Обычно после окончания контракта работодатели ходатайствуют за них, чтобы им позволили остаться в стране. Если нет, они возвращаются на Филиппины. Я слышала о нескольких случаях, когда срок визы истек и люди пытались прятаться или перебирались в Канаду.

Филиппинцы

Дела дома по-прежнему очень неважные... Все зависит от того, с кем ты знаком, — вот что я поняла. Это не так, как здесь. Все делается одним способом: вы даете кому-нибудь на лапу, чтобы он сделал то, что вам нужно, или берете на работу кого-то, кто может вам все устроить, или же принимаете родственника какого-то человека, которому обязаны. Вот и все.

...Здесь мне нравится гораздо больше, потому что здесь у меня есть будущее, не то что дома. Там мне придется просить дядю или друга дяди помочь мне в том-то или в том-то — например, получить работу.

Голосование

Я не голосую. Меня это просто не касается. До тех пор пока в моей жизни все благополучно, я не чувствую в этом никакой потребности. Не похоже, чтобы деятельность правительства касалась меня. Не похоже, чтобы правительство как-то влияло лично на меня, так что мне нет дела до выборов. Я читаю о выборах, но не более того. Я не считаю, что голосовать — мой долг. Теперь у меня все налаживается — я начала привыкать к здешней жизни, получила гражданство. Что касается Филиппин, было бы приятно туда съездить, но я никогда не вернусь туда жить. Я была на Филиппинах в прошлом году, жила в доме у дяди. Я хотела было помочь служанке, которая будит его по утрам, обстирывает его, готовит ему, но он сказал: "Нет, занимайся своими делами". Чувствуешь себя несколько иначе, когда сидишь за столом, а кто-то тебе прислуживает. Все, что от тебя требуется, — есть и наслаждаться едой.

Генерал в юбке

Для филиппинцев семья имеет огромное значение. Когда мы собираемся вместе, мы говорим по-тагалогски. В Америке семья — это только мать, отец, брат и сестра, вот и все. Но для меня семья — это и сестры моей матери, и братья, и двоюродные братья, и тетки, дяди, родные со стороны отца и их родственники. У нас семья намного больше. Когда я говорю, что моя семья живет в Калифорнии, я имею в виду не только своего

брата или сестру — у меня там и двоюродные братья и сестры. Даже кузина или сестра дядиной жены входят в нашу семью.

Бабушка воспитывала меня очень строго. Я не могла выйти погулять с подругами без сопровождения служанки. Каждый вечер мы молились, перебирая четки, и раз в месяц исповедовались и причащались. Моя бабушка — испанка; у отца в роду есть китайцы, а у матери — испанцы. Мы отмечаем католические праздники. Восемьдесят пять процентов жителей Филиппин — католики.

Мы принадлежали к среднему классу. У всех моих школьных подруг была домашняя прислуга. Очень часто учениц сопровождали в школу горничные. Когда я была маленькой, меня обычно ждала на улице няня, пока шли занятия. Во время завтрака она меня кормила, а потом дожидалась конца уроков, чтоб отвести домой. Так у нас до сих пор за детьми присматривают, по крайней мере до четвертого класса. Труд там дешевый. У людей из провинции совсем нет работы. Они уходят в города, работу найти не могут и устраиваются прислугой.

Когда я училась в средней школе, бабушка всегда спрашивала: "С кем ты идешь? Когда будешь дома?" И говорила: "Дай мне номер телефона". Как правило, мать моей подруги должна была предварительно договориться с бабушкой о нашей прогулке, никак иначе. Не могу сказать, что все до одной филиппинские семьи такие, но наша семья очень типична и по сей день.

Большинство моих школьных друзей и подруг вышли из семей таких же строгих правил, как моя. Всем заправляла моя бабушка (она до сих пор живет на Филиппинах). Так заведено во многих филиппинских семьях. Моя бабушка — настоящий генерал в юбке. Так называет ее дед. Бабушка распоряжается деньгами и домашним хозяйством. У нее очень много всяких обязанностей, а дедушка может делать, что угодно. Мой дедушка — настоящий сибарит. У них с бабушкой семеро детей, семнадцать внуков и четыре правнука. Бабушке сейчас восемьдесят шесть, и она уже не так много работает. Просто всем верховодит. Тетя рассказывала, что, когда бабушка с дедушкой выходят куда-нибудь вместе, бабушка всю дорогу идет впереди, а дедушка плетется сзади. Каждое ее слово исполняется. Я думаю, это типично для филиппинской семьи, женщина там очень сильна...

Смешанные браки не считаются нежелательными. Бойфренд моей сестры — еврей, у одной из теток муж — грек. Это нормально. В моей семье никто никогда не говорил мне, что я обязана выйти за филиппинца, когда соберусь замуж.

Конфликты

[Моно Сэну за шестьдесят, он эмигрировал из Индии в 1971 году.]

Я всегда спрашиваю у своих знакомых: сколько денег вы пожертвовали на полицию за последние пятнадцать лет, многие ли из вас посещают общественные центры в своих районах? Никто или очень немногие, правильно? Так вот, не пренебрегайте общественной жизнью, иначе вам же будет хуже: окружающие думают, будто мы, индийцы, держимся высокомерно, и им это не нравится. Индийцы так себя ведут, будто они привыкли брать, а не давать. Проявляйте активность, будьте в гуще событий, участвуйте в общественных организациях и мероприятиях.

Мы, индийцы, держимся несколько в стороне от всего. В отличие от китайцев или японцев индийцы в Америке не вмешиваются в происходящее... Индийцы — люди особенные, большинство становятся докторами, инженерами, учеными и бизнесменами. Они не нуждаются в заступничестве политиков. А поэтому и сейчас считают, что им незачем сотрудничать с политиками. Но теория "плавильного котла" уже устарела. В течение последних двух лет я сам вел расследования преступлений, которые совершали молодчики в масках в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании. В Филадельфии два уличных торговца-индийца подверглись жестоким побоям и оскорблениям за то, что продавали

хот-доги; итальянцы, или кто там они такие, избили этих людей, потому что те были их потенциальными конкурентами. Подобные вещи имели место и на Лонг-Айленде. Вы знаете, что дома индийцев были разграблены и разрушены. В Уайт-Плейнсе одну индийскую семью — доктора и его жену — убили. Нам предложили заплатить двадцать пять тысяч долларов за поимку убийцы, но у нас не нашлось таких денег. В Джерси-Сити существует группа под названием "точечники", члены которой избивают индийских женщин за то, что те украшают лоб точкой. В прошлом месяце в восточном Нью-Йорке на индийских и пакистанских студентов напала с ножом восемнадцатилетняя хулиганка.

В октябре 1988 года один индиец-риелтор шел по улице города Парсиппани на деловую встречу. К нему пристал белый парень с вопросом: "Что ты делаешь в моем городе?" Тот ответил: "Я агент — продаю недвижимость", — и отправился жаловаться в полицейский участок, а дежурный заявил ему: "Зачем вас сюда принесло, у нас тут азиатов не любят". Вот где корни враждебности к нам, выходцам из Азии.

***

[Мадху Чола одиннадцать лет, она родилась в Соединенных Штатах.]

Мы плохо говорим по-английски, и нас не любят из-за нашей культуры. У нас всего много, потому что мы образованные. А у некоторых людей нет образования, и они обычно говорят: "Как это так, у вас есть образование, а у нас нет?" Им завидно. Но на самом деле мы не такие уж образованные. Мой отец окончил десять классов, а мама — колледж. Неприятно, когда в школе слышишь: "Индуска, мерзкая индуска! Ты жирная! Не буду с тобой дружить, ты ведь индуска". Поэтому я ни с кем в классе не разговариваю и говорю учительнице, что хочу сидеть на последней парте, и она сажает меня позади всего класса. Те, кто впереди, говорят: "Не прикасайся ко мне. Ты мерзкая. Ты ешь тараканов". И это вполне серьезно — они не шутят. В моей школе учатся только до пятого класса. Я сейчас в четвертом. Во всей школе человек десять-пятнадцать черных, остальные — пуэрториканцы, филиппинцы и американцы. И всего только четыре индийца. Как-то я проходила мимо, и кто-то из старших чернокожих мальчишек поставил мне подножку — я споткнулась, упала и разбила голову до крови. А в другой раз одна девочка меня очень сильно шлепнула, и я тоже шлепнула ее в ответ. За мной погнались, так что пришлось прятаться в доме у тети, потому что он был ближе, чем школа.

Мне нравятся чернокожие, правда, они нас не любят, потому что индийцы одеваются по-своему. Старухи носят сари. Надевают на голову такие красные платки и ставят на лоб точку, поэтому нас и не любят.

Мой дядя брал интервью у прохожих для одной местной индийской телепрограммы, и какой-то мужчина сказал: "Я не люблю индийцев, потому что они скупили все магазины, а у меня нет ни одного. Я хотел купить магазин, но пришел индиец и купил его, и теперь магазин, который хотел купить я, в руках у индийцев. Я остался ни с чем, поэтому я не люблю всю их нацию. Они приезжают в Америку и забирают наше добро, а мы остаемся с носом. Не хочу даже говорить в этот грязный индийский микрофон".

Неприятно, когда люди говорят такие вещи. Зачем говорить такое?

Вы спрашиваете, азиатка ли я? Наверное, я считаю себя и индианкой, и американкой; если я скажу, что считаю себя американкой, родители спросят, почему я не люблю Индию. Я изучаю культуру Индии, танцы, хожу на индийские вечеринки. Мне больше нравится быть индианкой. И потом я говорю по-индийски.

Иммигрантская теология

[Вонтай Шу — священник Корейской методистской церкви в Нью-Йорке; прибыл в Соединенные Штаты из Кореи в 1972 году.]

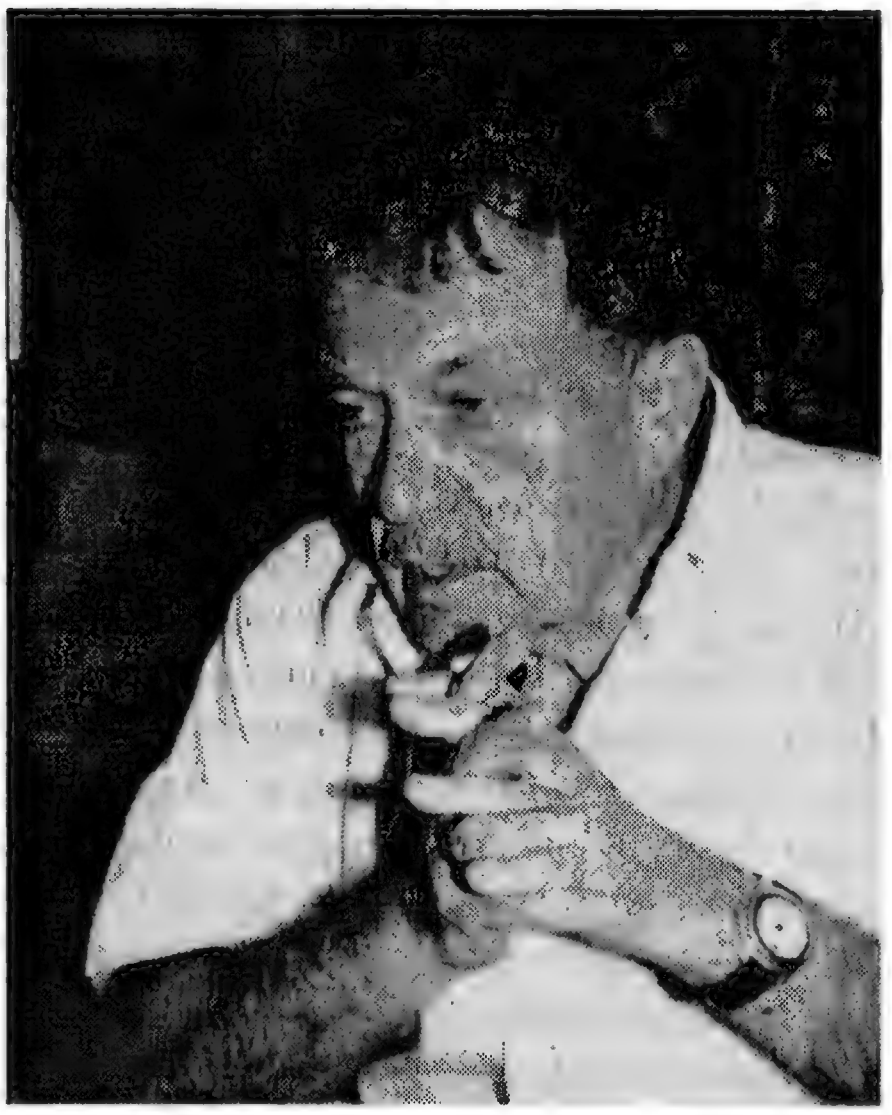
В своих проповедях я говорю об эмигрантской теологии. Мы бы хотели

приравнять наш опыт к тому, что был у Авраама и библейских кочевых народов. И тем самым обосновать наше положение в этой стране, оправдать наше существование и объяснить, почему мы здесь. Всему этому можно найти параллели в религии, есть множество библейских героев, которые были оторваны от своих корней. Они знали, в какую сторону им надо двигаться, и мы пытаемся применить это к себе.

Мы считаем нашу церковь сообществом Исхода, которое находится в постоянном движении. У нас четыреста членов. Это старейшая церковь на Восточном побережье. Она была основана в 1921 году. У нее своя, особая роль. Мы полагаем, что наша миссия как новой церкви состоит в том, чтобы указывать путь и помогать нашей общине. В прошлом году у нас возникли некоторые противоречия, и, к несчастью, церковь раскололась. Часть членов ушла в Корейскую церковь в Нью-Джерси. Перед расколом у нас было более шестисот членов. Раскол произошел не по богословским причинам. То, что случилось, просто было размолвкой между старожилами и новоприбывшими. Некоторые прожили в этой стране более тридцати лет и вполне американизировались. Думаю, что конфликт был порожден разным уровнем американизации в общине. Мы не слишком расстраиваемся по этому поводу и принимаем это как данность... Пастор, мой предшественник, ушел вместе с отколовшейся группой, а я остался здесь. Он служил здесь тринадцать лет. Впрочем, мы с ним и сейчас общаемся. Между обеими группами есть некоторые различия — прежде всего, в стиле жизни. Американскому стилю присущ постоянный самоконтроль. Корейскому — нет. Он более эмоционален и агрессивен. Американизировавшиеся корейцы не хотят рисковать без особой надобности. Вновь прибывшие более решительны и готовы идти на риск. Все дело было в том, где должна стоять церковь. Сначала мы собрали деньги — больше миллиона долларов. И вот тут-то и начались разногласия. Старожилы хотели остаться в этом здании, а новоприбывшие были настроены более решительно и хотели перебраться в другое место. Старожилам казалось, что денег недостаточно и необходимо собрать побольше.

Сейчас мы на стадии поиска хорошего места для переезда. Здесь слишком тесно. Мы арендуем соседнюю церковь и платим полторы тысячи долларов в месяц за несколько часов службы и воскресную школу. Это очень дорого. Поэтому мы хотим иметь собственное здание. У нас есть маленькое помещение для собраний, всего на сто пятьдесят человек. Помимо этого конфликта, в церкви начались и другие трения. Новички считали, что у них меньше прав, чем у старожилов. Им казалось, что люди, которые прожили здесь долгое время, лучше устроены. Так что это не было только вопросом возраста или языка. Это был вопрос экономический. Мы до сих пор пытаемся понять, чем мы провинились перед ними. Хотелось бы считать это болезнями роста.

Василий Аксенов: "Американским писателем я не стал"



Василий Аксенов регулярно наезжает в Россию, но, как признается сам, писать теперь может только за границей, поскольку там у него "за письменным столом остается только один собеседник — В. П. Аксенов". В интервью он неоднократно отмечал, что писательство и эмиграция — довольно близкие понятия, что на чужбине литератор сам становится "носителем того, что необходимо для литературы, — пограничной ситуации". Разумеется, разрабатывая тему "новых американцев", мы не могли не поинтересоваться мнением человека, который не только пережил, но и описал личный опыт соприкосновения с США. Этим летом автор "Острова Крым" и "В поисках грустного беби" был гостем нашей редакции.

"ИЛ". Всегда рады вас видеть у нас в редакции, но сегодня мы пригласили вас с особой целью: хотелось бы узнать ваше отношение к феномену, которому посвящен весь этот номер, — к проблеме превращения человека, для которого английский не является родным, в американского писателя. Что вы думаете об этом, во-первых, как человек, который очень долго прожил в той культуре, во-вторых, как человек, который писал по-английски...

В. Аксенов. Ну, очень мало я писал...

"ИЛ". Тем более интересно, почему больше не стали писать...

В. А. Дело в том, что, когда там пишешь по-английски, ты ждешь, что для читающей публики это будет желанная сенсация: иностранный автор перешел на новый для себя язык. Ничего подобного. Им кажется странным, если человек продолжает писать на своем языке. Русский пишет по-английски? — а как ему еще писать-то?! Давно пора, чего дурака валять. Когда я писал (не совсем, конечно, сам писал, меня друзья правили) "The Yolk of the Egg" ("Желток яйца") —

свою первую и единственную англоязычную вещь, я мыслил этот роман как своего рода литературную шутку, мистификацию. "Я пишу по-английски", знаете ли. Язык у меня несовершенный и никогда не будет совершенным. Я американцам хохму такую предлагал. Но там, как оказалось, хохмы не срабатывают.

Короче, я ожидал, что это будет принято хотя бы как интересная новость. Но все, кто эту книжку читал в Нью-Йорке, в издательском мире, говорили только о содержании, а о языке никто и слова не сказал. Содержание, кстати, их не устроило. Вещь метафизическая, странная — а они не любят странной литературы. Мой агент — когда я приехал туда, мне рекомендовали агента, он француз, живет всю жизнь в Америке — мне сказал: "Зачем это ты пишешь так... В Америке ведь нет авангардной традиции", — так он мне сказал. А те, кто писал в авангардной традиции, старались заниматься этим вдали от Америки. "Потерянное поколение" было в эмиграции все-таки, в "self-imposed", в добровольной.

В общем, они меня забодали, этот мой "Yolk of the Egg", и книжкой его никто не напечатал. Он выходил кусками в разных университетских журналах. Во Франции, правда, книжка вышла, по-французски, переведенная с моего англоязычного оригинала.

"ИЛ". А как ее восприняли французы?

В. А. Без особого негодования. Для них-то это была переводная вещь.

"ИЛ". А французов содержание устроило?

В. А. Французов более-менее. Но и французы тоже, знаете ли... Попроще надо писать. Я читал в русской газете интервью французского издателя Антуана Галлимара, который, кстати, с помощью Семена Мирского завернул мой последний роман, но, к счастью, там другой издатель нашелся... И вот Галлимар говорит: "Славу нашему издательству создали несколько поколений очень сложных писателей. Ни одного из них я бы сейчас не напечатал".

Это нынче международное поветрие. Вообще модернистский роман — роман-самовыражение, байронический — умирает. Я об этом и говорю, и пишу. К сожалению, это так. Сейчас роман уходит туда, откуда пришел, — на базар. Становится достоянием коммерции — что нормально.

"ИЛ". Что же тогда делать писателю?

В. А. Те, кто хочет писать романы, должны заранее рассчитывать на узкий круг читателей. Работать для активного читателя — такого, о ком Белый сказал в свое время, что активный читатель не глазами, а губами читает. Вот единственный выход. А так от романа остается одно название — "ро-о-ман" или "novel" — и то, и то от рынка произошло: "Сюда! Сюда! Новинка! Novel! Покупайте! Le roman!" Роман — любовная история без автора, авторов же не было, двести лет никто не интересовался, кто это там пишет, интересовало — как и сейчас — только развлечение. А потом дворянская элита захватила этот жанр и стала его развивать до невиданных высот самовыражения; байронический роман возник, и это продолжалось еще двести лет, а потом начало отмирать. Я думаю, что наше поколение — последнее, для которого роман заведомо предполагает самовыражение. Нынешние всё себе представляют совершенно иначе.

"ИЛ". По-видимому, сейчас литература находится на перепутье. И старики, и молодежь, включая самих писателей, плохо представляют себе, что будет дальше. Отсюда очень сильный крен в сторону автобиографичности, и он вполне логичен: когда не знаешь, куда идти, описывай свою жизнь, называя всех своими именами. Вот что сулит большой читательский интерес...

В. А. Посмотрите, как давно в Америке не возникало никакого нового направления, литературной группы, литературной схватки. Куда-то все пропало... Здесь у нас еще что-то есть.

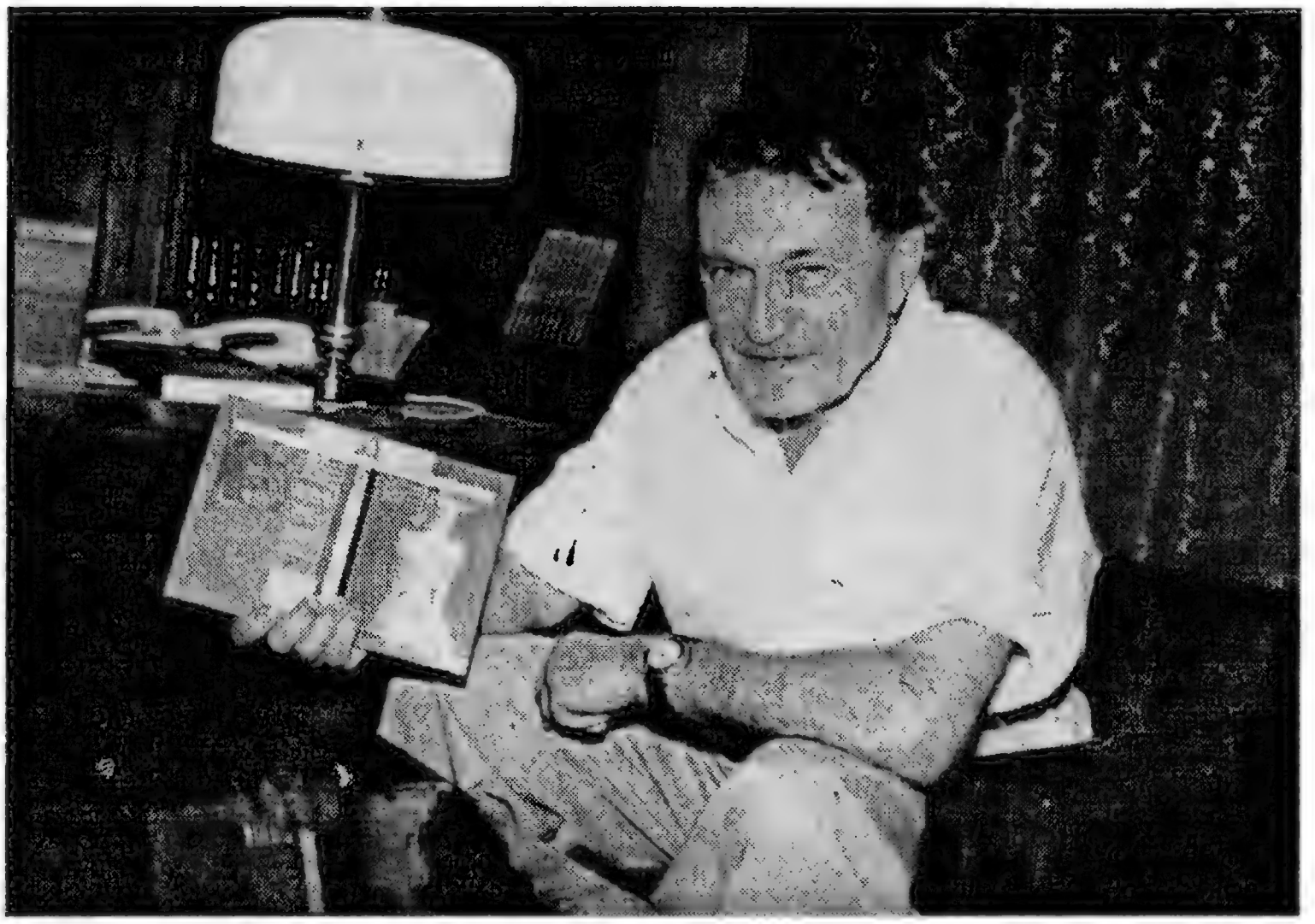
"ИЛ". Но эта стабильность в американской литературе — нечто естественное или, наоборот, искусственное, диктуемое рынком, условиями издателей?

В. А. Скорее второе. Я же смотрю, у меня студенты — молодые писатели, среди них и талантливые люди есть, но писательские классы и вся ситуация ориентируют их совсем в иную сторону от того, что им говорю я. Мне приходится объяснять им теорию: ОПОЯЗ, Бахтин. Им об этом в университете больше никто

не расскажет — а университет огромный. Свои вещи, как я замечаю, мои студенты пишут уже в расчете на то, что это возьмет Голливуд. Их проза напоминает синопсисы для голливудских проектов. А я им на своих занятиях говорю: "Мои уроки — не для больших денег. Они касаются художественной работы".

"ИЛ". А те люди, кто занимается писательством в вашем понимании этого слова, — как они себя в этой ситуации чувствуют?

В. А. Есть, например, писатели, которые пишут методом сказа, но их очень мало. Причем я заметил, что они как-то даже не стремятся перейти в коммерческую фазу — боятся чем-то пожертвовать. С их книгами очень трудно выйти на переднюю линию продаж. Сказ — это ирония, а американцы, как ни странно, не любят иронии. Широкая публика не любит иронической интонации.



"ИЛ". Не понимает или не любит?

В. А. Не понимает. Подозрительно относится. Когда вышел в переводе мой предпоследний роман — "Новый сладостный стиль", "New Sweet Style", — дошло до того, что журнал "Нью репаблик" напечатал о нем огромную статью под названием "Stop the Carnaval" — "Остановите карнавал!". Остановите Аксенова! Было сказано, что это все вчерашний день, что книга уводит от проблем, что правды жизни не видно. И вообще, что это еще за игра, а? Сугубо соцреалистические упреки. Причем интересно, что реакция критики была довольно активная, и вообще что-что, а отклик критики на переводы моих вещей на английский всегда был очень активный. И мои издатели не понимали, почему при таком количестве рецензий и статей такие плохие продажи.

"ИЛ". А какая в целом была реакция критики — положительная?

В. А. Разная. На одном полюсе раздраженные, даже злобные рецензии, а на другом — восторженные. Причем между собой там не спорят, такого не бывает.

Если брать в целом, критика на книги чаще всего бывает либо хвалебной, либо кисло-сладкой, а негативная — резко-негативная, протест — встречается очень редко. Они же в основном озабочены тем, как бы продать побольше...

"ИЛ". А рецензенты как-то отмечают, что вы русский писатель, ныне живущий в Америке, — что человек живет в одной стране, а пишет на языке другой?

В. А. Бегло отмечают, поскольку это все же переводные вещи. Но внимания на этом моменте не заостряют. Упоминают качество перевода...

"ИЛ". А вы довольны качеством перевода?

В. А. Последнюю книжку перевел молодой парень, американец, космополит, живет на Крите — в Америке не любит жить. Русский знает хорошо и, по-моему, здорово перевел. Я вообще сам участвую в переводе, фактически я сопе-

реводчик, смотрю каждую фразу. С ним, например, мы сидели три месяца. Потом — он большой такой малый, с резкими движениями — он столкнул компьютер на пол, углом, и весь хард-диск вдребезги. Все пропало, заново пришлось делать.

"ИЛ". Вы ведь сами переводчик: совершенно замечательно перевели "Рэгтайм" Доктороу. В свое время эта книжка заняла некое особое место, так мало кто переводил тогда. А как вышло, что вы занялись переводом?

В. А. Просто деньги нужны были. Это было, когда меня уже собирались выгонять из Союза писателей. И я где-то встретился с Кудрявцевой[1] — а я только что прочел "Рэгтайм" по-английски. И говорю: "Знаете, вот интересная книжка". А она: "Переведите для нас". И я перевел.

"ИЛ". Продолжить не захотелось?

В. А. Я еще переводил с киргизского. Нет, с казахского. Были у меня еще переводы с английского: для "Метрополя" большой кусок из "Переворота" Апдайка и пять маленьких пьес Теннесси Уильямса для гастролей американского театра в Москве. Уильямса было очень интересно переводить. Вот и все мои достижения...

Так вот, я понял, почему при таком количестве рецензий американские читатели мало покупают: они рецензии не читают, они читают в основном коммерческие объявления. Смотрят, если на целую страницу книжного приложения дается реклама, значит, серьезная книга, в нее вложены деньги. Четверть страницы — книга менее серьезная, а если вообще ничего нет — о чем же тут говорить?

"ИЛ". Привлекает ли американского читателя экзотичность — когда выходцы из Азии пишут об Азии, о Китае 70-х, к примеру? Можно ли это считать определенным литературным направлением — книги, экзотические по содержанию?

В. А. Да, скажем, Маркес своей невероятной славой обязан в основном экзотике. У Борхеса никогда такого не было, а ведь Борхес получше... Ну, а китайцы, пишущие по-английски, очень активно вносят эту экзотическую струю, намеренно, хотя и не очень успешно — бестселлеров я что-то не припомню, но продажи приличные, и как-то они существуют.

А вот русского элемента в той литературе, о которой вы говорите, почти нет. Я даже не могу вспомнить, кто бы так активно стал писать по-английски, хотя уже выросло целое поколение детей, увезенных в Америку, и студентов таких в писательских классах у меня было немало, но никого выдающегося что-то не помню...

Что до русских переводных книг, то они сейчас в полном загоне. С одной стороны, мы не экзотика. С другой стороны, то, что сейчас возникает здесь в смысле литературы, в Америке никому не интересно читать, потому что эти произведения не соответствуют их стереотипам. Американцы как-то не стремятся к открытию новых видов, а просто чувствуют: это что-то не то, это не соответствует сложившемуся у них образу России — несчастной страны, которая вызывает сочувствие и жалость, но очень скучна. Довольно давно мы русской компанией стояли где-то на американской улице, долго о чем-то болтали и смеялись. Вышла старушка, спросила: "Это на каком языке вы сейчас так смеялись?" — "На русском", — говорим. "Да? Непохоже на русский".

"ИЛ". Не бывало ли, чтобы какие-нибудь простодушные читатели или рецензенты принимали вас за американского писателя? Книжка вроде по-английски...

В. А. Нет, такого не было, но однажды в журнале "Харперс" по поводу "Нового сладостного стиля" было вполне серьезно сказано, что Аксенов написал "a Great American Novel"[2]. И дальше: давненько никто из американских писателей

1. Татьяна Алексеевна Кудрявцева — переводчик с английского; на протяжении многих лет работала в редакции "ИЛ". (*Здесь и далее – прим. ред.*)
2. "Эпохальный американский роман" (*англ.*)

не создавал "a Great American Novel", не обращался, так сказать, к этому жанру. Это была восторженная статья. "Харперс" вообще необычный журнал.

"ИЛ". Вы говорите, что рецензии на тиражи не влияют. А есть ли круг людей, которые реагируют на рецензии, читают, обсуждают, — те, для кого эти рецензии все-таки пишутся?

В. А. Это очень узкий круг. Там "возникает мнение". Вообще это очень странная ситуация. Какой-то "Леонид Ильич" произносит "есть мнение", и никто не знает, кто это сказал... И по политическим вопросам тоже. В литературе же это влияет на... на ситуацию, что ли...

Двадцать один год, что я жил в Америке, я печатался в гигантском издательстве "Рэндом хаус", они чего только не издают. Меня же они выпускали абсолютно не для денег. Никому там и в голову не приходило, что мои книги принесут хоть какой-то доход. Они руководствовались какими-то своими мотивами — соображениями престижа, что ли. "У нас есть такие авторы, значит, мы сохраняем литературную независимость".

"ИЛ". А какими тиражами они вас издавали?

В. А. Вот самая сложная книга — "Ожог". А продано более тридцати тысяч экземпляров. Это единственная моя американская книга, которая принесла роялти[1]. Остальные — нет, даже "Московская сага", хотя про нее писали, что это "новый Толстой". Во Франции "Московская сага" была бестселлером, в Америке — нет.

А потом отношение "Рэндом" ко мне как-то изменилось — и тут опять дело в пресловутом мнении. Я знаю, кто конкретно меня топил — литературные круги очень узки, там все друг друга знают, — но не в этом дело. Пока есть определенное "мнение", данная фигура — я или кто-то еще — остается на поверхности. Но теперь другая ситуация. Это "мнение" совершенно никого в "Рэндом хаус" больше не интересует, так как издательство продано немецкому концерну "Бертельсманн". Причем в "Рэндом" все время твердили: "Смена собственника на нашу независимость не повлияет", но она повлияла, и очень сильно. И теперь мой издатель, сам писатель, славный парень, говорит: "Извини, но у твоих книг очень плохие sales figures[2], их мало покупают. Ты, говорит, literary celebrity, но very poor-selling one[3]". Раньше главный доход "Рэндом" поступал от поваренных книг, и оно могло себе много чего позволить — да и сейчас может. Но почему-то не позволяет. Короче, изменилась общая тенденция по отношению к таким книгам — к байроническому роману, условно говоря. Считают, что он никому не нужен, что главное — рассказывать занимательные истории. Также я думаю, что ко мне лично изменилось отношение, тем более, что это стал немецкий концерн, а в Германии я в черных списках после двух ссор на конгрессах ПЕН-клуба с Гюнтером Грассом. Все мои германские издатели перестали меня печатать. Теперь и "Рэндом"... Но я сейчас ухожу из университета. И вообще уезжаю из Америки. Осталось отработать два весенних семестра, а больше меня с официальной поверхностью этой страны ничего не связывает... Я даже думаю, что как из СССР ушел — "я от бабушки ушел, я от дедушки ушел", — так теперь и из Америки... Купил на юге Франции маленький домик.

"ИЛ". А во Франции будете преподавать?

В. А. Нет, во Франции я буду только писать. Буду чаще бывать в России; оттуда ведь можно и на велосипеде добраться.

"ИЛ". Как два десятка лет, прожитых в Америке, повлияли на вас как на писателя? Литературная среда другая, какие-то впечатления...

В. А. Американская литературная среда на меня совершенно не повлияла. А вот американский университет — очень сильно. Я стал другим человеком. Я был богемщик, писатель в духе хемингуёвины, так сказать. А за двадцать один год

1. Роялти (royalty, *англ.*) — в зарубежной издательской практике часть авторского гонорара, складывающаяся из отчислений с каждого проданного экземпляра (после достижения заданного уровня продаж).
2. Sales figures (*англ.*) — уровень продаж.
3. Литературная знаменитость, но очень плохо продающаяся.

жизни в американском университете я, конечно, превратился в американского интеллектуала. Отчасти. Представьте: в кабинете сидят француз, перс, китаец — и все это американская университетская среда. Я был членом этой среды и, вероятно, им останусь. Это не значит, что я перестал быть русским писателем. А вот американским писателем я не стал ни в какой мере. Они меня не приняли — или я не принял их. Может быть, я не понял какой-то системы координат.

Кстати, у меня есть глубокое убеждение, что человек, рожденный в другой стране, уже не станет американцем, несмотря на старания. Американцем можно только быть. Не зря есть такой закон, что президентом может стать только родившийся в США.

Когда я приехал — а я же многих писателей знал по их визитам в СССР и здесь с ними нормально общался, — эти мои знакомые у себя на родине оказались *очень* малоконтактными людьми. Контактными оказались лишь журналисты, которые уже заразились российским стилем общения, вот с ними было легко, можно было говорить на любую тему. Известные писатели там очень замкнуты, сидят в этих коннектикутах, вермонтах — дикий отрыв, даже в Переделкино у нас писатели ходят кругами...

"ИЛ". А есть в Америке писатели, которые вам по душе, за чьим творчеством вы следите?

В. А. Я слежу за творчеством своих ровесников, за Джоном Апдайком, хотя он очень сдал, пишет крайне вяло. Зато у Филипа Рота новая энергия. Есть любопытный писатель, который пишет в сказовой манере, — Паджет Пауэлл, сорокалетний. Из того же поколения Джонатан Дий. Вообще масса людей, которые пишут добротно, — этого не отнимешь.

"ИЛ". Вернемся к истокам. Наверное, среди литературных кумиров вашей молодости были и американские авторы...

В. А. Да, действительно. Даже такой совсем забытый сейчас писатель, как Джон Дос Пассос, — его в Америке никто не знает, кроме отдельных левых интеллектуалов, — но, вообще говоря, Дос Пассос — это неслабо. И поэзия Эзры Паунда — я люблю Эзру Паунда, хотя сволочь большая. Знаете, когда после Сталина все это стало доступно, американцы 30-х годов произвели очень сильное впечатление. Мы их открывали раньше, чем свой собственный авангард. Я и Андрея Белого прочел позже, чем Хемингуэя...

"ИЛ". Вы в молодости, наверно, как-то воображали себе Америку. Этот образ потом совпал с реальностью?

В. А. Да в общем, как ни странно, она существует — та Америка, которую я воображал. Ее культура... эти клишированные образы ковбоев, rednecks[1], — эти люди есть на самом деле, я к ним очень хорошо отношусь, я люблю их простецкую деревенскую музыку: bluegrass, country[2], не говоря уж о джазе. Это все существует, но мало-помалу тоже подвергается размыву, находится под угрозой коррозии.

"ИЛ". Но живет за счет внутренней энергии или как-то искусственно поддерживается?

В. А. Энергия существует. Это люди, на которых по сути стоит Америка, — простые, мускулистые. И, я бы сказал, положительные. Именно они приезжают за тобой, если ты заболел, вбегают в дом и спасают. И это очень хорошие люди.

Боюсь, что по этой Америке я буду скучать. Впрочем, если буду скучать, сяду на самолет и прилечу...

Москва, июль 2002 года.

Запись беседы С. Силаковой

1. Rednecks (*англ.*) — букв.: "красные шеи" — так в Америке, часто с оттенком презрения, принято называть простых грубоватых людей, обычно белых жителей Юга.
2. Country (*англ.*) — букв.: деревенский, сельский; кантри — стиль поп-музыки, основанный на народных песнях Юго-Востока и Юго-Запада США; bluegrass (*англ.*) — букв.: пырей; блюграсс — одна из разновидностей музыки кантри.

Авторы номера

Джамейка Кинкейд
Jamaica Kincaid
Американская писательница, уроженка Карибского архипелага.

Автор книг *На дне реки* [*At the Bottom of the River*, 1992], *Автобиография моей матери* [*The Autobiography of My Mother*, 1996, рус. перев. 1999], *Мой брат* [*My Brother*, 1997] и др.
Публикуемая повесть печатается по изданию: *Lucy* [London, Picador, 1994].

Джампа Лахири
Jhumpa Lahiri
Американская писательница индийского происхождения, лауреат Пулицеровской премии [2000].

Автор сборника рассказов *Толмач* [*Interpreter of Maladies*, 1999].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Interpreter of Maladies* [HarperCollins Publishers India, 1999].

Чарльз Симик
Charles Simic
[р. 1938]. Американский поэт, переводчик, родом из Югославии, лауреат Пулицеровской премии [1990].

Автор более 60-ти книг, в т. ч. поэтических сборников *О чем говорит трава* [*What the Grass Says*, 1967], *Строгие меры* [*Austerities*, 1984], *Прогулка с черной кошкой* [*Walking the Black Cat*, 1996], *Час между собакой и волком* [*The Hour between Dog and Wolf*, 1997], книги стихотворений в прозе *Мир бесконечен* [*The World Doesn't End*, 1989], книги эссе и мемуаров *Сиротская фабрика* [*Orphan factory*, 1997] и др. В *ИЛ* печатались его стихи [1996, № 10; 1997, № 10].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Ночной пикник* [*Night Picnic*. New York, San Diego, London, Harcourt Inc., 2001].

Ха Цзинь
Ha Jin
[р. 1956]. Американский писатель китайского происхождения, лауреат нескольких международных и национальных премий.

Автор сборников рассказов *Море слов* [*Ocean of Words*, 1998], *Под красным флагом* [*Under the Red Flag*, 1999], *Жених* [*The Bridegroom*, 2001], поэтических сборников, романов *В пруду* [*In the Pond*, 2000], *Ожидание* [*Waiting*, 2000], *Безумец* [*The Crazed*, 2002].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Ocean of Words* [New York, Vintage International, 1998].

Ага Шахид Али
Agha Shahid Ali
[1949–2001]. Американский поэт индийского происхождения.

Автор сборников стихов, в т. ч. *Гималаи высотой в полдюйма* [*The Half-Inch Himalayas*, 1987], *Карта Америки для одержимого ностальгией* [*A Nostalgist's Map of America*, 1991], *Деревня без почты* [*The Country Without a Post Office*, 1997], *Бесконечность комнат* [*Rooms are never finished*, 2001], а также монографии *Т. С. Элиот – редактор* [*T. S. Eliot as editor*, 1986].
Публикуемые стихотворения взяты из сборников *The Country without a Post Office* [New York, London, W. W. Norton & Company, 1998] и *Postcard from Kashmir* [Hanover, Wesleyan University Press, 1987].

Хунот Диас
Junot Diaz
[р. 1968]. Американский писатель доминиканского происхождения.

Автор сборника рассказов *Утопленник* [*Drown*, 1996].
Публикуемые рассказы взяты из журнала *The New Yorker* [1999].

Александр Хемон
Aleksander Hemon
[р. 1964]. Американский писатель, родом из Югославии.

Автор сборника рассказов *Вопрос Бруно* [*The Question of Bruno*, 2000], романа *Человек ниоткуда* [*Nowhere Man*, 2002].
Публикуемый рассказ взяты из журнала *The New Yorker* [1999].

Томас Ривера
Tomás Rivera
[1935–1984]. Американский писатель мексиканского происхождения.

Автор романа *...и земля его не поглотила* [*...y no se lo tragy la tierra*, 1971] и рассказов.
Рассказ *Саламандры* взят из антологии *Short Fiction by Hispanic Writers of the United States* [Houston, Arte Publico Press, 1993].

Хулия Альварес
Julia Alvarez
Американская писательница доминиканского происхождения.

Автор романов *Как сестры Гарсия избавились от акцента* [*How the Garcia Girls Lost Their Accents*, 1990], *Во времена бабочек* [*In the Time of the Butterflies*, 1994], *До того как мы стали свободными* [*Before We Were Free*, 2002], поэтического сборника *Другая сторона* [*The Other Side: El Otro Lado*, 1995] и др.
Публикуемый перевод печатается по изданию: *Julia Alvarez. ¡Yo!* [Algonquin Books of Chapel Hill, 1997].

Питер Хо Дэвис
Peter Ho Davies
[р. 1966]. Американский писатель китайского происхождения.

Автор сборников рассказов *Самый безобразный дом на свете* [*The Ugliest House in the World*, 1998], *Равная любовь* [*Equal Love*, 2000].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Equal Love* [Boston–New York, A Mariner Original Houghton Mifflin Company, 2000].

Роберто Фернандес
Roberto Fernández
[р. 1951]. Американский писатель кубинского происхождения.

Автор сборника рассказов *Лунный сад* [*El jardin de la luna*, 1976], романа *Американская горка* [*La montaña rusa*, 1985] и др.
Публикуемые рассказы взяты из антологии *Short Fiction by Hispanic Writers of the United States* [Houston, Arte Publico Press, 1993].

Эва Хоффман
Eva Hoffman
Американская писательница польско-еврейского происхождения.

Автор книг *Выход в историю. Путешествие по новой Восточной Европе* [*Exit into History. A Journey Through the New Eastern Europe*, 1993], *Местечко* [*Shtetl*, 1997], *Секрет* [*Secret*, 2001] и др.
Эссе печатается по изданию: *Lost in Translation. A life in a New Language* [Minerva, 1991].

Мадина Владимировна Тлостанова
Доктор филологических наук, литературовед.

Автор статей о современной литературе США и Европы, а также монографии *Проблемы мультикультурализма и литературы США конца XX века* [М., 2000].

Эдвард Саид
Edward W. Said
[р. 1930]. Историк культуры, специалист по Ближнему Востоку, эссеист, литературный и музыкальный критик, преподаватель. Живет и работает в Нью-Йорке.

Автор книг *Джозеф Конрад и художественная автобиография* [*Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography*, 1966], *Об исламе* [*Covering Islam*, 1981], *Ориентализм* [*Orientalism, 1988*], *Культура и империализм* [*Culture and Imperialism*, 1993], *Без дома. Воспоминания* [*Out of Place: A Memoir*, 1999] и др.
Публикуемые эссе взяты из книги: *Reflections on Exile and Other Essays* [Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2000].

Джоан Фон Джин Ли
Joann Faung Jean Lee
Американка китайского происхождения, антрополог, преподаватель колледжа.

Публикуемые интервью взяты из книги: *Asian Americans* [New York The Press, 1992].

Василий Павлович Аксенов
[р. 1932]. Писатель.

Автор повести *Коллеги* [1960], романов *Звёздный билет* [1961], *Пора, мой друг, пора* [1964], повестей *Апельсины из Марокко* [1963], *Затоваренная бочкотара* [1968], романов *Ожог* [1975], *Остров Крым* [1981], *Московская сага* [1992], *Новый сладостный стиль* [1998] и др. В его переводе в *ИЛ* публиковался роман Доктороу *Регтайм* [1978, № 9—10].

Переводчики

Инна Соломоновна Стам
Лингвист, кандидат филологических наук, переводчица с английского.

Автор ряда работ по современному английскому языку. Ее переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Мариам Львовна Салганик
Востоковед, переводчик.

Автор многих статей по проблемам литератур Азии и Африки. Переводила прозу и поэзию современных писателей Индии, Пакистана, Бангладеш. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Дмитрий Юрьевич Веденяпин
[р. 1959]. Поэт и переводчик поэзии и прозы.

Автор книг стихов *Покров* [1993] и *Трава и дым* [2002]. В его переводах публиковались стихи англоязычных, немецких, французских, фламандских поэтов, а также сборники рассказов И. Башевиса Зингера *Последняя любовь* и *Страсти* [М., Текст, 1999, 2001]. В *ИЛ* напечатаны его переводы романов М. Каннингема *Дом на краю света* [1997, № 8—9] и *Часы* [2000, № 9].

Анастасия Ильинична Смирнова
Театральный художник, автор нескольких пьес и путеводителя по Амстердаму.

Как переводчик выступает впервые.

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Литературовед, переводчик с английского и норвежского языков.

В его переводах публиковались произведения Э. Паунда, Дж. Донна, А. Макена, Алана А. Милна, Т. Прэтчета и др., стихи У. Рэли, Л. Ферлингетти, С. Мерена. В *ИЛ* неоднократно печатались его статьи.

Ирина Викторовна Ковалева
Филолог, переводчик с греческого и английского, критик.

Автор стихотворных сборников *В прошедшем времени* [2002] и *Кукольный ящик* [2002]. В ее переводах публиковались стихи и проза Г. Сефериса, стихи О. Элетиса, М. Сахтуриса, Марио Витти, Т. С. Элиота и др.

Владимир Владимирович Козлов
[р. 1972]. Переводчик с английского.

Переводит техническую литературу. В *ИЛ* публикуется впервые.

Антон Владимирович Ильинский
[р. 1976]. Переводчик с английского и испанского языков.

По образованию журналист, переводчик художественных фильмов. В *ИЛ* публикуется впервые.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчица с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3] и Д. Рэмптона [1996, № 10], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], а также перевод романа П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4].

Александра Евгеньевна Соколинская
Переводчица с французского и английского языков.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Александра Леонидовна Борисенко
Кандидат филологических наук, переводчица с английского.

Автор ряда статей, рецензий и переводов, напечатанных в *ИЛ*. Часть из них была выполнена в соавторстве с В. Сонькиным.

Что читают в мире?

Список бестселлеров, опубликованный лондонской газетой "Гардиан" 11 декабря 2002 года

1. CONSTANTINE/WOODALL.
What Not to Wear

2. MICHAEL PALIN.
Sahara

3. MICHAEL MOORE.
Stupid White Men

4. DANIELLE STEEL.
The Kiss

5. TERRY PRATCHETT.
Night Watch

6. ANITA SHREVE.
Sea Glass

7. MICHAEL CONNELLY.
City of Bones

8. TERRY PRATCHETT.
The Amazing Maurice and His Educated Rodents

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❐ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❐ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❐ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❐ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент инсталляции американской художницы японского происхождения Аракавы [р. 1939] *Вопрошая...* [1987–1988].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжном магазине "Библио-Глобус" — ул. Мясницкая, д. 6.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.12.2002
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1955.
Тираж 9000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

Редакция “Иностранной литературы”
поздравляет с Новым 2003 годом
всех читателей, авторов, переводчиков,
а также те организации, которые в минувшем году
оказывали журналу поддержку.

Нам помогали:
Министерство культуры РФ,
Министерство печати РФ,
МДМ Банк [Московский деловой мир] – спонсор ежегодных
литературных премий,
МИД Франции и посольство Франции в России,
фонд культуры PRO HELVETIA [Швейцария] и
посольство Швейцарии в России,
фонд “Венгерская книга”,
издательство “Бладэкс Букс” [Англия],
издательство “Штайдль” [Германия].

Мы также благодарим зарубежных авторов,
предоставивших нам права
на безвозмездную публикацию
на страницах журнала
в 2002 году.

Свои произведения нам
и всем нашим читателям подарили
Уршуля Малгожата Бенка [Польша],
Мириам Ван хее [Голландия],
Гюнтер Грасс [Германия],
Каетан Кович [Словения],
Кристина Ларс [Польша],
Ева Липская [Польша],
наследники Корнеля Филиповича [Польша].

[2] 2003

НЕИСЧЕРПАЕМАЯ АВСТРИЯ

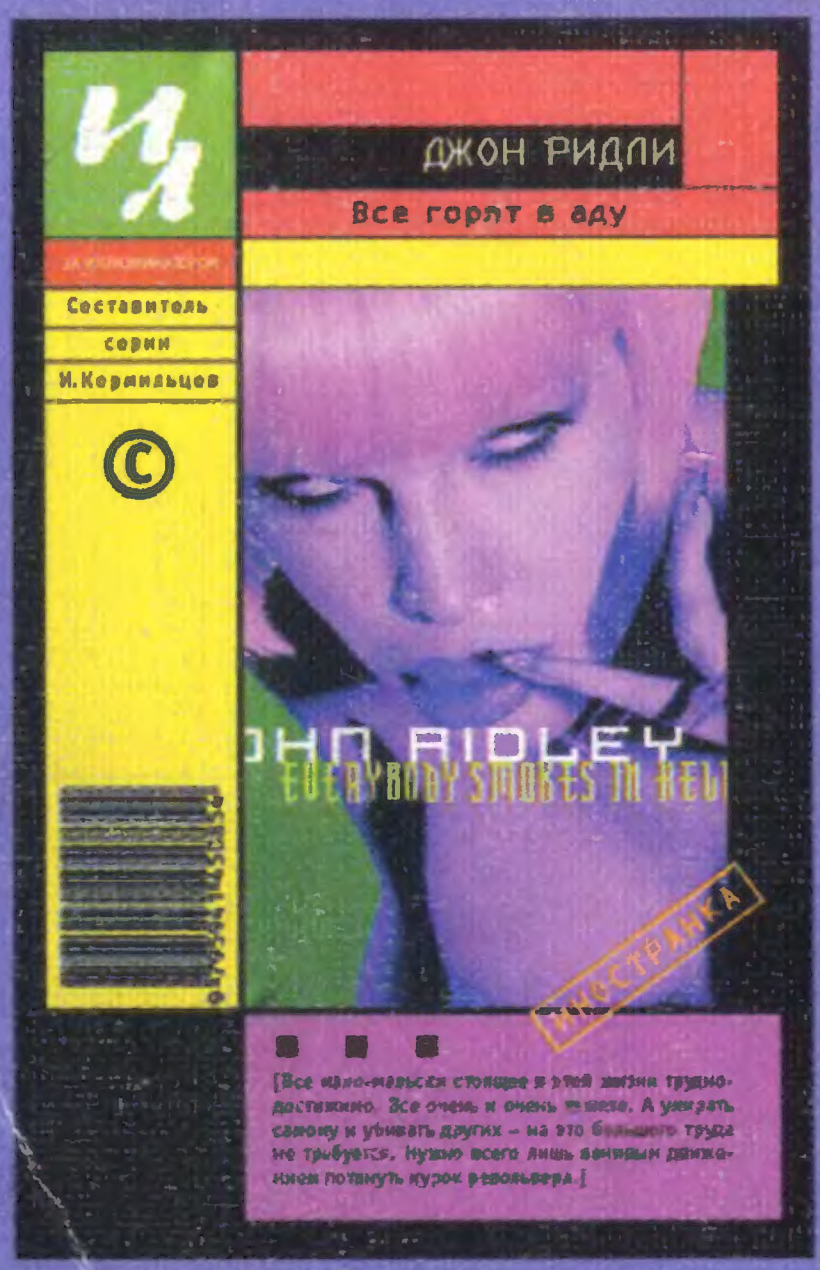
РОМАН КРИСТОФА РАНСМАЙРА “УЖАСЫ ЛЬДОВ И МРАКА” / ФРАНЦ КАФКА “ПИСЬМА ФЕЛИЦИИ” / ИНГЕБОРГ БАХМАН В РУБРИКЕ “ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ” / “ПЛЕМЯННИК ВИТГЕНШТЕЙНА” ТОМАСА БЕРНХАРДА / РАССКАЗЫ ПЕТЕРА ХАНДКЕ, ХАЙМИТО ФОН ДОДЕРЕРА, ДАНИЭЛЯ КЕЛЬМАНА / СТИХИ ФРИДЕРИКИ МАЙРЁКЕР

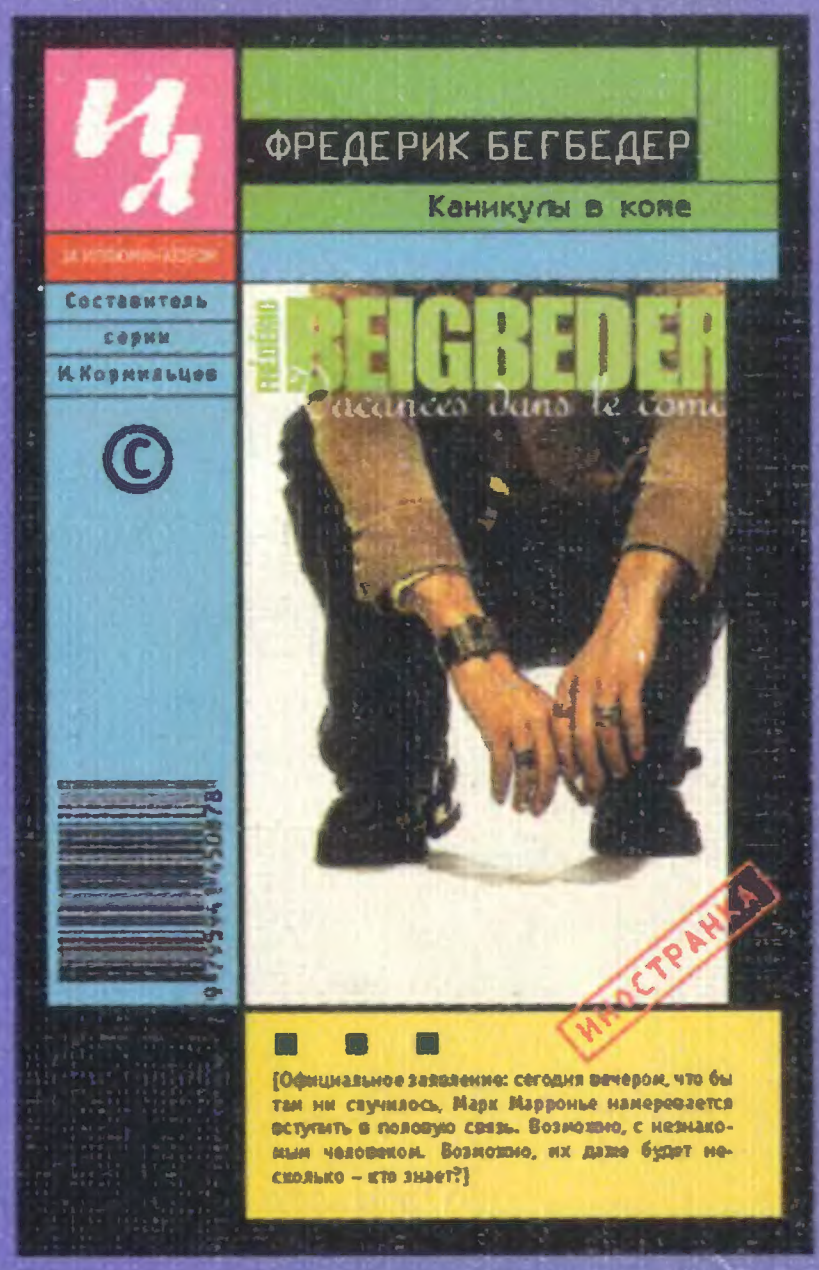
Новая серия издательства "Иностранка"

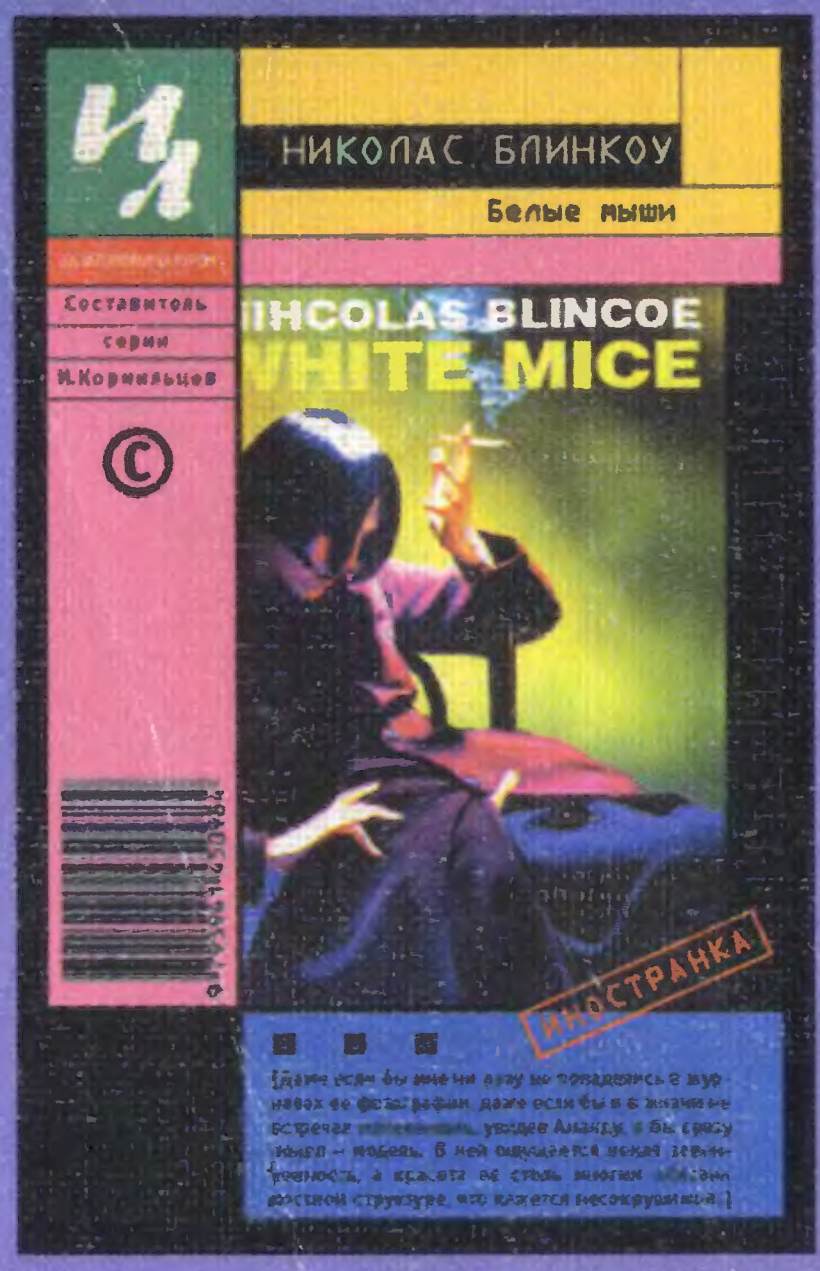
"За иллюминатором"

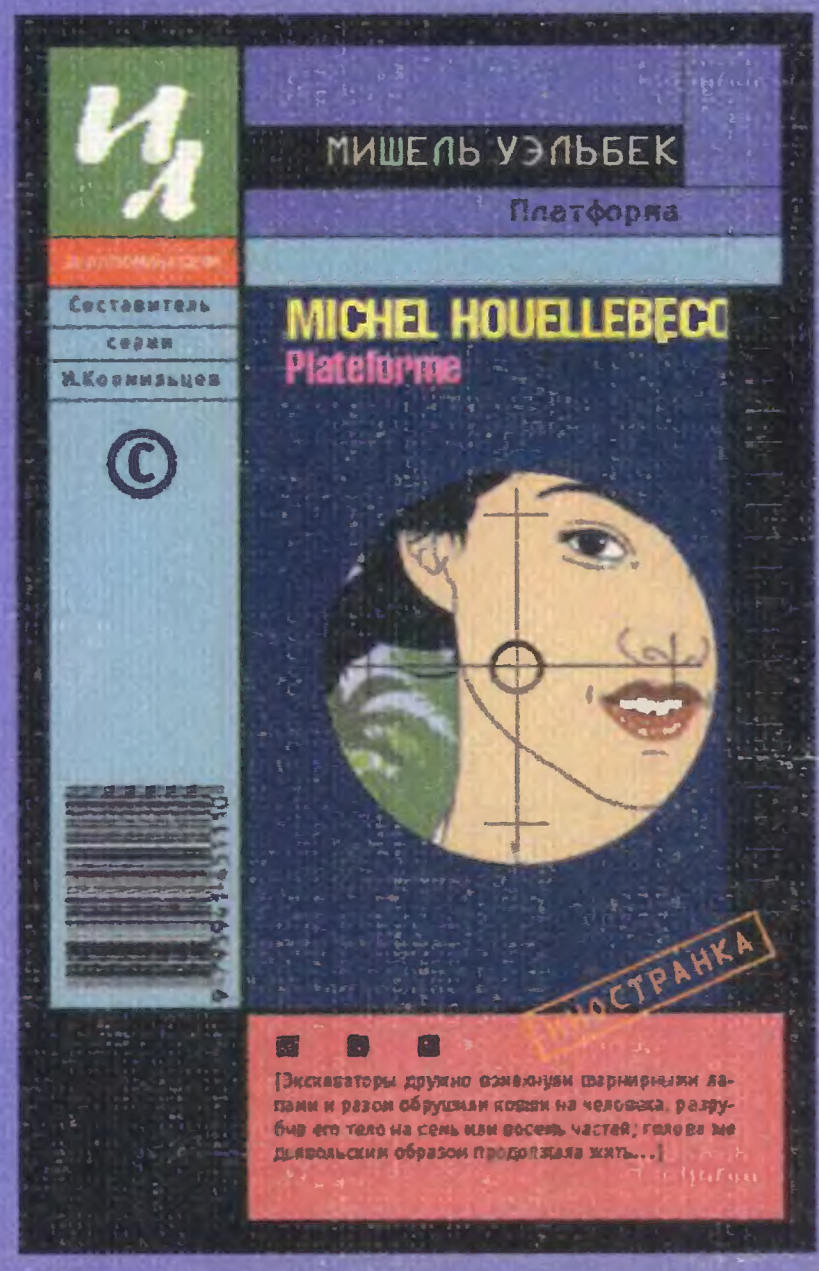
составитель Илья Кормильцев

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века









По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"

тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru

или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2003, №1, 1-288